



Н. А. БОГОМОЛОВ

СОПРЯЖЕНИЕ ДАЛЕКОВАТЫХ



**О ВЯЧЕСЛАВЕ
ИВАНОВЕ
И
ВЛАДИСЛАВЕ
ХОДАСЕВИЧЕ**

Н. А. БОГОМОЛОВ

СОПРЯЖЕНИЕ
ДАЛЕКОВАТЫХ

О ВЯЧЕСЛАВЕ ИВАНОВЕ
И ВЛАДИСЛАВЕ ХОДАСЕВИЧЕ

Издательство Кулагиной
INTRADA
МОСКВА
2010

УДК 821.161.1.0
ББК 83.3(2Рос=Рус)1
Б74

Богомолов Н. А. Сопряжение далековатых : О Вячеславе Иванове
и Владиславе Ходасевиче. – М.: Изд-во Кулагиной – Intrada, 2010. – ###
с.

Директор
А. Л. Львова

Художник
Л. Е. Каирский

Корректор
З. Е. Межуев

ISBN 978-5-87604-226-2

© Н. А. Богомолов, текст, 2010.

© Издательство Кулагиной, макет, 2010.

КРАТКОЕ ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ ОТ АВТОРА

Эта книга составилась из работ, написанных в последнее десятилетие и связанных с разысканиями в области жизни и творчества двух поэтов, кажущихся нередко противоположными друг другу по общим принципам творчества: Вячеслава Иванова и Владислава Ходасевича.

Иванов на двадцать лет старше, его первая книга вышла на грани 1902 и 1903 г., когда Ходасевич еще не выступил на поэтическое поприще, в годы становления Ходасевича как поэта он уже был знаменитым литератором. Но если стихи Брюсова, Белого, Блока, Сологуба и других символистов явно были для Ходасевича ранних лет путеводной звездой, то творчество Иванова выглядело совсем чужим. И вместе с тем нет сомнения, что его стихи и статьи Ходасевич читал внимательно, хотя и пристрастно. Обнаруживающаяся в частных письмах враждебность, несколько умеряемая, но все же ощущаемая в печатных отзывах, свидетельствует о превосходном знании предмета.

В десять годы, однако, между поэтами налаживаются добрые личные отношения, и тогда Ходасевич, как нам кажется, уже начинает поэтическое состязание. Нет сомнения, что многое в ивановском символизме было ему глубоко чуждым, но далеко не все. О некоторых особенностях поэтической рефлексии Ходасевича, связанных с творчеством Иванова, рассказано в главе «Скрещения».

Остальное – главы или материалы к главам грезящихся монографий об Иванове и Ходасевиче. Это и архивные разыскания, и попытки восстановления жизненных контекстов творчества, и этюды о связях поэтов с их современниками, и попытки теоретических обобщений, так или иначе связанных с двумя авторами и их эпохой.

Заглавие книги – как внятно, вероятно, не всем – связано с тыняновской формулой, восходящей к Ломоносову, но в таком виде у последнего не встречающейся. О том, как Тынянов переформулировал мысль Ломоносова см. недавнее разыскание одного из авторов «Живого журнала»: <http://vadbes.livejournal.com/96250.html#cutid1>.

Значительная часть разысканий генетически связана с двумя большими работами – изданием переписки Иванова с его второй женой, Л.Д. Зиновьевой-Аннибал, которое готовилось совместно с М. Вахтелем и Д. Солодкой (двухтомник вышел в свет в начале 2010 года), и еще не доведенным до конца вторым изданием тома стихотворений Ходасевича к серии «Новая библиотека поэта», для чего были пересмотрены в максимально возможном объеме автографы поэта, прежде всего черновые, хранящиеся как в России, так и за рубежом (преимущественно в США).

Плохо или хорошо исполнена поставленная задача – судить дру-

гим. Но я считаю себя обязанным сказать слова признательности в адрес факультета журналистики МГУ, не раз поддерживавшего поездки для работы в архивах, в том числе заграничных, а также в адрес более не существующего фонда «Открытое общество», который дважды субсидировал пребывание в США и архивные разыскания в различных хранилищах.

Список людей, помогавших мне в разысканиях, слишком велик, чтобы можно было его составить сколько-нибудь полно. Я искренно благодарен коллегам, с которыми обсуждал различные проблемы, сотрудникам архивов и библиотек, содействовавшим в поиске, друзьям, которые принимали меня во время поездок, а также многим и многим другим.

Посвящаю эту книгу памяти моей матери, Виктории Алексеевны Богомоловой (1926–2008).

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

- Иванов – Иванов Вячеслав. Собрание сочинений: В 4 т. Брюссель, 1971–1987. Римской буквой обозначается том, арабской – страница.
- ИРЛИ – Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН.
- История и поэзия – История и поэзия: Переписка И.М. Гревса и Вяч. Иванова / Изд. текстов, исследование и комм. Г.М. Бонгард-Левина, Н.В. Котрелева, Е.В. Ляпустиной. М.: Росспэн, 2006.
- КФЖ – Ходасевич Владислав. Камер-фурьерский журнал / Вст. ст., подг. текста, указ. О.Р. Демидовой. М.: Эллис Лак 2000, 2002. Поскольку текст публикации не всегда приготовлен идеально, мы всюду сверяли его с оригиналом, хранящимся в Бахметевском архиве Колумбийского университета. За предоставление копии сердечно благодарим Р. Хьюза.
- ПБХ – Гиппиус Зинаида. Письма к Берберовой и Ходасевичу / Ed. by E. Freiburger Sheikholeslami. Ann Arbor: Ardis, 1979.
- Переписка – Вячеслав Иванов, Лидия Зиновьева-Аннибал. Переписка: В 2 т. Подг. текста Д.О. Солодкой и Н.А. Богомолова при участии М. Вахтеля; вст. статьи М. Вахтеля и Н.А. Богомолова; коммент. Н.А. Богомолова и М. Вахтеля при участии Д.О. Солодкой. М.: Новое литературное обозрение, 2009.
- РГАЛИ – Российский государственный архив литературы и искусства.
- РГБ – Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки.
- Ходасевич – Ходасевич Владислав. Собрание сочинений: В 4 т. М.: Согласие, 1996–1997.
- Хроники – Богомолов Н.А. Вячеслав Иванов в 1903-1907 годах: Документальные хроники. М., Изд. Кулагиной; Intrada, 2009.
- ЦИАМ – Центральный исторический архив Москвы и Московской области.

I. ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ

ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ ТЕКСТА КАК СПОСОБ ЧТЕНИЯ ТРУДНЫХ МЕСТ

1

Замысел этой статьи возник, а позднее и оформился в процессе работы над подготовкой к печати дневников Вячеслава Иванова 1908-1910 и 1924 гг., хранящихся в Римском архиве поэта. В 1974 и 1979 годах О.А. Шор опубликовала их в комментариях ко второму и третьему томам брюссельского издания собрания сочинений поэта по тем же самым автографам, к которым обратились впоследствии и мы.

Следует с благодарностью отнестись к работе нашей предшественницы, впервые после автора читавшей мучительно временами неразборчивые записи. Всякий, работавший с текстами Иванова, знает, насколько тяжело бывает понять его записи, особенно сделанные для самого себя. Красивый летящий почерк то и дело стремится стать прямой линией, из которой только некоторые буквы выбиваются, но и они становятся похожими друг на друга. Некоторые буквы имеют по два варианта начертания, причем один из них может употребляться чрезвычайно редко, что делает догадки весьма затруднительными. Так, в букве «д» Иванов обычно выносит петлю вверх, но в слове «яд» она стабильно опускается вниз, под строку. Окончания очень часто вообще не дописываются, буквы из середины слов пропускаются, нередки описки и неожиданные сокращения. К текстам такого рода приходится относиться как к своего рода загадке, решение которой может быть интуитивным или же основываться на рационализированном стремлении понять замысел автора, и уже от него двигаться к решению возникшей проблемы.

О.А. Шор видела в Иванове прежде всего мистика, почему и старалась придать публикуемому ею тексту возвышенную окраску, не смущаясь при этом возникающими несоответствиями. Нет сомнения, что в некоторых местах дневник действительно напоминает темные пророчества, особенно там, где Иванов обращается к своего рода медиумическому или автоматическому письму, стараясь уловить и переложить на бумагу являющиеся ему мысли и слова покойной жены, Лидии Дмитриевны Зиновьевой-Аннибал. Не будем приводить многих примеров, ограничимся лишь двумя. 13 июня 1908 года: «Она <Зиновьева-Аннибал> надела на меня золотой веноч с длинными золотыми лентами, и приложила золотой треугольник к моим устам, и дала в руки мне золотую лиру, и сказала: “Пой последние песни”. И мирты падали к нам под ноги. И мы любили – в видении, и она обещала - - -» (Иванов, II, 772). И

второй (27 июня 1909 года): «В одиночестве твоя сила крепнет. Мой верный дар тебе моя Дочь. Она тебя – Дорорея волит. Я могу тебя водным Даром Дорорея волить. Я твоя в радостном радостном видении весною весною буду. Сон весны один – твой водный Дар. Я творю твое тело для Дара Дорорея. Он тебя ведет в обетованную даль. Oga e Sempre Лидия» (Иванов, II, 777). В первом фрагменте Шор разобрала все без исключения верно, во втором – не поняла, что именем Дорорея (женского рода) обозначается дочь Зиновьевой-Аннибал Вера Константиновна Шварсалон (в будущем жена Иванова), прочитала его в обычном русском варианте мужского имени – Дорорея, почему и в косвенных падежах получилось неточное чтение (должно читаться: «Я могу тебя водным Даром Дорорея волить <...> Я творю твое тело для Дара Дорорея»), почти упраздняющее разумное толкование пророчества, так как в предпоследнем предложении получается, что «Он» – названный последним словом предшествующей фразы Дорорея, тогда как на самом деле здесь «Он» – несомненно, Господь. Очень трудные по почерку строки Иванова были прочтены практически безупречно, но за этой безупречностью возникают неувязки, мешающие понять семантику и даже прагматику текста. Вместе с тем отметим, что здесь О.А. Шор была «неповинна» в ошибке, она неверно прочитала, но не переменяла функцию текста.

Но вот несколько примеров неверного чтения, основанного на презумпции преимущественно возвышенного стиля, ориентированного на славянизмы и сакральные тексты. В записи 15 июня 1908 года Шор читает фразу: «Сегодня странно и таинственно на сердце и...», потом доходит до срезанного края листа, прочитывает три буквы «вер» и делает примечание: «Оторван край страницы. Вероятно <,> написано было: – верую. – О.Д.» (Иванов, II, 772). При таком чтении фраза получалась бессмысленной, но возвышенной: «Сегодня странно и таинственно на сердце и верую». На деле она вполне рациональна: «Сегодня странно и таинственно на сердце и вокруг».

Две следующие фразы первопубликатор читает: «Три нити, кажется, привязывают меня к земле. Одна – общая нам с Лидией – дело» (Иванов, II, 772). На деле же вторая из них звучит гораздо менее вещательно: «Одна – общее наше с Лидией дело». 3 августа 1909 года: «Милые строки Сережи <С.К. Шварсалона, старшего пасынка В.И.>, которого печаль бывает почти поэтической» (Иванов, II, 781). Стоит чуть-чуть отрешиться от ориентации на высокий слог, чтобы прочитать верно: «Милые строки Сережи, которого печаль делает почти поэтическим».

Подобных примеров в тексте немало, как, впрочем, и противоположных, когда вместо изысканной устаревшей формы воспроизводится современная: вместо «налево от старинного дедушкина бюро <...> спиной к другому маленькому Лидину бюро» – «дедушкиного» и «Лидиному» (см.: Иванов, II, 773); вместо редкостного «неповторяемость» – «неповторимость» (Иванов, II, 775), вместо «Что же меня не взяла, коль обещала» – «...как обещала» (Там же), и т.д. Но мы бы хотели поговорить не об этом, а о довольно значительном числе случаев, когда верность чтения определяется не интуитивным ощущением стилистической

выдержанности или невыдержанности текста, а знанием обстоятельств жизни Иванова и его близких, течения литературной жизни, логики событий и т.п.

2

В теоретических работах, посвященных текстологии, авторы нередко подходят к интересующей нас проблеме, однако ни разу, сколько нам известно, это не было сделано применительно к одной рукописи. Так, С.М. Бонди в замечательной работе «О чтении рукописей Пушкина» декларировал «решительный отказ от внешнего, протокольного подхода к рукописи, от стремления передать буква в букву все внешние особенности ее, не осмысляя этих особенностей, наоборот, желание все понять и рукописи, осмыслить ее форму, разобраться во внутренних причинах всех ее внешних особенностей <...> понимание черновика как конкретного и единого целого: такое построение работы, когда рукопись читается не по отдельным словам, а, наоборот, отдельные слова читаются на основании понимания всего целого, расшифровываются в данном конкретном контексте и с помощью этого контекста»¹. Однако как в дальнейшем в этой работе, так и в других статьях Бонди речь идет прежде всего о черновиках, причем по большей части – черновиках стихов. Здесь же перед нами беловой автограф дневника, т.е. текста в известной степени автокоммуникативного (хотя хорошо известно, что для Иванова дневник мог превращаться в текст едва ли не художественный) и построенного не по чисто эстетическим законам, но опирающегося на события действительной жизни. Стремление по-разному относиться к различным по своей прагматике текстам закреплено в последней попытке создать сводную теорию текстологии: «При изучении литературного произведения в каком бы то ни было аспекте неизбежен и незаменимый анализ самого его текста, – именно текста произведения, а не писем, дневников и других высказываний писателя, представляющих уже второстепенный интерес и требующих сугубо критического отношения»². И тот же А.Л. Гришунин сводит в дальнейшем интересующую нас теоретическую проблему к интерпретации художественного текста, не слишком задумываясь о том, что и другие порождения авторского сознания, закрепленные на бумаге, также нуждаются в осмыслении и адекватной передаче в печати. Для текстолога ни одна сторона творческой личности не может быть второстепенной. Дневники, письма, планы, выписки и пр. являются не «ущербными» в каком бы то ни было отношении, а полноправными текстами.

Мы предлагаем вернуться к более широкому пониманию задач, подлежащих ведению текстолога; их сформулировал Г.О. Винокур: «...первоначальная критическая деятельность, возникающая еще вполне независимо от каких-либо практических целей по отношению к внешнему виду памятного, существенно свободная в своей интенции, и обусловливается нашими потребностями понимания, внешнее выражение которого, так сказать, социализацию его, мы называем истолкованием, интерпретацией»³. И далее: «...критика не только указывает неверное, но признает также верное. Она видит не только искаженное, но и под-

линное. <...> И если мы не перед каждым печатным словом отдаем себе отчет, что совершили критический акт, то это только вследствие естественной привычки к механическому усвоению обиходных форм речи...»⁴. Именно «каждое... слово» автора, будь оно печатным или – в нашем случае – печатного вида при жизни не обретшим, должно подлежать неизбежному осмыслению человека, берущегося публиковать любой текст, дневниковый или эпистолярный в том числе. Дневник, таким образом, оказывается не только вспомогательным инструментом для филолога, но и текстом, нуждающимся в критическом осмыслении. Именно исходя из этого, обратимся к дневнику Вяч. Иванова, сравнивая то, что было опубликовано, с тем, что хранится в архиве.

Начнем с одного фрагмента, в чтении которого мы не можем быть уверены, но обязаны усомниться в единственной возможности понимания. 26 июня 1909 г. Иванов, по мнению Шор, записывал: «Конечно, Лидия уже раньше “вкусила смерть”, перешагнула за порог ее – во время земной своей болезни, даже до того, что могла принести весть – уже оттуда...» (Иванов, II, 774). Здесь вызывает сомнение своей неточностью слово «земной». Как его понять? Кажется, противопоставление «болезнь земная» – «болезнь в ином бытии» естественным не выглядит. И второй вопрос – к чему отнести занимающее нас слово? К последней болезни, от которой жена Иванова скончалась? Но она была короткой: заразившись скарлатиной, Зиновьева-Анибал умерла на седьмой день болезни. В последних ее словах не было никакой прямой «вести»: описания последнего дня фиксируют фразу, не совпадающую в деталях, передаваемых источниками, но более или менее легко определяемую. В классической биографии Иванова, написанной О. Шор, читаем: «Перед самым концом Лидия пришла в себя и в полном сознании, внятно сказала: “Светом светлым повеяло; родился Христос”» (Иванов, I, 120). Кажется, более можно верить «Истории моей души» М.А. Волошина, где под 26 ноября 1907 г., т.е. всего через месяц с небольшим после смерти Л.Д., записан рассказ Иванова о ее последнем дне: «Это было в три часа дня. <...> Пред этим она сказала в бреде: “Возвещаю Вам великую радость: Христос родился”. И я почувствовал великую радость»⁵. Но ведь это не «весть» сама по себе, а трансляция другой вести, евангельской: «И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь» (Лк., 2: 10–11). И Иванов, как записывает Волошин, прекрасно понимал, что имеет дело с цитатой, а не с собственной вестью умирающей жены. Кажется, учитывая весь этот контекст, уместнее было бы прочитать в интересующей нас записи не «земной», а «зимней», имея в виду, что зимой 1906–1907 гг. Зиновьева-Анибал долго и тяжело болела, длительное время провела в больнице, родные и друзья всерьез опасались за ее жизнь. Но в оригинале слово написано настолько невнятно, что мы не рискуем сделать окончательного заключения.

Зато в следующих случаях оно очевидно. Так, в переписанном Ивановым в дневник письме к М.В. Сабашниковой-Волошиной, том самом письме, которое она не могла ему простить до конца жизни, в опубликованном тексте читаем следующее: «Я понял, что не должен

брать на себя ответственность, вытекающую из Вашего решения остановиться на башне. Я не уверен, прежде всего, что Марья Мих. не почтет этого моего поступка несоответствующим тем намерениям, кот<орые> я высказывал ей при нашем свидании» (Иванов, II, 778). Марья Мих. – это, конечно, Мария Михайловна Замятнина, близкий друг Ивановых, с 1899 г. жившая с ними (или их детьми) и занимавшаяся домашним хозяйством. Тогда о каком же «нашем свидании» может идти речь? И почему Иванов, знавший ту безграничную преданность ему и семье, которой Замятнина обладала, вдруг начинает на нее ссылаться в письме к хорошо знавшей всю семейную обстановку Сабашниковой? Пристальное взглядывание в текст, спровоцированное сомнением в точности чтения, позволило увидеть в тесном столкновении букв другое сокращение: Марг. Ал., т.е. Маргарита Алексеевна Сабашникова, мать М.В. При таком чтении все становится на свои места, особенно если вспомнить мемуары М.В.: «Проездом в Москве он <Иванов> имел беседу с моей матерью по ее приглашению. Она требовала от него обещания отказаться от всяческих встреч со мной; такого обещания он, однако, не дал»⁶.

После этой записи следует другая, не обозначенная числом, о которой Шор пишет: «Ниже приводимая запись Дневника, сделанная на оторванном листе, есть, очевидно, продолжение какого-то сообщения, начертанного на предыдущей, автором уничтоженной странице» (Иванов, II, 778). Однако ее сообщение не подтверждается археографически: все записи в этой части дневника сделаны на листах, вырванных из не сохранившейся до наших дней тетради, и никакого особенного отрыва в данном месте нет. Мало того: в записи содержится, и даже дважды, прямое указание на место и время передаваемых событий. Однако Шор не знала одного существенного для ивановского окружения адреса, почему и не смогла это указание прочитать. Иванов пишет: «Суббота – на Горсткиной», и далее еще раз – «На Горсткиной беседа...» Публикатору название этой петербургской улицы ни о чем не говорило, прочитать ивановскую скоропись было трудно, поэтому, попробовав в черновике комментария прочитать (получилось – Горстниной, снабженное знаком вопроса: во второй раз получилось – «на горестной беседе»), она не справилась с задачей и просто выбросила первую фразу, а из второй сделала: «На беседе...» Между тем, на Горсткиной улице у своей тетки жила А.Р. Минцлова, и это делает всю запись ясной. Соотнесение же чисел с днями недели показывает, что интересующая нас сейчас запись сделана в субботу 4 июля 1909 года⁷.

4 августа того же года в книге читаем: «Гумилев просил об издании в “Весех” его рассказов» (Иванов, II, 782). Однако вся литературная ситуация протестует против такого чтения текста. Прежде всего – журнал «Весы» не мог издать рассказы ни Гумилева, ни кого бы то ни было еще: он сам издавался книгоиздательством «Скорпион» и, следовательно, при подобном чтении получалось бы, что Иванов записал какой-то абсурд. Мало того, в 1909 году «Весы» находились при последнем издыхании, а Иванов был от них вполне далек (хотя время от времени и печатался), так что просить его о какой-либо протекции было бессмысленно, чего Гумилев не мог не знать. Несомненно логичнее было бы

обратиться с просьбой к Брюсову, с которым в это время Гумилев регулярно переписывался. Более внимательное чтение позволяет рассмотреть иное название: «Гумилев просил об издании в “Орах” его рассказов» – и это ставит все на свои места: издательство «Оры» было практически домашним предприятием Иванова, на некоторое время заглушим, но как раз в 1908-1909 гг. возобновлявшим активность на книжном рынке (далее Иванов пишет о том, как он хотел бы в «Орах» выпустить роман в стихах М. Кузмина «Новый Ролла»). Отметим также, что после рассказа о просьбе следует тире и густо зачеркнутые несколько слов. Мы не можем быть абсолютно уверены, но, кажется, под чернилами и карандашом скрывается «я отказал», что отнюдь не безынтересно в контексте отношений двух поэтов.

Вполне аналогичный данному случай находим в записи от 18 августа, которая начинается: «Справился с корректурами “Сог Ardens”» и заканчивается: «Послал книги с корректурами в “Сириус”» (Иванов, II, 791–792). В 1909 году издательства «Сириус» не существовало даже в проекте, и такое чтение совершенно очевидно невозможно. Еще не видя оригинала, мы предположили, что речь идет о типографии «Сириус», существовавшей в Петербурге и прославленной замечательным качеством полиграфии. Но сам текст был еще более логичен: Иванов прочитал корректуры давно ожидаемого издательством «Скорпион» сборника его стихов, и, естественно, туда их и отправил: «Посылаю <тут еще одна незначительная неточность чтения> книги с корректурами в “Скорпион”».

6 августа Иванов подробно описал визит Сергея Платоновича Каблукова, преподавателя математики, любителя духовной музыки и секретаря Религиозно-философского общества. Круг его естественнонаучных интересов Иванова, судя по опубликованному тексту, описал так: «Каблуков занимался исследованием подъемных пустот, образовавшихся на финляндском побережье и указанных отложениями (неразборчивое слово – *О.Д.*). Его интересовала меньше опасность для Петербурга, чем величина в надежде определить сжатие земного эллипсоида. Писал диссертацию» (Иванов, II, 784).

Трудно сказать, сознательно или нет, но получилось, что при чтении этого неясно написанного фрагмента О.А. Шор исходила из гипотезы о том, что интересовавшие Каблукова горные породы являются осадочными (отсюда «подъемные пустоты» и «отложения»). Однако всякому, кто знаком с финляндским побережьем, очевидно, что образовавшие его породы вулканического происхождения и ничего подобного там быть не может. Прочитанные под этим углом зрения три фразы складываются в следующее: «Каблуков занимался исследованием подземных пустот, образовавшихся на финляндском побережье и указанных отклонениями маятника. Его интересовала меньше опасность для Петербурга, чем величина I^8 – надежда определить сжатие земного <?> эллипсоида. Писал диссертацию».

На следующий день к Иванову в очередной раз явился В.Ф. Нувель со своим тогдашним фаворитом поэтом П.П. Потемкиным, о котором сказано: «Потемкин очень задумчивый, серьезный, почтительно сердитый и напряженно устремляющийся в мыслях к вечному сомнению сво-

ему в поэтическом таланте, провел лето, контролируя в вагонах пассажирские билеты и переводя Гётовский “Диван”» (Иванов, II, 784–785). Согласимся, что выражение «почтительно сердитый» выглядит неуместным в незатейливо описательном тексте оксюмороном. Это заставляет присмотреться к почерку Иванова пристальнее и прочитать: «Потемкин, очень задумчивый, серьезный, почтительно [ласковый] сердечный и напряженно устремляющийся в мыслях к вечному сомнению своему...»

Переходим к следующему дню и читаем: «От АР. <А.Р. Минцловой> из Берлина об инциденте между Мосовой и Вяткой о камне, брошенном в поезд» (Иванов, II, 785). Не очень трудно догадаться, что «Мосовая» здесь опечатка и речь идет о Москве. Но как попала в текст Вятка? И что значит «инцидент... о камне»? Если представить себе железнодорожный маршрут из Москвы в Берлин, то никакой Вятки на пути не будет, зато одна из первых станций на нем – Вязьма. И фраза принимает вполне удобопонятный вид: «От АР. из Берлина об инциденте между Москвой и Вязьмой, – о камне, брошенном в поезд».

9 августа Иванов рассказывает о посещении могилы Зиновьевой-Аннибал в Александро-Невской Лавре, когда он получил от покойной приказ купить ей душистую розу и посадить ее. После покупки Иванов «...вернулся в Лавру и зашел к вечерне», после чего следует фраза: «Монахи образовали хор в два креста посреди церкви и в дивных словах славили бесчисленных праведников, живших во Христе» (Иванов, II, 786). Здесь вызывают серьезное сомнение «два креста»; да и слово «праведники» подразумевает не только тех, кто жил «во Христе», а тех, кто вел праведную жизнь, не зная Его (как ветхозаветные праведники). Держа эти представления в уме, читаем фразу совсем иначе: «Монахи образовали хор в два крыла посреди церкви и в дивных словах славили бесчисленных праведников, живших до Христа».

Запись от 14 августа, в которой рассказывается о визите на Башню К.А. Сомова, читается с большим напряжением, и немудрено было ее понять неверно. По крайней мере, два места в опубликованном тексте кажутся нам искаженными. Сперва речь идет о характеристиках художников, даваемых, с одной стороны, Сомовым, а с другой – Ивановым. Последний приводит свою точку зрения относительно творчества Л.С. Бакста: «Утверждал против него одаренность Бакста, le grand art декоративных панелей» (Иванов, II, 789). Что за «декоративные панели» здесь имеются в виду? Конечно, у Бакста в творчестве декоративное начало имело большое значение, это несомненно, но откуда «панели»? Тем более, далее идет речь о фресках, что от панелей весьма далеко. Странность опубликованного текста вынудила всмотреться пристальнее в автограф и прочитать: «Утверждал против него одаренность Бакста в grand art декоративного пошиба». А последняя фраза в записи этого дня звучит вообще парадоксально и требует осмысления: «Сомов говорил о лице Веры, не переносит ее греческой, холодной надменности» (Иванов, II, 789). Влюбленный в падчерицу Иванов, с нетерпением ожидающий ее возвращения с летнего отдыха, очевидно не мог бы перенести такой характеристики, не возразив. Однако ни о каком возражении речи не идет. Надо сказать, что чтение написанного на самом деле, потребовало особой внимательности и тщания. В автографе значится: «Сомов гово-

рил о лице Веры, ее переносице греческой, ее холодной надменности».

19 августа Иванов дает «аудиенцию» С.М. и А.А. Городецким. Разговор был напряженным, на фоне сложных отношений предшествующих лет Иванов его воспринял очень всерьез, и всякая фраза в дневнике была особенно взвешенной. И в этом контексте обращает на себя внимание такой фрагмент: «Она сказала, что не любит Сергея. Он был серьезен и премил и сказал, что есть у него подозрение, что она, б<ыть> м<ожет> права. Рекомендовал строгость и расхождение как лучший способ и честнейший самопроверки и самосознания в свободе» (Иванов, II, 792). Прежде всего, словечко «премил» явно не принадлежит к числу характерных для Иванова, да и по смыслу оно здесь явно не на месте, выбивается из внутренней логики повествования. Во-вторых, странным выглядит согласие Городецкого с тем, что его не любит обожаемая «Нимфа». Наконец, формально последняя фраза воспринимается как реплика Городецкого, к тому же еще и нелогичная: «строгость и расхождение» вряд ли могут сочетаться друг с другом. Для того, чтобы верно понять этот пассаж, необходимо вспомнить, что на протяжении довольно долгого времени Иванов был увлечен Городецким не только как поэтом, но и как реальным объектом любви, который по большей части отвергал пылки устремления старшего поэта, но чувственной симпатии того это не разрушало. В этом контексте логично представить другую ситуацию: Иванов полагает, что брак Городецкого только вредит его художественному дарованию, а на пользу пошло бы возвращение под влияние Иванова. Недаром рассказ о посещении завершается фразой: «Сергей прекрасен, нежен, как девушка; я его по-прежнему люблю, он меня волнует». Держа в голове эти обстоятельства, легче понять истинный текст: «Она сказала, что не любит Сергея. Он был серьезен и трагичен <?>; я сказал, что есть у меня подозрение, что, б<ыть> м<ожет>, она права. Рекомендовал стремиться к расхождению как лучший способ, и честнейший, самопроверки и самосознания в свободе».

3

Оставляя в стороне другие случаи чтения фрагментов текста, не отягченных жизненным и творческим контекстом, обратимся к четырем чрезвычайно любопытным литературным случаям, иллюстрирующим общее положение о том, что у текстолога (равно как и у любого другого исследователя) очень часто возникает соблазн подставить в текст вместо имени скромного литератора имя или намек на имя другого, гораздо более авторитетного или ему лично лучше известного писателя.

Уже не разбирая текст дневника, а комментируя его, мы столкнулись с выявившимся несоответствием. 5 августа, согласно опубликованному тексту, было записано: «Вечером был на редакционном собрании “Аполлона”. Встретил, кроме Маковского и Анненского, Бенуа, Добужинского, Мейерхольда, Судейкина, Врангеля. Приехал с Гумилевым. Говорил с Волошиным, который был забавен, – по поводу его бранного фельетона обо мне» (Иванов, II, 783). Никакого «бранного фельетона» Волошина об Иванове в его хорошо разработанной библиографии не значится. А по сведениям «Грудов и дней Максимилиана Во-

лошина», основанных на фундаментально проработанных покойным В.П. Купченко источниках, его и вовсе в то время в Петербурге не было. Он находился в Коктебеле и вернулся только 5 сентября. Исходя из возможностей начертания, следует заключить, что назван был А.Л. Волынский, на заседании присутствовавший⁹. Но Иванов такой скорописью сделал запись, что разобрать фамилию можно, только зная наверняка, о ком может идти речь (неточность была замечена и исправлена В.П. Купченко, рукописи не видевшим¹⁰).

Под 27 августа читаем в «Собрании сочинений»: «...Савитри <псевдоним польской писательницы Хелены Загорской> рассказывала, что с Гумилевом <так!> творится недоброе. Заехал к Г.И., не застал его и вызвал к себе на завтра запиской» (Иванов, II, 796). На следующий день читаем: «Явился на зов Чулков», и не можем не задаться вопросом: почему, если недоброе творится с Гумилевым, Иванов едет к Г.И. Чулкову, вызывает его к себе на следующий день и проводит своего рода психотерапевтический сеанс? Обращение к оригиналу с достаточной степенью легкости объясняет ошибку чтения: там, конечно, написано «Чулковым», а не «Гумилевым».

Через день, 29 августа, Иванов записывает: «Были сестры Беляевские, с которыми я решил провести весь вечер. Читали они мне “Часы”» (Иванов, II, 797). В этом контексте «Часы» безошибочно опознается как широко известная повесть А.М. Ремизова (впервые опубликована в 1908 г.), которую безвестные сестры Беляевские Иванову читают. На самом деле, с этими сестрами, Ольгой и Юлией, у Замятниной, а потом у Иванова и Зиновьевой-Аннибал были долгие и тесные отношения. Сестры читали стихи Иванова и их пропагандировали, а Иванов, в свою очередь, выслушивал (не очень понятно, по своей охоте или из вежливости) их сочинения, прежде всего стихи Ольги Александровны¹¹. Когда вспоминаешь это, возникает стремление проверить, все ли в опубликованном тексте соответствует стилю и духу этих отношений. И выясняется, что не все. На деле Иванов записал: «Были сестры Беляевские, с которыми я решил провозиться весь вечер. Читались Ольгины “Часы”». Таким образом, на место знаменитого произведения должно быть поставлено имя никому не известного.

И, наконец, случай последний, но очень существенный. 5 сентября Иванов записывает, согласно опубликованному тексту, следующее: «Секретарь Маковского пишет, что «Аполлон» благодарен за доставленное (значит, я устроил стихи Верховского туда?) и что больной просит заехать к нему. Собираюсь завтра, чтобы передать стихи Бородаевского и устроить комнату для Мандельштама, о чем просил сегодня Ауслендер» (Иванов, II, 801). И на следующий день: «Был у больного Маковского. Он благодарил за стихи, которыми очень доволен. Просил позировать. Говорил о поэтической академии. Устроено тотчас дело Мандельштама (он велел секретарю послать 25 р.)» (Иванов, II, 802–803).

Надо сказать, что на первый взгляд в этом случае никаких несообразностей в тексте усмотреть не удастся. Известно, что Иванов опекал молодого Мандельштама, они обменивались письмами, и было бы естественно, чтобы старший поэт попросил за младшего у редактора, распо-

ряжающегося довольно значительными средствами. Именно поэтому запись в дневнике Иванова стала одним из твердых хронологических оснований, на которых держится канва различных описаний взаимоотношений двух поэтов¹².

Несколькостораживают два момента. Прежде всего – Мандельштам в это время находится не в Петербурге, а за границей – то ли в Швейцарии, то ли уже в Гейдельберге. Уверенно написали об этом еще комментаторы «Камня» в «Литературных памятниках»: «Мандельштам уехал за границу не позднее июля и до конца года в Россию не возвращался»¹³. Столкнулся с этим противоречием П.М. Нерлер, попытавшийся выйти из него таким образом: «Похоже на то, что из Монтрё Мандельштам одно время собирался заехать в Петербург. <...> Во всяком случае 6 (19) сентября Мандельштама в Петербурге не было, раз деньги – а это скорее всего гонорар за стихи, принятые в “Аполлон” еще весной или в начале лета – нужно было куда-то послать»¹⁴. Однако первая публикация Мандельштама в «Аполлоне» состоялась лишь в девятом (за июль–август) номере за 1910 год; согласно тогдашней практике, стихи, как правило, не лежали в редакциях подолгу. Одним словом, точного ответа на подразумеваемый вопрос соображения комментаторов не дают. Не лишне будет, как кажется, добавить и соображение ad hominem: проблема комнаты – явно не из тех, о решении которых даже такой человек, как О.Э. Мандельштам мог бы без зазрения совести просить своего мэтра.

Скорее из соображений максимальной фактологической и текстологической точности в тех местах, которые касаются знаменитых литераторов, мы внимательно стали перечитывать текст, и оказалось, что ни в том, ни в другом случае фамилия Мандельштама не может быть прочтена без весьма значительных натяжек. Особенно определенно это происходит во втором случае, где легко и отчетливо читается: «Был у больного Маковского. Он благодарил за стихи, которыми очень доволен. Просил позировать. Говорил о поэт<ической> академии. Устроено тотчас дело Линденбаума (он велел секретарю послать 25 р.)».

Имя Владимира Васильевича Линденбаума, с одной стороны, связано с весьма значительным эпизодом из истории символистского литературного движения, поскольку он был меценатом и формальным редактором журнала «Перевал», где сотрудничал и Иванов (хотя очень незначительно – только цикл из трех стихотворений, да два письма в редакцию), и упомянутый в предыдущей записи С.А. Ауслендер¹⁵. С другой стороны, мы знаем о нем чрезвычайно мало, неизвестны даже годы жизни¹⁶. Выйдя на литературную арену в 1906-1907 годах, далее он проваливается в безвестность. Если мы взглянем под этим углом зрения на запись предшествующего дня, то она предстанет перед нами другой: «Секретарь Маковского пишет, что “Аполлон благодарен за доставленное (значит, я устроил стихи Верховского, шутя¹⁷?) и что большой просит заехать к нему. Собираюсь завтра, чтобы передать стихи Бородаевского и устроить...» Нет, не комнату: «коллекту», то есть сбор вспомоществования в пользу некоего лица. «...для» – и дальше мы не можем сколько-нибудь ответственно прочитать написанную фамилию. Конечно, это не «Мандельштам»: ничего, напоминающего эту фа-

милию перед нами в оригинале нет. Довольно отчетливо там читается: «Линден...ма», что заставляет предположить чтение «Линденбаума». Однако ни «б», ни «у», у Иванова всегда весьма заметные, не просматриваются. Остается предположить только то, что Иванов замятговал фамилию довольно эпизодического персонажа из истории символистской журналистики и воспроизвел ее по памяти как-либо вроде «Линденшлем», «Линденглем», «Линденклим» – тут, с нашим зрением и фантазией, приходится только гадать.

Окончательно укрепиться в нашей догадке позволила публикация, появившаяся уже после окончания работы над данной статьей: в комментариях к письмам И.Ф. Анненского А.И. Червяков привел письмо Линденбаума к нему, датированное 17 февраля того же 1909 года: «На “Перевале” я потерял все мое состояние – 25 000 руб. После прекращения журнала я первое время служил на жалованьи в 200 руб. у одного из ярославских нотариусов, затем – корректором в одной из местных газет. Газета лопнула, и в данную минуту я нахожусь в самом отчаянном положении. <...> Через месяц здесь начнет выходить новая газета, и я буду служить там корректором. <...> Бога ради, вышлите мне 55 р. Мне нужно заплатить за квартиру и обед, нужно шить себе хоть какой-нибудь костюм, а в кармане нет ни одной копейки. Простите меня за нахальство. Но подумайте Вы, обвиняя меня, о том, что я – издатель “Перевала”»¹⁸.

Позволим себе также сообщить любопытный факт, выяснившийся в процессе работы над комментариями. Среди многочисленных записных книжек М.М. Замятниной, хранящихся в московском архиве Иванова, есть одна, явно начатая в 1909 году, в которой как сама Замятина, так и другие члены семьи записывали различные адреса. Сперва беглым почерком Замятниной карандашом записано: «Мандельштам Осип Эмильевич Коломенская 5 Тел. 210-17»¹⁹. Можно предположить, что запись эта была сделана во время собраний «Поэтической академии», на которых Мандельштам присутствовал²⁰. Но на следующей странице уже сам Иванов чернилами и необычно для себя разборчивым почерком записывает: «Мандельштам Флора Осиповна Моховая 27, кв. 55 (до 24.IX) потом: Загородный 70 т. 124-59», – и следующей строкой: «Мандельштам Осип Эмильевич Heidelberg, Continental. Anlagen, 30»²¹.

Таким образом, перед нами прошел целый ряд образцов, иллюстрирующих ту сторону текстологии, которая или вовсе обходится современными теоретиками, или остается в тени. Нам представляется, что любое теоретическое осмысление этой науки должно включать положение о том, что подлинная критика текста должна основываться на системном представлении не только об эстетических предпочтениях автора, его понятиях о литературной технике и пр., но и на знаниях эпохи (исторической и литературной), причем не в самом общем, глобальном смысле, но и в мельчайших подробностях, иногда излишних для литературоведа, мыслящего обширными категориями, но обязательных для текстолога.

А вслед за этим на передний план должна быть выдвинута еще одна проблема, которую следовало бы осмыслить в теоретическом плане, – проблема восстановления тех тонких причинно-следственных связей,

которые были очевидны современникам, но оказались с течением времени забыты не только рядовыми читателями, но и исследователями. Однако это заслуживает специальной работы.

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ МЕЖДУ РИМОМ И ГРЕЦИЕЙ

Картина академических штудий Вячеслава Иванова к настоящему времени кажется более или менее выясненной. М. Вахтель опубликовал документы о его учебе в Берлинском университете, показав, что основным наставником и непосредственным научным руководителем его был не Т. Моммзен, как считалось ранее, а О. Гиршфельд¹. В недавно изданной переписке Иванова с И.М. Гревсом убедительно продемонстрирован как самим текстами писем, так и высококвалифицированными комментариями не только высочайший профессиональный уровень ивановских занятий историей древнего Рима, но и многие специфические черты этих занятий². Однако вторая его историческая специализация – древняя Греция с особым вниманием к ее религии – изучена гораздо менее, несмотря на то, что именно она сделала Иванова по-настоящему известным относительно широкой публике: «Эллинская религия страдающего бога», появившаяся в достаточно популярном петербургском журнале, оказалась едва ли не более значимой для читателей, чем первые поэтические книги автора.

Конечно, сама по себе концепция Иванова так или иначе осмыслялась любым исследователем, писавшим обобщающую работу о нем, но нельзя не сказать, что лакуны здесь видны невооруженным глазом.

Прежде всего, это относится к самим текстам: «Эллинская религия...» ни разу не была перепечатана со сколь-либо подобающим комментарием. Существуют экземпляры корректуры приготовленного самим Ивановым издания 1917 года, но они до сих пор обнаружены лишь в небольших фрагментах³. Не опубликованы сохранившиеся конспекты лекций Иванова в Парижской высшей школе общественных наук⁴. Известно, что в 1909 году он работал над примечаниями к книге – эти примечания не разысканы (возможно, утрачены вовсе). Таким образом, важнейший текст, фиксирующий ивановские исторические построения, фактически остается неизданным.

Не осмыслены должным образом источники знаний Иванова и объекты его полемики. Конечно, имя Ницше не мог миновать ни один автор статей и книг об Иванове, но практически всегда немецкий мыслитель воспринимается исключительно как философ, тогда как Иванов вряд ли случайно любил повторять характеристику Ницше, данную Вл. Соловьевым, – «сверхфилолог». Влияние именно филологической составляющей творчества Ницше на Иванова практически не изучено. Не описан метод, которым пользовался Иванов в работе над изучением греческой

религии, мало известны и источники, которыми он пользовался⁵. Понятно, что в рамках одной небольшой статьи такие значительные темы не могут быть даже затронуты сколько-нибудь подробно. Что же мы предлагаем читателям?

Как и М. Вахтель в упомянутой в примечании 5 работе, мы оттачиваемся от подготовленной нами совместно (а также в сотрудничестве с Д.О. Солодкой) к печати переписки Иванова с Л.Д. Зиновьевой-Аннибал 1894-1903 годов, отразившей очень существенные моменты жизненной и творческой эволюции обоих корреспондентов. И в данной статье мы делаем попытку в самом кратком очерке уловить жизнетворческий аспект перемены интересов Иванова в сфере науки об античности. При этом мы не склонны присоединяться к мнению авторитетных ученых, полагающих, что он «избывал в своем становлении сначала призвание историка римских правовых институтов, затем – историка греческой религии...»⁶ Мы исходим из того, что филологические занятия Иванова (а он уже в 1894 г. уверенно писал: «Филология есть именно "наука о классической древности" в ее полном объеме; при этом она не знает другого метода, другого угла зрения, кроме исторического»⁷) явились важнейшей составной частью его творческого сознания, в том числе и художественного. Как кажется, речь должна идти не об «избытании», но о трансформации науки в поэзию.

В самой ранней из известных нам автобиографий (1904) Иванов писал: «Весной 1901 г. я совершил поездку в Грецию, Палестину и Каир и остался в Афинах до весны 1902 г.; меня занимал вопрос о существе происхождения религии Диониса. <...> Весной 1903 г. я приглашен был прочесть какой-либо научный курс в русской Высшей школе общественных наук в Париже: я прочел 12 лекций о религии Диониса, излагая те выводы, которые уже намечались как остов задуманного мною нового исследования об этом предмете»⁸.

Более или менее очевидно, что здесь начинающий, в общем, поэт, не обладающий сколь-либо серьезной литературной репутацией, не решался еще подробно говорить о своих духовных поисках. Значительно более подробен он в известном «Автобиографическом письме» к тому же С.А. Венгеру: «В 1891 г. <...> я отправился в Париж с томиками Ницше, о котором начинали говорить. <...> Властителем дум моих все полнее и могущественнее становился Ницше. Это ницшеанство помогло мне – жестоко и ответственно, но, по совести, правильно – решить представший мне в 1895 г. выбор <...> Встреча с нею <Зиновьевой-Аннибал> была подобна могучей весенней дионисийской грозе <...> И не только во мне впервые раскрылся и осознал себя, вольно и уверенно, поэт, но и в ней <...> Рима, однако, я не оставлял для эллинизма и за почти годичное наше пребывание в Англии усердно собирал, в лондонском Reading-Room при Британском музее, материалы для исследования религиозно-исторических корней римской веры во вселенскую миссию Рима. Зато в Афинах, где я пробыл год, я уже всецело предаюсь изучению религии Диониса. Это изучение было подсказано настойчивою внутреннею потребностью: преодолеть Ницше в сфере вопросов религиозного сознания я мог только этим путем» (Иванов, II, 19–21).

Направление эволюции своего творческого сознания Иванов наме-

чает вполне уверенно, но обращает на себя то, что далеко не во всем он точен. Так, говоря о том, что только встреча с Зиновьевой-Аннибал понастоящему открыла в нем поэта, он сам же себе начинает противоречить, рассказывая, как Вл. Соловьев одобрил и предлагал печатать его стихи, написанные по большей части до встречи с нею⁹. В Англии Ивановы пробыли не «почти год», а приблизительно 9 месяцев, но из них пользоваться читальным залом Британского музея Иванов мог не более двух с половиной месяцев: в конце августа 1899 г. они прибыли в Саутгемптон, 26 августа родилась дочь, так что к занятиям реально можно было приступить только с начала сентября; 15/27 ноября дочь скончалась, сразу же после этого Иванов заболел тяжелой формой гриппа, и с научной работой было покончено¹⁰.

Страдает хронологическими неувязками и еще одна автобиография Иванова, относимая к 1919 году: «...надолго <после 1896 года> расстаться с наукой я не мог и сначала принялся за неоконченное исследование об оракулах и сивиллинских пророчествах, влиявших на развитие римской государственной идеи до Августа и при Августе, а потом – под импульсом Ницше – за изучение Дионисовой религии»¹¹, и далее он упоминает в этой связи перевод Пиндара, сдвигая его на год ранее реально. Здесь компрессия жизненных событий достигает едва ли не наиболее значительной степени, как мы будем иметь случай показать далее.

На основании имеющихся в нашем распоряжении материалов, хронологически выверенное перемещение интересов Иванова из одной сферы в другую, как кажется, можно выстроить следующим образом.

«В 1891 г., отбыв в Берлине девять семестров» (Иванов, II, 19), Иванов отправляется в Париж, в уже оттуда, весной 1892 года, – в Италию. То, как он оттягивает основательное знакомство с Римом, наглядно свидетельствует, что пребывание в городе, который являлся центром всего, подлежащего изучению в его диссертации, рассматривалось как кульминационный и одновременно завершающий период всей работы¹². Однако волею судьбы Рим стал местом начала нового этапа его жизни: 16 июля 1894 г. лунной ночью он вместе с Зиновьевой-Аннибал был в Колизее и надел ей на голову плющевый венок. Этот день навсегда остался в памяти у них обоих. В конце лета Ивановы перебираются из Рима во Флоренцию, однако в канун нового 1895 года глава семьи, уже один, снова возвращается в Рим, чтобы завершить диссертацию. И снова в его жизнь вторгается Зиновьева-Аннибал, приезжая туда, чтобы на этот раз окончательно связать судьбы.

Дважды стремление к завершению научных исканий прерывается вторжением новой любви, однако Иванов словно не хочет поддаваться искушению. В конце 1895 и начале 1896 года он уже вполне условливается обо всех этапах завершения работы: получает согласие не слишком доброжелательного Моммзена отрецензировать диссертацию, обговаривает процедуру и объем знаний для предварительного экзамена, выясняет и улаживает административные подробности и после этого уезжает в Париж готовится к экзамену, прихватив с собою пять томов книги Моммзена «Римское государственное право». Но и через год, на грани 1896 и 1897 гг., имея неплохую возможность поработать в Париже, он

снова находится в том же положении: снова визиты к Гиршфельду и Моммзену, снова назначение даты экзамена, сговор о печатании книги и пр.¹³

Однако затем наступает темный для исследователей период: процесс развода Зиновьевой-Аннибал вступает в решающую стадию, свидетельства о ее совместной жизни с Ивановым могут разрушить все усилия, и Ивановы скрываются так, чтобы их было невозможно найти. С осени 1897 до конца 1898 года они с детьми живут в крошечном городке Аренцано около Генуи, потом поселяют детей и временами сами живут под Неаполем... Ясно, что никакая систематическая научная работа в таких условиях вестись не могла. Однако вовсе не исключено, что мысли о перемене научной темы могли зародиться у Иванова именно тогда¹⁴.

В письме, по-гоголевски датированном: «День был без числа» (мы полагаем, что на самом деле это было 23 ноября / 5 декабря 1901 г.) Иванов сообщал М.М. Замятниной: «Сегодня вечером подсчитывал итоги прожитых лет и нашел, что научно бездействую 5 лет с половиной, за вычетом недель (плодотворных) в милом нашем Reading Room. Поэтому научный возраст мой определяется формулой $n - 5\frac{1}{2}$ (где n – число лет жизни). Утешаюсь, как видите. Потому что имею ощущение, будто проснулся и не знаю, сколько времени и отчего же столько спал»¹⁵.

И здесь перед нами возникает вопрос, чем же Иванов занимался в эти недели (или месяцы) в Лондоне, и что потом обдумывал, уже лишенный возможностей для занятий, на берегу моря в небольшой Корнуолльской деревушке. Отчасти на этот вопрос дают ответы его письма к М.М. Замятнинной этого времени.

В недатированном осеннем письме к М.М. Замятнинной, уезжавшей из Лондона в Россию, Иванов писал: «... вот вам поручение, исполнение которого мне крайне важно для настоящей моей работы. Зайдите в Берлине в Университет с главного подъезда <...> и, позвонившись у *Ober-Pedell*'я <...>, спросите у него или его жены так: «*das lateinische Verzeichniss der Vorlesungen für den Winter 1892/3 achtzehn hundert zwei und neunzig – drei und neunzig haben?*» И если нет, то добудьте мне его, где хотите, – зайдите в какой-нибудь богатый книжный магазин близ Университета (сзади) или на *Unter den Linden* (или *Mayer & Müller, Behrenstr.* против *Kgl. Bibliothek*) или еще куда, и купите

INDEX LECTIIONUM, Universität Berlin, lateinisch, Winter 1892/93, или велите немедленно выслать по моему адресу. А также кстати *Index* и за последние два-три года, по два выпуска в год, *по латыни*. Дело в том, что *Index* включает филолог<ическое> предисловие *Vahlen*'а, здесь его за последние годы нет, а в *Index 92/93 г.* помещена статья, как раз трактующая то, чем я занят, и, как я боюсь, антиципирующая мои результаты. Поняли, *Марусенька?*»¹⁶

Как кажется, именно здесь мы можем увидеть указание на все те еще римские интересы, о которых Иванов писал в «Автобиографическом письме», цитированном выше. Но это последнее из нам известных свидетельств таких интересов. Трудно удержаться от искушения связать перелом (если он действительно состоялся в предполагаемое нами вре-

мя) со смертью крошечной дочери Елены. На следующий день после ее смерти Иванов сделал приписку к письму Зиновьевой-Аннибал к Замятниной: «Дорогая Маруся, мы не знали до сих пор, какую ценность для нас и какую над нами силу может приобрести маленький младенец. [Его трагедия <?>] Событие это – что-то особенное и чрезвычайное. Чувствуем руку, нас ведущую, – куда? Любя и плача, учимся верить – и надеяться...»¹⁷ Ощущение водящей руки вполне могло вызвать стремление трансформировать всю свою нынешнюю жизнь.

Как мы уже говорили, после смерти дочери Иванов тяжело заболел и по настоянию доктора они с Зиновьевой-Аннибал перебрались к морю. 28/15 марта 1900 г. он писал Замятниной: «§ 1. Если у вас в библиотеке есть Roscher's Mythologisches Lexicon, то может случиться, что получен и 39-й выпуск его (продолжение буквы N); последний выпуск, который я видел, кончается NIKE и вышел в 1898 году. <...> будьте столь сердечно- и товарищески-добры и выпишите мне отсюда статью NIOBE (если длинна, пропустите отдел «Niobe in der Kunst»). В Публичную библиотеку не прошу обращаться, потому что не знаю даже наверно, есть ли 39. Lieferung. В университетской библи<отеке> Rocher's Lexicon должен быть, и то, о чем прошу, очень для меня важно. § 2. Во всяком случае, перепишите мне, пожалуйста, статью *Niobe* из Pauli's Real-Encyclopädie des classisches Altertums. Это старая, но хорошая энциклопедия (новое переиздание еще далеко не достигло N <...>. § 3. Поручение тонкое и эсotericское. Если в статьях о Ниобее найдется что-нибудь об отношении мифа Ниобеи к *Дионису*, то не сможете ли Вы выискать и выписать мне те места древних авторов (в подлинном тексте), на которые делается ссылка. Напр., *Hug. Fab.* = *Hugini fabulae* и т.п. – возьмите их и отыщите данное место: дело будет идти лишь о нескольких строках. – *Скорым*, немедленным исполнением этого поручения, необходимого для текущей работы, очень тронете и обяжете»¹⁸.

1/14 апреля та же тема развивается: «Пожалуйста, обратите внимание (вам же и для немецкого языка полезно обратить внимание на содержание переписываемого) на пункт об отношении мифа о Ниобее к *Дионису-Вакху*, если есть что об этом важно для меня чрезвычайно в вопросе. И тогда выпишите, повторяю, подлинный текст, на который ссылаются. <...> я имею даже большое искушение попросить вас взять «August Nauck, *Fragmenta Tragicorum Graecorum*» и выписать сохранившиеся фрагменты из трагедии «Ниобея» (*Niobe, Nióβη*) *Эсхила* (*Aeschylus*) и таковой же *Софокла* (*Sophocles*). <...>

P.P.S. И еще забыл попросить вас *прочсть* у Roscher'a *Niobe in der Kunst* (*но не* выписывать!!!) – и в случае, если натолкнетесь на имя *Dyonisos* и т.п., выписать об отношении *Ниобеи к Дионису*»¹⁹.

И последняя цитата того времени – из письма от 25/12 апреля: «Видите ли, этот ваш труд я должен был бы сделать сам, но мог только гораздо позднее, когда усядусь в Лондоне, например, а между тем дело было неотложное. Поясню вам, что дело идет о большом художественном труде, уже начатом, но не только подвигать его вперед, но и (что еще важнее) установить его план и даже решить, *возможен* ли он и верна ли его основная идея, нельзя было, не имея под рукой известного филологического материала. И без того пришлось все почти предугады-

вать и предчувствовать, и принимать как бы данным a priori; вот почему говорю, что сообщаемое вами мне драгоценно: теперь знаю, что план я начертал правильно, и правильно начал, мой поэтический и филологический такт оправдан, ведение дела дальше возможно, и помимо всего того, я обогащен превосходным материалом, которым буду пользоваться на каждом шагу. «Ниобея», конечно, не предназначается для сборника, а для отдельного издания; но помните, что все это – *секрет*»²⁰.

Напомним, что неоконченная трагедия «Ниобея» (как пронизательно заметил Г.М. Кружков, психологически связанная с горестными событиями в жизни четы Ивановых) должна была стать частью драматической трилогии, в предисловии к которой автор писал: «Идея Диониса, являющаяся для автора разрешением и последним словом трилогии, как и разрешающим словом запросов современности, могла быть выражена наиболее просто и подлинно только в образах той мифологии, которая впервые ввела ее в религиозно-нравств<енное> сознание человечества»²¹.

Но все же окончательно фиксируется переход интереса Иванова-ученого к Древней Греции годом позже, в 1901 году, когда он отправляется в Афины. И показательно, что в открытке, написанной по дороге туда 27 февраля / 12 марта Зиновьева-Аннибал рассказывала Замятниной про Рим: «Мы остановились не только в той же гостинице, но в той же комнате, что и 6 лет тому назад. Мы были бесконечно счастливы, но вчера Вяч. на концерте Палестрины (где мы стояли) сломился и громко рыдался, потом весь вечер рыдал дома, отказываясь от Греции, настаивая на том, чтобы ехать домой, желая лишь отречения в жизни. Он боится за *здоровье Веры* и из-за нее не имеет покоя»²². Конечно, внешняя причина кризиса могла быть уловлена Зиновьевой-Аннибал верно, но у нас почти нет сомнения, что сам перелом, окончательный выбор давался Иванову нелегко, и его рыдания были связаны с живым переживанием прошедшего и ясным пониманием того, что будущее станет совершенно иным. Вряд ли случайно писал он И.М. Гревсу: «О внутреннем содержании жизни скажу только, что мое неофитство (разумею обращение к эллинской древности и, в частности, к истории религии) дается мне трудно, что передо мной, грозя, открываются дали за далами, что покамест "ничего в волнах не видно"...»²³

Но чрезвычайно характерно, что историей религии он начал заниматься как настоящий ученый: «...изучал топографию, музеи, надписи по камням (под руководством Дерпфельда и Вильгельма) и в библиотеке Германского Археологического Института собирал материалы по истории Дионисова культа»²⁴ Письма показывают, что занятия Иванова археологией и эпиграфикой были весьма серьезными и заслужили одобрение опытных специалистов. Но цель их была, как свидетельствуют довольно многие оговорки автора, уже совсем иной: не научные разыскания, а разрешение вопросов религиозного сознания и художественное творчество.

К ИЗУЧЕНИЮ КРУГА ЧТЕНИЯ ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВА

Памяти Г.М. Бонгард-Левина

Источники феноменальной эрудиции Вячеслава Иванова, о которой вспоминают едва ли не все, его знавшие и бывшие в состоянии ее оценить ¹, конечно, определить сколько-нибудь полно не будет возможно никогда. Но это не значит, что мы должны избегать даже попыток решения этой задачи. Всякое свидетельство из этой сферы должно быть принято во внимание, особенно если оно относится к числу принадлежащих самому Иванову.

Наиболее полное документированное свидетельство – публикация списков книг из различных домашних библиотек Иванова, осуществленная Г.В. Обатниным ². Необходимо сказать, что эти следовавшие друг за другом библиотеки были весьма неоднородны. Если попытаться гипотетически представить себе их последовательность, то она будет, видимо, такова.

Трудно себе представить, чтобы уже в московские годы жизни у Иванова не сложилась хотя бы небольшая собственная библиотека. 3 марта 1906 г. он писал своему пасынку С.К. Шварсалону, второй семестр занимавшемуся в Женевском университете: «Симптом твоей умственной лени: отсутствие потребности и желания покупать себе серьезные книги!.. даже купить программу лекций! – не первое ли дело для каждого нормального студента, достойного этого имени, употребить свой заработок – на *книгу!* нужную, любимую книгу, для разьянения стольких запросов мысли!..» ³ Это, как кажется, свидетельствует о том, что некоторое количество книг было у него самого с начала сознательной жизни. Но гораздо более значительная библиотека собралась в годы берлинского студенчества и работы над диссертацией. Уже в 1902 г. из Женевы Иванову написала М.М. Замятнина, рассказывая о своих занятиях в университете: «Вы пишете, чтобы не изволила пропускать лекций; конечно, постараюсь не пропускать, Вячеслав, Bouvier <... > постепенно все через Sorel⁷ я разбирает Molière. Такая обида, что у вас в библиот<еке> нет Molière, надо бы его хорошенько изучить. Надо будет взять из библиотеки, ведь я абонирована, но жаль не иметь своего» ⁴. В ответ на это Иванов писал (адресуясь к жене): «Жаль, что нет у нас Мольера. Скажи Марусе в мое оправдание, что у меня целая библиотека франц<узских> классиков в Берлине. Нужно написать Frau

Löw<enheim> и тебе переслать для приложения своего письма, и между прочим позаботиться о пересылке берлин<ских> книг»⁵. Мы не знаем, насколько эта библиотека была значительна и какая ее часть перешла в последующие собрания, но трудно себе представить, чтобы она полностью пропала. Логичнее всего было бы предположить, что она была перевезена сперва в Женеву на виллу Жавá, где Ивановы совместно прожили с апреля 1902 до лета 1905 года, а потом, при ликвидации женеvского жилья весной 1907 года – в Петербург⁶.

Но вместе с тем до какого-то времени Иванов чрезвычайно интенсивно пользовался публичными и научными книгохранилищами, мало того – ставил возможность работы в них чрезвычайно важным условием своего пребывания в том или ином месте. Относительно библиотеки Московского университета у нас сведений нет, однако уже берлинские библиотеки Иванов знал очень хорошо, почти интимно. Об этом свидетельствует его письмо к М.М. Замятниной, которая ехала из Англии в Россию через Париж и Берлин: «Не забудьте попросить чиновника в Kgl. Bibliothek о допущении к системат<ическому> каталогу: из сеней налево дверь с надп<исью> Katalog; первая комната затем занята алфавит<ным> каталогом, куда доступ открыт всем. Для ваших целей поучителен осмотр Universitäts-Bibliothek, недавно реорганизованной, – позади Университета, Dorotheenstrasse»⁷. Сведений о том, каким собранием пользовался Иванов в Париже у нас нет, хотя практически нет и сомнений, что по крайней мере одним из них во время его неоднократных пребываний там была Национальная библиотека. Точно так же не подлежит сомнению, что в Риме он пользовался библиотекой Немецкого Археологического института, о котором оставил признательные строки в «Автобиографическом письме». В дневнике 1924 года находим сведения о его посещениях римской Национальной библиотеки, но бывал ли он там ранее, – мы достоверно не знаем. Во время эпизодических наездов в Петербург он постоянно работал в библиотеках, но в каких именно, – трудно сказать. Несомненно – в Публичной, но, видимо, и в каких-то иных. Об этом свидетельствует его просительное письмо к той же Замятниной: «Дорогой друг Маруся!

Позвольте беспокоить Вас одним книжным поручением.

§ 1. Если у вас в библиотеке есть Roscher's Mythologisches Lexicon^{*}, то может случиться, что получен и 39-й выпуск его (продолжение буквы N); последний выпуск, который я видел, кончается NIKE и вышел в 1898 году. Боюсь, впрочем, что этими материями никто на ваших псевдо-филологических курсах не интересуется. Все же если бы словарь, паче чаяния, оказался, – будьте столь сердечно- и товарищески добры и выпишите мне оттуда статью NIÖBE (если длинна, пропустите отдел «Niobe in der Kunst»). В Публичную библиотеку не прошу обращаться, потому что не знаю даже наверно, есть ли 39. Lieferung. В университетской библи<отеке> Rocher's Lexicon должен быть, и то, о чем прошу, очень для меня важно. § 2. Во всяком случае, перепишите мне,

* «Ausführliches Lexikon der griechischen und römischen Mythologie». – *Примечание Иванова*. Слово «Lexikon» Иванов пишет то через к, то через с.

пожалуйста, статью *Niobe* из Pauly's Real-Encyklopädie des classisches Altertums. Это старая, но хорошая энциклопедия (новое переиздание еще далеко не достигло N, каковую букву Вы спросите в читальном зале Публ<ичной> Библ<иотеки>, если на ваших анти-филологических курсах Pauly нет)»⁸.

Здесь нас интересует не только сам замысел, связанный с трагедией «Ниобея», планы которой владели Ивановым долгое время, но так реализованы в сколько-нибудь законченной форме не были⁹, сколько осведомленность его о фондах различных петербургских библиотек.

Отметим при этом, что обратиться к Замятниной его вынудило отлучение от читального зала (Reading Room) Британского музея, где он мог работать осенью 1899 года. Первое из процитированных нами писем (о берлинских библиотеках) даже и написано в самом читальном зале. Но затем смерть новорожденной дочери Елены, болезнь собственная и болезни детей заставили Ивановых покинуть Лондон, и работа в библиотеке стала невозможной.

Весной 1901 года Ивановы отправились в Грецию. Видимо, эта поездка поначалу представлялась им не очень продолжительной, но 16-17 июля Зиновьева-Аннибал сообщила оставшейся в Женеве с детьми (кроме старшего, Сергея) Замятниной о своих планах: «Вот годы, и, собственно, с тех пор, как мы соединились с В<ячеславом>, что он благодаря особым тяжелым обстоятельствам нашей семьи принужден был жертвовать интересами своей науки, работая с детьми и ютясь по глухим уголкам Италии. В короткий срок Лондонской жизни он жадно бросился на работу, но смерть и болезнь в семье и его собственная всё прервали. Женева решительно не годится для серьезной *ученой* работы. Здесь воскрес в нем ученый, на которого, бывало, глядели с ожиданием Моммзен, и Гиршфельд, и Крумбахер, и Виноградов, и Гревс, и еще, и еще многие. Он весь ушел в свою тэму, и здесь, в Афинах, *впервые* наука примирилась и вступила в союз любовный с поэзией. И здесь климат дает ему небывалые рабочие силы, и тишина, и одиночество – сосредоточенность всего существа»¹⁰. В Афинах Иванов остался, как мы уже писали, до апреля 1902 года. В это время он усиленно пользовался книгами Германского Археологического института, как сидя в читальном зале, так и унося потребные материалы с собою.

Приехав в Женеву, он столкнулся с особой проблемой, которую одной фразой очертила Зиновьева-Аннибал: «Женева решительно не годится для серьезной *ученой* работы». Но в то же время он был более или менее прикован к месту своего пребывания: весной-летом 1903 г. он был в Париже, где читал известный лекционный курс, из которого выросла «Эллинская религия страдающего бога», и параллельно занимался в библиотеке (вероятно, Национальной), весной-летом 1904 года – в Москве, где, видимо, времени для работы не было. С возвращением в Россию (сначала в Москву, потом – на долгие годы уже окончательно – в Петербург) работа в библиотеках, судя по всему прекратилась. Тем ценнее, что у нас есть возможность хотя бы в некоторой степени воссоздать круг его чтения во время женевского пребывания. Среди материалов ивановского архива в РГБ сохранились требования женевской публичной библиотеки (Ville de Genève. Bibliothèque Publique. Bulletin

de demande) заполненные Ивановым. Нет сомнения, что они представляют собою лишь очень незначительную часть востребованных им в это время книг, однако и эта незначительная и, вероятно, случайная выборка характерна.

Во-первых, характерен репертуар книг, которые отчетливо группируются вокруг нескольких предметов. Прежде всего, это труды, относящиеся к классической древности: тексты, справочники, исследования. Причины этого понятны: Иванов в первую очередь ощущал себя специалистом широкого профиля, главные интересы которого лежат в сфере античности. Второй предмет, который его в это время занимает, – древняя Индия. Напомним, что в Женеве он занимается с Ф. де Соссюром санскритом, причем занятия идут весьма напряженно¹¹. Наконец, третий предмет (впрочем, теснейшим образом соприкасающийся с двумя первыми) – история религий и квазирелигиозных верований, от шаманизма и верований «нецивилизованных народов» до современного спиритуализма. Кажется, лишь две книги из ныне представляемых выходят за пределы данных тем – сочинения Ницше и Рёскина.

Список книг составлен на основании подлинных требований, хранящихся: РГБ. Ф. 109. Карг. 8. Ед. хр. 13. Для удобства рассмотрения случайный порядок расположения листов мы заменили тематическим, распределив именно по тем рубрикам, о которых говорили выше, а внутри рубрик – алфавитным. В тех случаях, когда это было возможно и необходимо, непосредственно за ивановским описанием книги (оно выделено полужирным шрифтом) мы даем уточненные сведения о ней, заимствованные из каталогов (преимущественно виртуальных) различных библиотек. Этим объясняются некоторые различия в типе описаний. Просмотра книг de visu не проводилось.

Помимо определенных нами книг, в той же единице хранения есть требование на книгу: *Histoire des religions de la Grèce antique*. 3 vv. Зачеркнута место и год издания (Paris 1854/9) и фамилия автора (Maury). Это требование можно было бы считать дубликатом уже известного, если бы вместо зачеркнутой фамилии автора не стояла другая: *Welcker*. Видимо, Иванов каким-то образом спутал два трехтомных сочинения: «Историю религий античной Греции» аббата Мори и труд известного филолога-классика Велькера (Friedrich Gottfried Welcker, 1784-1868): *Griechische Götterlehre*. Göttingen: Verlag der Dieterichschen Buchhandlung, 1857-1863.

Зафиксируем также требование для неизвестной нам русской библиотеки: *Lyriques Grecs*, trad. par Falconnet, Denne etc. Paris 1841. Точное описание книги таково: *Lyriques grecs: Orphée, Anacréon, Sappho, Tyrtée, Stésichore, Solon, Alcée, Ibycus, Alcmane, Bacchylide, Pindare, Théocrite, Bion, Moschus, Callimaque, Synesius: anthologie / Traduits par MM. E. Falconnet, Denne-Baron, Muzac, Grégoire, Collombet, Laporthé-Dutheil, etc.; Préf. et introd. par Ernest Falconnet. Paris: Lefèvre; Charpentier, 1842. – VIII, 597 p.*

1. Античность

Böttcher. Der Baumkultus der Hellenen. Berl. 1856

Bötticher Karl. Der Baumkultus der Hellenen: nach den gottesdienstlichen Gebräuchen und den überlieferten Bildwerken. Berlin: Weidmannsche Buchhandlung, 1856. – XIV S., 1 Bl., 544 S., 22 Ill.

Buttmann, Mythologus. Berlin 1828. 2 vv.

Mythologus; oder, Gesammelte Abhandlungen über die Sagen des Alterthums, von Philipp Buttmann... Nebst einem Anhang über das geschichtliche und die Anspielungen im Horaz. Berlin, Mylius, 1828-29.

Creuzer, Dyonisus. Heidelberg 1809

Friderici Creuzeri... Dyonisus, sive Commentationes academicae de rerum bacchicarum orphicarumque originibus et caussis... Heidelbergoe: In officina Mohrii et Zimmeri, 1809. Vol. I. Pars I-II. 308, 18 p., 6 pl. Существует также отдельное издание первой части: Friderici Creuzeri... Dyonisus, sive Commentationes academicae de rerum bacchicarum orphicarumque originibus et caussis... Heidelbergoe: In officina Mohrii et Zimmeri, 1808. – Pars prima. - 173 p., 2 Ill.

Euripide. Herakles, erklärt von Wilamovitz. Berl. 1889

Euripides. Herakles / Erklärt von U. von Wilamowitz-Moellendorff. Berlin: Weidmannsche Buchhandlung, 1889. – 2 Bd. - XII, 388 S., 308 S. - Bd. 1. Einleitung in die attische Tragödie; Bd. 2. Herakles: Text und Commentar.

J.F. Gail. Recherches sur la nature du culte de Bacchus en Grèce. Paris 1821

Recherches sur la nature du culte de Bacchus en Grèce... par J.-F. Gail. Paris: Gail neveu, 1821. XIX, 368 p.

Die griech. Lyriker (Hartung). Bd. V VI

Hartung Johann Adam. Die griechischen Lyriker. Griechisch mit metrischer Übersetzung und Anmerkungen. Leipzig, W. Engelmann, 1855-57. – 6 Bd.

Hesiodi. Carmina, ed. Goettling. 1878.

Hesiodi Carmina / Editio tertia quam curavit Joannes Flach et Karl Wilhelm Goettling. Lipsiae: B. G. Teubner, 1878. – XCIX, 444 p. / Bibliotheca graeca, virorum doctorum opera recognita et commentariis instructa.

Mauri. Histoire des religions de la Grèce antique. P. 1857/9. 3 vv.

Histoire des religions de la Grèce antique depuis leur origine jusqu'à leur complète constitution, par L.-F. Alfred Maury. Paris, Librairie philosophique de Ladrance, 1857-59.

Nonnos, les Dionysiaques grec et français, trad. et commenté par de Marcelles. Paris 1856

Nonnos de Panopolis. Les Dionysiaques ou Bacchus: poème grec en XLVIII chants / Rétabli, traduit et commenté par le comte de Marcellus. Paris: Lacroix Comon, 1856. - 6 vol.: 364, 340, 399, 336, 395, 374 p. – Vol. 1: Introduction, chants I-II; Vol. 2: Chants III-XII; Vol. 3: Chants XIII-XXII; Vol. 4: Chants XXIII-XXXII; Vol. 5: Chants XXXIII-XLII; Vol. 6: Chants XLIII-XLVIII, index du poèmes, index des auteurs.¹²

Plutarque. De la musique, ed. par H. Weil & Th. Reinack. Paris 1900

Plutarque. De la Musique / Edition critique et explicative, par Henri Weil et Th. Reinach, Paris: E. Leroux, 1900. – LXXII, 179 p.

Poetae lyriici graeci, ed. Bergk. V. II & III

Издания данного трехтомника были многочисленны: Lipsiae, 1843, 1853, 1866, 1878, 1882, 1900. Приведем описание издания:

Poetae lyrici graeci. Tertiis curis recensuit Theodorus Bergk... Lipsiae: In aedibus B.-G. Teubneri, 1866-1867. 3 vol. – XVI, 1391 p. - Pars I. Pindari carmina; Pars II. Poetae elegiaci et ambographi; Pars III. Poetae melici.

Porphyre. De antro nimpharum. Utrecht, 1765.

Porphyrius de Antro nympharum, graece cum latina L. Holstenii versione. Graeca ad fidem editionum restituit, versionem C. Gesneri et animadversiones suas adjecit R. M. Van Goens... Praemissa est Dissertatio homerica ad Porphyrium. Trajecti ad Rhenum: sumptibus A. v. Paddenburg, 1765. XXXIV, XXXVI, 122 p., index ¹³.

Lexikon der griech. u. röm. Mythologie, hrsgg. von W. Roscher. Lpz. 1884-1900. 4 vls.

Помимо этого, сохранилось еще одно требование, на первый том этого словаря. Точное его описание см. выше, в примечании Иванова к письму, отправленному М.М. Замятниной. Словарь выходил отдельными выпусками, один из которых сохранился в библиотеке Иванова ¹⁴.

Welcker. Griechische Götterlehre. 3 vv.

Griechische Götterlehre, von F. G. Welcker. Göttingen: Dieterich, 1857-1863. - 3 Bd. in-8°

Winkelman. Werke. Stuttg 1847. 2 vv.

Изданные в Штутгарте двухтомные «Произведения» знаменитого Иоганна Иоахима Винкельмана (1717-1768; отметим, что Иванов неточно пишет его фамилию – на самом деле она Winckelmann) издателем Гофманом (Hoffmann) в каталогах зафиксированы и как изданные только в 1847 году, и как выпущенные в 1839-1847.

Collection d'anthologies d'auteurs etc. Winkelman. Anthologie aus seinen Werken. 1829/33

В каталогах немецких, австрийских и швейцарских библиотек, существующих в Интернете, нам удалось обнаружить два варианта подобного издания:

Anthologie aus Johann Winckelmann's Werken: Cabinets-Ausgabe. Hildburghausen u.a.: Bibliograph. Inst., 1833. - 117 S. / Cabinets-Bibliothek der Deutschen Classiker

Anthologie aus Johann Winckelmann's Werken: Miniatur-Ausgabe. Hildburghausen; New York: Bibliogr. Institut, 1832. - 93 S., [1] Bl. / Miniatur-Bibliothek der Deutschen Classiker

Etudes sur les démons dans la litt. et la religion des Grecs, par J.A. Hild. Paris 1881

Étude sur les démons dans la littérature et la religion des Grecs, par J.-A. Hild. Paris: L. Hachette, 1881. – XII, 339 p.

2. Индология

Benfey. Vollständige Grammatik der Sanskritsprache. Leipzig 1852

Bergaigne. Manuel pour étudier la langue sanscrite. P. 1884

Bergaigne Abel. Manuel pour étudier la langue sanscrite, chrestomathie, lexiqne, principes de grammaire. Paris: F. Vieweg, 1884. – XIII, 334 p.

Brahmakarma, ou rites sacrés des Brahmanes. Paris 1884

Brahmakarma ou Rites sacrés des brahmanes / Ed. et trad. par Auguste Bourquin. Paris: Ernest Leroux: 1884. - 145 p. / Annales du Musée Guimet.

P. Deussen. Das System des Vedânta. Leipzig, 1883¹⁵**Ehni. Der vedische Mithus des Yama. Strassb. 1890**

Der vedische Mythos des Yama verglichen mit den analogen Typen der persischen, griechischen und germanischen Mythologie von J. Ehni. Strassburg, K. J. Trübner, 1890. IV, 216 S.

Milloué. Catalogue du Musée Guimet. Lyon 1882

В электронном каталоге парижской национальной библиотеки числится только следующее издание: Catalogue du musée Guimet. 1-ère partie: Inde, Chine et Japon, précédée d'un aperçu sur les religions de l'Extrême Orient et suivie d'un index alphabétique des noms des divinités et des principaux termes techniques, par L. de Milloué... Nouvelle édition. Lyon: Imprimerie de Pitrat aîné, 1883. - LXVIII, 323 p., plans.

Monier-Williams, Brahmanism and Hindûism. London 1891

Brahmanism and Hinduism, or religious thought and life in India, as based on the Veda and other sacred books of the Hindus, by Sir Monier Monier-Williams... 4th edition enlarged and improved. London: J. Murray, 1891. - XXVIII, 604 p., portrait.

J. Oppert. Grammaire sanscrite. Paris/Berlin 1859

Grammaire sanscrite / par Jules Oppert. Berlin: J. Springer; Paris: Maisonneuve, 1859. - 234 p. - Titre parallèle: Saṃskrabhāṣāvyaākaraṇa.

Hillebrandt. Vedische Mythologie. Breslau 1891/9. 2 vv.

Всего эта книга Альфреда Хиллебрандта насчитывала 3 тома. Последний вышел в 1902 г.

H. Oldenberg. Die Religion des Veda. Berl. 1894

Эту книгу Иванов заказывал дважды. В различных каталогах числится два ее издания 1894 года: Berlin: W. Hertz, 1894; Stuttgart: J. G. Cotta, 1894. В обоих вариантах IX, 620 страниц.

3. История религии (не включая античную и индийскую)

Jacobus de Voragine. Legenda aurea. Lyon 1505

Legenda hec aurea nitidis excutitur formis: claretque plurimum censoria castigazione: usque adeo ut nihil perperam adhibitum semotumue: quod ad rem potissimum pertinere non videatur: offendi possit / [Jacobus de Voragine]. Lugduni: per Nicolauz de Benedictis, 1505. - CСIII f.

Jacques de Voragine. La légende dorée, éd. Roze. T. I-III. Paris 1902

La Légende dorée / de Jacques de Voragine; nouvellement traduite en français par l'abbé J.-B. M. Roze. Paris: É. Rouveyre, 1902. - 3 vol.¹⁶

J. Lippert. Die Religionen der europ. Culturvölker. Berlin 1881

Die Religionen der europäischer Culturvölker: der Litauer, Slaven, Germanen, Griechen und Römer, in ihrem geschichtlichen Ursprunge / Von Julius Lippert. Berlin: T. Hofmann, 1881. - I, 496 S.

Martigny. Dictionnaire des antiquités chrétiennes. Paris 1865

Dictionnaire des antiquités chrétiennes, contenant le résumé de tout ce

qu'il est essentiel de connaître sur les origines chrétiennes jusqu'au moyen-âge exclusivement. I. Étude des moeurs et coutumes des premiers chrétiens... II. Étude des monuments figurés... III. Vêtements et meubles... par M. l'abbé Martigny... Paris: L. Hachette, 1865. – VIII, 676 p., fig.

Michailovsky, Chamanisme. Moscou 1892

Михайловский В.М., товарищ председателя Отделения этнографии. Шаманство: Сравнительно-этнографические очерки. Москва, 1892. Вып. 1. – IV, 115 с. – 1. Миросозерцание шаманистов; 2. Шаманство у инородцев Сибири и Европейской России / Известия общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. Т. 75. Труды Этнографического Отделения. Т. 12.

Milloué. Aperçu sommaire de l'histoire des religions. Paris 1891

Aperçu sommaire de l'histoire des religions des anciens peuples civilisés, par L. de Milloué... Paris: E. Leroux, 1891. - 161 p. – В части тиража на обл. подзаголовок: Introduction au catalogue du Musée Guimet.

K.-O. Müller. Prolegomena. Gottengue 1825

Prolegomena zu einer wissenschaftlichen Mythologie / Von Karl Otfried Müller; mit einer antikritischen Zugabe. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1825. - XII, 434 S.

F. Piper. Mythologie und Symbolik der christlichen Kunst. Weimar 1847/51. 2 vv.

Mythologie und Symbolik der christlichen Kunst von der ältesten Zeit bis in's 16te Jahrhundert, von Ferdinand Piper. Weimar: Verlag des Landes-Industrie-Comptoirs. 1847-1851. I. Mythologie der christlichen Kunst. 1ste-2te Abtheilung. - 2 Bd.

Renan. L'eau de Jouvence. Paris 1884 (1887?)

Renan Ernest. Eau de jouvence: suite de Caliban / Paris: Calmann Lévy, 1881, 1891.

E. Renan. Etude d'histoire religieuse. Paris 1863

Études d'histoire religieuse / par Ernest Renan. Paris: M. Lévy frères, 1862, 1864.

E. Renan. Nouvelles études d'histoire religieuse. Paris 1884

Nouvelles études d'histoire religieuse / par Ernest Renan. Paris: Calmann Lévy, 1884.

Réville A. Les religions des peuples non civilisés. Paris 1883. 2 vv.

Réville A. Les religions des peuples non civilisés. Paris, Fischbacher, 1883. 2 t.

Roisel. L'idée spiritualiste. Paris 1896. Bibliothèque de philosophie contemporaine.

Roisel Godefroi de. L'idée spiritualiste. Paris: F. Alcan, 1896. – 200 p. / Bibliothèque de philosophie contemporaine

Tiele. Histoire comparée des anc. religions de l'Égypte et des peuples sémitiques. P. 1882

Histoire comparée des anciennes religions de l'Égypte et des peuples sémitiques, par C.-P. Tiele / Traduite du hollandais par G. Collins; Précédée d'une préface par A. Réville. Paris: G. Fischbacher, 1882.

4. Разное

Casaubon. De entusiasmo commentarius. Greifswald 1708

Merici Casauboni De entusiasmo commentarius, quem ex anglico latine reddi edique curavit d. Io. Frid. Mayer. Gryphiswaldiae, apvd Io. Wolfg. Fickweiler. Anno MDCCVIII, 1708. – 160 p.

F.Nietzsche. Werke. I, VIII & XV

Сохранился также повторный заказ первого тома.¹⁷

Поскольку сочинения Ницше издавались многократно, вряд ли возможно быть уверенным, что мы знаем точно о специальном интересе Иванова к тем или иным его работам. Однако в наиболее полном на долгое время двадцатитомном издании (Nietzsche's Werke. Leipzig: C. G. Naumann (A. Kröner), 1895-1913), первый том описывается так: Die Geburt der Tragödie (4te Auflage). Unzeitgemässe Betrachtungen (3te Auflage). Herausgegeben von Fritz Koegel. – 1895; восьмой – Der Fall Wagner, ein Musikanten-Problem. Götzen-Dämmerung. Nietzsche contra Wagner. Der Antichrist. Gedichte Herausgegeben von F. Koegel. 3te Auflage. – 1895. Первая часть пятнадцатого тома – Nachgelassene Werke. Der Wille zur Macht, Versuch einer Umwerthung aller Werthe (Studien und Fragmente). Herausgegeben von Elisabeth Förster-Nietzsche. – 1901 (вторая часть вышла только в 1911 г.).

Ruskin. La Couronne d'olivier sauvage. Les sept lampes d'architecture. Paris 1900

Ruskin John. La Couronne d'olivier sauvage; Les Sept lampes de l'architecture / Traduction de George Elwall, Paris: Société d'édition artistique, [1900]. - 279 p.

5. Периодика

Annales du Musée Guimet. Paris 1881, t. I-IV**Mémoires de la Société de linguistique de Paris. T. VIII & t. XI**

Revue de l'histoire des religions, t. VII-XXXV. Paris 1883-97. 29 t. en 28 vv.

По электронному каталогу парижской Национальной библиотеки состав серии «Annales du Musée Guimet» выглядит очень запутанно. Вместе с тем интерес Иванова к занятиям этого музея заставляет нас с максимальной внимательностью отнестись к издававшимся им книгам и назвать все нам известные, вышедшие под этой маркой.

Vichnou-Das: Tableau du Kali-youg ou Age de fer / Traduction posthume de l'hindoui par Joseph-Héliodore Garcin de Tassy. Paris, 1880 / Annales du Musée Guimet; I

Hignard Henri. Le Mythe de Vénus. Paris, 1880 / Annales du musée Guimet. I

Müller Friedrich Max. Textes sanscrits découverts au Japon... / Traduit par L. de Milloué. Lyon [по другим источникам – Paris], 1881 / Annales du Musée Guimet. Tome II.

Kőrösi Csoma Sándor. Analyse du Kandjour, recueil des livres sacrés au Tibet... traduite de l'anglais... par M. Léon Feer... [Abrégé des matières du Tandjour. Vocabulaire de l'analyse du Kandjour. Index de l'analyse du Tandjour. Table du Kandjour.] Lyon, 1881 / Annales du Musée Guimet. T. II

La Métrique de Bhārata, texte sanscrit de deux chapitres du Nāṭya-Cāstra / Ed. Par Paul Regnaud. Lyon, 1881 / Annales du Musée Guimet. T. II.

Tripitaka. Sūtrapitaka. Sukhāvātīvyūha. O-mi-to-king, ou Soukhavati-vyūha-soutra, d'après la version chinoise de Koumarajiva. Traduit du chinois, par MM. Imaïzoumi et Yamata. Paris, 1881 / Annales du Musée Guimet. Tome II

Recherches sur le bouddhisme / par I. P. Miṇayeff; traduit du russe par R.-H. Assier de Pompignan; [avant-propos par Émile Senardet notice à la mémoire de l'auteur par Serge d'Oldenburg]. Paris: E. Leroux, 1894. – XV, 315 p. / Annales du musée Guimet. Bibliothèque d'études; 4

Edkins Joseph. La Religion en Chine / Trad. par. L. de Milloué. Lyon, 1882 / Annales du Musée Guimet. Tome IV.

Regnaud Paul. Le Pantcha-Tantra, ou le Grand Recueil des fables de l'Inde ancienne considéré au point de vue de son origine, de sa rédaction, de son expansion et de la littérature à laquelle il a donné naissance. Lyon, 1882 / Annales du musée Guimet, Tome IV.

Chabas François-Joseph. Notice sur une table à libations de la collection de M. Emile Guimet. Lyon, 1882 / Annales du Musée Guimet. Tome IV

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ И ИСКУССТВО РЕНЕССАНСА: МАТЕРИАЛЫ, ЗАМЕЧАНИЯ И НАБЛЮДЕНИЯ

Тема, поставленная нами, кажется довольно очевидной по нескольким причинам. Во-первых, проблема синтеза искусств для Вячеслава Иванова была одной из существенных на всем протяжении его творчества, и применительно к живописи о ней идет речь не только в известной статье «Чюрлянис и проблема синтеза искусств», но и во многих других текстах, часть из которых мы будем далее упоминать¹. Во-вторых, достаточно силен соблазн подыскать живописные параллели некоторым текстам Иванова, где они не упоминаются прямо². И, наконец, вызывают к анализу открыто связанные с живописью эпохи Возрождения стихотворения и фрагменты статей Иванова³. Наша цель, с одной стороны, более скромна – на основании ранее не введенных в научный оборот текстов Иванова и его ближайшего окружения зафиксировать те явления живописи и скульптуры эпохи Возрождения, которые вызывали его постоянный интерес, а с другой, пожалуй, более широка: обратить внимание на возможности расширения данной сферы исследований и на некоторые коррективы, которые, как нам кажется, имеет смысл внести в уже сложившиеся концепции.

Прежде всего нам хотелось бы обратить внимание на то, что в поэзии Иванова открыто экфрасические произведения, предметом которых становится искусство Ренессанса, практически ограничиваются ранним этапом его творчества – книгой стихов «Кормчие звезды» и некоторыми не вошедшими в нее ранними стихотворениями. Уже в «Прозрачности» лишь первое стихотворение включает фрагмент такого рода:

Прозрачность! воздушною лаской
Ты спишь на челе Джоконды,
Дыша покрывалом стыдливым.
Прильнула к устам молчаливым –
И вечностью веешь случайной;
Таящейся таешь улыбкой,
Порхаешь крылатостью зыбкой,
Бессмертною, двойственной тайной.
Прозрачность! божественной маской
Ты решишь в улыбке Джоконды (Иванов, I, 738).

В дальнейшем же экфрасис или вообще исчезает из его произведе-

ний, или обращается на другие предметы (икону, живопись современников, архитектуру – в частности, на римские фонтаны), а между тем в статьях эта живопись остается постоянным ориентиром Иванова, вплоть до поздних текстов. И это заставляет нас обратить внимание на тот круг явлений искусства, который его постоянно и почти исключительно привлекает. В «Кормчих звездах» поэт заостряет внимание на фреске Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» (или «Сена», как ее очень часто называют и Иванов, и Зиновьева-Аннибал), «Давид» Микельанджело, «Magnificat» Боттичелли⁴, ватиканские фрески Рафаэля и Микельанджело. Не впрямую, но достаточно явно намекают на реальные явления искусства два стихотворения из цикла «Suspigia» – «Ночь» и «Pietà». В обоих случаях это знаменитые скульптуры Микельанджело из усыпальницы Медичи и собора св. Петра (вряд ли случайно эпиграфом к первому поставлены слова Микельанджело). К этому стоит добавить двустишие из «Laeta», чеканно формулирующее пристрастия молодого Иванова:

Многих богов Рим почтил, всех прияв во священные ниши;
Многих почтили богов Анджело и Рафаэль (Иванов, I, 637).

В том же самом круге художников (за исключением Боттичелли) Иванов остается преимущественно и далее. Так, в статье «Идея неприятия мира» он говорит: «Три великих современника эпохи Возрождения оставили векам в трех религиозных творениях кисти символы трех типов неприятия мира. Мы разумеем “Страшный Суд” Микель-Анджело, “Преображение” Рафаэля и “Тайную Вечерю” Леонардо да Винчи» (Иванов, III, 84), и далее следует подробный (особенно по масштабам статьи) анализ этих трех картин. Все те же три художника (поодиночке или в различных сочетаниях) упоминаются и в других его статьях, причем Леонардо да Винчи реже, а Микельанджело и Рафаэль почти на равных.

Как кажется, появление именно этих имен в творчестве Иванова объясняется не только возможностями их символического истолкования, но и обстоятельствами жизни автора. Имя Микельанджело заняло его внимание еще в ранние годы, о чем он писал и в «Автобиографическом письме», и в поэме «Младенчество»:

В Музей я взят – и брежу годы
Все небылицы про Музей:
Объята мраком переходы,
И в них, как белый мавзолей,
Колосс сидящий – «Моисей» .
Воображенье в сень Музея
Рогатый лик перенесло,
С ним память плавкую слило.
В «Картинах Света» списан демон,
Кого не мертвой глыбой мнил
Ваятель, Ангел Михаил.
Бог весть, сковал мне душу чем он
И чем смутил; но в ясный мир
Вселился двойственный кумир (Иванов, I, 247).

В «Автобиографическом письме» изобразительный подтекст уточняется: «О своем раннем развитии заключаю из отчетливых воспоминаний о взволнованных разговорах по поводу франко-прусской войны, из влюбленности в Пизанскую башню с ее окружением, из галлюцинаций, связанных с виденным, также на картинке, “Моисеем” Микель-Анджело» (Иванов, II, 11). Напомним, что перефразированные в «Младенчестве» слова Микельанджело стали эпиграфом к «Творчеству», одному из принципиальных для всей системы «Кормчих звезд» стихотворению, где имя Микельанджело поставлено в ряд с Бетховеном, Пигмалионом, Фидием, Гомером, Данте – и ко всем ним обращен призыв: «Будь новый Демиург!», а поясненный в примечании намек на конкретную работу Микельанджело⁵ сопряжен с библейским сотворением Евы.

Видимо, следующим этапом, непосредственно повлиявшим на отношение Иванова к художникам Возрождения, следует назвать 1886 год, когда он видит в Дрезденской галерее «Сикстинскую мадонну» Рафаэля. Поскольку этот сюжет исчерпывающе исследован Н.В. Котрелевым⁶, мы на нем останавливаться не станем, отметив лишь его существование.

За ним следует 1891 год, когда Иванов отправляется в Париж с наставлением своего учителя О. Гиршфельда «хорошо изучить Лувр» (Иванов, II, 19), то есть, среди прочего, увидеть «Джоконду». Возможно, поскольку «тогда же в первый раз побывал я на короткое время в Англии» (Иванов, II, 19), Иванов познакомился и с упомянутым выше «Мистическим Рождеством» в Национальной галерее. Столь же принципиальным оказывается и следующий, 1892-й, который стал памятен первым пребыванием в Риме, где среди прочего Иванов отмечает: «Жизнь в Риме привела с собою немало новых знакомств с учеными <...> и с художниками (брatря Сведомские, Риццони, Нестеров, подвижник катакомб – Рейман)» (Иванов, II, 19). Однако довольно удивительно, что в опубликованных до сих пор материалах мы находим упоминание об интересующей нас живописи лишь в стихах – в цитированном выше фрагменте из «Laeta» (и не процитированном, где назван уже один Рафаэль), тогда как описание самого приближения к Риму и первого знакомства с ним зафиксировано с такими подробностями, которые дают возможность практически полностью восстановить картины, не только описанные словами литератора, но и увиденные опытным глазом наблюдателя, сохранившего визуальные впечатления во всей их полноте⁷. Несомненно, конечно, что Иванов знакомится с музеями Ватикана, в том числе с Сикстинской капеллой и Стансами Рафаэля, но большего понять не удается.

Зато у нас есть возможность несколько подробнее рассказать о флорентийских впечатлениях Иванова и выдвинуть гипотезу о связи поэзии и изобразительного искусства в это время. Ивановы переезжают во Флоренцию в августе 1894 года, и в первом известном письме оттуда Иванов сообщает: «...я вступил в этот город, который снова в такой сильной степени возбудил мою историческую фантазию и мое художественное чувство. Piazza della Signoria! Piazza del Duomo! Даже в моем несравненном Риме нет ничего подобного. И притом это город Данта, которого я обожаю... И город Микель-Анджело... В Уффициях я еще

не был, но был уже в Sagrestia Nuova. И мне кажется, что был не понапрасну»⁸. И в том же самом письме он требует у И.М. Гревса как можно скорее адреса Л.Д. Шварсалон, с которой незадолго до того познакомился.

Это не лишняя информация, поскольку, как нам представляется, дальнейшее знакомство с флорентийской живописью и скульптурой для Иванова оказывается теснейшим образом связанным с нею и с нарастающим чувством влюбленности.

Вкратце повторим уже довольно хорошо известные факты: они встречаются в Риме и в регулярном общении проводят неделю с 11 по 18 июля; затем Шварсалон уезжает к отцу в Женеву, а Иванов с семьей после путешествия через Ассизи, Перуджу, Сиену и Пизу обосновывается во Флоренции. В сентябре оставшийся один во Флоренции Иванов (жена с дочерью путешествуют по Швейцарии) получает письмо от Шварсалон из Пезаро, куда она приехала учиться пению, и вступает с нею в интенсивную переписку⁹. 30 сентября нового стиля она сама перебирается во Флоренцию, потом перевозит туда детей и своих спутниц, помогающих по хозяйству, и начинаются постоянные встречи как с семейством Ивановых, так и с ним наедине, о которых мы знаем не слишком много. Тем ценнее сведения, которые удастся почерпнуть из ее письма, отправленного в Пезаро оставленным там «девушкам». Дата над текстом странная (31/10 Окт.), но мы полагаем, что все-таки это 10 октября нового стиля (27 сентября старого):

«...на прошлой неделе я перепела лишнее и очень испугалась, тотчас перестала петь дома и в Субботу не пошла на урок. Вместо урока пошла в музей с Ивановыми. Там мы провели часа три, осматривая чудные старинные картины, нарисованные на известке на стенах. Пообедали и тотчас поехали в монастырь <...>. Этот монастырь за городом. Там тоже много красивых икон, и самое здание старинное и такое красивое, а природа вокруг: чистый рай. Вернулись мы только вечером. <...> На другой день, в Воскресенье, мы пошли вдвоем с Ивановым в галереи картинные, а если мы с ним туда попадем, то выберемся нескоро, потому что мы оба с ума по красоте сходим. <...> А вчера ходила после обеда в Кашинэ. Был чудный день. Ходила вдвоем с Ивановым, так как его жена и Саша не могут ходить так далеко. <...> Удивительно, как Саша Иванова ходит с нами по галереям, и не устает, и мало скучает»¹⁰.

Конечно, у нас нет оснований для безоговорочного вывода, однако, зная, какое значение впоследствии для уже супругов Ивановых приобрело даже само название «Фьезоле», мы имеем основания предположить, что они были именно там и видели фрески Фра Беато Анджелико. И тогда мы вынуждены будем задать себе вопрос, насколько отношение к этому художнику определяло разницу между символизмом и рождающимся акмеизмом, поскольку полемика Гумилева и Городецкого вокруг имени и творчества именно этого художника стала одним из примечательных моментов в самоопределении акмеизма, а также отчасти определила различие между разными типами символизма (прежде всего – Иванова и Бальмонта)¹¹.

Почти наверняка Иванов водил свою подругу в Уффици, а стало

быть – смотреть картины Боттичелли. И это возвращает нас не только к сонету Иванова, но и еще к одному обстоятельству, дающему возможность хотя бы отчасти реконструировать круг интересов Иванова и близких ему людей в нас интересующей сфере. 8/20 декабря 1896 г. он сообщает своей фактической жене из Берлина: «У меня на столе лежит “Весна” Боттичелли». Набор репродукций или гравюр с различных картин художников Возрождения (равно как и других эпох) представляется нам чрезвычайно важным для характеристики их интересов и вкусов. Скажем, вовсе не удивительно, что почетное место в вилле Java в Женеве, где семейство провело достаточно долгое время, одно из центральных мест занимала «Тайная вечеря» Леонардо, и Зиновьева-Аннибал постоянно писала письма мужу, сидя или лежа под нею. 17 декабря 1901 г. она описала убранство комнаты так: «...вся светелка приобрела такой блистательный вид, в особенности от прекрасного плюша vieux-rosé, который я положила на свой столик, и голубого плюшевого с Сэвским фарфором моего бювара на письменном столе, и венецианского моего зеркала на столе под Коллизеем <так!>. Сижу или лежу теперь на кушеточке, и близко, близко возле меня блаженная картина Лионардо <так!>, и внизу, не глядя даже, святой, благой, обожаемый Лик нашего Спасителя, и молюсь ему, недостойная, раскрываю Ему сердце, чтобы Он очистил его» (Переписка. Т. 2. С. 73). Колизей здесь – скорее всего та гравюра, которую Иванов прислал ей вскоре после сближения, чтобы отметить памятное для обоих место – место ночной прогулки 16 июля 1894 г., когда он возложил на голову Лидии венок из плюща. Но гравюра по фреске оказывается в этом контексте несколько не менее значительной. А что ее сопровождало? Из дневника М.М. Замятниной, постоянной спутницы Ивановых с 1899 г., мы знаем, что там была уже не раз упоминавшаяся «Весна» Боттичелли, а из письма Зиновьевой-Аннибал узнаем про какую-то гравюру с изображением флорентийского Персея (возможно, одна из картин Пьеро ди Козимо из Уффици, но не исключено, что и изображение знаменитой статуи Б. Челлини). В других местах пребывания супругов встречаем и другие картины. Так, Иванов сообщает из Берлина (хотя, видимо, это был выбор хозяйки: трудно себе представить, чтобы он охотно повесил портрет Ч. Дарвина): «...в моей просторной, уютной и теплой комнате, где смотрят на меня со стен Декарт и Дарвин, Сивиллы Рафаэля и Микель-Анджело» (письмо от 12-13/24-25 декабря 1896: Переписка. Т. 1. С. 489). И в другом письме того же времени: «У меня на столе лежит “Весна” Боттичелли» (письмо от 10/22 декабря 1896: Переписка. Т. 1. С. 482). Зиновьева-Аннибал описывает М.М. Замятниной их квартиру в Лондоне: «На стенах порядочные картины хозяйские и повешены наши: у стола голова Книдской Венеры, на камине Давид и Thanatos Праксителя, над пьанино и около него: Madonna del gran Duca <Рафаэля> и Perugino, большая Венера Книдская и Madonna Васнецова» (письмо от 11 ноября 1899: Переписка. Т. 1. С. 640).

Наконец, нам известна хотя бы частичная опись тех картин эпохи Возрождения, которые висели у Ивановых на Башне. Это уже известные «Адам» Микельанджело, «Тайная вечеря» Леонардо, «Весна» и «Мистическое рождество» Боттичелли, еще два фрагмента росписи Сикстин-

ской капеллы (обозначены в описи как «Бог-отец с окружением» и «Мужская фигура»), «Олимп» (фреска из Ватикана) Рафаэля¹², «Минерва с кентавром» Боттичелли и рисунок головы Христа работы Леонардо да Винчи¹³. Приведем также фрагмент уже опубликованного письма Иванова к Замятниной 1910 года: «Во Флоренции я остановился в Albergo Patria <...> На другой день, после ванны, я отправился в Академию, где все те же примитивы <?>, и “Весна”, и М. Анджело. Все увидел переменявшимся к лучшему, все стало еще богаче и лучше: говорю это про изменения музея. Но я не знал, до какой степени изменился – развился – я сам в отношении эстетического восприятия и жизненного проникновения в тайны настоящего искусства. Я весь задрожал, и слезы у меня потекли из глаз, когда я вдруг увидел целый ряд незаконченных *ébauches* М. Анджело (тогда их еще не было здесь), мимо которых идешь к моему излюбленному Давиду. Ну, и так далее. <...> На вокзале ждал Веру <...> День ее рождения – четверг – праздновали мы вот как. Сначала пошли в капеллу Медичи, где скульптуры М. Анджело, его «Ночь». Потом в *palazzo Riccardi*, где она еще не была: я показал ей фрески Беночцо Гоццоли, и она была ими счастлива»¹⁴. И далее в том же письме – относительно римских впечатлений: «На другое утро пошли мы с Верой на паломничество в Колизей, вошли по дороге в Пантеон, который ей понравился, как я хотел (а она уже такая многовидевшая стала, что мне странно, – во Флоренции – о чем я забыл выше упомянуть – в день рождения она водила меня с большим знанием по всем Уффициям), ей Пантеон ближе, чем Св. София; зашли и в Минерву взглянуть на “Христа” Микель-Анджело, и скоро поднялись на священную скалу Капитолия». Как видим, круг художников итальянского Возрождения если не вполне один и тот же, то очень ограничен, и можно полагать, что для Иванова и его ближайшего окружения он выглядел незбылемым.

Однако, как кажется, следует учесть, что Возрождение для Иванова не сводилось только к итальянскому его изводу. В статье «Гете на рубеже двух столетий» он писал: «В Возрождении было два элемента: элемент свежей, варварской, хаотической стихии, не одному северу Европы присущей, но и столь ощутимой – о чем я забыл выше упомянуть – в титанических судорогах итальянца Микель-Анджело, и элемент южно-сластолюбивого эстетизма, который обращал варвара в туземного царевича Париса, похищающего Прекрасную Елену, прекраснейшую из женщин, неуязвимую и, быть может, только призрачную античную красоту. Во второй части Фауста изображено похищение Елены. Мефистофель показывает его своими чарами на театральных подмостках, чтобы развлечь скужающего императора и его двор, эти останки изжившего себя, обветшавшего вместе со всем феодальным укладом жизни величия. Но Фауст нарушает представление: едва он завидел Елену, как стихийно в нее влюбился и заревновал к Парису. Волшебным золотым ключом касается он жертвенника и погружается в земные недра, в темную обитель матерей, чтобы вызвать оттуда на лицо земли самое Елену, не призрачное ее подобие. Так уподобляется Фауст Парису; так же уподобился Парису и сам Гете. Искание совершенной формы обратило сварливого, старонемецкого мастера-художника в мастера “nach wälscher Art”, потомка

Гольбейнов и Дюреров – в ученика Рафаэля и Тициана» (Иванов, IV, 130–131). Интерес к этому варианту Возрождения, условно говоря – «северному», практически не отразился в поэзии Иванова. Лишь в позднем стихотворении, датированном 22 декабря 1944 года он писал:

Дух отучнел; и густ и плотен
Сочится спектра каждый цвет.
Застыл в хранилищах полотен,
Как жемчуг в раковинах, свет.

Чей луч, отдавшемуся чарам
Ласкательного забытья,
Мне больно ранил грудь ударом
Центурионова копья?

То Мемлинг был. Когда в утехах
Чудотворящей кисти Юг
Восславил плоть, на фландрский луг
Спускались ангелы в доспехах
Стальных перчаток и кольчуг (Иванов, III, 641).

Все сказанное готовит последнюю строфу, посвященную трагизму, с наивысшей полнотой выражаемому именно этим вариантом ренессансной живописи:

Здесь чувствую, как углем тлею,
В себе вмещаю Божество,
Страдальческое естество,
И жен, с креста привявших Тело,
И на покинутом холме
Три крестных древа в полутьме (Иванов, III, 642).

Здесь есть совершенно явная переключка с ивановским описанием художественных вкусов Льва Толстого и его семейства: «От живописи, отравленной в своих истоках Рафаэлем и его фальшивой погоней за так называемой красотой, здесь требовалась беспощадная, показательная правда и нравственное потрясение зрителя, каких достигал среди современников разве лишь друг дома – Ге» (Иванов, IV, 610). Кажется, здесь имеется в виду не только современник, но и далекий предок – Г. Гольбейн-младший, прославленную картину которого «Мертвый Христос в гробу» Иванов без сомнения видел. 27 октября / 9 ноября 1896 он писал Зиновьевой-Аннибал из Базеля (подлинник по-итальянски): «Вчера я также смотрел на *Alpenglühen* из *kleine Schanze* и по достоинству оценил подлинную красоту города, который в прошлом году произвел на меня довольно неблагоприятное впечатление, быть может, потому, что тогда душа была еще слишком полна дорогими образами страны, “объемлемой морем и Альпами”; здесь же думается скорее о Гольбейне, о сцене “*Am Tor*”» (Переписка. Т. 1. С. 466–467; цитируем перевод с итальянского оригинала). Противопоставление Италии и Швейцарии, воспринимаемой через немецкие образы (помимо Гольбейна, еще и Гете), здесь весьма выразительно.

К этому же разряду художников следует причислить и Рогира ван дер Вейдена, ни имя, ни названия картин которого не попали в тексты Иванова, но заинтересованность им была несомненной. И здесь мы должны сказать еще об одном источнике сведений о том, что Иванова интересовало в области живописи. М.М. Замятина, находясь в Женеве, когда это позволяло время, посещала лекции в университете, преимущественно отдавая искусствоведческим. Некоторые из сюжетов, связанных с этим, весьма любопытны, но мы коснемся лишь некоторых. Едва ли не самый насыщенный эпизод записан в дневнике Замятиной 19 июня / 2 июля 1902 года: «...говорили о моих занятиях по искусству. Вяч<слав> по моей просьбе назначил <?> мне несколько тем: «Идеализм или <?> мистицизм в искусстве после Рафаэля и до прерафаэлитов», т.е. отыскать его существование».

2) Разобрать с этой точки зрения карт<ину> Рембранд<та> “Сцена в Эм<м>аусе”.

3) Сделать очерк и изучить Рожер Ван дер Вейдена.

4) Теньер¹⁵ и его влияние на прерафаэлитов» (Переписка. Т. 2. С. 446–447).

Несомненно, двукратное упоминание прерафаэлитов должно будет обратить на себя внимание исследователей темы «Иванов и искусство XIX века» (а, возможно, и шире: «Иванов и современное ему искусство»), поскольку вряд ли он воспринимал прерафаэлитов как художников прошлого), но нас сейчас в первую очередь интересует определенное приписывание мистицизма творчеству Рафаэля (что, кажется, довольно очевидно) и внимание к творчеству фламандского художника. Судя по всему, Замятина восприняла пожелание Иванова всерьез. 7 июля 1903 г., отвечая на неизвестное нам письмо Замятиной, Иванов писал ей: «Благодарю Вас за интересное ваше письмо о Вене, где вы превосходно описали Богоматерь на картине v. der Weyden’a»¹⁶.

Поскольку Замятина обладала талантом не только внимательно выслушивать Иванова, но еще и следовать его наставлениям даже в мелочах (что ему вовсе не нравилось), то, видимо, для реконструкции взглядов Иванова на этот круг художников следует внимательно изучить единственную известную нам публикацию Замятиной – рецензию на книгу Ж.-К. Гюисманса «Les trois primitifs»¹⁷. Оставляя эту задачу на более позднее время (поскольку она требует сопоставления с некоторыми архивными материалами, а также тщательного внимания к возможности редакционных изменений), скажем о том, что могло быть для нее, а также и для Иванова источниками сведений как об этом художнике, так и о некоторых других.

В архиве Иванова сохранилось некоторое количество читательских требований в Женевскую публичную библиотеку, заполненных его рукой, которые мы подготовили к печати¹⁸. В другой единице хранения есть ряд требований, заполненных уже рукой Замятиной и отражающих преимущественно ее искусствоведческие интересы. Однако вряд ли может быть сомнение, что Иванов хотя бы бегло пролистывал принесенные в дом книги. Среди них Замятина заказывала: «Du Jardin J. Hans Memling. 1897»¹⁹; «Crowe and Cavalcaselle. Hist. of painting in Italy. 3 vol.»²⁰; «Crowe and Cavalcaselle. A New history of painting in Italy»²¹;

«Crowe and Cavalcaselle. History of painting in North Italie»²²; «Bibliothèque des beaux arts publ. sous la direction de Jules Comte. La peinture flamande par *Wauters*»²³; «*Müntz Eug. Hist<oire> de l'art pendant la Renaissance. Italie. L'âge d'or. 1889-1895; Müntz. Hist<oire> de l'art dans la Ren<aissance>. I et II. Les primitifs et L'âge d'or*»²⁴; «*Paul Mantz. Les Chefs d'oeuvre de la peinture italienne. Paris 1870. Avec planches*»²⁵; «*Michiels Alfr. Hist<oire> de la peinture flamande. 1869-78. I vol; Michiels. Hist<oire> de la peinture flam<ande>. 1869. 1-8 vs.*»²⁶; «*Descamps. La vie des peintres flamands etc. 1764. 2 vs.*»²⁷; «*Crowe and Cavalcaselle. Les anciens peintres flamands*»²⁸; «*Knudtzon. Masaccio; la peinture florentine. 1875*»²⁹. Частично сохранились конспекты и выписки Замятниной из книг и записки о посещении Кельна, Антверпена и Брюгге³⁰.

Между прочим, ее университетские занятия позволили Иванову лишний раз проявить свою неравнодушную осведомленность в искусствоведении. В конце 1901 г. Замятнина рассказывала о том, как приват-доцент Женевского университета Henry Vuilliéty (1860-?), по замятнинскому прозвищу «Таракан», преподававший историю искусств, наставлял их в изучении искусства итальянского Возрождения: «С сегодняшнего дня надо будет приступить к заброшенным «тараканьим» *devoir*'ам, благо еще через 1 ½ недели занятия, так все откладывались. К след<ующему> разу дал охарактеризовать Sodoma, немного в итальянскую шк<олу> надо заглянуть, чтобы иметь понятие для сравнения, он сказал, что время от времени будет давать итальянских мастеров» (17/30 декабря 1901: Переписка. Т. 2. С. 141–142); «Сразу после лекции Bouvier понеслись я и голландка, с кот<оторой> я участвую в работах у M. Vuilliéty к нему в *Servette*, обыкновенно мы его встречаем в трампе и приходим вместе. Сегодня он запоздал и мы его ждали в его тараканьем кабинетике (Mr. Vuilliéty a fait ses études a l'université de Berlin, и я было думала, что Вы его можете знать, но нет, он старше, я думаю, лет на 10-15. Хотя он и безлетний). Должна была покаяться ему, что ничего не приготовила, сказав, что и не знаю, к<a>к справлюсь, т.к. не умею описать, но что постараюсь к будущему разу все-таки что-либо сделать, у меня ведь кроме Sodoma был еще снимок с одной из Мадонн Luini, он прибавил мне еще фотогр<афию> с фрески громадной Luini в Lugano, страшно сложная, с массой нагроможденных отдельных сцен: в центре Распятие, но кроме этого главного еще несколько моментов страдания и смерти Спасителя. Так вот, кроме Sodom'ы он и сказал, что я, м<ожет> б<ыть>, попробую еще эту картину анализировать, причем жестоко нисколько не помог мне, давая ее. Надо будет притянуть Лидию и уж приготовиться» (26 декабря 1901 / 6 января 1902: Переписка. Т. 2. С. 142). В промежутке между этими письмами Иванову сообщала Зиновьева-Аннибал: «Вечер прошел быстро в экзерсисах пения и разборе Sodoma и Luini. Какой противный Luini, внешний, декоративный, бессердечный и грубый в своих символах. Sodoma мне нравится. Он изящен, изящно-нарядный и вместе есть *Innigkeit* и религиозность. Это впечатление по скверным гравюрам en bois и фотографиям и памяти той Сиенской картины (31 декабря 1901–3 января 1902 / 13-16 января 1902: Переписка. Т. 2. С. 136). Получив эти письма Иванов отреагировал сразу и весьма резко: «Марусе привет сердечный и пожелание справиться с

своим Сбодомой: кажется, это трудно – он отразил ведь разнообразные влияния. Не совсем понимаю, зачем давать для анализа столь производные величины, как Sodoma и Luini, не выяснив, откуда они взялись и как сложились» (2-4 / 15-17 января 1902: Переписка. Т. 2. С. 146).

Таким образом, становится довольно очевидно, что отношение Иванова к изобразительному искусству эпохи Возрождения было неоднородным. Пристально сосредоточиваясь на одной группе произведений, он избегает обращаться к другим, хотя вряд ли может быть подвергнуто сомнению, что и с ними он был хорошо знаком. Противопоставление живописи (а отчасти и скульптуры) итальянского и «северного» Ренессанса основывается для него не на принципиальном отвержении того или иного, а на тонком и улавливающем сущностные особенности всего типа анализе. Профессиональное искусствоведение как своего времени, так и предшествующих эпох Иванов рассматривает как ступень к истинному постижению живописи, непременно включающему в себя и ценностные характеристики. Как нам представляется, все это самым непосредственным образом связано с его собственными эстетическими концепциями и должно быть введено в исследовательский кругозор.

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ ОБ УНИВЕРСИТЕТСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

Основную известность Вячеслав Иванов обрел как поэт и теоретик символизма. Но нельзя забывать, что на протяжении долгих лет он готовился к научной карьере. Из Московского университета он отправился в Берлинский, чтобы учиться у великого Моммзена. Далекое не все у него получилось так, как было задумано, однако нет сомнений, что по крайней мере до конца XIX века, то есть до тридцати пяти лет, он видел себя прежде всего ученым-классиком, причем работа его относилась в равной степени к истории, экономике и юриспруденции, а сам он считал себя прежде всего филологом, поскольку именно в филологии видел основу всякой иной науки, касающейся древности¹.

И мы, конечно, могли бы представить себе его мнения относительно науки и образования из разнообразных документов, уже опубликованных. Однако среди писем Иванова мы находим несколько таких, в которых эта проблематика вынесена на передний план и некоторые его представления сформулированы с поразительной отчетливостью, иногда прямо просясь быть перенесенными на страницы педагогического журнала или книги.

Эти письма писались им к концу 1905 и начале 1906 г. к пасынку, Сергею Консантиновичу Шварсалону. Старший из детей Лидии Дмитриевны и Константина Сергеевича Шварсалонов родился в имении Зиновьевых (родителей Л.Д.) Копорье Петербургской губ. 21 сентября 1887 г.² Как и все другие дети, после разъезда родителей он оставался с матерью, что причиняло немало проблем. Стремясь максимально удалить отца от встреч с детьми, а также опасаясь, что совместная жизнь с Вяч. Ивановым осложнит ей получение официального развода, Л.Д. скиталась по Европе. Она жила (то одна, то вместе с Ивановым) и в Италии, и в Швейцарии, и в Германии, и во Франции, и в Англии, и в Греции, лишь эпизодически до 1905 года наезжая в Россию, чтобы навестить близких и попытаться уладить свои семейные дела. В связи с этим дети испытывали проблемы в учении, им приходилось переходить из одной школы в другую, учить новые языки, приспосабливаться к нравам той или иной школы и даже более того – всей системы образования той страны, в которой они были вынуждены учиться. Мало того, С.К., попав в хорошую английскую школу, жил там на пансионе вдали от матери, отчима, брата и сестер. Все это, конечно, не могло не осложнять жизни. Переписка Иванова с его второй женой постоянно наполнена обсуждением тех или иных педагогических проблем, возникающих

то с одним ребенком, то с другим.

Насколько мы можем судить, старший из детей до определенного времени был мальчиком, что называется, беспроблемным: он успешно учился, свободно говорил на разных языках³, отличался разнообразными интересами – от спорта до древней истории, пробовал силы и в литературе. Как часто бывает, проблемы начались позже. Летом 1905 г. Иванов с женой перебрались на постоянное место жительства в Россию, но дети оставались в Женеве с верной М.М. Замятниной. Младшие еще учились в различных школах, а старшему пришла пора продолжать образование. Он поступил в Женевский университет, и именно к проведенному там учебному году относятся письма отчима к нему, которые мы публикуем.

После возвращения из Швейцарии С.К. поступил в Дерптский университет на юридический факультет. Не без осложнений⁴ закончив его, он стал чиновником (служил в Кассационном департаменте Правительствующего Сената, в Горном департаменте Министерства финансов, в Цензурном комитете); в годы войны командовал ротой на фронте, был ранен⁵. Долгое время о его жизни в 1920-е и начале 1930-х годов не было почти ничего известно⁶. И только в начале 2010 года в двух «живых журналах» появился рад сведений о его дальнейшей судьбе, выявленных в совершенно неожиданных источниках. Кратко суммируем ставшее известным. На первых порах он вполне уживался с новой властью: в 1919 году работал в «Институте экономических исследований», в 1920 – в отделе информации ИККИ (Исполкома Коминтерна). С 1922 по 1925 был переводчиком (с французского и на французский) в советском посольстве в Китае (по другим сведениям – личным переводчиком тогдашнего полпреда Л.М. Карахана), выезжал даже в Японию. В письме Л.М. Кагановича к Сталину и Молотову, написанному 20 августа 1932 г., рассказывалось: «Расследованием Стецкий в Ленинграде выявил безобразнейшее положение в иностранном отделе “Красной газеты”. Всеми делами иноотдела заправлял некий Шварсолон – беспартийный, 50 лет, обрусевший француз, бывший гвардейский офицер, во время гражданской войны сидел в концентрационном лагере за фабрикацию удостоверений для перехода границы, будучи секретарем тогдашней “Экономической жизни”; после окончания гражданской войны попал в число сотрудников НКВД, был в нашем посольстве в Китае в качестве переводчика, был выставлен оттуда за подозрительные связи с иностранцами, работал затем некоторое время по линии ТАСС, затем в газете “Смена”, затем в “Вечерней красной газете”; живет широко. Именно этот тип и дал заказ на напечатанную статью. Шварсолон арестован, и ОГПУ начал следствие по его делам»⁷. Поводом для расследования явилась статья в «Красной газете», в которой говорилось о воссоздании Германией вооруженных сил. В результате в декабре 1932 г. Шварсолон получил 10 лет лагерей, был на Беломорканале, где работал в газете «Перековка». Видимо, за ударный труд вместо со многими другими был освобожден, жил в Калуге и преподавал иностранные языки в педагогическом училище. 21 сентября 1941 г. военным трибуналом Московского военного округа был приговорен к расстрелу по статье 58 п. 5. И хотя сведений о приведении приговора в исполнение не обнаружено, вряд ли можно сомневаться в его убийстве⁸.

жено, вряд ли можно сомневаться в его убийстве⁸.

Публикуемые письма (первые два – полностью, третье и четвертое – без начальных страниц, где содержатся размышления Иванова над частными проблемами, с которыми его пасынок сталкивался; помимо того, третье письмо утратило окончание) интересны со многих точек зрения. Прежде всего, они знакомят нас с общими размышлениями Иванова, явно основанными на личном довольно большом опыте, о сути и смысле университетского образования. Выдвижение на первое место отнюдь не знаний «что, где, когда», но критического восприятия предлагаемой информации, отказ от «катехизисов» любого рода, стремление к серьезному осмыслению каждого шага на пути к желаемой цели, – все это вещи хотя и общие, но не перестающие от этого быть верным и в наше время.

Второе, что видно в письмах очень наглядно, – размышление о судьбах гуманитарных наук, которым решается посвятить себя пасынок. И особенно, конечно, пристально Иванов вглядывается в филологию, обретающую в эти годы своеобразие. Конечно, нам странно читать, что в начале XX века история религии и фольклор считались совсем молодыми и недостаточно еще разработанными дисциплинами, но Иванову, профессионалу в этих предметах, невозможно не верить. Также с филологией он связывает еще одно размышление, кажется, более общего порядка – о системности, как мы бы теперь сказали, специализаций, желании устранить разбросанность и дилетантизм, столь заметные в гуманитарных сферах науки.

И, наконец, весьма небезынтересны для сегодняшнего читателя конкретные указания на книги, которые следует прочитать студенту-первокурснику филологического факультета, и на то, как следует их осваивать.

Судя по всему, исходя из характера пасынка, Иванов опустил наставление, которое делал более старательным ученикам, вроде следующего: «У нас слишком мало придают значения прилежанию. В Германии вот умеют это ценить, и прилежание требуют не только от ученого, но и художника. Помню, когда я учился в Германии, в семинарии Моммзена по римской истории, какую бездну прилежания мы вынуждены были проявить. Семинарии эти состояли в следующем: Моммзен намечал ряд тем, и каждый из семинаристов, принимаясь за работу, должен был исчерпать весь имеющийся по данному предмету материал (то же должен был делать и рецензент) <...> Был Моммзен тогда уже 70-летним стариком <...>, нраву был сердитого и во время таких диспутов прямо вцеплялся и яростно нападал на референта. Референт, однако, должен был быть стойким до конца и с апломбом выдержать и отразить все нападки. Такая школа у Моммзена многому научила <...> Виноградов сейчас же проектировал мне кафедру по римской истории в Москве, говоря, что прохождение моммзеновского семинария – достаточное свидетельство...»⁹

Письма печатаются по автографам, хранящимся в Рукописном отделе Российской государственной библиотеки (РГБ), фонд 109, картон 10, единица хранения 45, листы 2–5об, 7–7об, 8об–9об. Нами сохранены некоторые особенности правописания Иванова.

10.X.905.

Дорогой Сережа,

Вчера я писал тебе о твоей внешней работе¹⁰; сегодня прибавлю несколько слов о твоей работе внутренней, – точнее, об ее задачах как они мне представляются, потому что в этом отношении у меня нет твоей «программы», которую я мог бы критиковать.*

Главным образом хочу высказать тебе *одно* положение. Университетские годы, будучи годами основоположительной на всю жизнь работы внешней и внутренней, должны объединять ту и другую на общей почве развития в мыслящей и стремящейся личности *критицизма*. Только то университетское образование плодотворно, равно для будущего исследователя и будущего практического деятеля, – которое разовьет в нем критические способности в сфере избранных им изучений. Без критики нет, конечно, и научного метода; между тем важнейшая задача университета – вовсе не наиболее полное осведомление учащегося с данными и выводами науки, но внедрение в него научных методов (отсюда преимущественное значение так называемых «упражнений», «семинариев», «praktischer Uebungen», «conférences» и т.д.). Это я говорю о внешней организации научной работы. Рядом с нею естественно должна идти «выработка мирозерцания», как любят говорить (немного наивно) в России, – я бы сказал: внутренняя работа в той ее фазе, в какую она (естественно присущая мыслящему индивидууму с детства и завершающаяся здесь, на земле, с его смертью) вступает в те лучшие в известном смысле годы, когда юноша созрел для подлинной *науки*. Итак, и здесь основною задачей является выработка *критического* отношения к проблемам духовного и нравственного сознания. Критицизму противоположен догматизм, этот последний одинаково торжествует в православном катехизисе и в катехизисе «свободомыслящих» (Freidenker, что, nota bene, вовсе, увы, не тождественно с «freie, sehr freie Denker», по выражению Ницше¹¹), в догме манчестерства¹² и догме социализма, в отдельных философских системах и т.д. Легко живется догматику, на все есть у него готовый ответ, эффектный благодаря своей победоносной определенности и уверенности (кстати, не доверяй тем, у кого слишком много aplomb, – большею частью, если это юноши, они – будущие ничтожности). Выработывай из себя критика и искателя. Свобода не противна Богу; нет, Бог есть свобода, и «Дух дышит где хочет»¹³, и поклонения Божество хочет «в духе и истине»¹⁴. Молись о Духе, который «наставит вас на всякую истину»¹⁵. Борись против пристрастия и привычки. Будь свободен. Но храни в себе *мистическую душу*. Она возрастит цветы, о которых ты и не грезил, даже из пепла конечного отчаяния. Если все *слова* будут умирать на твоих устах, молись молчанием. Все сомнения, все отрицания, подсказанные чистым «калканием и жаждою правды»¹⁶, суть твои *добрые* дела. Но каждый час, потерянный на суетность, тщеславие, лень или уныние – твое преступление.

Вяч.

* Но критиковать желал бы. И если ты не поленишься хотя кратко сообщать те новые точки зрения, которые тебе открываются, я буду с охотой и без промедления отвечать тебе «философскими письмами»¹⁷.

9.XI.905

Дорогой Сережа,

Два слова о твоём учении. Я уже писал тебе о необходимости начать правильные университетские занятия, ввиду невозможности приехать теперь в Россию, где черные сотни грозят разрастись в черные миллионы и едва ли может быть речь о спокойном ходе учения и экзаменов. Следовательно, тебе должно в Женеве *совместить* приготовления к русскому испытанию зрелости с основательными и строгими занятиями в университете. Ты так, очевидно, и поступаешь. Но выбор курсов меня прежде всего приводит в недоумение тем, что противоречит твоему недавнему определенному решению проходить юридический факультет. Мне неясно, окончательно ли склоняешься ты в настоящее время к филологии или думаешь только использовать эту зиму, в целях общего образования, на филологические изучения. В этом последнем случае я отношусь к твоему выбору с решительным порицанием. Нужно делать дело сразу и цельно, и эпикурейски растрчивать год ты не вправе. Если же ты внезапно переменил свои вкусы и хочешь быть филологом (что едва ли гармонирует с *запросами* данного исторического момента и крайне затруднит будущую, суровую для тебя лично «борьбу за существование»), то all right. Однако и в этом случае выбор твоих курсов, в целом удовлетворительный, *вследствие* участия твоего в *практических упражнениях* у Buvier, по латинскому языку и по древней истории и *вследствие* наличия в твоей программе серьезного курса истории философии, а также курса полит. экономии (хотя слишком поверхностного) – все же кажется мне не довольно строгим и цельным, есть в нем привкус дилетантства (которого нужно бояться хуже всего) – и, признаться, мне досадно видеть в этом списке «Историю религий (Индия)» или курс «фольклора»: с таких вещей не начинают, это – не довольно *научно*, по самой природе и молодости подобных дисциплин, а также и по методу их трактовки на подобных популярных, конечно, чтениях. Между тем, *филолог* должен совсем иначе отнестись к курсам чисто филологическим и не ограничивать себя 3 часами латинских занятий да элементарным курсом греческой литературы (конечно, высоко важным). – Студент-филолог прежде всего должен знать, зачем он записался в филологи, – определить свою цель. И сообразно с этим направлять с самого начала свое учение. Одно дело – специальность древних языков, другое – романские либо германские или славянские литературы, третье – история, четвертое – сравнительное языкознание, пятое – философия... И смешивать эклектически эти циклы значит терять время. По твоей программе я не вижу, кто ты такой: будущий юрист, или историк, или классик, или просто, qui nihil humani a se alienum putat...

Нельзя ли тебе отнестись к своему возрасту, своему времени, своему положению, своему историческому моменту со всею святостью и суровостью долга. В России ты, быть может, рисковал бы жизнью; оставаясь в Женеве, ты должен запасти в общий капитал народной энергии соответствующий эквивалент. Целую тебя горячо.

Вячеслав.

Удивляюсь, отчего ты не прислал печатную программу курсов и не посоветовался. Не забудь, что Крошка¹⁸ тебе не товарищ: у нее другие цели, другие запросы, другое от нее и требуется – или, точнее, ничего не требуется в смысле *долга*.

3

12 янв. 906

<...> В утешение о потерянном годе – но и в *назидание!* – скажу тебе со всею искренностью, что, строго говоря, в университетский период жизни потерянным временем оказывается только прогулянное. Быстрота официальной карьеры здесь прямо пропорциональна интенсивности и углубленности занятий. При условии равной интенсивности тот, кто пробыл в университете 6 лет, на два года *ближе* к конечной цели, чем тот, кто пробыл четыре года. Знаю по личному опыту, что реальный капитал эрудиции приносит бóльшую ренту, чем капитал формальный. Последний – бумаги, подверженные колебаниям и всегда стоящие ниже нормального курса, а первый – золото. Итак, прежде всего, ради Бога, не блуждай долее одного семестра по факультетам, но окончательно избери свой. Не пойми прежнего моего письма в том смысле, что я навязываю тебе юридический. Но сообрази, что в науке тебе наиболее дорого и близко; сообрази также, что филология открывает только путь научной деятельности и деятельности учебной. Литератором может равно быть филолог и юрист. Общественным деятелем и публицистом с большею легкостью делается юрист. Ученая карьера равно открыта, по специальностям, в каждом факультете. Практических целей легче филолога достигает юрист. О факультете социальных наук не говорю: он слит в России с юридическим, и строго изучение прав дает социологу и экономисту <оборвано>

4

3 марта <1906>

<...> Четырьмя неделями свободы ты должен прежде всего воспользоваться для строгой кабинетной работы. Я не знаю, как стоит вопрос об экзаменах в университете; понятно, раньше всего экзамены. Нужно, чтобы этот филологический семестр был действительно пройденным и зачисленным. Далее, необходимо заняться историей русской литературы и русской историей. Для первой есть у нас два или три учебника, которые следует пройти, прочесть целиком с *конспектом* и знать свой конспект. Для истории же политической примись за «учебную книгу» Соловьева¹⁹, и, читая ее, делай также *конспект*, но довольно общий, не останавливаясь на деталях, выбирая основные факты, главнейшие поворотные даты и очень внимательно останавливаясь на описании *учреждений*, на всех данных о праве и культуре. С другой стороны, и параллельно, веди серьезное чтение (всегда набрасывая суммарный конспект)

по-французски и по-немецки. Здесь даю тебе на выбор или общий курс философии (Séailles)²⁰ и Einleitung in die Philosophie Паульсена (обычно у нас)²¹, или, что еще более рекомендую, первый том Римской Истории Моммзена по-немецки²²: это необходимое чтение как для филолога, так и для юриста, даже для общего образования вообще. Умей только охватывать в изложении событий связь целого и опять-таки, с любовью изучая до мелочей все, касающееся учреждений и культуры. Поэтому, 1-es Buch – чрезвычайно развивательна и интересна. Дай Бог, чтобы ты понял и художественную красоту этой, трудной, правда, но классической книги («Römische Geschichte»).

Твои конспекты позволь мне по возвращении проконтролировать и поэкзаменовать тебя о прочитанном. То, что я пишу теперь – не платоническое увещание, как прежде, а прямо требование серьезной работы. Целую горячо

Вячеслав.

Если Митрофан Петрович даст тебе строгую (не популярную!) литературу как пропедевтику для юриста-историка, – займись, пожалуй, вместо Моммзена, ею.

Симптом твоей умственной лени: отсутствие потребности и желания покупать себе серьезные книги!.. даже купить программу лекций! – не первое ли дело для каждого нормального студента, достойного этого имени, употребить свой заработок – на *книгу!* нужную, любимую книгу, для разъяснения стольких запросов мысли!..

КОРМЧИЕ ЗВЕЗДЫ НАД ГОРНОЙ ТРОПОЙ

Томасу Венцлова к юбилею

Первые две книги Юргиса Балтрушайтиса (и единственные его прижизненные) вышли в издательстве «Скорпион» в 1911 и 1912 годах. Абсолютно в те же сроки и в том же издательстве вышли два тома наиболее прославленного собрания стихов Вячеслава Иванова «Сог арденс»¹. При этом как «Сог арденс» готовился много лет, причем обсуждались два заглавия (второе – «Iris in iris»), так и книга Балтрушайтиса объявлялась к печати по крайней мере с 1907 года², меняя заглавия (первоначальное название – «Жатва дня»³, встречался также вариант «Земные страсти»⁴, что, впрочем, могло, быть и опечаткой⁵).

В сравнительно немногочисленных работах о творчестве Балтрушайтиса принято было подчеркивать, что он (по крайней мере, в 1900-е годы) не был связан с кругом идей Иванова. Так, в единственной монографии о нем читаем: «Рассуждения питерского Олимпа (группы символистов во главе с Вяч. Ивановым) кажутся ему смешными, заслуживающими памфлета, мистицизм – ненастоящим и выдуманным»⁶. Однако нет сомнения, что десятые годы изменили положение, о чем нагляднейшим образом свидетельствует статья Иванова о Балтрушайтисе, написанная им после того, как о своем давнишнем добром друге отказался писать Валерий Брюсов. Особенно симптоматичным этот факт кажется, если спроецировать его на противостояние Иванова и Брюсова, отчетливо определившееся во время дискуссии о символизме 1910 года. Взгляду из исторической дали может даже показаться, что произошла своего рода переоценка ценностей: прежде казавшаяся Брюсову близкой, поэзия Балтрушайтиса теперь вовсе им не ценится, и, наоборот, никак не выявлявший своих симпатий к Балтрушайтису Иванов, наиболее отчетливо определив свое отношение к символизму, осознает подлинное значение этого поэта для становления и развития течения. Почти нет сомнений, что на деле все обстояло несколько по-другому, и интенции Иванова были вызваны гораздо более потаенными причинами, нам неизвестными, однако, как кажется, у нас есть основания говорить о том, что в одновременно вышедших книгах внимательный читатель уже мог почувствовать изменение в литературных отношениях двух поэтов. И относится это не только к позиции Иванова, но и к позиции Балтрушайтиса.

Относительно этой второй, как нам представляется, она может

быть датирована даже вполне точно – 1911 годом. Единственный из авторов, более или менее внятно написавший о работе Балтрушайтиса над своими книгами, говорил, цитируя письмо поэта к А.А. Дьяконову: «После ее (книги «Земные ступени». – Н.Б.) выхода поэт писал: “Кое-что в книге представлено лишь недостаточной частью и будет тебе ближе, когда бог приведет прочесть вторую книгу (“Горную Тропу”), где я снимаюсь со всех якорей и отчаливаю от всех пристаней” (12 мая 1911 г.). В работе над второй книгой проходит лето и осень 1911 г. В 1910-1911 гг. написаны и очень многие ее стихотворения»⁷. Как кажется, подтверждает некоторую спонтанность появления «Горной тропы» и каталог «Скорпиона», помещенный в конце «Земных ступеней»: в нем названо довольно много готовящихся и печатающихся книг, однако второй сборник стихов Балтрушайтиса среди них отсутствует.

При этом следует обратить (также вслед за Ю. Тумялисом) внимание на то, что поэт весьма последовательно следил за композиционным построением своих сборников: «...101 стихотворение сборника “Земные Ступени” разделено на четыре цикла (1+25+25+25+25) <...> сборник «Горная Тропа» разделен на три (25+25+25) неназванных цикла»⁸. При таком отношении ко внешним особенностям построения, естественно, приобретает значение не только симметрия разделов, но и другие стороны, на которые и обратим внимание.

Прежде всего следует сказать, что в тщательно продуманной композиции особую роль приобретают начальные и конечные стихотворения как всей книги, так и каждого раздела. Последнее стихотворение, названное «Аминь», в этом контексте вполне естественно. Однако обратим внимание, что открывает сборник не стихотворение «Горная тропа», что казалось бы логичным, но совсем иное. Оно называется «Альпийский пастух», что делает его не только связанным с «горной» темой, но и с другим стихотворением, принадлежащим перу Вяч. Иванова. В его книге «*Cor ardens*» есть стихотворение «Альпийский рог», где в первой же строке читаем: «Средь гор глухих я встретил *пастуха*» (Иванов, I, 606). Стихотворение это в системе эстетических воззрений Иванова чрезвычайно важно. Отнюдь не случайно он поставил его во всей цельности эпиграфом к статье «Мысли о символизме», открывавшей первый номер нового символистского журнала⁹. Почти невероятно, чтобы Балтрушайтис мог об этом знать, но ничего невероятного нет в том, что он обратил внимание на ивановское стихотворение при чтении и/или перечитывании «Кормчих звезд».

Однако явственная переключка стихотворений, как кажется, подчеркивает не только сходство их внутреннего настроения, но и важные различия, коренящиеся в мировосприятии поэтов. При всем осознании условности выделение «главных» тем стихотворения (как будто в нем могут быть «неглавные!»), все же отметим, что сам Иванов тем своеобразным комментарием, который получает «Альпийский рог» в статье «Мысли о символизме», подчеркивает один аспект, который в тексте сосредоточен прежде всего в следующих строчках:

...зычный

Был лишь орудьем рог, дабы в горах

Пленительное эхо пробуждать.

.....
И думал я: «О гений! как сей рог,
Петь песнь земли ты должен, чтоб в сердцах
Будить иную песнь. Блажен, кто слышит».

И из-за гор звучал ответный глас:

«Природа – символ, как сей рог. Она

Звучит для отзвука; и отзвук – Бог.

Блажен, кто слышит песнь и слышит отзвук» (Иванов, I, 606).

В статье об этом говорится так: «Я не символист, если слова мои равны себе, если они – не эхо иных звуков, о которых не знаешь, как о Духе, откуда они приходят и куда уходят, – и если они не будят эхо в лабиринтах душ. <...> Истинному символизму важна не сила звука, а мощь отзвука» (Иванов, II, 609, 611). И далее: «Истинный символизм не отрывается от земли; он хочет сочетать корни и звезды и вырастает звездным цветком из близких, родимых корней. Он не подменяет вещей и, говоря о море, понимает земное море, и, говоря о высях снеговых <...> понимает вершины земных гор¹⁰» (Иванов, II, 611–612).

Балтрушайтис подчеркивает совсем иное:

...Как в радостном храме,
Блуждает мой взор...

.....
От неба мой посох,
От неба – свирель...

.....
От Бога – о Боге –
И песня моя...

Кажется, отточия, завершающие каждую из приведенных формул (отточием завершается и все стихотворение), далеко не случайны. Они как будто подразумевают возможность сколь угодно продолжительного разворачивания текста именно в эту сторону: храм – небо – Бог. Земное же сводится к немногим предметам, причем и они несут характер вполне условный. У Иванова реалия только одна, но зато резко определенная и полностью соответствующая той обстановке, в которой происходит дело: «альпийский длинный рог» и его зычный звук настолько характерны, что читатель просто вынужден поверить в их существование. «Свирель» (к тому же – данная «от неба») и «рожок» (издающий «зов бесконечный») Балтрушайтиса столь же условны и невещественны, как «радостный храм», «беспечный напев» или «ясность ручья».

Таким образом, уже в этом стихотворении при всей параллельности текста и заглавия тексту и заглавию ивановского «образца», Балтрушайтис отстаивает свою линию творчества, которая оказалась сформулирована в позднем четверостишии:

Сладко часу звездно цвель!
На земле ступени есть
К неземному рубежу –
Ввысь, куда я восхожу.¹¹

Здесь (равно как и в названии первого сборника стихов) движение мысли Балтрушайтиса практически полностью совпадает с представлением Иванова: «...в каждом произведении символического искусства начинается лестница Иакова» (II, 606). Но практически осуществляется оно по-иному. «Альпийский пастух» противопоставлен «Альпийскому рогу» не по общему методу поэтического творчества, но по индивидуальным особенностям видения.

Уже одной этой параллели было бы достаточно для наших целей. Однако, как кажется, только одним этим стихотворением полемика в согласии Балтрушайтиса и Иванова не исчерпывается. Следует отметить, что оба они принадлежат к числу поэтов, почти всегда озаглавливающих свои стихотворения. В «Кормчих звездах» нет ни единого неозаглавленного, в «Горной тропе» оставлены без заглавий лишь части маленького цикла «Зимняя бессонница». И если мы сравним заглавия между собой, то обнаружим явственных совпадений немного, однако приходятся они на значимые точки схождения. Так, в том же разделе, который открывается «Альпийским пастухом», находим стихотворение «Возврат», название которого совпадает с ивановским, попавшим в тот же раздел «Ореады», что и «Альпийский рог». Это заставляет нас пристальнее взглянуть на соотносительность его со всем «горным» разделом Иванова. Но сначала – о сходстве и различиях двух одинаково озаглавленных стихотворений.

Они посвящены совсем разному. У Балтрушайтиса возврат – это возврат из сиюминутного в прошлое, а из него в вечность. У Иванова возврат – круговорот природы, естественный, но и трагический. Но первая строка стихотворения Иванова явно слышится у Балтрушайтиса: «Из вихря в вихрь, в просторе ледажном» (Балтрушайтис) – «С престола ледяных громад» (Иванов). Облако из стихотворения Иванова превращается в бегущие облака, то темнящие, то открывающие лунный лик. Антитеза светлого водопада и теснинного мрака у Иванова почти повторяется в первой строфе Балтрушайтиса («Шепчу привет и свету и теням»), чтобы потом развернуться в ряд то простых, то осложненных противопоставлений, организующих весь образный строй: «явь в былом», «покой и спор», «зыбкий мир – бессмертие веков».

Еще более явны у Балтрушайтиса отзвуки «горных» стихотворений Иванова во всей их целокупности. И прежде всего это относится к терцинам¹² «Вечность и Миг», которые позволим себе процитировать полностью:

Играет луч, на гранях гор алея;
Лучится дум крылатая беспечность...
Не кровью ль истекает сердце, млея?..

Мгновенью ль улынулась, рдея, Вечность?
Лобзаньем ли прильнуло к ней Мгновенье?..
Но всходит выше роковая млечность.

Пугливый дух приник в благоговенье:
Гость бледный входит в льдистый дом к Бессмертью,
И синей мглой в снегах легло Забвенье...

Молчанье! Вечность там, одна со Смертью! (Иванов, I, 605).

Нетрудно оценить важные совпадения и параллели: уже отмеченное нами балтрушайтисовское противоположение «зыбкий мир – бессмертие веков» в соответствие заглавию и строкам 4-5 Иванова; «дух живой» у Балтрушайтиса и «пугливый дух» Иванова, смерть, появляющаяся у обоих поэтов, «простор ледяной» и «льдыстый дом». Будь мы поклонниками гипотезы о принципиальной важности анаграммирования для поэтического творчества, мы не преминули бы сказать, что балтрушайтисовское полустигмие «зыбок миг во мне» (поддержанное звуковой перекличкой трех строк: «бега» – «зыбок» – «быль») является практически анаграммой ивановского «Забвенья». Однако, поскольку теория эта слишком зыбка, не будем настаивать.

Но и другие опорные слова Балтрушайтиса мы находим в текстах Иванова. Сон и луну (саждающуюся за туманной пеленой у Иванова, являющуюся среди бегущих облаков у Балтрушайтиса) находим в «На крыльях зари», а «лунный сон» – в «Прости!», гроб – в «Доле», жребий – в «Два взора», свет и тени – в «На высоте»¹³, там же есть и «миг мне памятен». Подобное перечисление можно было бы длить и далее, но, пожалуй, довольно и этого.

Однако чтение «Возврата» на фоне стихов Иванова позволяет не только установить совпадения, но и выявить различия в том образе мира, который строит Балтрушайтис в своем стихотворении. Да, и в том и в другом случае поэты создают систему философской лирики, восходящую в русской поэзии к Тютчеву, но делают они это по-разному. Не случайно, видимо, так часто в «Ореадах» упоминается вода в разных ее видах – водопад («На крыльях зари», «Возврат», перифрастически – «Стремь»), омуты («Стремь»), ключ, ключи («Стремь», «Духи и души»), озера («Стремь», «Два взора», «На высоте»), река («Стремь»), дождь («Дол», в виде надвигающейся грозы – «Пред грозой»), влага («Духи и души»), струи («Прости!»), волны («На высоте»), перифрастически нарисованное море («На высоте») – подавляющее большинство стихотворений так или иначе связаны с этой текучей и прозрачной средой. Именно она составляет наиболее существенную – вместе с горами и торжественным небом – часть ивановских пейзажей.

В «Возврате» Балтрушайтиса существует вполне явственная параллель двух оппозиций: недвижимым горам и мельканию теней соответствует недвижимая вечность и несущиеся миги. И поэт, наблюдая их, может только «беспомощно кивать головой» (последняя строка стихотворения, завершающаяся вдобавок восклицательным знаком, тогда как все последние строки строф – отточиями), констатируя свою беспомощность перед бегом времени.

В стихотворениях же Иванова, взятых в их цельности, воссоздание горных пейзажей, где главенствуют твердь, вода и небо, ведет не к отстраненному размышлению, а к действенному усилию как в ранее разобранном финале «Альпийского рога» (он же – абсолютный финал всего раздела), так и в завершении «На высоте»:

И зевом гибели, пред вечностью снегов,
Грозящей, я клялся, и повторял обеты:

Исполнив меру мышц, достичь победной меты;
 Молвы враждебной суд, как суд друзей, презреть –
 И, крайнее дерзнув, единою гореть
 Мечтой излюбленной и волей вдохновенной <...> (Иванов, I, 606)

Уже здесь, в этих стихотворениях, откровенно чувствуется то начало, которое станет столь важным для символизма в ивановском изводе, символизма, претендующего на теургическую роль. И в этом же, как сам Иванов констатирует, поэзия Балтрушайтиса предстает как особое образование, «далеко не всегда метод чистого символизма»¹⁴. Наблюдать сходства и различия двух поэтов – значит следить и за разноречиями в рамках одного литературного течения.

В заключение скажем, чтобы наши выводы не казались случайными, что не только этими совпадениями можно оперировать. Второй раздел «Горной тропы» открывается стихотворением «В море», где изображено плавание в «легком челне». Стоит сравнить это стихотворение с циклом Иванова «В челне по морю» в тех же «Кормчих звездах», как становится очевидным, что и здесь речь идет о чем-то принципиально сходном и в то же время принципиально различном.

Однако третий раздел «Горной тропы» начинается стихотворением «Рыбаки», которое, как кажется, уже не имеет прямой текстуальной связи с «Кормчими звездами», и это, в свою очередь, дает возможность читать знаменательные для Балтрушайтиса стихотворения в ином контексте.

В самом деле, все они отчетливо перекликаются. Все три написаны двустопниками («Альпийский пастух» – амфибрахийем, «В море» – ямбом, «Рыбаки» – дактилем), первое со вторым и второе с третьим (но не третье с первым!) связаны прямыми текстуальными перекличками, что заставляет читать их как единство в разнообразии. И уже вырисовывающаяся из этих трех стихотворений картина дает нам возможность почувствовать основания той стадии творчества поэта, которую Иванов в своей статье обозначил как шестую, стадии «трагической антитезы»¹⁵, когда «трагически» переживает он единство личности и мира, «капли и моря»¹⁶. Но об этом следует говорить более тщательным аналитикам той книги стихов Балтрушайтиса, которая заинтересовала нас как своеобразная и тонкая реакция на «Кормчие звезды».

К ИСТОРИИ РУССКОЙ ГАЗЕЛЛЫ

10 сентября 1908 г. в хроникальной заметке газеты «Новая Русь» сообщалось: «На днях возвращается в Петербург *М. Кузмин*. Он обнаружил за лето редкую плодовитость. Им написаны: 1) повесть “Двойной наперсник” – в которой выводятся оккультисты, религиозные философы и прочие мистики; 2) роман в стихах “Новый Ролла”; 3) поэма в стихах “Всадник”, написанная так называемым спенсеровским размером; 3) 30 газел (как известно, эта литературная форма в русской литературе встречается только у В. Брюсова и В. Иванова, да и то редко)». Следом за этим, гораздо более подробно, рассказывается об оперетке «Забава дев», что нас уже не интересует.

Вряд ли можно предполагать в газетном хроникере стиховедческую искусственность, выдаваемую заметкой. Спенсерова строфа в России была раритетом, а краткое изложение истории русской газеллы¹ (хотя, как мы увидим далее, и весьма неточное) намекает на интимное знакомство с редкостным жанром. Именно поэтому мы предполагаем, что если сам Кузмин и не был прямым автором заметки, то вполне мог продиктовать ее. И если это так, то его вполне можно понять. К этому времени ему принадлежала самая длинная серия газелл в русской поэзии. Вообще конец 1900-х годов был для Кузмина временем прохождения строгой школы стихотворного мастерства, которой он не получил в молодости. В опубликованных и неопубликованных стихотворениях он пробует разнообразные античные размеры (нередко предварительно записывая метрическую схему), экзотические строгие строфы (также записывая – на этот раз схемы рифмования), во множестве пишет сонеты (в том числе акrostихи и сонеты на заданные рифмы), терцины и пр. Кстати сказать, в рабочей тетради конца 1900-х годов Кузмин записывает строфическую схему и этой формы. Газеллы, таким образом, становились в ряд стихотворных экспериментов в заранее заданном духе.

Но кто этот дух задавал?

Нам известны две работы, посвященные интересующей нас проблеме². Оба автора выстраивают следующий хронологический ряд: Фет в переводах Гафиза (или, точнее, Г. Фр. Даумера, стилизовавшему свои стихи под Гафиза и выдававшего их за адекватный перевод) с немецкого, Вячеслав Иванов, Кузмин и Брюсов. Фет – 1859 год, Иванов – 1906 и 1911 (вторая дата, скорее всего, фиктивна), Кузмин – 1908, Брюсов – 1913.

Мы попытаемся дать несколько более широкое представление о становлении и развитии русской газеллы.

Согласно разысканиям востоковедов, первым стихотворным переводом газеллы на русский язык следует считать труд автора, скрывшегося под криптонимом П.П., появившийся в газете «Молва» в 1835 году³.

Конечно, и роль Фета здесь оспорить трудно. Пять его газелл действительно находились в поле зрения тех авторов, которые нас интересуют. Так, первым же номером в списке музыкальных произведений Кузмина значится «Песня из Гафиза (Фет)» (апрель 1890), и под октябрём 1897 г. находим: «Из Гафиза (Фет)»⁴. Конечно, это вовсе не значит, что именно на фетовско-«гафизские» газеллы Кузмин реагировал, но вряд ли можно предположить, что он вовсе обошел их своим вниманием. В том, что Фета знал Вяч. Иванов, сомневаться трудно, но у нас имеется и документальное подтверждение достаточно раннего знакомства: в 1901 г. Из Афин, где они тогда жили, Л.Д. Зиновьева-Аннибал просит свою подругу М.М. Замятинину, оставшуюся в Женеве с детьми: «Он просит <...> [т]акже написать, кому знаешь и как только можно будет, прошение: купить и выслать сюда самое полное и вместе самое дешёвое (лучше всего Никольского издание) издание *Фета*»⁵. Интерес Брюсова к Фету и его предпочтение многим и многим более в то время прославленным русским поэтам общеизвестен.

Но нас не могут не интересовать и другие источники сведений имеющихся в виду поэтов о газелях и их авторах. О.И. Федотов в упомянутой статье ссылается на воспоминания немецкого поэта и переводчика русских поэтов на немецкий язык И. фон Гюнтера, который рассказывал о своем пребывании в Петербурге весной и летом 1908 года: «Как знаток просодии и поэтики, которым я стал к своим двадцати двум годам, я рассказал Кузмину об арабско-персидской поэтической форме газелл и тут же продемонстрировал на примере нескольких газелл графа фон Платена, как должна быть построена газелла»⁶, и чуть далее рассказывает, как и другие поэты, в том числе Вяч. Иванов, стали также обращаться к этой форме. Конечно, если бы Гюнтер знал, что первые газеллы Иванова появились еще в самом начале 1906 года, вряд ли бы он решился намекать на свою роль в ознакомлении русских поэтов с газеллой вообще и газеллами Августа фон Платена в частности. Но на самом деле речь должна идти даже о значительно более раннем времени. 1 января нового стиля 1897 года Иванов писал жене: «Я купил также стихи Платена (Graf v<op> Platen – не прочти по [невежественности] т. е. невежливости: Платон), с которым давно собирался познакомиться ближе, вследствие виртуозности их формы, и просматривал их. Душа их – сладострастие ритмов, наиболее редких и изысканных. Платен обратил мое внимание на некоторые архаичные ритмы, которые я хочу эксплуатировать. Затем пэдерастия, пэдерастия (за которую Платену доставалось много, между прочим, от его неприятеля – Гейне)... Эту тему я, с своей стороны, эксплуатировать не буду; но здесь пэдерастия апофеозирована, блещет всеми красками и звучит всеми музыкальными тонами. (Я же предпочитаю свою девочку.) Вообще, Платен тебе, пожалуй, был бы не по вкусу; слишком много для тебя восточных мотивов и форм, персидской неги, роз и мускуса, – меня же эти струны его поэзии пленяют наиболее: как он ни любит Италию и античное, он более поэт Вос-

тока... Как мне хотелось бы на Восток! Платен же девять лет своей краткой жизни не хотел покидать Италию и Востока не видел» (Переписка. Т. 1. С. 504–505).

В этом фрагменте оказываются скрещены очень многие темы, которые на некоторое время переведут газеллу из экзотики в популярную русскую стихотворную форму. Прежде всего отметим мимолетное упоминание Гейне, которое оказывается весьма значимым, поскольку, в отличие от Платена, Гейне был невероятно популярен в России, и его проза неоднократно переводилась. Нет сомнения, что очень многие запомнили практически неизвестное в русской традиции имя немецкого поэта по десятой и одиннадцатой главам «Луккских вод», где не только подробнейшим образом обсуждались и поэзия и личность Платена, но полностью цитировалась (в немецком оригинале) одна из его газелл с таким комментарием: «Забавная поэзия! <...> Sitte sich und Pflicht zusammen, Gesicht zusammen, dicht zusammen, flicht zusammen!.. Забавная поэзия! Мой зять, когда читает стихи, часто для шутки ставит в конце каждого стиха поочередно “спереди” и “сзади”, – и я никогда не знал, что стихотворения с такими рифмами называются газелями. Надо мне попробовать – не станет ли еще красивее стихотворение, которое продекламировал г. маркиз, если после слова *zusammen* ставить каждый раз по очереди “спереди” и “сзади”. Поэзия от этого наверно станет сильнее на двадцать процентов»⁷. И далее газеллы Платена неоднократно упоминаются.

Во-вторых, Иванов вводит в свое суждение проблему платеновского гомосексуализма, которая его самого оставляет равнодушным, но для Кузмина не могла быть таковой. В августе 1907 г. он записывал в дневнике: «Читаю пасквилы и инвективы Гейне, называемые его “критическими статьями”»; чем это лучше Белого и Гиппиус. Он очень закрыт для меня, даже как поэт»⁸. Как кажется, контекст оценки прозы Гейне дает основания для того, чтобы увидеть причины ее отвержения в откровенно выраженной неприязни к гомоэротизму. Совсем недавним (за неделю до процитированной нами записи) событием для Кузмина было появление статьи З.Н. Гиппиус «Братская могила», вызвавшей дневниковую запись: «Гиппиус обрушилась и на меня, хотя это и замазано послесловием, но мне неприятно»⁹. В этой статье, не называя имени Кузмина и даже не приводя названия романа (видимо, потому, что обсуждаемое произведение было напечатано в «Весах»), Гиппиус писала, сравнивая роман Кузмина «Крылья» с повестью Л.Д. Зиновьевой-Аннибал «Тридцать три уroda»: «Вот другой роман, другого автора, стоящий в соответствии с “33-мя уroдами”. “Уroды” – роман женоложный, этот – мужеложный. Он, однако, иного аспекта: с аксессуарами, с вчерашним “эстетизмом”, с “талантливостью”. Именно благодаря своим аксессуарам, претензиям на культурность, – он обнажает во всю ширину ниву нашей некультурности, напоминает в ней резче, нежели роман Аннибал. Последний никого не обманет даже в Саратове – а романчик с аксессуарами в Саратове, пожалуй, сойдет за “культуру”. Автор, несомненно, “подчитал”, чтобы засыпать серую нашу публику разными “художественными именами”, бывшими en vogue в 80-90 годах. Имена уже подкисли, но сюжет “нов” (раньше не позволяли!), в Саратове сойдет. Язык

неумел, скверно-банален и неловок, – но это лишь для чуть внимательного уха. Я мог бы выписать с десятков перлов, но будь так скучно глядывать лишний раз в эту скучную книгу. – Но что – язык? Зачем язык? В Саратове сойдет за отменнейший, а не в Саратове... пора бы прийти к пониманию, что высший стиль – это плевать на стиль. Беспардонность внутренняя должна и облекаться в свою, беспардонную же, форму»¹⁰.

Определение Андрея Белого как «пасквильянта» у Кузмина встречается не раз. Так, в том же 1907 году в дневнике Кузмин записывает: «...пасквиль Белого на Иванова»¹¹; в 1934 году о нем же: «Белый испокон веков был симулянт, пасквильянт и импотентская истерика»¹². Однако наиболее очевидным образом его имя при чтении Гейне вспоминается Кузмину как имя автора недавней статьи «Художник оскорбителям», запомнившейся надолго¹³. Получив первый номер «Весов» за 1907 год, Кузмин записал: «...смешная и дикая статья Белого, анафематствующего, по-моему, подписчиков "Весов": "Эстеты, кадеты, растеряхи, межеумки, вампиры, оргиасты, педерасты, вы, свиньи, отрете ли наши ноги своими власами? не вам наша слеза, а детям вашим" (т<о> е<сть> пороссятам?)»¹⁴ На деле Белый писал несколько по-другому, но весьма похоже: «На вас, либералы, буржуи, эстеты, кадеты, блудницы и блудники, бездельницы и бездельники многие, на вас, межеумки, растеряхи, невежды, циники и меценаты, на вас, вампиры, себялюбцы и сластолюбцы, оргиасты и педерасты, садисты и прочие – как бы вы себя ни называли, – на вас опрокинули мы слово наше строгое <...> вы, зависящие от нас во всем самом нужном, – сумеете ли вы в решительную минуту обмыть наши усталые от странствий ноги, чтоб утереть их власами вашими? Прочь от нас, блудные вампиры, цепляющиеся за нас и в брани и в похвале своей, – не к вам обращаемся мы со словом жизни, а к детям. Мы завещаем им нашу поруганную честь, наши слезы, наши восторги...»¹⁵ – и так далее.

Впрямую этого не говоря, Кузмин, таким образом, выстраивает параллель: Гиппиус и Белый так относятся к нему, как Гейне к Платену, презируя за гомосексуализм и – как следствие, а не как особый повод – за художественное несовершенство его творений. Если наше предположение верно, то газеллы играют здесь далеко не последнюю роль. Напомним, что Гейне, обсуждая личность Платена, писал: «...эта склонность в древности не находилась в противоречии с общественными нравами и проявлялась с героической откровенностью. Когда, например, император Нерон устроил на выложенных золотом и слоновой костью кораблях пиршество, стоившее нескольких миллионов, то он торжественно обвенчался здесь же с юношей из мужского сераля, Пифагором <...> и затем зажег свадебным факелом Рим <...> То был еще такой сочинитель газелей, о котором я мог бы говорить с пафосом; но только улыбку может вызвать во мне новый пифагореец, который <...> со вздохом поет свои газели при жалком свете масляной лампы»¹⁶.

Наконец, в письме Иванова существует еще один момент, который следует подчеркнуть: значительная часть лексики («Душа их – сладострастие ритмов, наиболее редких и изысканных. <...> много <...> восточных мотивов и форм, персидской неги, роз и мускуса <...> Как мне

хотелось бы на Восток!») предсказывает стиль собраний «гафизитов», о которых уже немало написано. Напомним, что весной и летом 1906 года на «башне» Иванова, кроме общих гигантских по количеству людей «сред», еще собиралось интимное и почти исключительно мужское общество, участники которого костюмировались и общались между собой в духе вольной стилизации под одновременно античные и древнеперсидские образцы, воспринятые в значительной степени сквозь призму немецкой культуры конца XVIII и начала XIX века, прежде всего, конечно, через «Западно-Восточный Диван», но не только. В еще одном письме к жене, уехавшей в Швейцарию, Иванов рассказывал: «Закончилась беседа решением, сопровождаемым клятвой, продолжать Гафиз с тем, чтобы к весне уничтожить, “сжечь” его разоблачением и... скандалом, – выпустив “Северный Гафиз, almanach de poche”, в складчину. Это должна быть маленькая, маленькая книжечка, содержащая *все* стихи и прозу Гафиза и портреты *всех членов* в красках – в костюме и во весь рост, а также картинку *nature morte* – изображение обстановки и утвари Гафиза, как она у нас есть (только стилизованно), с яствами и свечами на полу и куполом Госуд<арственной> Думы за окном. Все это должно быть очень изящно и очень восточно по стило, до такой степени, что книжка будет читаться, как восточные книги, с конца к началу и справа влево <...> Сборник должен открываться стихами Платена в моем переводе»¹⁷.

Этого перевода сделано не было, а дошедшие до нас стихи гафизитов (Иванова, Кузмина и, видимо, С. Городецкого) не написаны в форме газелл, но невозможно сомневаться, чтобы при той насыщенности восточными мотивами, воспринятыми отчасти и через творчество Платена, которая торжествовала в кружке, газеллы остались без внимания, тем более, что первые образцы обращения к этой форме в творчестве Иванова появились совсем незадолго до возникновения кружка – в февральском номере «Весов» за 1906 год.

На полях отметим, что и в дальнейшем в кругу Иванова интерес к Платену и его газеллам в кругу Иванова не пропал. В только что опубликованном фрагменте из обширной переписки М. Кювилье (впоследствии Роллан) и Иванова читаем: «Вчера вечером пришла к Аделаиде <Герцык> ужасно веселая, танцевала вальс посреди ее столовой и делала страшные глупости. Потом читала ей Платена и свои семь газель – и она смотрела так странно и говорила: “Какая Вы счастливая!”»¹⁸

Что касается Брюсова, то его вклад в становление русской газеллы гораздо менее значителен. Единственный образец, на который ссылается Кузмин (или газетный хроникер), был опубликован в пятом номере «Весов» за 1907 год, что выглядело как своеобразный ответ Иванову. Однако очень похоже на то, что газеллы двух поэтов писались независимо друг от друга. Комментаторы семитомного собрания сочинений Брюсова утверждают, что черновой автограф стихотворения датирован сентябрем 1905 г.,¹⁹ и это очень сходится с содержанием: страсть к Н.И. Петровской, с особенной силой бушевавшая после совместного июньского пребывания в Финляндии, находит отражение в газелле, равно как и в письмах июля-сентября 1905 г.²⁰ Однако окончательный текст датирован лишь февралем 1907 г., то есть тем временем, когда газеллы Ива-

нова уже давно были напечатаны. Нам неизвестно, когда именно писал свои газеллы Иванов, но, по предположению О.А. Дешарт, они были посланы Брюсову как редактору «Весов» не позднее ноября 1905 г.²¹

Но примечательно, что произведения обоих авторов не слишком их удовлетворили. Из двух опубликованных в «Весках» газелл Иванов включил в «Сог ardens» только первую, да и то продлив ее еще четырьмя строчками, а Брюсов поступил, пожалуй, еще радикальнее: он свою газеллу включил во «Все напевы», но для иллюстрации формы в незавершенной и не изданной при жизни книге «Сны человечества» и в позднейших «Опытах» он использовал газеллы другие, написанные значительно позже, в прозаических пояснениях отказавшись от каких бы то ни было претензий на первенство: «Ряд газелл – переводы Гафиза, – дал А. Фет; много газелл написано М. Кузминым, Вяч. Ивановым и др.»²²

В этом ряду стоило бы упомянуть П.П. Потемкина, посетителя и Иванова, и Кузмина, и знатока немецкой поэзии. В 1908 г. в газете «Межа» она напечатал странноватое произведение:

ЧЕТЫРЕ ГАЗЕЛИ
(Из графа Августа Платена).
Перев. Потемкина

Краски крыльев, краски талий
Летних бабочек – вдали!
Так воздушны, так непрочны,
Как венки моих азалий,
Как дары мои и жертвы,
Как слова моей печали!
Все проходит мимо, мимо,
Все у смерти на причале,
Как узор жемчужный пены,
Как дыхание на стали!
Я не требую бессмертья
Смертью боги всех связали –
Хрупки звуки этой песни,
Как стекло в моем бокале²³.

Как видим, в этих «газелях» отсутствует редифная рифма, замененная обыкновенной, только подобранной на один и тот же звуковой комплекс. Да и само обозначение «Четыре газели» выглядит непонятным. Это, как кажется, свидетельствует о том, что еще в 1908 году газелла не стала той строфической формой, которая была общеизвестной. Потемкин именно тогда весьма активно входил самыми разнообразными способами в петербургский литературный круг, но представления о канонических формах у него явно были чрезвычайно относительными, что было бы совершенно невозможно несколькими годами позже. Уже во второй сборник стихотворений он включил три газеллы, вполне выдержанные в отношении жанровых канонов²⁴, что, как кажется, свидетельствует о том, что именно между 1908 и 1912 годом эта форма окончательно и полноправно вошла в русское стихосложение.

Дальнейшее развитие газеллы (например, С. Парнок, упомянутая в этом качестве Вяч. Вс. Ивановым²⁵, Н. Львова или К. Липскеров) нас

интересует значительно меньше. Единственное, пожалуй, что стоит отметить, – быстрая автоматизация формы. Уже в 1913 г. в статье «О стихах Н. Львовой» Ахматова написала: «Мне кажется, что Н. Львова ломала свое нежное дарование, заставляя себя писать рондо, газеллы, сонеты»²⁶.

Но вместе с тем полагаем нужным сказать, что отнюдь не только тот круг поэтов, о котором мы пишем, был приверженцем газеллы, восточных имитаций Платена и пр. В 1901 г. вышла книга почти забытого ныне поэта Платона Краснова (1866–1924) «Из западных лириков», куда было включено стихотворение Платена, которое имеет смысл процитировать:

Из «ЗЕРКАЛА ГАФИЗА»

Гирляндой роз пунцовых мой кубок увенчайте:
Его вином душистым до края наливайте.
Но в грош теперь не ставлю я всех ханжей проклятья.
Я пить хочу и буду, и пить мне не мешайте.
Что горя, что причины вещей не буду знать я?
Вопросов философских, прошу, не задавайте:
Я следую Гафизу: вино для мудрых – солнце,
А кубок – полумесяц. В луне мне солнца дайте!

Конечно, эта газелла во всех отношениях менее искусна, чем те образцы, к которым мы отсылали ранее. Однако она вполне отвечает брюсовскому описанию формы, а появление ряда сквозных для Иванова топосов заставляет нас не пренебречь и этим стихотворением.

ИЗ БАШЕННОЙ ЖИЗНИ 1908-1910 ГОДОВ

Когда произносится «Башня», практически всегда имеется в виду ее «героический» период, начиная с лета (или осени) 1905 года до весны 1906¹. Не успели собрания по-настоящему начаться осенью 1906 года, после возвращения Л.Д. Зиновьевой-Аннибал из Швейцарии, как она серьезно заболела, и фактически сезон 1906-1907 гг. для заседаний пропал. Потом Ивановы отправились на лето в Загорье, что завершилось трагически: Л.Д., заразившись дифтеритом, скончалась. После этого прежней Башни уже не могло быть, однако В.И. оставался на прежнем месте, квартиру населяли те же (или близкие) люди, и в этом своем инобытии она продолжала оставаться одним из центров русской интеллектуальной жизни до начала 1912 года, когда Иванов простился с Петербургом.

Вместе с тем культурный статус Башни решительнейшим образом переменялся. Из особого рода салона она превратилась в место обитания одного человека, пусть и по-прежнему обладавшего чрезвычайно высоким статусом в системе культуры того времени. Речь идет не только о месте Вяч. Иванова в русском символизме, но и о его авторитете в литературе вообще. Напомним, что именно на Башне начиналась «поэтическая академия», что оттуда вынесли очень многие представления о собственном творчестве Гумилев и Мандельштам (даже если не говорить о Хлебникове, соотношение которого с символизмом представляется проблематичным и нуждающемся в уточнениях), что «Аполлон» и Общество ревнителей художественного слова были теснейшим образом переплетены с обстановкой Башни этого периода, и потому любые сведения о тамошней жизни на Башне после смерти Зиновьевой-Аннибал, когда хроникеров практически не стало, представляют особую ценность.

Не будем повторять уже хорошо, в общем, известные слова о символистском жизнетворчестве, представляя чрезвычайно выразительные в этом отношении фрагменты писем. Напомним только ситуации разных лет, о которых идет речь в письмах.

Весна и лето 1908

Первые из публикуемых документов относятся к весне и лету 1908 года, когда семейство Вяч. Иванова (его самого, В.К. Шварсалон и М.М. Замятину), а также А.Р. Минцлову пригласили к себе на лето сестры Аделаида (1874–1925) и Евгения (1878–1944) Казимировны Герцык, у

которых было имение в крымском Судаке. «Лето 908-го года Вячеслав Иванов провел у нас в Судаке. Постепенно приезжали все члены его семьи: девочки, радостно вырвавшиеся из непривычной им, замурованной жизни Петербурга, сбросив башмаки, босиком бегали по винограднику, копались в огороде. Всегда хлопотливая Замятина <так!>, преданный друг семьи. И Минцлова. Последним приехал он»². На деле, первой приехала в Судак В.К., потом Минцлова, и уже в самом конце июня – сам Иванов с Замятниной. Практически два месяца Иванов провел в очень тесном по его меркам кружке людей, помянутых на страницах публикуемых писем: с начала мая у него жил немецкий поэт И. фон Гюнтер; 12 мая из закрывавшейся на лето художественной школы Званцевой (находившейся по той же лестнице этажом ниже) в квартиру переехал М. Кузмин; до отъезда на отдых жили с ним вместе пасынок Костя и дочка Лидия; какое-то время прожили знакомые англичане – и, конечно, верная домоправительница и друг Мария Михайловна Замятина (1862–1919), которая и писала письма, фрагменты из которых мы приводим.

Разлучение семейства (в том числе и Минцловой, которая была теснейшим образом связана с Ивановыми в это время) выглядело необычным и причиняло немало переживаний почти всем. С одной стороны, в Крыму Иванова нетерпеливо ждала влюбленная в него Е. Герцык³. С другой – явно боялась утратить свое влияние на него Минцлова. Сам же Иванов, кажется (во всяком случае, из публикуемых писем), более всего был настроен на работу, то есть на завершение давних замыслов, все время откладывавшихся. Именно как свидетельство об этой работе письма М.М. Замятниной к В.К. Шварсалон прежде всего и интересны. Они хранятся: РГБ. Ф. 109. Карт. 20. Ед. хр. 3. Л. 15–22. Мы не раскрываем сокращения регулярно появляющихся имен Иванова (Вяч., Вячесл. и пр.), Минцловой (А.Р.), Кузмина (М.А. и др.). Часть первого письма была нами опубликована ранее⁴. Как параллель к письмам интересны дневниковые записи Иванова июня 1908 года (II, 771–773), особенно потому, что в них зафиксированы прежде всего мистические переживания, а не чисто бытовые.

1

Башня	15 Мая 1908
	Четверг
	2 ³ / ₄ ночи.

Дорогая моя Верушка, прости, дорогая, что так долго тебе не писала, и если бы не письма Лидии мален<ькой>, так ты была бы без известий с башни; правда, что я имела в виду эти самые письма Лидии⁵.

Голубушка, прежде всего не волнуйся и постарайся успокоить и А.Р., и сестер в том, что Вячеслав еще не едет⁶. Он чувствует себя хорошо, и так сильно и усидчиво работает, кажется, за всю зиму думает те- перь наверстать.

Он кончает «По звездам»⁷. Теперь дописывает еще большую статью, в которую превратились «Спорады», долженствующие войти в книгу⁸. Дня через два, три книга будет совершенно кончена и отослана в типографию⁹, так что я рассчитываю, что через пять дней самое позднее мы сможем выехать, т.к. теперь мы уж будем ждать Вячеслава.

Представляю себе, как все в Крыму вы огорчены таким запозданием, и мне ужасно горько, что внешним поводом как бы являюсь я виной тому. Но, Верушка, ты не можешь представить, как действительно хорошо и важно, что Вячеслав остался сам с собой совершенно один на несколько дней. Он очень успокоился, напряжен<ные> нервы его отошли. Дня два после вашего отъезда нервы были очень натянуты, но с работой они успокоились. Кашель его прошел от моего лекарства почти совершенно. Он все собирается идти гулять (можешь судить по этому, что он хорошо себя чувствует), но все еще не решил, когда лучше пойти, — днем или ночью. У нас буквально не было ни единой души за это время, кроме Сомова на ½ часа т.к. всем сказано и говорится, что Вяч. в Крыму. Ты ужасную глупость сделала, что написала Над. Григ. о том, что Вяч. не уехал¹⁰; Кузмину и Гюнтеру на вечеру в «Шиповн<ике>» пришлось уверять, что это недоразумение, и они объяснили, что Вячеслав поехал, только с другим поездом¹¹.

Общество наше составляют исключительно Мих. Ал. и Гюнтер, но и с ними Вячеслав бывает по очень малу. Поговорит немного, прослушает сонату¹² и опять за работу. Бодро чувствует себя, замечательно, работой увлечен. Но работает не так, чтобы застрять надолго, а так, чтобы скорее кончить и ехать. Кто любит Вячеслава, не должен за него теперь беспокоиться*. Еще повторяю, что для Вячеслава было страшно важно и необходимо остаться одному после этой зимы. Найти себя самому. Ты понимаешь, я думаю, всю важность этого. Сама увидишь, как придет, и обо многом лично поговорит с тобой. Знай, что мы, конечно, все рвемся скорее к вам, но так было должно, как вышло.

Сейчас Вячеслав работает у себя, по обыкновению в постели, я сижу в столовой и пишу тебе, тут же за столом сидят Гюнтер и Аббат за работой. Дело в том, что Гюнтер б<ыл> у Станиславского по поводу своей драмы, для рекомендации драмы ему Вячеслав вместе с Кузмин<ым> написали отзыв за своими двумя подписями; отзыв имел такое действие, что Станиславский посулил Гюнтеру поставить драму, если Кузмину <так!> спешно, до 25-го, переведет ее. Теперь они оба вместе все дни и ночи сидят за переводом¹³. Мих. Ал. это очень хорошо, т.к. усидчивая работа его успокаивает, а то он был, как тебе уже и Лидия писала, в отчаянном состоянии. Переводят ночью они у нас, а днем у Мих. Ал. **

Сейчас Мих. Ал. просил кланяться тебе и сказать, что он в таком настроении, что решил не пить, не есть (кроме того, как он это будет делать), не стричься, не бриться, не мыться до осени. Срок подачи апелля-

* Читай одна это. — Прим. Замятниной.

** На листе 17 об многократно карандашом (видимо, В.К. Шварсалон) написано «Куранты» или части этого слова, а перед началом текста (в перевернутом виде): «М. Кузмин»

ции ¹⁴, оказывается, еще через 14 дней от вчерашнего. Пока я хлопочу со сбором, часть суммы уже собрана. Думаю, что можно на взносы рассчитывать на Герцыков и Гриневиц ¹⁵. <...>

Кажется, обо всем написала пока что. Думаю, что выедем во вторник. Конечно, телеграфируем о выезде. Целую дорогую мою, к<a>к люблю.

Целую А.Р. и сестер. Поклон Евг. Ант. ¹⁶ Маруся.

2

22 Мая <1908>, четверг
<Открытка>

Дорогая моя Верушка – к<a>к видишь, Вячеслав заработался в Петербурге. Через два дня книга «По звездам», рассчитываю, будет мною окончательно вся отвезена в типографию. Она будет до 340-50 страниц. Им сделано теперь очень много, т.е. прибавлено к книге, и она вся устроена. Работает он все время, ему ровно никто не мешает. Чувствует он себя, благодарить Бога, хорошо. Очень торопится кончить все и ехать к Вам. <...> Аббат и Гюнтер уже приступили к переводу эпилога. Сегодня Аббат написал два стихотвор<ения>, ему к «Rolla» ¹⁷ осталось еще только два. <...>

3

СПБ

1 Июня 3 ч. ночи
Троицын день.

Дорогая Верушка, насилу выбрала минутку написать тебе. В данное время на башне след<ующее> население: Mr Pares * и Mr Harger, занимающие две башенные комнаты (Mrs Pares уехала) ¹⁸, Гюнтер, живущий все еще в четвертой квартире, Аббат – в маминной комнате и Алекс. Ник. ¹⁹ в новой башенной, т.е. в кабинете со статуей.

В пятницу я проводила, наконец, маленькую Лидию в Копорье, куда ее пригласила по телефону тетя Лиза ²⁰. <...>

2 Июня, 5 ч. дня

<...> Костю ²¹ проводила тоже в пятницу, только Лидию отвезла к Зиновьевым к 4-м, а Костю провожали вместе с Мих. Ал. и Гюнтером в 9 ч. веч. После 3-го звонка Костя зажег спичку и Мих. Ал. должен б<ыл> ее потушить, так<им> образ<ом> на вокзале б<ыло> последнее тушение Кости ²². <...>

Только что проводили одних, к<a>к приехала Ал<ександра> Ник<олаевна> в пятницу же, но она, кажется, действительно уедет завтра, собирается, по обыкновению, она с первого дня. Она с собой увезет, наконец, Бог даст, «Cog ardens», кот<орый> совершенно переработан в смысле перестановки и посвящения, так что книга приобрела совсем

* В оригинале (так же, как и далее, в фамилии его супруги) ошибка: Paers.

иное значение, и хорошо б<ыло>, что вы забыли ее, но работы, конечно, было у Вяч. не на один день с нею²³.

Книгу «По звездам» я уже хотела везти в типографию, но в последнюю минуту Вяч. решил поместить в нее еще две своих рецензии, одну о рус<ском> языке, другую о Мом<м>зене, сделав из них очень маленькую статью²⁴. Так что теперь за этим задержка, но это, после отправки «Сог Ardens», на один день. После этого он засядет опять за Лидины бумаги²⁵, и, след<овательно>, скоро уже тронется в путь.

Ал<ександра> Ник<олаевна> пишет Аде²⁶, каким она его нашла, следов<ательно>, Верушка, ты не волнуйся за него, что он так застрял в Петербурге.

Гюнтер все еще в Петерб<урге>, хотя перевод его драмы давно кончен Мих. Ал-ем, но ему еще никуда ее не удалось поместить, а, следовательно, и получить за нее аванс, а, следов<ательно>, и не с чем выехать, теперь он ждет денег от родителей.

Мих. Ал. я все задерживаю на башне для Вячеслава, он теперь в работе и литературной и музыкальной. Кончил первую часть «Rolla» – в ней 8 песен, но будет еще 2 части (по совету Вячесл. он ее увеличит), план уже разработан, написаны еще и планы рассказа и план «Эхо»²⁷. Затем летом Мих. Ал. будет еще многое писать. Сейчас Мих. Ал. пишет музык<у> на Вячеслава²⁸.

Из этого видишь, что он в хорошем настроении, хотя и тоскует без писем, кот<орые> уже пишутся ему в Окуловку, а он сидит здесь²⁹.

Залог за него удалось собрать, причем 50 р. получены заимообразно до осени, их надо будет выплатить осенью опять подпиской.

У нас за все время со стороны б<ыл> только два раза Меерхольд <так!>, и это б<ыло> хорошо для Вячеслава, да Нувель приходил раз к Мих. Алекс., а то и Мих. Ал. ведь теперь нигде не бывает, – совсем монастырское житье³⁰. <...>

Сейчас Вяч. строчит ответную заметку в «Весы» на статью Андр<ея> Бел<ого> в № 5. Вы, верно, ее уже прочли³¹.

Только что Гюнтер прислал Вячеславу немецк<ие> стихи.

Очень часто они с Вяч. обмениваются немецкими стихами. Сегодня Гюнтер запаздал, а то обыкновенно он кладет на поднос с утренней почтой. Вяч. отвечает ему немецкими же стихами. Гюнтер и Вяч. собираются продолж<ить> такой обмен и по почте. Но для того, чтобы Вяч. ответил стихами, надо, чтобы стихи Гюнтера были хороши, на дурные или посредств<енные> Вяч. стихов не пишет. Гюнтер в восторг приходит от немецк<их> стихов Вячеслава, говорит, что не уступают Стефан Георгу <так!>³².

Вчера ночью и утром была над городом чудная радуга совершенно целая, и в то же время чудно всходило солнце, так что мы потащили с Гюнтером и аббата и Вячеслава на крышу³³.

Целую дорогую мою детку крепко. Поцелуй от меня и Евгению и Адела<иду> Казимировен. Сердечный поклон Евгении Антоновне.

Анну Рудольфовну целую, и передай, что завтра же высылаю ее рукопись³⁴, раньше не могла, т.к. почта в праздники была закрыта.

Целую еще и еще.

Маруся

<Рукой Иванова:> Боюсь, что ты меня забываешь.
Спешу. Скоро приеду. Не сердись. И сделай, чтобы на меня не
сердились. А.Р. поцелуй от меня руки. Сестрам привет.
Целую как люблю. *Твой Вячеслав.*

Осень 1908

Среди разнообразных материалов архива Вяч. Иванова в РГБ есть одна единица хранения, которая озаглавлена: «В.К. Шварсалон. Записные книжки 1907-1908 гг.»³⁵. В ней находятся 4 книжки разного формата, три из которых очень похожи, а четвертая, самая растрепанная, – нет. Эту последнюю мы сразу исключаем из нашего рассмотрения, поскольку записи в ней, почти исключительно карандашные и, как кажется, относящиеся к московскому периоду жизни Ивановых, невозможно привести к какому-либо смысловому знаменателю.

В первой по архивной нумерации листов (л. 1-49), также преимущественно заполненной карандашом, находятся малоразборчивые конспекты лекций по античной литературе на Высших женских курсах, упражнения в греческом языке и некоторые другие незначительные записи. Третья (л. 83-99) вообще не принадлежит В.К. – в ней М.М. Замятнина конспектировала книги по истории живописи и делала из них выписки, а также записывала свои впечатления от поездки по Бельгии и Германии (описания памятников Кельна, Антверпена и Брюгге). Таким образом, остается вторая книжка в черной ледериновой обложке (л. 50-82), действительно заполненная Шварсалон.

Из находящихся там материалов самый значительный интерес, как кажется, представляют два: списки посетителей двух собраний на «Башне» осенью 1908 года, а также несколько стихотворений В.К. Шварсалон (о которых см. ниже).

История «Башни», при всей ее сравнительно неплохой изученности, все-таки нуждается в дополнительно документировании. Отчасти она разрешается списками присутствовавших на больших собраниях, которые велись самим Ивановым, Л.Д. Зиновьевой-Аннибал и другими членами семьи, но пока что опубликованы лишь частично. По большей части эти списки относятся к первому сезону «Башни», т.е. к периоду с сентября 1905 по май 1906 года. Осенью 1906 года собрания стали значительно более редкими; в начале 1907 г. прекратились практически совсем (прежде всего из-за долгой болезни Зиновьевой-Аннибал), а с кончиной башенной хозяйки и вообще остановились. Находящиеся в записной книжке Шварсалон списки и замечания по поводу собраний осени 1908 года фиксируют новый этап развития событий, гораздо менее блестящий, чем предшествующий, но оттого не менее заслуживающий изучения. Приведем эти списки и комментарии составительницы к ним в том виде, в каком они сохранились:

1908 год

Башня

С. Петербург

30 Октября 1908

Первое собрание башенное.

(было 15 человек).

были: А.М. Ремизов
 Ф.К. Соллогуб <так!>
 С.М. Городецкий
 К.А. Сюрберберг <так!>
 М.Л. Гофман
 К.А. Сомов
 Л.С. Бакст
 А.А. (?)³⁶ Бенуа
 В.Ф. Нувель
 Иван Странник (А.М. Аничкова)
 С.П. Ремизова
 Ан.Н. Чеботаревская
 Ал.Н. Чеботаревская
 В.А. Щеголева
 А.Р. Минцлова

Читалось:

А. Ремизов.

«Июда, Принц Искаротский» (по апокрифам³⁷).

С. Городетский <так!>.

Из цикла стихотворений «Осенний Спас».

Вячеслав Иванов

(«en petit comité»)

Из Книги «Любовь и Смерть»: «Спор».

Пел В. Нувель «Ракеты» (слова Кузмина).

Читали и пели авторы.

Примечания

Вечер начался в десятом часу и кончался <так!> в 3.³⁸

Оживление было умеренное и поддерживалось все время на одинаковой высоте.

После ободрения чаем А. Ремизова, свои de la <?> soignée, прибыли в скором расстоянии друг от друга художники. Рассматривались новоделанные башенные комнаты, которые получили одобрение и admiration художников. После этого, во время чтения Ремизова, казалась шумно, но скромно, Иван Странник, которая в течение вечера, казалась, стремилась задобрить литераторов и [сделаться центром вечера <?>] возбудить внимание, но оставалась далеко от центра.

В последний антракт вошли Соллогуб, снежный и матовый старичек, кажушийся молодым, Настя (Ан. Чеботаревская) и Щеголева.

подавалось [чашками ча<й>] на подносах чай и вино. После чтения Ремизова пился чай за столом и вокруг.

«Левушка» Б<акст> был оживлен и болтлив: [путал] принимал [бот] Мих. Анж. за Рафаэля <так!>.

Сереза <?>, как обыденно, шутив и весел à parts'ами.

Соллогуб снежный и матовый старичек, кажущийся, как всегда, молодым, с блестящими глазами и [огром] большим лбом, был молчалив.

Бенуа очень благосклонен и интересен.

Ремезов <так!> [определен] развеселившимся и остроумным.

Ренуво ³⁹ – charmant.

Сюнерберг сдержанно молчалив с тремя умными фразами и видом наблюдателя.

Сомов романтичен, с красивыми глазами
etc.

Примечания Веры Шварсалон

2-ое собрание (было 31 человек).

Городецкий

Ремизов

Соллогуб

Блок

Ауслендер

Верховский

Гумилев

Чулков

Потемкин

Сюнерберг

Вильямс

Мейерхольд

Сомов

Бакст

Добужинский

Нувель

Котляревский

Ростовцев

Смирнов

Манасеин

Тыркова

Ремизова

Ростовцева

Чеботаревская

Котляревская

Чулкова

Манасеина

Катя Манасеина

Безобразова

Лиза Безобразова

Герцык

Читалось:

«Сны» Ремизова

Стихи Блок (Снега... <?>).
 ” Городецкого.

О первом из упомянутых собраний нам не удалось собрать сведений, так что достаточно подробное описание Шварсалон является, как кажется, уникальным, тем более, что оно фиксирует не только круг присутствовавших, но и то, что читалось и пелось. Цикл С.М. Городецкого «Осенний Спас» вошел в его книгу «Русь», так жестоко раскритикованную позже Ивановым еще в рукописи. До сих пор не было известно, что В.Ф. Нувель написал музыку к циклу М. Кузмина «Ракеты». Особых же комментариев ни состав присутствовавших, ни описание их действий, как кажется, не требуют. Отметим только, что совместное появление Ф. Сологуба и Ан. Чеботаревской так демонстративно отмечено Шварсалон потому, что лишь недавно началась их официальная совместная жизнь (обвенчались они лишь через шесть лет).

Стоит сказать, что по большей части посетители этой среды были среди тех, кто регулярно присутствовал на Средах и в первый их сезон: из 15 человек регулярно бывали тогда 11; А.М. Аничкова и А.Н. Бенуа жили в тот сезон в Париже, почему их на собраниях и не было, а М.Л. Гофман и А.Р. Минцлова вошли в круг Иванова позже. Поэтому собрание можно считать почти что домашним.

О второй среде сохранилось довольно упоминание в письме Блока к матери: «26-ого уехали Мережковские в Москву, был я на среде у Вяч. Ив. Долго разговаривал с Лизой Безобразовой. Она сообщает, что Сережа совсем разжирел и подурнел. И даже – потерял блеск. Среды стали уж не те – серо и скучновато»⁴⁰. Довольно подробно обстановка вокруг сред в связи именно с этой описывается в воспоминаниях С.А. Ауслендера, который как раз в этот день познакомился с Гумилевым: «Я сказал, что вечером буду на среде Вячеслава Иванова, и он выразил тоже желание поехать со мной, но с таким видом, точно он делает это из уважения к Вяч. Иванову. <...> Тогда, после смерти Зиновьевой-Аннибал, он жил уединенно, среды бывали более интимные, чем прежде, и он просил, чтобы к нему не приводили новых участников, не предупредив его. Поэтому я сказал Гумилеву, что надо позвонить по телефону и спросить разрешения приехать. Он это принял обиженно, сказав, что он поэт и кому же, как не ему, быть на средах. Я вызвал Веру Константиновну (жену Вяч. Иванова⁴¹), и хотя она говорила, что неудобно приезжать без предупреждения, но я все-таки упросил ее <...> Я не помню всего вечера на башне. Помню, что Гумилев читал стихи и имел успех. Стихи действительно были хорошие. Вяч. Иванов по своему обыкновению превозносил их. Гумилев держался так, что иначе и быть не может»⁴².

Кажется, что в последнее утверждение следует внести основательные коррективы. Вряд ли Шварсалон пропустила бы чтение Гумилева, особенно если бы оно вызвало бурные восторги Вяч. Иванова. Так что рассказ Ауслендера (вообще не обладавшего замечательной памятью) в этой части пока что следует считать домыслом.

Прокомментируем некоторые сравнительно малоизвестные имена. Гарольд Вильямс (1876–1928) – корреспондент газеты «Таймс» в Рос-

сии, муж упоминаемой ниже А.В. Тырковой⁴³. Котляревский – практически наверняка литературовед Нестор Александрович (1863–1925), входивший в близкий круг знакомых Ивановых еще с 1903 года. На то, что был именно он, а не известный юрист и один из руководителей партии кадетов Сергей Андреевич (1873–1940), указывает присутствие жены – актрисы Веры Васильевны Пушкаревой-Котляревской (1871–1942). Смирнов – Александр Александрович (1883–1962), в те годы известный как начинающий поэт и критик круга еще недавно существовавшего журнала «Новый путь», впоследствии литературовед-медиевист и переводчик; как раз в это время он был в Петербурге и писал о своих визитах к Иванову⁴⁴. Доктор Михаил Петрович Манасеин (1860–1917) скорее известен как муж детской писательницы, издательницы журнала «Тропинка» Натальи Ивановны (1869–1930) и отец ставшей впоследствии актрисой Екатерины Михайловны Манасеиной (1895–1955), упоминаемых далее в списке. Безобразова – сестра Вл. С. Соловьева Мария Сергеевна (1863–1919); Лиза (Елизавета Петровна, ум. 1917) – ее дочь. Чеботаревская – судя по всему, Анастасия Николаевна, жена присутствовавшего Сологуба, а не ее сестра Александра Николаевна. Герцык – переводчица и впоследствии мемуаристка Евгения Казимировна (1878–1944); ее сестра, поэтесса Аделаида Казимировна в это время находилась в Италии⁴⁵, откуда отправилась в Париж.

1909

Персонажи этих писем почти те же, что и в письмах прошлого года: в начале июля, рассорившись с семьей сестры и очень расстроенный, приехал в Петербург Кузмин и в середине месяца ему Иванов предложил пожить на Башне (это пребывание затянулось до 1912 года). Именно на этот период приходится наиболее страстная влюбленность В.К. Шварсалон в него. Но в письмах она практически не отражена, т.к. вскоре после переезда Кузмина, 24 июля, В.К. уехала вместе с Ал. Н. Чеботаревской в имение Отрадино Саратовской губ., принадлежавшее О.П. Орловой, куда и адресованы публикуемые письма.

Но до этого всем башенным обитателям пришлось пережить чрезвычайно волнующее событие: в конце июня и начале июля в Петербург приезжала М.В. Сабашникова, отношения с которой у Иванова были столь напряженными, что он, сперва пригласив ее пожить на «башне», на следующий день взял это приглашение обратно, а сами встречи их проходили под наблюдением А.Р. Минцловой и В.К. Шварсалон, – совершенно очевидно для того, чтобы не сорваться в пропасть любовной близости. Примерно так же переживала это В.К.⁴⁶ Вряд ли Сабашникова и Минцова были взволнованы менее.

Но к тому времени, когда Замятнина пишет публикуемые письма, напряжение более или менее спало, а Иванов принялся за работу. В это время он переводит стихи Новалиса⁴⁷, по-прежнему работает над «Sorgardens», держит корректуры своей диссертации, которая выйдет по латыни на будущий год, участвует в подготовке первого номера журнала «Аполлон». Общее настроение выразительно фиксирует дневниковая

запись Иванова 25 июня (еще до приезда Сабашниковой): «Летние дни в городе. Хорошо на башне. Устроенный, прохладный, тихий оазис на высоте, над Таврическим садом и его зеленой чашей-прудом с серебряными плесами. Латинские корректуры, филологические эзукубрации, мифология. Вечером мое открытое полукруглое окно, налево от старинного дедушкина бюро, за которым я сижу, – спиной к другому маленькому Лидину бюро из красного дерева, где розы перед ее портретом, – окно мое становится волшебным просветом в мир зеленых, синих, фиолетовых пятен, зыблющихся за светлой рекой призрачных морей, облачных далей и багровых закатных химер» (Иванов, II, 773).

Письма находятся в той же единице хранения, что и письма 1908 года, л. 25–36.

4

СПБ

30 Июля 1909

Четверг

6 ч. веч.

<...> За Вячеслава пока ты будь совершенно покойна, пишу это совершенно по чести и по истине, насколько могу судить. Он совсем не в том настроении, к<a>к когда ты была в Мерекюле ⁴⁸. Пока он ни разу видимо не грустил, к<a>к тогда. До вчерашнего дня он наслаждался поэтическим творчеством: переводом Новалиса и окончанием шести сонетов для «Cor Ardens». Со вчерашнего дня засел за примечания к «Дионису» ⁴⁹, сначала было трудно войти опять. Ночью же опять переводил Новалиса ⁵⁰, т.к. примечания – дневная работа. Сегодня принесли латинскую коррек<туру>, и он сидит за нею. Расходимся мы не позже часу ночи; второй день, что около 2-х часов Вяч., Куз<мин> и я завтрак<аем> вместе. Обедаем в 7 ч., после до 10 ³/₄ Вяч. работает. От 10 ³/₄ до первого часу чай, и музыка, и чтение вслух. В 1 ч. или 1 ¹/₂ я уже в постели. Вчера за обедом чирикала с увлечением Савитри ⁵¹. Тотчас после обеда ушла. Кроме нее никого не было за все это время, и М.А. не скучает. Весь день сидит у себя и пишет «Иосифа» – торопится кончить ⁵². Начал еще «Ролла» ⁵³. Выходит днем на полчаса погулять с какой-ниб<удь> целью в виде моих поручений или своих. Вячеслав в единствен<ный> не дождливый вечер гулял на Неву по собствен<ной> инициативе, а то все дни сильные дожди после обеда. <...>

12 ¹/₂ ч. веч.

Уже разошлись. Сегодня только музыка была и чай с 11 до 12 ¹/₂. После обеда Вяч. гулял в Таврическом и потом прилежно продолжал править латинскую коррек<туру> – и теперь ее же оканчивает. Хочет непременно завтра отослать в типографию. Аббат читал сегодня 2-ую песнь «Ролла» за обедом, а вчера вечером окончание 3-ей части «Иосифа». <...>

Вчера было письмо от Городецкого, из Москвы, где он был на несколько дней (теперь он опять в Васильурске), в Москве встретился с Маргаритой, она из Богданов<щины> приезж<ала> в Москву на неск<олько> дней (они в дружеских объятиях друг друга, иносказательных, судя по его письму) ⁵⁴. <...>

От А.Р. были письма и даже по два (иной раз) каждый почти день, сегодня нет совсем⁵⁵. Вячеслав ей не пишет и не тратит много времени, по счастью, на их прочтение пока. <...>

5

СПБ 2 Августа 1909
Воскресенье
1 ч. ночи

Поздравляю тебя, Верушка моя дорогая, с днем рожденья твоего, крепко тебя целую.

Пишу сейчас, как все уже разошлись спать. От 11 ч. до 1 ч. был чай, чтение 2-х глав «Прек<расного> Иосифа» и музыка⁵⁶. Сегодня в третьем часу приехал в отпуск Костя, вчера не приехал из-за дурной погоды⁵⁷. Он дома позавтракал, потом поехал к моей маме⁵⁸ <...>

С того письма уж не знаю, какие события произошли. Все продолжается то же. Кузмин пишет или переписывает у себя. Вячеслав усидчиво сидит за своим столом. Отослал коррект<уру> 3-ьего листа латинской диссер<тации>. Теперь днем сильно работает над примечаниями, а ночью переводит Новалиса. Сегодня хоть и хотелось ему гулять, не ходил из-за воскрес<ого> дня. <...>

От Ан. Руд. сегодня не было письма. Что-то выехала она сегодня за границу?⁵⁹

5-го вечером Вяч. будет в «Аполлоне», получил усиленное приглашение от Маковского⁶⁰. <...>

6

СПБ Четверг
6 авг. 1909

<...> Сейчас Костя поехал провожать Модеста⁶¹, кот<орый> вдруг сегодня заявился, оказыв<ается>, он уже две недели здесь и не подозревал (к счастью), что кто-нибудь из нас здесь, сегодня вызвал меня по телефону, не знаю уж как узнал, и сегодня же часов около 7-ми прибыл. Отпустил бороду, по-прежнему от всего вздыхает и отчего-то ноет, говорит, что массу курсов прочел по семи раз, странная система заниматься! Вообще зубрил нечто <?> и теперь зубрит, и пишет Вольфу рецензии и заметки (напис<ал> <?> о поэтич<еской> академии, читал ранее, чем напечатано, – сегодня – сносно, но есть и неточности)⁶². Сейчас у Вячеслава Каблуков⁶³.

23 Авг<уста> 1909⁶⁴

<...> Вячеслав тем временем верно кончит примечания к «Дионису», ему приблизительно, он рассчитывает, дней на десять или даже на неделю осталось работы, уже совсем к концу идет дело. Новалис вчера кончен переводом⁶⁵. Теперь только всего собрать надо. Латинская диссер<тация> двигается не очень стремительно, но не из-за Вяч., а из-за набора – очень долго набирают, т.к. для латинск<ого> шрифта один наборщик и ему еще очень трудно. Вячеслав же стремительно исправляет. Напечатано уже 3 л. и печатает<ся> четвертый, а набирается 5-й – всего

будет около 8 л.

«Сог ardens» коррект<уры> отосланы <?>, верно, будет еще только одна, так что в сен<тябре> уже верно выйдет. Прибавлено еще 8 стих<отворений> – за последнее время написанные ⁶⁶. <...>

<24 августа>

У нас сегодня Судейкин, Гумилев и Маковский вечером, пили чай, говорили об «Аполлоне». Кузмина Вячеслав показывал Маковскому ⁶⁷. Мих. Ал. пел и играл; уже раньше Маков<кий> приглашал Мих. Ал. в «Аполлон» ⁶⁸, теперь решено, что «Ролла» будет печататься в «Аполлоне», он будет длинный – семь частей, пока пишется к концу третья ⁶⁹.

Перед обедом Мих. Ал. играет каждый день с Лидией в четыре руки.

25-го

Модест больше не был. Опять из Гельсингфорса прислал открытку ⁷⁰. Ивойлов тоже еще не появлялся опять ⁷¹.

Сегодня Мих. Ал. вечером не был дома, вернулся около часу. Около 11 ч. пришел Потемкин, читал свои стихи, он уже и раньше был несколько раз с Нувелем у Мих. Ал. и у нас, пили чай и музицировали ⁷².

Сомов раз был к обеду ⁷³. Мейерхольд был вечером. Ольга Мих., бедная, выкинула и лежит в больнице, было опасно, но теперь прошла опасность ⁷⁴.

1910

В отличие от писем 1908 и 1909 гг., эти отправлены за границу. 21 мая 1910 года Шварсалон отправилась в экскурсию по Греции с группой студентов и курсисток под руководством Ф.Ф. Зелинского ⁷⁵. К этой же группе присоединился и В.Э. Мейерхольд, незадолго до того бывший режиссером в «Башенном театре», т.е. во время постановки драмы Кальдерона «Поклонение кресту» 19 апреля 1910 г., где В.К. принимала самое активное участие. Мало того, 4 мая был составлен план распределения должностей и возможный репертуар для продолжения деятельности. Впрочем, об этом см. ниже. Башенный театр и Мейерхольд не раз упоминаются в письмах.

Но Иванов более всего был занят не театром, а теми работами, о которых в письмах говорится, а кроме того – замолчанным: после знаменитых заседаний конца марта и начала апреля в «Обществе ревнителей художественного слова», где он читал доклад, ставший потом «Заветами символизма», Иванов перерабатывал его текст в статью для журнала «Аполлон».

Справиться с этим он хотел до отъезда в Италию, где должен был встретиться с падчерицей и провести какое-то время. Вылилось это пребывание в долгое (до конца октября) и чрезвычайно важное во многих отношениях – но об этом мы уже имели случай поговорить ⁷⁶.

Помимо этого, в Италии А.Р. Минцлова обещала ему встречу с таинственными «братьями», для чего собиралась сама приехать в эту страну. Весной 1910 г. в ее отношениях сперва с Андреем Белым, а потом и с Ивановым произошел серьезный кризис, с которым ей еле-еле удалось справиться, и планировавшаяся итальянская встреча должна

была, по ее замыслу, разрешить конфликт. Однако, как достаточно хорошо известно, в Италию она не приехала, и после 18 августа 1910 г. никаких точных сведений о ее судьбе нет ⁷⁷.

Публикуемые письма хранятся: РГБ. Ф. 109. Карт. 20. Ед. хр. 4. Л. 1–11. Фрагмент письма 8 был опубликован: Г.Г. Суперфином и Р.Д. Ти-менчиком в примечаниях к письму Ахматовой к Брюсову (Записки От-дела рукописей / Гос. библиотека СССР им. В.И. Ленина. М., 1972. Вып. 33. С. 274; более полный вариант публикации – *Cahiers du monde russe et soviétique*. 1974. Vol. XV. № 1 / 2. P. 190). Отрывки других писем были процитированы в комментариях к дневнику М.А. Кузмина.

7

Башня 7 июня 1910

Целую неделю не отсылала тебе письма, хотя уже и начина<ла> пи-сать тебе, были к тому разные причины. Вчера вечером уехала А.Р. ⁷⁸, и сегодня Вячеслав уже засел за работу и хотя сегодня по времени работал недолго, но уже совсем вошел и к<a>к-то сразу в работу и написал целый экскурс (к примечан<иям> «Религии Дион<иса>») о греч<еской> трагедии. До сегодняшнего дня «Греч<еской> Рел<игией>» не занимался, но каждый день писал по газелле, так что написал два цикла: один «о розе» в 7 газелл, и другой об «из слоновой кости башне» в 3 газелы <так!>. Не знаю, какой начнет теперь цикл. Все эти газеллы уже не вой-дут в «Cor Ardens» ⁷⁹. Мих. Ал. тоже записал стихи, Юр.Ник ⁸⁰ пишет тоже, но сравнительно ослаб несколько.

Башня 4 ч. дня 8 июня. Вторник

Сижу у себя в комнате. Вячеслав еще спит. Юраша уже встал не-обычно ⁸¹. Мих. Ал. наигрывает на пьянино свои композиции. На улице холодно, идет град. <...>

Вчера у Вячеслава было torticollie ⁸² и не совсем здоровилось, уж не знаю, надуло ли ему и неудачно повернулся, но работать это ему не по-мешало. Вечером была Тамамша и Ник. <?> Арт. Вяч. ее много рас-спрашивал про Армению, ведь его первая газелла об Армении ⁸³. <...>

8

Башня 16 июня 1910. Среда

<...> Вячеслав совсем вошел в свою работу, и она у него хорошо движается; несколько дней он даже вставал к завтраку, чтобы побольше поработать.

Стихов он написал уже целых 15, это все для Rosarium'a. Последнее время чувствует он себя физически хорошо. <...>

В воскр<есенье> вечером были Гумилев с Гумильвицей (острота Юрия Ник<андровича>), они на днях вернулись из Парижа ⁸⁴. Она пишет стихи немного под Гумилева по неизбежности, а старается написать под Кузмина. Но в общем сносно-симпатичная, только очень тощая и болез-

ненная, но недурная, высокая, брюнетка. Вячеслав очень сурово прослушал ее стихи, одобвив несколько одно, об остальных<ых> промолчал, одно раскритиковал; она вообще очень волновалась⁸⁵. Гумилев б<ыл> несколько менее чопорный. У него есть хорошие стихи.

Третьего дня вечер<ом> были три актера башен<ного> театра – Мосолов, Пяст и Лачинов⁸⁶ – им было показано первое и единствен<ное> письмо, рисунки Мейерхольда, зачеркнутые слова цензурой твоей усиленно старались прочесть, из-за этого чуть не протерли все письмо до дыр. Восстанавливали текст самый разнообразный, уж чего-чего ни казалось написанным, читались самые невероятные вещи, но толком так и не разобрали. Мосолов говорит, что писал всем вам в Афины, причем он по указанию какого-то греческого продавца губок, не бывшего никогда, очевидно, дальше Констант<инополя> – написал Ваш адрес погречески, кажется, довольно чепушистый.

Погода все это время последнее довольно холодная, теперь стало только потеплее.

Александр<а> Николаевн<а> переехала этажом ниже и Вячеслав, Ю.Н. и я были у нее на новоселье, где и Вяч. и Ю.Н. написали ей по стишку. Вячесл. назвал ее новое жилище «дуплом», очень уютные две комнатки, но только без вида. На новос<елье> ей принесли мы розовую гортензию и земляники.

Иногда в дни редакционные у нас обедает Сноска Ев. Ал., приезжающий из Павловска⁸⁷. К<а>к-то раз обедали Ауслендер с Над. Ал.⁸⁸, он приезжал из Окуловки к ним в Павловск на несколько дней.

Кажется, обо всем написала, остальное по-прежнему, по вечерам пение и музыка до 3-х часов. За обедом стихи. <...>

9

Башня	20 июля
	Понедельник ⁸⁹ .
	5 ½ ч. утра

<...> У нас на башне тихо совсем. Обитателей трое нас. Жизнь идет так. Вячеслав большею частью просыпается между 3 и 4-мя. До обеда работает, в 7 почти ровно всегда обедаем, после обеда с 8 ½ Вячесл<ав> опять до часу или <половины> первого ночи опять усидчиво сидит за примечаниями, около часу пьем чай, и до 3-х или иногда почти до 4-х Мих. Ал. играет, а теперь еще и прочитывается сказка из Шехеразеды⁹⁰. Ложась спать, Вячеслав одно время каждый день, а теперь не каждый день, но часто, напишет стих<отворение> – читается оно за обедом. У Вячесл. уже 35 новых стихов Rosariuma и начат рассказ в стихах⁹¹. Примечаний очень солидный том будет, я думаю – не меньше 300 стр<аниц>. Вячеслав уверяет, что меньше. Мих. Ал. сидит весь день за переводом «Фиаметы»⁹² и оркестровкой⁹³ и скучает порой, выходит не больше двух раз в неделю. Юраша уезжал в Бобровку, дней на десять, но на днях вернулся, но теперь он у Каратыгина⁹⁴, и у нас иногда ночует, приезжает около часу ночи прямо к чаю, попьет, почитает стихи.

На днях приезжала на два дня Кассандра⁹⁵, опять уехала к Сологубам в Мерекюль⁹⁶. А.Р. в Судак у Герцык, куда ее Вячеслав послал в

конце июня, т.к. Евг. Ант. была при смерти (восп<аление> кишек), теперь опасность миновала ⁹⁷. <...>

На прошлой неделе мы все трое кутили: обедали у Тернавцева; он один живет с Ельчаниновым, семья его в Крыму, они к<a>к-то оба были у нас вечером, и они настояли, чтобы мы пришли обедать. За столом сидели 3 ½ часа, он гомерически с пафосом многое интересное рассказывал. Представь, Вера, он продал свою яхту, что очень и за него жаль, и даже эгоистично, я все мечтала, чтобы Вячеслав покатался. А вчера, в воскр<есенье>, я одна кутила с Тернавцевым, он меня взял на моторе водяном смотреть яхточные гонки, были большие очень гонки, съехались яхты из-за границы, больше ста яхт участвовало, очень интересно и красиво было видеть в море несущиеся белые красивые чайки-яхты. На моторе очень удобно следить, т.к. можешь нагнать любую и следить ⁹⁸. <...>

Вчера у Вячесл<ава> была на полчаса Персиц ⁹⁹, но она толком ничего не могла рассказать о вашей поездке, она говорит, что видели много чудно-прекрасного, но Зелинским ¹⁰⁰ она очень недовольна. Возвращение было малоинтересно, Константино<поль> видели мало, долго стояли в карантине, так что ты избрала благую часть. А Мейерх<ольд> уже давно в деревне, эдакая безобразно-глупая Ольга Мих., что вызвала его и ускорила его возвращение. <...>

Из более позднего времени

С повествованием о 1910 годе тесно связан и еще один материал из записной книжки В.К. Шварсалон, которую мы цитировали выше.

Итак, из Греции она отправилась в Италию, где к ней присоединился Иванов, и с этого момента начинается отчет их брака. Привлекший наше внимание материал относится явно к более позднему времени, но генетически, как кажется, связан с интересующим нас. На листах записной книжки, не упомянутых выше, мы находим выписки из Мейстера Экхарта на русском языке (л. 60–63, 68об – 78об), сделанные явно не ранее 1912 года, когда вышел в свет перевод, выполненный М.В. Сабашниковой (что должно было усилить интерес В.К. к книге), а также из не определенного нами источника (л. 79–80) и список действующих лиц (не полностью) и отдельные реплики из текста народной драмы «Царь Максимилиан» (л. 80об – 82). Особенно отметим несколько документов, явно относящихся к 1912 году: черновик письма к брату Косте (л. 54–56) и черновой прозаический набросок, судя по тому немногому, что можно разобрать и хронологически приурочить, также, видимо, написанный в 1912 году, уже после рождения сына (л. 57–59). Это дает нам основания и приводимые ниже стихотворения также датировать концом 1912 года и связать с переживаниями относительно событий, в значительной своей части происходивших на «Башне»: брак с отчимом, рождение сына, завершение прежней биографии, утрата прежнего круга знакомых и друзей. Нет сомнения, что переживания эти должны были быть чрезвычайно серьезными, поэтому и порожденные ими (если мы не ошибаемся) стихи, лишенные биографической конкретики, оказыва-

ются драматически напряженными, несмотря на несомненную банальность многих образов.

Отметим несколько характерных черт этих произведений. Прежде всего, конечно, бросается в глаза их ориентированность на поэзию М. Кузмина. Известно, что Шварсалон была серьезно в него влюблена¹⁰¹; когда в 1909-1912 гг. Кузмин жил на башне, она обладала возможностью часто слышать чтение им стихов и прозы, а также пение. Это, видимо, и создало особого рода ритмический и образный комплекс, которым она пользовалась для выражения своих мыслей в поэтической форме. Особую роль в нем, несомненно, играли «Александрийские песни». Свободный стих, основанный на словесных и синтаксических повторах, характерные кузминские формулы (например, начало стихотворения с «Если...»¹⁰²), отдельные слова и словосочетания заставляют вспомнить о лирике старшего поэта. Но вместе с тем – трудно сказать, осознанно или неосознанно – в стихах Шварсалон чувствуются приметы той поэтики, которая возникнет много лет спустя. Вряд ли она осознавала «ранил» и «радо» в первом стихотворении, «крылатый» и «преграды» в последнем как рифму, но не было бы ничего удивительного встретить ее в качестве рифмы у поэтов 1960-х годов. Сбои ритма, разрушение стихотворной строки как единства¹⁰³, время от времени встречающиеся лексические невнятицы, даже некоторые внешние графические приметы (почти полный отказ от прописных букв, как в начале строк, так и после сильных знаков препинания) – все это приметы авангардной поэтики. И стихи Шварсалон, пожалуй, дают возможность для размышления о том, действительно ли это принципиальное новаторство или же бессознательное следование приметам и принципам любительского стихотворчества¹⁰⁴.

Приводим стихи в том виде, в котором они зафиксированы записями, т.е. без каких-либо знаков, определяющих начало и с воспроизведением помет о времени написания. Сперва печатаем стихи, записанные чернилами, потом – карандашом. Порядок следования определен нами с некоторой степенью условности, поскольку книжка (в том числе и листы со стихотворениями) заполнялась с двух сторон и, соответственно, в двух разных направлениях.

странно, так пусто, пустыня в душе –
 то любовь улетела.
где же ты, мальчик златой, что крылами горящими ей ранил?
нет никого, тишина и покой,
 тишина и покой.
что же глупое сердце не радо?¹⁰⁵

твои губы нагнулись
 к моим губам –
я помню.
твои глаза приблизились
 к моим глазам –
я помню.
твоя рука лежала в моей руке –

я помню.
моя душа прильнула к твоей душе –
я помню. ¹⁰⁶

Если сегодня не придешь, я знаю: не найти мне счастья никогда.
тебя найти где-нибудь, не гадая, (случайно) найти тебя.
Моя любовь тебя ищет повсюду,
моя любовь зовет, зовет...
Не может быть, чтобы ты не услышал
моей любви последний зов. ¹⁰⁷

мне казалось: пришла весна,
легко пьяная.
мне казалось: младое <?> вино,
воздух радостный.
и бродила, бродила душа
огнем радостным,
и забылась, забылась я
во сне сладостном.
Дек. ¹⁰⁸

рука, любимая мною,
принесла мне в дар
золотое яблочко.
и в сердце, в сердце слепое проник
робкий луч
золотого счастья.
и поняло сердце слепое, что в тот же час
рука, любимая мной,
к груди прижимала другого <?>.
Дек. ¹⁰⁹

будь покоен, стен здесь много,
не услышим слов любовных
и покой твой не нарушит
плач глухой мой в ночь немую,
но зачем сознание злое,
конь крылатый, грудью острой
раздвигая стен преграды,
мчишь свой бег в тот край запретный?
воротися, конь крылатый!
мой мучитель, бег напрасный
лихорадочный утишь,
ляг у ног моих покорней
и засни, засни, засни.
Дек. ¹¹⁰

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. М.А. Кузмин – В.И. Иванову

Аббата Козима

Прошение

Уполномоченный поэтом Иоаннесом Гугоновым сыном фон-Гюнтером почтительно напоминаю Вашему Магистерскому Преподобию о обещанной Вами вышеупомянутому Иоаннесу письменной критике на его Гугонова сына представление «Ди рейценде Шланге», в которой он, фон-Гюнтер, к завтрашнему утру весьма нуждается, каковое напоминание да не будет сочтено сомнением в Вашей Пресветлой Магистерской Памяти, но единственно насущной необходимостью иметь сию Вашу Отписку.

Вашего Магистерского Преподобия покорный слуга и усердный молитвенник

Смиренный аббат Козимо ¹¹¹.

2. В.И. Иванов – М.А. Кузмину

Аббату Козимо

Отношение

На поступившее от Вашего Преподобия почтительное прошение братски отписать неукоснительно тщусь. Недоуменно вопрошаю, желает ли Ваше Преподобие иметь аудиенцию или оный Гугонов сын фон-Гюнтер о таковой ходатайствует? Присовокупляю братскую просьбу поставить вышеименованного сочинителя в известность, что отписка о его представлении «Ди рейценде Шланге» дана оному не будет до прочтения им мне исправленного им Пролога.

Вашего Преподобия усердный читатель

В.И. ¹¹²

ИЗ ИТАЛЬЯНСКИХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВА

При всей широте своих европейских странствий Вячеслав Иванов неизменно возвращался в Италию. Впервые он приехал туда весной 1892 года, чтобы прожить несколько лет, потом, после перерыва, бывал в 1910 и 1913 году, окончательно поселившись, уже до самого конца жизни, в 1924-м. География его поездок примерно может быть восстановлена¹, но, пожалуй, важнее было бы составить нечто вроде биографо-топографического очерка, где географические, исторические, культурные реалии итальянских странствий оказались бы связаны с событиями как внешней, так и духовной биографии поэта. Не случайно он так напряженно осмысляет в стихах, связанных с Колизеем (см.: Иванов, I, 521; I, 621; II, 398), свою встречу с Лидией Дмитриевной Зиновьевой-Аннибал², – и такие примеры могут быть умножены³.

Однако для воссоздания путей и неразрывно с ними связанных переживаний Иванова прежде всего необходимо определить корпус тех текстов, где так или иначе описаны его итальянские впечатления. Ныне публикуемое письмо представляется в нем немаловажным, и не только по блестящим описаниям, весьма выразительным и тонко передающим дух новой встречи со старым и дорогим, но и потому, что оно написано в очень важный для жизни Иванова период.

Напомним, что в начале 1910 года он оказался одной из вершин прокламированного А.Р. Минцловой «мистического треугольника»⁴, но в какой-то момент решительно с нею поссорился, повергнув ее в глубокое отчаяние и заставив метаться по России, что закончилось загадочным исчезновением (о котором, впрочем, Иванов наверняка узнал далеко не сразу). В составлении планов итальянской поездки Минцлова принимала живейшее участие. Так, 5 мая она писала Иванову: «А теперь о Вашей поездке в Италию. Вячеслав, Вас примут *всегда* там, во всякое время, *одного* Вас (как *отдельное* лицо, а *не* как центр, который *сейчас* уже не существует – пока...). Но перед этим Вы должны исполнить одно условие – которое не является *моим* своеволием, а *conditio sine qua non* – исполнение *необходимого* требования – т.е. 3-4 недели (3-х достаточно), когда я буду с Вами вдвоем и смогу передать Вам все, что не могла еще досказать из *необходимого* в силу внешних условий»⁵.

Вместе с тем весной он дважды делает доклад о судьбах русского символизма, впоследствии опубликованный под заглавием «Заветы символизма»⁶, что вызывает ожесточенную полемику с недавними соратниками по символизму и, соответственно, некоторую перегруппи-

ровку сил внутри направления. Не очень понятно, осознавал ли такую возможность сам Иванов, но уже вскорости эта дискуссия была воспринята как важнейший симптом кризиса символизма.

Но вместе с тем для этой поездки были и причины глубоко личные. Уже 13 апреля Минцлова писала Андрею Белому: «Относительно нашего “союза” – мне начинает казаться теперь, что, быть может, лучше будет отложить это до осени (хотя В<ячеслав> и согласился, очень охотно и радостно, заехать в Москву по дороге за границу и там увидеть всех братьев своих). В<ячеслав> сейчас еще не знает, быть может, он останется всю зиму будущую в Италии, в Риме, с Верой»⁷. Вот как излагает события этой весны авторитетный биограф Иванова О. Дешарт: «Отношения углублялись, осложнялись, душевная близость переходила в любовь. Чувство В.И. к “ее дочери” сделалось противоречивым <...> Девочка, которую он знал с пятилетнего возраста, которую носил на руках, – ей ли стать его женою, занять место ее матери? <...> Как и с ее матерью, все решилось в Риме» (Иванов, I, 134).

Видимо, глубоко личные переживания заставляли Иванова не слишком афишировать это пребывание в Италии. Знаток творчества и биографии поэта А.Б. Шишкин в статье «Вячеслав Иванов и Италия» путешествие 1910 года даже не упоминает, перечисляя все остальные⁸. Да и О. Дешарт, путешествие описывавшая, излагает его перипетии неправильно. В основополагающей для каждого ивановеда работе говорится: «Летом 1910 г. В.И. жил в Италии, собирал материалы для книги о Дионисе. Вера приехала к нему из Греции» (Иванов, I, 134)⁹.

На самом деле все обстояло по-другому. Вера Константиновна Шварсалон уехала на научную экскурсию в Грецию под руководством Ф.Ф. Зелинского 31 мая 1910 года¹⁰. Иванов же оставался в Петербурге. Протицируем сохранившееся его письмо к падчерице:

8 июня <1910>, вторник.

Вера, моя радость! Извини меня. Я боюсь, подумать, что ты огорчишься, не найдя в Афинах письма после того, как уже в Константинополе обманулась в надежде найти письмо. При А.Р. мне было тяжело тебе писать, потому что я не мог в точности обозначить день ее отъезда. Она приехала во вторник, на другой день после вашего отъезда, и уехала в воскресенье, в Троицын день. Ей нужно было отдохнуть перед поездкой на Север, и мы решили за эти дни начать то, что следует пройти вместе, как ты знаешь. Эти дни с нею не только не были для меня потеряны, но дали мне неожиданно много, как не было давно. Кроме того, я писал стихи. В Троицын день я закончил оба цикла газэл: «о Розе» (7) и о «Башне из Слоновой кости» (3) – всего десять стихотворений, которые, кажется, принадлежат к моим лучшим стихам. «Дионис» начался. Неприятно не только не получать частых известий, но и не знать, где ты в точности. Люди не исчезают с горизонта: сегодня появился Гумилев. Были Тамамшевы. Валерий как бы раскаялся, судя по третьему письму ко мне, где он благодарит меня и косвенно просит уладить дело. Лидии у Аничковых хорошо. Иван Странник написал милое письмо, глубоко деликатное. Сама Лидия пишет очаровательные *comptes rendus*, весьма талантливые, и велит тебе пересылать; но страшно потерять на почте эти

милые странички. Сережа, конечно, вздыхал о том, что ты уже уехала, был очень мил, заявил мне, что «будет моим другом, но что по окончании университета имеет больше прав». Без нелепой бороды он поонел и поумнел. При университете его не оставят. Но он собирается учиться. Взял у меня на лето книжки по философии и специальные инструкции, что изучить. Его программа: Муромцев – прокуратура (для сочинения), Елинек учение о государстве, Логика Минто, главы по Фалькенбергу об англ<ийской> философии, Кант и Гегель. Я живу тою резигнацией и религиозною гармонией, с которыми свыкся. Целую тебя как люблю.

Вячеслав.

Привет рехидору.

Костя хороший. Лечение зубов его еще удерживает от Копорья. Он приводил Колно Иванова. – Мама с тобой.

В Троицын день я получил 11 роз, фиалки и васильки, причем Кассандра заключила свои 3 розы в вазу, представляющую собой три башни, расположенные под прямым углом <рисунок>.

А нынче <?> она прислала мне хорошую фотографию лица Мадонны из Magnificat Боттичелли ¹¹.

Сам Иванов уехал в Италию только 31 июля, о чем сообщает запись в дневнике М.А. Кузмина ¹². О дальнейших перипетиях мы узнаем непосредственно из публикуемого письма. В это время В.К. ждала его во Флоренции, видимо, под присмотром В.Э. Мейерхольда, о чем думать заставляет хроникальная заметка: «Возвратился в Петербург В.Э. Мейерхольд. Он вернулся из Греции, где работал в составе научной экскурсии профессора Ф.Ф. Зелинского. После Греции, по которой названная экскурсия путешествовала в течение всего июня месяца, г. Мейерхольд жил некоторое время во Флоренции, изучая материалы, необходимые ему для ближайших постановок» ¹³.

Адресат письма – близкий друг и домоправительница семьи Ивановых на протяжении долгих лет Мария Михайловна Замятнина (1862–1919). Оставшись в Петербурге, она регулярно писала Иванову о быте «башни». Тон первого абзаца можно трактовать двояко: и как иронию, и как действительно серьезные упреки ¹⁴.

Подробный комментарий академического типа к данному письму, как кажется, не является необходимым. настолько оно выразительно само по себе. Письмо хранится: РГБ. Ф. 109. Карт. 9. Ед. хр. 33. Л. 43–45 об.

26/13 Авг<уста> <1910>

Roma, via del Campidoglio, 5
ultimo piano (presso sig. Prospero)

Милая Маруся, почему вы изволите лениться писать? *Этого да не будет!* Всего два письма от вас. *Мало.* Если нет лирического подъема к писанию писем, пусть будет деловая энергия. Или этой последней у вас как раз столько, чтобы тревожить меня выпрашиванием каких-то денег, после того, как из-за вашей финансовой интриги я оказался во Флоренции в дурном положении и должен был отказаться от заезда с Верой в место, куда нам и приятно и нужно было заехать, – а встретившись в Ри-

ме неожиданно с Ростовцевыми¹⁵, принужден был просить у них, совершенно издержавшихся, 50 лир взаймы на три дня, – что было предусмотрено только случайно быстрою высылкою мне сюда 500 фр. из Женевы. Итак, полюбуйтесь на плоды ваших происков, имеющих явный характер враждебной злонамеренности по отношению к тому, чье бегство из ваших оков вы столь оплакиваете.

На сердце стало легче после этого полемического *proemion*, и вместе как-то беззаботнее, ибо ясно, что в качестве истца против вас я не намерен созывать себя вашим должником и о субсидиях на поддержание и усовершенствование Ноева ковчега, что на Таврической улице, думать больше вовсе не буду. Ибо я обижен и так себя утверждаю; а вы живите, питайтесь и множьтесь, как вам угодно. Итак, я перехожу к описанию своих странствий и приключений с легким сердцем рапсодопролетария.

В Варшаве я переезжал через город и сидел в кафе. До Границы должен был внести серьезную приплату за скорый поезд и место. В Австрии стало впервые тепло и солнечно. По дорогам шли крестьяне в праздничном наряде по случаю Успеньева дня. В Вене веселый извозчик мчал меня весело по веселым улицам. Перебравшись на свой вокзал, я отправился на трам в церковь св. Стефана, где была великолепная служба, и слушал проповедь о безрадостности современного настроения и обилии самоубийств. На границе жандарм осведомился, по случаю холеры, откуда я, был опечален упоминанием Петербурга и отметил мое имя, занятия, возраст и пр. – слабое утешение! – действительно, был он утешен, узнав, что в Вене я останусь лишь несколько часов. Телеграфировал два раза в Ментону, что остановлюсь во Флоренции и там буду ждать Веру и чтобы она ответила в Понтеббу. Перед Понтеббой я волновался. Спал сидя и отчасти лежа дорогой, видел днем и ночью <?> <1 нрзб>, а когда рассвело – долины и горы стали блистательны. Но в Понтеббе телеграммы не оказалось, и я помчался в Венецию, попросив начальника станции телеграфировать туда, если депеша еще придет. В Венеции я воспользовался несколькими минутами остановки на вокзале, чтобы опять добиваться телеграммы – и опять без результата. Поехал дальше с душевными итальянцами, угощавшими меня вином, болонским хлебом (самым тонким на свете) и сигарами взамен моих угощений русскими папиросами и вашим вином, которое было найдено хорошим, но слишком крепким. Виды по этой линии <?> очаровательны. Во Флоренции я остановился в Albergo Patria, где нашел наконец лаконическую телеграмму: «Arriverai mercoledì (т.е. на другой день) sept soir». Было совсем поздно, когда я пошел гулять по пустынным улицам, к Maria Novella, и сердце томилось несказанно. На другой день, после ванны, я отправился в Академию, где все те же примитивы <?>, и «Весна», и М. Анджело. Все увидел переменившимся к лучшему, все стало еще богаче и лучше: говорю это про изменения музея. Но я не знал, до какой степени изменился – развился – я сам в отношении эстетического восприятия и жизненного проникновения в тайны настоящего искусства. Я весь задрожал, и слезы у меня потекли из глаз, когда я вдруг увидел целый ряд незаконченных *ébauches* М. Анджело (тогда их еще не было здесь), мимо которых идешь к моему излюбленному Давиду. Ну, и так далее. Из Ака-

демии я пошел в очень жаркий день по моим святым местам, всюду, где была Лидия, где жила она, где мы встречались, на *viale Margherita*, в сады у бастионов. На вокзале ждал Веру с двумя розами, которые потом у нас распустились необычайно. Она поселилась в своей старой комнатке, я в другой по соседству. Вечером гуляли и ели мороженое. День ее рождения – четверг – праздновали мы вот как. Сначала пошли в капеллу Медичи, где скульптуры М. Анджело, его «Ночь». Потом в *palazzo Riccardi*, где она еще не была: я показал ей фрески Беноццо Гоццолли, и она была ими счастлива. Потом мы завтракали, ели мороженое, пошли на *Ponte Vecchio* и выбрали ожерельице из маленьких жемчужинок. Потом взяли веттуру и поехали на *Viale dei Colli*, а оттуда в *Cascine*. На нашем историческом местечке в конце Кашин было хорошо при луне, которая светила ясно через большие деревья над памятной скамеечкой и далеко серебрила Арно; было тепло, и таинственно-живо, и тосковало сердце. Наконец мы приехали в одну трактирию у *Maria Novella* и весело ужинали. В пятницу мы были в *S. Miniato* (см. «Кормчие Звезды» – «То был не сад...») и во Фиезоле (*ibid.*, «Тризна Диониса»), в руинах театра. И от Юрия Никандровича привет был сказан фэзуланским нимфам¹⁶. Прекрасно Фиезоле выше описания – и все вообще еще прекраснее, чем я прежде думал и видел. В этот день выяснилось окончательно, что нельзя заехать в Орвието, Перуджию и Ассизи за отсутствием денег. В субботу мы мчались с великолепным поездом в Рим, оба волнуясь, когда кончилась Тоскана и началась Кампанья. Остановиться в Риме задумал я близ Пантеона, там, где город – настоящий, старый, с узкими древними улицами между монументальных *palazzi* и старинных многоэтажных домов. Рим обдал сначала другим, не прежним духом. Какое движение, свет, модернизм, чертова цивилизация! Но вот мы переехали через Корсо, у колонны М. Аврелия, и мой Рим – тот же, вот и Пантеон, только назначенный мною отель ремонтируется, и веттурино везет нас в только что открывающийся по соседству на улице Звездочки – в гостиницу «Радуга». Здесь все, чего только могло желать мое сердце в смысле чистой римской примитивности и наивности. Мы заняли две смежные комнаты – и оказались первыми и единственными обитателями дома старинного, но только что отделанного под *soi disant* «отель»; по счастью <?>, лестницы были мраморные, и мозаики на полу изящны, как античные, а на квадратном дворе день и ночь шумел ключи <так!> воды из фонтана Треве <так!>, студеный и музыкальный. И все было необычайно чисто и девственно. Но камерьера нужно было вызывать криками со двора, и отхожее место, понятно, помещалось на балконе. Сдавала нам комнаты целая группа друзей дома, ничего не делающих и во всем принимающих живейшее участие. Остановившись, мы пошли на монументальную площадь *Piazza Navona* с колоссальными фонтанами Бернини, и я убедился, что мой *Passetto* процветает по-старому, элегантно дает двойные порции макарон, лучших в мире, и что вино *Castelli Romani* смеется над переменами мод и бегом годов. На другое утро пошли мы с Верой на паломничество в Колизей, вошли по дороге в Пантеон, который ей понравился, как я хотел (а она уже такая многовидевшая стала, что мне страшно, – во Флоренции – о чем я забыл выше упомянуть – в день рождения она водила меня с большим знанием по всем Уффициям), ей Пантеон ближе,

чем Св. София; зашли и в Минерву взглянуть на «Христа» Микель-Анджело, и скоро поднялись на священную скалу Капитолия. Приведа ее на площадку, откуда открывается удобнейший и красивый вид на Форум и Палатин и Колизей вдали, – мы вдруг заметили, что название улочки <так!>, не обозначаемой ни на каких планах, есть именно *via del Campidoglio*, да вот и дом № 5, прямо господствующий над упомянутой площадкой и всем миром руин, – это тот дом, где жили Ростовцевы и где они хотели поселить Веру¹⁷: нужно спросить, нет ли там как раз комнат. Но раньше зайти тут же по соседству в Германский Археол<огический> Институт и узнать о библиотечных часах и пр.¹⁸ Заходим в Институт и – сцена. Портье смеется на меня как на монаха, который проспал 100 лет. Я думал, что есть еще Гюльзен, быть может, даже Петерсен и проч. и проч. *Tempi passati. Neue Zeiten, neue Lieder.* Только доблестный Иоллар все на месте. Случайно спрашиваю, давно ли уехал Ростовцев, – и в ответ: он здесь занимается. Михаил Иванович сбегает вниз – встреча. Они еще два-три дня будут в Риме. Софья Мих<айловна> на *via del Campidoglio* 5. У них одна большая комната за 100 лир. Нам, наверно, дадут две смежных за 80 лир. Вид – единственный. Все века под ногами. Этот дом древнейшими частями принадлежит XIV веку, называется *Casa del Monsignore* и фланкирует Капитолий. Но мы идем раньше в Колизей. Все изменилось. Раскопки чрезвычайно расширились. Все похорошело! Великолепный и сумасшедший Бони (директор раскопок) все сделал иным, чрезвычайно расширив наши представления (вы слышали сами о гробнице Ромула и *lapis niger*), и, кроме того, все украсил, засадив, где можно, голые зияющие места кипарисами, лаврами, олеандрами. Но старого близкого прохода на Колизей нет, и нам пришлось обойти весь Палатин и войти в Колизей через арку Константина..... Потом – потом я устал писать на этот раз. Мы живем в *Casa del Monsignore*. Луна озаряет странно дивное поле веков, которое лежит перед нами, окруженные старинным громоздящимся башнями и церквами городом. Ростовцевы были очаровательны и все устроили, и очень помогли, и мы вместе все кутили, а С.М. была ученым, даже *ученейшим* гидом, а то не узнаешь – все так переменялось, если и помнишь старое. Целую крепко. *Вячеслав*.

<Приписки> Вера целует, благодарит за ласковый привет по случаю дня рождения, и просим оба прислать мою книгу Cagnat «*Manuel d'épigraphie romaine*» для Вериних занятий.

Письмо долго пролежало на столе. Пришлите программы Раева¹⁹. Напишем очень скоро и дельно.

Много работаю в Институте, отказываюсь от всех почти осмотров. Корректуры не высылаю, п<отому> ч<то> нужны переработки. Жаль, что не проделаю всего здесь.

Пожалуйста, из писем моих *ничего* не прочитывайте вслух другим, ни одного пассажи. – Мих. Ал. привет²⁰.

Пожалуйста, присылайте больше набранного текста и, м<ожет> б<ыть>, вторую половину рукописи прямо без набора – сюда, – но этого я еще не обдумал. Очень трудно работать без своей рукописи. К лекциям я опоздаю *очень*. Начну, должно быть, не 25 окт<ября>, а 2 ноября²¹. Нужно также знать, готовить ли лирику. Целую нежно. В.

Мы не можем сказать, понимала ли Замятнина, что речь идет о важнейших событиях в жизни и Иванова, и Веры. Возможно, что и нет: вряд ли случайно Вера написала ей письмо, известное нам по незаконченному черновику²², где рассказывала о событиях в своей и отчима жизни совсем уж недвусмысленно. Но для нас, пожалуй, существеннее увидеть, как в этом письме переплетаются, накладываясь друг на друга, самые разнообразные чувства Иванова: воспоминания об ученых занятиях и о любви пятнадцатилетней давности, ощущение перемен и постоянности римской жизни, бытовые и артистические впечатления, давняя дружба и решавшаяся новая любовь, – все это, пользуясь символистской терминологией, «неслиянно и нераздельно», и осененное вечным солнцем Италии.

ПИСЬМО – ДНЕВНИК – УСТНАЯ НОВЕЛЛА – ПРОЗА

Эта статья не претендует на всеобъемлющий охват возможного материала, который слишком велик, чтобы быть рассмотренным в сравнительно небольшой работе. Не менее существенно и то, что далеко не во всех случаях можно проследить у того или иного автора названную в заглавии тетраду отчетливо связанных друг с другом текстов. Мало того, все эти жанры чаще всего существуют в разрозненном виде и только иногда реализуются отдельные связки элементов. Чаще всего это относится к связке «письмо – дневник», то есть письма дневникового характера¹, воспроизведение или использование эпистолографии в дневниках. Более или менее очевидна связь писем и дневников с художественными текстами. Однако лишь единожды, как кажется, в едином эпистолярном по форме тексте можно наблюдать всю цепочку функциональных изменений, неразрывно друг с другом связанных.

Основной материал статьи – переписка Вячеслава Иванова и его второй жены Лидии Зиновьевой-Аннибал, а также тесно примыкающая к ней переписка тех же авторов с М.М. Замятниной, ближайшим другом семьи, на протяжении многих лет помогавшей воспитывать детей и вести хозяйство. Полный объем переписки супругов – более пятисот писем за 1894-1906 годы². Переписка с Замятниной, также чрезвычайно обширная, использована нами лишь частично и преимущественно за те же годы³. Помимо этого использованы дневники Иванова⁴ и Зиновьевой-Аннибал.

Для понимания природы переписки необходимо сказать, что она определялась тем чувством предельной близости между корреспондентами, которое определилось уже с самого начала 1895 года, когда Иванов и Зиновьева-Аннибал (тогда еще Шварсалон – ее фамилия по первому мужу) после трех месяцев тесного общения во Флоренции оказались в разлуке: Иванов уехал в Рим. И начиная с этого времени, любая сколько-нибудь значительная разлука порождала поток писем, прерываемый периодами совместной жизни. Наиболее существенные эпизоды этих разлук: май-июнь 1895 (Иванов едет с первой женой в Россию, Зиновьева-Аннибал остается во Флоренции, откуда перебирается в Париж), конец 1895 (Зиновьева-Аннибал живет в Париже, Иванов снова отправляется в Россию, потом улаживает университетские дела в Берлине), июль 1896 (Иванов остается с новорожденной дочкой в Париже, Зиновьева-Аннибал отдыхает после родов в Швейцарии), зима 1896-1897 г. (Иванов в Берлине, Зиновьева-Аннибал в Париже, откуда через

Берлин едет в Россию), лето 1900 (супруги в России, но живут часто в разных местах), декабрь 1901 – апрель 1902 (Иванов живет в Афинах, Зиновьева-Аннибал с детьми в Женеве) и лето 1906 (Иванов в Петербурге, Зиновьева-Аннибал едет в Женеву к детям). Переписка с Замятниной наиболее интенсивна с осени 1900 по осень 1901 (Ивановы живут в Лондоне и английской провинции, потом на короткое время встречаются с Замятниной в Женеве, оставляют там детей на ее попечение и вместе едут в Грецию; после возвращения Зиновьевой-Аннибал еще идет переписка между Замятниной и Ивановым), весной и летом 1903 (Замятнина едет в Петербург, а Ивановы остаются в Женеве; вернувшись в Женеву, Замятнина отпускает Зиновьеву-Аннибал в Париж, где уже живет Иванов), летом 1904 (Ивановы в Москве, Замятнина с детьми в Женеве) и, наконец, с лета 1905 по весну 1906 (Ивановы в Петербурге, Замятнина по-прежнему с детьми в Женеве).

Этот график встреч и разлук необходимо иметь в виду, поскольку чем длительнее разлучение, тем интенсивнее становится переписка и тем разнообразнее ее внутренняя природа. Когда совместная жизнь прерывается лишь на краткое время, нет нужды переживать отделенность друг от друга и даже подробно фиксировать события, поскольку скорое свидание даст возможность подробно рассказать обо всем произошедшем. Но письма названных нами периодов отличаются не только значительным объемом, но и жанровым своеобразием. В них и происходит преобразование первоначальной природы интимного, часто истерического (о чем свидетельствуют потеки от слез, сохранившиеся до нашего времени) письма в почти литературный жанр.

Но начать, видимо, следует с тех случаев, когда письма (как собственные, отправленные, так и полученные) заносятся в дневник явно в целях сохранения полагаемого ценным для будущего. Собственно говоря, в случае Иванова такие случаи можно посчитать разновидностью нередкого у него автокопирования писем или же (в более позднее время) поручения Замятниной скопировать то или иное письмо. Так, в какое-то время⁵ Иванов начинает копировать свои ранние письма к Зиновьевой-Аннибал. Сохранились копии первых трех писем, причем одно из них (третье) известно только по копии, оригинал оказался утрачен. Собственно же в сохранившихся до нашего времени дневниках (1906, 1908-1909 и 1924 гг.) переписаны: открытка от группы друзей из Крыма (1 августа 1906), письмо от И. фон Гюнтера (11 августа 1906, возможно, не полностью), обмен телеграммами между Ивановым и М.В. Сабашниковой 26 июня 1908 г. и между ним и В.К. Шварсалон 28 июня 1908 г., записка к М.В. Сабашниковой от этого же дня, написанное на следующий день чрезвычайно ответственное письмо к ней же, телеграммы к В.К. Шварсалон и к С.М. Городецкому от 4 августа 1909 г., телеграммы к В.К. Шварсалон и А.Р. Минцловой от 4 сентября 1909 г., большое письмо к А.Р. Минцловой (6 сентября 1909), а также несколько более или менее значительных фрагментов. Гораздо существеннее в этом отношении сохранившийся в целостности ранний дневник Л.Д. Шварсалон (еще не Зиновьевой-Аннибал), куда она осенью 1885 г. заносит письма к неизвестным нам Николаю Евстифеевичу и Кате, а также большое и значимое письмо к Л.Н. Толстому⁶. Потом на несколько лет

дневник прерывается (что очевидным образом связано с замужеством и рождением детей), чтобы возобновиться в феврале 1894 года письмом к детям, рассказывающим (весьма непоследовательно) о разрыве с мужем и своих страданиях, с ним связанных. Но в какой-то момент модальность этого письма меняется, оно становится – не меняя формальных признаков письма – дневниковой записью: «Дети, я помню, как в ранней молодости, когда я думала о будущем, глаза мои невольно шурились, и сквозь прикрытые ресницы, как сквозь таинственную дымку, там, далеко, далеко впереди неясно вырисовывалось будущее, полное чего-то неизведанного прекрасного, великого, счастливого. Я и теперь не могу читать без тоскливой боли в груди стихотворение А. Толстого: “То было раннею весною!” Да, да, то было раннею весною, когда я предвидела пышный расцвет жаркого лета. А теперь лето почти прошло и.. то, что я принимала за солнце и тепло, было лишь плодом моего воображения. Жизнь обманула, жестоко, нагло обманула и обратила каждую мысль о прошлом в жгучий яд. Знаю, знаю, что жизнь есть прежде всего тяжелый долг, что никто не имеет право <так> требовать личного счастья, что так мало людей счастливы; знаю, всё знаю. Но сердце, глупое, еще полное сил и молодости сердце, молчи, не проси себе того, чего не получить тебе никогда; не плачь над собою, слабая, неразумная женщина, не плачь над разбитыми мечтами молодости, не плачь над надломленной любовью своею, не плачь, не плачь. Ты дала всю душу честно и искренно человеку, надругавшемуся над тобою, изучившему тебя до тонкости, чтобы пользоваться каждым фибром твоей души в свою пользу. Ты не любила его тою страстною, счастливою, самозарождающею любовью, которая дает личное, эгоистическое счастье, но ты воспитала в себе благодарность, уважение и теплую, нежную дружбу к тому, который 6 ½ лет грабил тебя и оскорблял в тебе не только женщину, но человека». Прерывая на этой дневниково-исповедальной ноте дневник еще на полгода, она возобновляет его в сентябре, снова в виде письма к детям, на этот раз уже не теряющего своего характера, но снова обрывающегося на полуслове ⁷.

Таким образом, дневник становится фиксатором получаемой и управляемой корреспонденции, а иногда и мастерской, в которой совершенствуется эпистолярное мастерство. Но в свою очередь письма довольно регулярно становятся дневниками.

Явными случаями являются взаимные письма 1901-1902 гг. и письма Иванова лета 1906 года. Впервые определение «дневник» Иванов применяет к своему письму от 8-9 января (старого стиля) 1902 г., потом повторяет его 11 января. Но сама подневная фиксация жизни, решительно отличная от гораздо более обычной нумерации писем, указывает на то, что перед нами «дневник мужества»: именно таким словом Иванов и Зиновьева-Аннибал обозначали время своей разлуки. А в 1906 году уже первое письмо от 8-10 июля (также старого стиля) Иванов начинает словами: «*Любимая Лиля! Incipit дневничок*». Те же самые слова повторяет Зиновьева-Аннибал в письме, отвечающем на названное нами и написанном 18-19 июля. А в последнем письме этой серии, написанном 14 августа, Иванов просит: «Конец дневничка? Собери его тщательно. Он нужен». Почему он становится нужен, более

или менее понятно.

Нам уже приходилось писать о том, что летом 1906 года на Башне Иванова, особенно в собраниях кружка «гафизитов» читались вслух дневники – сперва М. Кузмина, потом начатый ему вслед дневник В.Ф. Нувеля. 1 июня 1906 г. и Иванов также заводит свой дневник на больших листах бумаги, сшитых в самодельную тетрадку. Но когда Зиновьева-Аннибал уезжает к детям в Женеву, Иванов ведет дневник уже в письмах к ней. Однако после приведенной нами выше фразы, завершающей последнее письмо, он снова возвращается к первоначальной тетрадке и делает записи 15, 17 и 18 августа, на чем дневник обрывается. Таким образом, письма составляют интегральную часть ивановского дневника за этот период, и только незначительные элементы (обращения и деловые вопросы) выдают в них первоначальную природу.

Кроме того, в бумагах Иванова сохранился небольшой документ, всего на четырех листах, озаглавленный «Diarium». Из его содержания становится ясно, что он относится к лету 1899 года, когда для облегчения совместной жизни (и прежде всего для получения возможности венчаться) Иванов пытался получить в России новый паспорт, где не было бы указано, что вследствие развода с первой женой он пожизненно лишен права вступать в церковный брак.

Этот «Diarium» охватывает сравнительно небольшой период, с 4 по 10 июня (старого стиля), и за это время известно лишь одно письмо Иванова к жене, датированное 10 июня. Оно написано по-итальянски (совершенно очевидно, на случай перлюстрации), и в нем находим фразу: «М.М. ti scrivo poche parole da Verona, la città tua; sulla cartolina si vede l'immagine del tuo palazzo prediletto». В «Diarium»'е 7 июня читаем: «Письмецо открытое от Марьи Мих<айловны> с картиной Веронского домика твоего и с следующим текстом: “Верона не может не послать вам, голубушка Лидия, своего привета. Спасибо, дорогая моя, за все то наслаждение, кот<орому> я и конца не предвижу, судя по началу. Маруся”»⁸. Отметим здесь не столько воспроизведение текста чужого письма, сколько прямое обращение: «домика твоего», что свидетельствует о том, что и данный дневниковый текст занимает промежуточное положение между чистым дневником и письмом. Во всяком случае, хотя бы на время он может представиться не подневной записью для самого себя, а посланием к жене, вкратце описывающим важнейшие события нескольких дней.

При этом следует иметь в виду, что свои дневники (по крайней мере, дневник 1906 года) Иванов воспринимал не как автокоммуникативный текст, а как род литературы. Известно, что читанный вслух дневник М. Кузмина вызвал следующее суждение Иванова в своем дневнике: «Дневник – художественное произведение. <...> прежде всего, дневник – художественное отражение текущей где-то по затаенным руслам жизни, причудливой и необычайной по контрасту между средой как объектом восприятия и воспринимающим субъектом, – отражение, дающее иногда разительный рельеф. И притом автор дневника знает почти забытый теперь секрет *приятного* стиля». Вряд ли можно сомневаться, что и свой дневник Иванов мыслил также как произведение художественное, и не случайно в самом его начале он рефлексировал: «Беглые

заметки, больше обращенности ad interiora. Заражение примером Харикла и Renouveau? Быть может. Лето не обещает быть богатым. Если бы вел дневник зимой, имел бы огромное приобретение. <...> Пока довольно, однако, мой “Дневник” – “Двойник?” Vale et cura ne moriaris ante mortem. И чтобы твоя литература не обратилась в некрографомагию». Природа этой потенциальной художественности, несомненно, нуждается в специальном анализе, который, однако, должен быть предметом отдельной статьи, а не этого краткого очерка.

Говоря же о переплетении писем, дневников и прозаического текста, мы прежде всего будем иметь в виду наследие Зиновьевой-Аннибал⁹.

Самые разительные примеры отыскиваются в уже упоминавшемся раннем ее дневнике. Так, под девятым октября 1894 года мы находим текст, озаглавленный «Копия с письма». Он начинается: «Дорогой мой друг, простите, что вновь тревожу Вас. Но я честно обращаюсь к Вам как к другу, т.к. прошлое похоронено навсегда, и тем не менее Вы и одни Вы мне ближе всех. О, мне так тяжело. Отчего? разве я знаю. Отчего создала меня судьба такую, а не иною? Отчего мне надо счастья такого, какого нет? но которое мне грезится до галлюцинаций? Отчего жизнь плоска, пошла, вульгарна, жестока? Отчего всё не красота и гармония? Простите, простите, но отчего я рыдаю безутешно, безумно, отчего я падаю на пол от этих рыданий и корчусь, как раненная? Отчего весь мир тёмн и солнце померкло? Отчего я вспоминаю свою дорогую, ненаглядную и святую сестру Ольгу, вспоминаю с завистью и громко зову ее, мою Олю, которая прожила 7 счастливых, упоительно счастливых годов, умерла молодою – безболезненно, красивою смертью, как бы пораженная стрелой завистливого Бога. Отчего же я живу? я несчастная, ищущая того, чего нет?»¹⁰

И тут же начинается правка (карандашом). Вместо «Ольгу» вписывается: «Андрея», вместо «мою Олю» – «Андрюшу», вместо «умерла молодою» – «Умер молодым» (и на полях еще приписано: «Он был слишком глубок для жизни»). Возможно, самое любопытно для нас место – там, где речь явно идет об Иванове: «Потом я за обедом говорила об Оле, потом я вернулась домой со своим другом», что превращается после правки в: «Потом я говорила с Александром об Андрее. Говорила потому, что не могла иначе, хотя знала, что он не может понять меня и его». Но заключительная фраза письма остается без изменений: «Остаюсь сердечно пред<анным> Вам другом Л.Ш.»

Следующим днем, 10 октября, помечена уже не «копия письма», а на первый взгляд обычная дневниковая запись: «Вчера я желала уничтожить это тело, эту рамку тесную и низкую, держащую в плену мой <ее> дух, прекрасный и божественный. Когда я шла домой, я сказала: «Не может быть, чтобы не было вечной красоты, полной гармонии, неограниченной свободы, иначе я не “сознавала” бы их так ясно в своих желаниях». И в те минуты жизнь духа вне тела и за пределами жизни тела казалась мне почти фактом. Да, откуда же, откуда явилась в человеке галлюцинация свободы и гармонии? Откуда? Откуда?» – и так далее. Но снова вступает в дело карандаш, которым вносятся исправления: «я» всюду меняется на «она» (и так на протяжении всей записи).

Причины этого отношения к «дневниковому» тексту поясняются следующей записью, 14 октября: «Действительность перепутывается с грезами, и это единственная разница между утром и ночью, так как <ак> и ночь моя вся полна мыслями и образами, но там фантазия, и какая прекрасная, жгучая фантазия. Итак, я не знаю, когда перехожу мыслью от себя или его к своему роману, вернее, к романам, потому что голова полна планов. <...> Я – Вера. Вера моего романа, о которой он читает мне по вечерам и которую он любит. Но та Вера была девочкой, в ней еле заметно зачинались задатки той бесконечной разносторонней жизни, которую живет Вера теперь», – и опять-таки прерываемся.

Процитированные фрагменты в чистом виде обнаруживают перед нами механизм взаимодействия текстов различного рода. Письмо (подлинное или мнимое) появляется в дневнике, потом его текст (а, стало быть, и текст дневника) начинает трансформироваться. И хотя мы не можем с достоверностью определить, что в нем является «реальностью», а что вымыслом¹¹, важна сама подвижность границы между ними. К тому же не вполне понятна прагматика возникающего текста. Но следующая запись с переменной первого лица на третье уже определенно указывает на подготовительную работу по смещению дневникового текста в сторону художественного. И в третьей записи автор дневника отождествляется с героиней романа¹², что полностью проясняет механизм трансформаций.

Другой заслуживающий внимания образец творческой деятельности Зиновьевой-Аннибал находим в письме к Иванову от 3 июля (нового стиля) 1895 года. В это время она страдала от того, что во время путешествия в Россию с первой женой Иванов на какое-то время возобновила с нею супружеские отношения и признался в этом новой возлюбленной. И вот среди страстного выяснения отношений она прерывает их и пишет: «Какая фантазия пришла мне послать тебе это письмо, только что полученное от моих таких любящих и преданных друзей. Они только что переехали на дачу, построенную ими самими. Это вечные труженики, без дальних мыслей, и дружно делящие серенькую жизнь. Еще молодая и красивая пара. Он был верен всегда и не имел таких разнообразных сторон, для удовлетворения которых требовались бы человеческие жертвы. О, как я рыдаю, читая это письмо. <...> О как близка моей душе идиллия», – и далее следует текст этой «идиллии»: «Я вижу полянку посреди стройного и гибкого соснового леса, дом бревенчатый с русской резьбой. Мирные и радостные лучи солнца играют в стеклах дома, в темных ветвях и красноватых стволах сосен. Воздух полон аромата смолы и какой-то свежей силы земли. На грядах огорода, засеянных заботливо и любовно, выходят <так!> свежие светло-зеленые стебельки, дети играют шишками в песке у крыльца. Моя лошадь щиплет траву около них. Я стою, защитив глаза рукою от солнца, всею грудью вдыхаю аромат сосен и силу весны, и около меня рисуется фигура чело- века-друга и любовника, человека, с которым так сладко делить труды и досуги. Отдых от страданий, от измен, от оскорблений. <...> Лес исчез, солнце погасло, дома нет, а дети... дети остались жить и мучительно вспоминать песнь, которую когда-то пела им давно, давно мать, песнь о верной любви, о тоске ее и радости. Их мать умерла.

Наконец, наконец она нашла покой. Да полно, нашла ли? Не воскресла ли она вновь где-нибудь в иной форме, чтобы вновь нести проклятие человечества – жизнь, с ее мукою, кровью и слезами?»¹³

Но в тот же день к вечеру она пишет: «Долой финляндские идиллии», т.е. сама же обнажает и без того очевидную вымышленность как самой идиллии, так и письма от любящих и преданных друзей. Очень сходная, хотя и чуть менее выразительная история была двумя неделями ранее, когда Зиновьева-Аннибал отправила Иванову в письме «Эпилог», где в перифрастическом стиле описав свои переживания, как образец для подражания назвала П. Виардо (у которой некоторое время училась пению). Но тот же самый текст, только без заголовка, сохранился и среди отдельных бумаг, сгруппированных опытными хранителями архива под общим названием «Дневниковые записи»¹⁴. Это, конечно, не автохарактеристика, но значительное сходство именно с дневниковой записью в тексте несомненно есть.

Наконец, последняя из числа существенных связей, фигурирующих в названии нашей статьи, – связь между письмами (и/или дневниками) и устной новеллой. Нет сомнения, что она относится к числу наиболее трудно выявляемых, поскольку вообще свидетельства об устных новеллах того или иного человека относительно редки. Так, нам неизвестно, был ли Иванов известен как мастерский рассказчик. Но относительно Зиновьевой-Аннибал мы можем быть уверены. В частности, в конце 1901 года, приехав в Женеву, на villa Java, где жили Замятнина, трое детей, а также девушки, опекавшие ею и помогавшие по хозяйству, а также гувернантка-англичанка, она устраивала для них целые едва ли не официализированные представления с рассказами о путешествии в Святую Землю, совершенном Ивановыми на Пасху.

Как кажется, довольно ясное представление еще о нескольких устных ее (а не исключено, что и Иванова) рассказах могут дать письма к М.М. Замятниной весны 1904 года. В это время Ивановы приехали в Москву для более тесного знакомства с кругом издательства «Скорпион»: с Брюсовым они успели пообщаться меньше года тому назад в Париже, где он присутствовал на лекциях Иванова в Высшей школе общественных наук и потом неоднократно встречался; возможно, что там же Ивановы впервые встретились и с Бальмонтом, хотя положительных сведений у нас об этом нет; а также с Андреем Белым, Ю. Балтрушайтисом, С. Поляковым, С. Соколовым-Кречетовым, Н. Петровской. Из Москвы они перебрались на некоторое время в Петербург, где впервые встретились с Мережковскими, Сологубом, Г. Чулковым, Д. Философовым, Розановым, Л. Семеновым, З. Венгеровой. Вполне естественно, что такие переживания должны были отразиться в письмах – и мы их отчасти процитируем. Однако в данном контексте для нас существеннее, что рассказы эпистолярные должны были дополняться рассказами устными. Так, 23-24 марта Зиновьева-Аннибал пишет: «Милая, что сказать тебе о наших переживаниях и приключениях. Можно исписать листы и не высказать половины. Москва раскрывает свою безумную утробу и дышит из нее и ароматами, и зловоньями, жизнью и смертью, русской азиатчиной, арабской дикостью и русской несказанной тонкостью духовной и нервной. Хаос ощущений до дикости невероятных, райских до слез

умиления, и грязных, и смешных, и уродливых характеризовалось бы <так!> описанием одного момента, но, увы, описывать его невозможно, разве рассказать... <...>

Мы попали в “Скорпион” по приглашению Брюс<ова>. Пришел час в 7 Бальмонт, посидели, пошли с Бальмонтом в трактир обедать. Здесь и началось несказанное. Очень быстро оба опьянели, т.е. Бр<юсов> и Бальм<онт> (мы, конечно, нимало). Еще до пьянства Бальм<онт> говорил мне всякие восторженные вещи, вроде что знает, что я всё без слов пойму, что довольно взглянуть в глаза, чтобы видеть, что я имею силу *всё* высказать и что всё это он понял, когда увидел на моем затылке завиток, которого я сама не знаю... и много еще совсем безумных и *невозможных* вещей, которые усиливались по мере вина. Он не позволял мне говорить с другими и всё жаловался, что нет цветов, и не выпито вино, и что перегородки между людьми и он один. Объяснял жарко в любви то мне, то Вячеславу, то Брюссову <так!> и весь дрожал каким-то иступленным желанием порвать перегородки между всеми нами. Что касается Брюссова, то он пил мало, но внезапно побледнел и иступился по-своему мрачно и трагично, неопишимо. Он сказал мне о себе такие страшные признания, до того безвыходно трагичные, что я не смею верить в их действительность, и пришел в экстагическое помешательство на идее поклона в грязную землю Раскольниковка. Но он был вменяем еще и даже незаметно пьян, мы трое пытались всеми силами утащить Бальмонта из трактира к Соколову в “Гриф”, куда нас звали к 9-ти вечера. Трудно было. Брюссов умолял меня “на коленях”, как выразился, взять Бальмонта с собой на извозчика, потому что с нами <так!> он не поедет. В 12 ½ домчались до “Грифа”, Бальмонт вел с собой со мной <так!> совершенно пристойно, хотя всё время продолжал объяснения в вере к моему таланту <так!> и в любви к каждому волосу на моей голове. В “Грифе”, т.е. у Соколова и его жены Нины Петровской застали нескольких грифистов, и здесь-то началось совсем неопишемое. Это был не театр, а сон, и то кошмар, то сладкий восторг. Бальмонт говорил речь о “слове”, слово – всё, слово прекрасно, слово жизнь, но нет, нет, не нужно слова, нужны облака, тающие, проплывающие, исчезающие, нужны облака...

Говори<л> Брюссов о том, что он идет на поклон, лбом в грязную землю... были негодования слушателей, один господин плюнул в книгу и полез под стол (трезвый), всё было еще в кабинете. В столовой же Брюссов пригласил Вячеслава стать на колени перед Бальмонтом. Вячеслав сказал, что не стыдится стать на колени перед Богом в Бальмонте, но Бог мгновенен, и уже Бальмонт не тот, что был за минуту, и поэтому теперь он не встанет, и что тот же Бог и в нем, и в Брюссове, и во всяком художнике, и никто не знает, кто высший, если я сегодня, ты завтра, может быть. Тогда Брюссов стал на колени, и Бальмонт тоже, и стали целоваться друг с другом. <...> Валерий причащал избранных сыром, требуя, умоляя нас всем святым принять от него священный кусочек, и всё время они оба глубоко мучились и бились. Валерий сказал в “Гриф” мне речь вроде: “Я читал только первую главу “Пламенников””, простите, простите! но я поэт, поэт видит глазами духа, и я знаю вас: *вы царь*, мы ваши рабы, мы: Валерий Брюссов и Сергей Поляков. Что бы

вы ни велели, мы должны печатать, не рассуждая” и т.д. Уйти из “Грифа” было трудно, Валерий удрал раньше, а Соколовы умоляли нас, т.е. Вяч<еслава>, меня и Пояркова увести совсем опьяневшего Бальмонта. <...> Бегали мы бегали, боясь покинуть этого несчастного человека. Время от времени он вдруг, плача, говорил мне: “Вы оставьте меня, я буду один, один, один”. Что было дальше, во всех подробностях уютно <?> *рассказать*. *Напишу* же только, что около пяти я их покинула и поехала домой, а Вячеслав еще утром в 10 час<ов>, рассказывая о том, как билась о препоны несчастная одинокая душа Бальмонта, – плакал. Часов в 6 утра Поярков покинул их, и Вячеслав странствовал вдвоем с Б<альмонтом>. Были они у нем<ецкого> поэта Бахмана, ритмического и поэтического человека, друга любимого Бал<ьмонт>га. Были на рынке и приобрели 2 кумачовых платка соленой рыбы и кулек клюквы, причем Б<альмон>т гнал Вяч<еслава> усиленно, и так к. Вяч<еслав> задумал привести его и сдать Брюссову и не уходил, то Б<альмонт> жаловался на рынке собирающимся вокруг них торговцам: “Вот иностранец привязался”, или: “Это сумасшедший за мной увязался, возьмите его”. Он требовал, чтобы Вяч<еслав> нес ему клюкву, а когда Вяч<еслав> отказался, то он разбросал сол<еную> рыбу и клюкву на все стороны... Со всеми трудами мира удалось усадить его на извозчика, где он то толкался и ругался, то приглашал к завтраку и говорил, что любит, и привести его к Брюссовым, но здесь уже в передней Бальм<онт> улучил минуту невнимания, сорвал<ся> со скрипучих ступенек и скрылся за ворота”¹⁵.

И далее после значительного пропуска следует: «Милая, было написано еще 4 листа, и... не послано. Немного терпения, моя любимая, и мы будем вместе, прочитаем тебе те листы и всё до конца расскажем. Нельзя теперь: виденное, пережитое слишком безумно и сложно. Да, райские были ароматы и зловония, но нет, лучше и это не считай сказанным»¹⁶.

А после целого ряда анекдотов такого же рода, в письме, датированном «Суббота. Петерб<ург>» (вероятно, 3 апреля 1904), Зиновьева-Аннибал писала: «Ах, рассказов будет много. Ты сохрани письма: будем перечитывать и дополнять»¹⁷.

Как видим, эти письма представляют собою своего рода конспект для последующих устных новелл, которые должны были дополнять написанное. И вряд ли можно сомневаться, что Зиновьева-Аннибал планировала перевести эти новеллы в какой-то художественный текст. Вообще для ее воображения требовалась непрременная бытовая основа. Так, путешествуя на пароходе в Киев, она тут же начинает планировать те изменения, которые сразу по возвращении внесет в текст романа «Пламенники». Известно, что написанная в 1907 г. комедия «Певучий осел» основана на реальных событиях из истории «Башни». А о некоем замысле, связанном с историей символизма (относящем, правда, ко времени не ранее начала 1906 года), дает некоторое представление список фамилий, предназначенных для персонажей этого произведения, с их расшифровкой. Приведем некоторые, наиболее характерные: Вмestилoв – Бердяев, Солнопеклов, Пастушков – Луначарский, Ярицкий – Розанов, Тарапов – Чулков, Былов – Гревс, Безводный – Мережк<овский>, Си-

рин – Слава¹⁸, Минос – Сологуб, Рысин – Брюсов¹⁹.

Все сказанное выше возвращает нас к сложной и далеко не однородной природе любого эпистолярного текста, принадлежащего перу символистов. Он оказывается теснейшим образом связан с иными текстами самой разнообразной прагматики, и это требует особого внимания как читателей, так и исследователей.

Приложения: Документальные хроники

ИСТОРИЯ ОДНОГО НЕСОСТОЯВШЕГОСЯ БРАКА

Памяти Ларисы Ивановой

Мы не очень много знаем о жизни Л.Д. Зиновьевой-Аннибал (точнее, Лидии Дмитриевны Зиновьевой, впоследствии Шварсалон) до ее встречи с Вячеславом Ивановым. Да и эта информация чаще всего восходит к ее художественным произведениям, которые, конечно, имеют автобиографическую основу, однако преобразуют ее так, как представлялось нужным автору. А вместе с тем перипетии ее жизни имеют немаловажное значение для создания картины жизненных отношений Иванова, который, если говорить прямо, ради совместной жизни с Зиновьевой-Аннибал полностью перекроил свою вполне явственно намеченную биографию.

В большинстве очерков жизни и творчества Зиновьевой-Аннибал авторы разумно обходили конкретные биографические подробности¹. Там же, где эти подробности оказываются необходимы, возникают неточности, иногда довольно существенные. Однако тот период, о котором у нас пойдет речь, относится к категории прямо-таки легендарных, и введение в научный оборот хотя бы нескольких документов, проливающих свет на ранние годы жизни Зиновьевой-Аннибал, выглядит довольно существенным. И по необходимости первый документ – фрагменты письма, адресованного детям². Письмо это было написано в 1894 году и является не единственным: нечто подобное Зиновьева-Аннибал попыталась осуществить и в своем дневнике этого времени, вписав туда обращенное к детям письмо³, однако в «дневниковом» варианте больше эмоциональности, чем хроники, да к тому же оно описывает преимущественно страдания Л.Д. после расставания с мужем, тогда как цитируемое нами несравненно более подходит для целей реконструкции биографии:

Моим детям Сергею, Константину и Вере.

Дорогие дети, Вы прочтете историю моей жизни, вероятно, только в случае моей смерти до вашего совершеннолетия, т.е. до тех пор, когда вы будете в состоянии хоть несколько понять мои чувства и поступки.

Если я останусь жива, то, конечно, записки эти будут излишними, если умру рано, то прошу вас, дети мои милые, которых я люблю, как умею, верить истинности и правдивости каждого слова, написанного здесь. Перед лицом Смерти, которой не боюсь, пред лицом Правды, Добра и Любви, которым я пыталась служить, как Божеству своему, по мере сил своих, – клянусь вам, дети, что истину и лишь одну истину прочитаете вы на следующих страницах. Вы будете судить меня, как знаете, я же могу сказать лишь одно: ни одного поступка крупного и ответственного я не стыдилась и не стыжусь за всю свою жизнь.

Теперь мне 28 лет, молодость еще в силе, ум работает, сердце кипит порывами к работе и к любви. Но, дети мои, знайте, что мать ваша в условном смысле была и есть несчастным человеком, о, таким глубоко, бесконечно несчастным, что призывала со страстью и мольбою смерть, чтобы избавить ее от жизни – тяжелого долга, без милой любви, с наемской в прошлом, с грядущей старостью и могилою впереди. И тем не менее, когда порывы обостренной тоски проходят, я сознаю, что жизнь именно и есть прежде всего долг, а за личное счастье можно только благодарить судьбу, но не требовать его. Труд по мере сил сознательный на пользу свою и общую, труд правильный и нелегкий, любовь чувством, словом и делом ко всем людям своим и чужим, всех положений и национальностей и в душе ежечасно светлый идеал Общего Блага, приближения к царству мира и любви на земле – вот главные основы жизни. Красота, музыка, искусство должны скрашивать ее прозу. Личное счастье в личной любви, сильной, разумной и страстной, – это желательная, о, весьма желательная, но далеко не обязательная прибавка к этой краткой схеме жизни, как понимаю ее я.

Я родилась в 1867 году. Родители были богаты и принадлежали к так называемому высшему кругу. Отец мало интересовался семьею, много кутил, бросал мать и в 1881 году был взят под опеку и до сих пор живет в Швейцарии на своей даче. Мать моя, религиозная глубоко и искренно женщина, наивная в жизни, но с твердыми воззрениями, солидарными со взглядами ее круга и с обычною житейскою моралью. Между мною и старшими братьями и сестрою была большая разница в годах, и поэтому матери пришлось отдать меня почти всецело на попечение гувернантки: общественное положение ее требовало <вести> открытый образ жизни ради старших детей. Мое детство протекло в детской и учебной довольно одиноко. Товарищем игр моих был мой младший брат. Мать я видела редко, в жизни семьи участия почти не принимала. Характер у меня был вспыльчивый и самолюбие сильно развито, поэтому я много воевала с воспитательницами. Приемы воспитания моего становились все строже и строже, а самолюбие и упрямство мое развивалось не по дням, а по часам, поэтому я вечно вертелась в порочном круге наказаний и капризов, отравивших мне вконец всё детство. К 14-ти годам я была уже настолько невыносимо капризна, а наказания усилились и участились до таких невероятных размеров, что родные решили позвать докторов и с их совета отправить меня на несколько лет за границу в немецкую школу. Мать разузнала о строгом, религиозном пансионе немецких «сестёр», куда меня и отправили после оскорбительного и унижительного совещания о моих капризах с докторами при всей се-

мье. Этим закончился первый невеселый период моего детства и начался другой, более серьезный и более грустный. Два с половиной <года> я провела в двух школах немецких, т.к. из первой меня исключили за непокорность строгому уставу. Мать навещала меня на каникулах <так!>, но тем не менее я чувствовала себя очень одинокою и неподходящею к среде чуждой мне школы. Впрочем, с подругами я ладила, пыталась ладить и с воспитательницами после первой неудачи, поразившей меня в глубину души. Много раз, тем не менее, мучимая тоскою по дому и родине и чувствами, мне самой непонятными, я рыдала целыми ночами и не раз пробиралась к окну и глядела с высоты с замирающим сердцем, мечтая о том, чтобы броситься вниз и умереть. Учение было из рук вон плохое, так что ум мое не находил себе пищи и воображение уходило на шалости и задор. Почти 17-ти лет только вернулась я домой, и здесь начался 3-й период моей жизни.

Я была очень наивною девушкою, ни о чем серьезно не думавшею, и отдалась всей душой деревенским удовольствиям летом и выходам зимою. Последние, впрочем, мало увлекали меня. На следующую зиму, т.е. когда мне только что минуло 18 лет, я влюбилась наивною детскою влюбчивостью в офицера, недурного, неглупого, но пустого человека, который очень ухаживал за мною. Но весною я захворала корью, и болезнь внезапно открыла уму и сердцу новые горизонты. Несколько недель я имела возможность думать, и когда болезнь прошла, я встала иным человеком. Повод мыслям моим подавали: бедность городская и деревенская, всегда поражавшая мое сердце, слова отрывочные и случайные, долетавшие до меня из иного <для> меня богатого и самодовольного мира, слова, почему-то, должно быть, по врожденной склонности, находившие особенно сильный отклик в душе моей. Всё, что годами ложилось почти бессознательными впечатлениями, вдруг стало принимать более ясную форму, выплывали наружу вопросы и сомнения, залегла в глубине души какая-то тревога, с этого времени уже не дававшая мне покоя. Я стала думать о бедности и богатстве, о разнице положения и, смутно чуя несправедливость в жизни, окружавшей меня, я принялась искать разгадку своим сомнениям. Где было искать? У младшего брата был гувернер-студент, в деревенской школе был учитель, у них обоих были книги, которых я прежде никогда не видала. Рассказы этих людей о жизни интеллигентной молодежи, о их стремлениях помочь народу, об девушках, учащихся на курсах и готовящих себя на служение тому же народу, которому они считали себя обязанными всем, что имели. Более того: чтение книг по социологии, Писарева, Добролюбова, увлечение материалистами и математикой <так!>, всё это беспорядочно, клочками, перевернуло всё существо мое вверх дном. Весь свет казался мне иным, и душа наполнилась сознательным стыдом за свою барскую, сытую жизнь. Я стала рваться на работу, на курсы, но мать моя воспротивилась, и здесь пришлось столкнуться двум сильным и цельным натурам, убежденная каждая в своей нравственной правоте и в невозможности из принципа уступить в своих требованиях. Мать требовала слова моего в том, что я откажусь читать книги, не прошедшие через ее цензуру, я же требовала, чтобы меня или пустили на курсы, чтобы учиться и видеть людей иного круга, или позволили взять место учи-

тельницы и самой зарабатывать свой хлеб. Наши воззрения с матерью были так далеки друг от друга, натуры так сильны, убеждения тверды, а характеры вспылчивы, что семейная жизнь для нас обеих сделалась адом. Отчаявшись получить свободу добровольно, я сговорилась с гувернером братом <так!> действовать насиллием. Выдумав себе какую-то сухую, теоретичную любовь к нему, я решила выйти замуж фиктивно за его товарища и бежать с ним за границу. Впрочем, этот план был очень незакончен и необдуман. Я была слишком неопытна и теоретична, он слишком слабохарактерен, да, вероятно, и пошел, чтобы серьезно взглянуть на свою роль. Он был женат на очень пошлой и глупенькой женщине, которая, конечно, не содействовала его лучшим порывам, но которая по-своему горяче любила ее <так!>. Я сознавала, что доставляю сильные страдания этой глупенькой, но несчастной женщине, отнимая в будущем у нее мужа, и я утешала себя только тем, что делаю это не из личной страсти, не из эгоизма, а спокойно и логически, с математической прямолинейностью молодости обсудив положения. Известные избитые, общие и часто столь жестоко-несправедливые доказательства моей правоты и невозможности поступить иначе давали мне непоколебимую решительность исполнить до конца свой план. И я шла на то, чтобы разбить сердце этой жалкой мне и неповинной женщины, чтобы истязать свою благородную и горяче любимую мать, шла неуклонно, с мужеством отчаянной решимости, шла, заглушая и задавляя всеми силами ничем не заглушимые терзания своего сердца. О, это сердце, которое так страстно отзывается на всякое страдание самого чуждого мне существа человеческого, которое болело за мучимое животное, за всякую неправду <так!>, чинимую над живым созданием! о, это сердце! разве под силу было холодному разуму с его узкою, молодою логикою справиться с ним? Оно болело, оно изнывало от ломки всего существа моего, проходившей во мне. Но убежденная, фанатичная и упорная, желая принести в жертву всё, всё своим убеждениям, – отдаче долга народу и исполнению слова, данного человека <так!>, впервые направившего на путь этого долга мою мысль, – я страдала безропотно и не отступала. Что мое «я», мои страдания, мое сердце, о Боже, в конце концов моя жизнь дома – перед великою, безмерно глубиною народного горя? И я, не находя прямых путей, обманывала мать и близких для того, чтобы хитростью победить силу, сокрушавшую меня и обращавшая сознательную и полезную женщину-работницу в светскую, праздную дармоедку.

Но помощник и сообщник мой не только не оказался способным пробудить во мне сильного чувства к себе, но и сам настолько мало дорожил и мною и нашим общим делом, что затынул развязку слишком долго. Все намерения мои были открыты и меня, покрывая незаслуженным позором, оскорбляя морем пошлости, столь чуждым моей гордой и девственной души, перехватили, окружили домашним конвоем и, в буквальном смысле пленницей, повезли в Крым. Моего сообщника пытались сослать административно, чем, конечно, повредили и мне в глазах полиции. Дети мои, надеюсь всюю душою, что вы избежите тех унижений, того презрения ⁴.

Привести это письмо обязывало нас само содержание еще одного

существенного документа, который мы полагаем необходимым опубликовать полностью: письма К.Д. Кавелина к Л.Д. Зиновьевой. Оно было написано за полтора месяца до смерти (Кавелин скончался в Петербурге 5 мая 1885 года) и относится, таким образом, к числу его последних документов, в то же время чрезвычайно ярко рисующих ситуацию соотношения различных поколений: постепенно обретающего силу совсем молодого поколения русских писателей, мыслителей и деятелей конца XIX и первой половины XX века, и старшего – наивных прекраснодушных идеалистов середины и второй половины века девятнадцатого, отнюдь не склонных к революционаризму, но тем не менее ощущающих все более усиливающуюся его притягательность.

К сожалению, мы не можем сказать, откуда Л.Д. Зиновьева знала Кавелина настолько, чтобы обратиться к нему с исповедальным письмом. Судя по некоторым намекам в письме, они могли быть соседями по именным (Зиновьевы много времени проводили в своем Копорье недалеко от Петергофа), но вполне возможно, что это было светское знакомство. Но вполне вероятно, что поводом для письма послужила деятельность философа.

Только что, в конце 1884 г., Кавелин напечатал в трех номерах «Вестника Европы» большую работу «Задачи этики», которая подводила итоги его не слишком мудреной, но чрезвычайно привлекательной для многих и многих современников этической философии. Не случайно он ссылается на нее в далее публикуемом письме, как не случайно и то, что 23-25 июля 1885 г. Д.М. Дмитриевская, через год ставшая первой женой Иванова, пишет ему: «Взгляд на жизнь, который я узнала из статьи Кавелина “Задачи этики”, по-моему, самый верный, и он так поразила меня своею ясностью <...> что я намерена осенью приобрести эту статью и сделать ее в моей жизни (вместе с твоими стихами) руководительницей...»⁵ Для Зиновьевой-Аннибал эта работа, как и вообще этическая философия Кавелина, не могла быть сколько-нибудь важной, и в этом она до некоторой степени была предшественницей довольно многих современных авторов, писавших о поздних трудах философа⁶. Вся ее последующая жизнь свидетельствует, что все поведение, вся жизненная линия строились принципиально иначе, чем предлагалось старшим собеседником. Обдумывание и серьезная работа заменялись моментальным выплеском творческой энергии, что иногда приносило удачи (как совершенно спонтанное возникновение драмы «Кольца» в Париже летом 1903 г.), иногда жестокие разочарования.

В нашем контексте, пожалуй, стоит слегка коснуться истории едва ли не самого горького разочарования в жизни Зиновьевой-Аннибал. Вспоминая ее через 28 лет после начала знакомства, М. Кузмин записал в дневнике: «Училась петь она у Виардо и, вероятно, благодаря деньгам добилась дебюта в миланском «La Scala», но в день спектакля паралич поразил ее голосовые связки»⁷. Видимо, такова была домашняя легенда, которую близко знакомый и даже живший в квартире Ивановых Кузмин усвоил. На деле же все было не так. Зиновьева-Аннибал решила стать певицей лишь осенью 1893 года, после разъезда с мужем (напомним, что ей в это время 27 лет и у нее трое детей), некоторое время спустя берет учительницу. Лето 1894 года проходит без каких бы то ни было

занятий, осенью 1894 г. она начинает заниматься у различных итальянских преподавательниц, и уже весной 1895 года, меньше чем через полтора года систематических занятий, настойчиво пытается дебютировать – то ли в каком-либо итальянском оперном театре, то ли на русской императорской сцене. Ни тени сомнения в том, что она этого достойна, у нее не возникает. Только когда П. Виардо, несколько уроков у которой Зиновьева-Аннибал действительно взяла, сказала ей, что ничего нельзя сделать, время упущено, она согласилась петь лишь на домашних вечерах и любительских концертах. Очень похожа на эту и история создания ее романа «Пламенники», писавшегося с налету, неоднократно переделывавшегося, даже отчасти набранного. Всякий человек, причастный к литературе, который получал текст «Пламенников» (кроме мужа автора), испытывал едва ли не мистический ужас, и при всем желании угодить Иванову отказывался уронить марку своего издания. Так было с Мережковским, так было и с Брюсовым. «У Брюсова волосы подымались дыбом, когда в редакцию вносили объемистую рукопись Зиновьевского романа»⁸.

Особый склад личности, заложенный с детства, определял жизнь и художественные устремления Зиновьевой-Аннибал на протяжении всех лет совместной жизни с Ивановым. Как свидетельствует их переписка, бывали периоды, когда Иванов относится к стилю ее поведения с иронией, но по большей части – преувеличивал значимость ее достижений. А так как современные читатели и исследователи практически всегда видели Зиновьеву-Аннибал его глазами, то не могло и не создаться известной аберрации зрения. Публикуемое письмо позволяет хотя бы отчасти взглянуть на эту личность иными глазами и на основании этого создать более объективную характеристику ее психологического склада. А это, в свою очередь, дает основания и для того, чтобы понять логику восприятия ее личности мужем.

В то же время нам представляется, что это письмо служит отличной иллюстрацией мировосприятия того типа людей, к которому принадлежал Кавелин. Вероятно, кому-то может привидеться в его рассуждениях апология «умеренности и аккуратности». Однако это вовсе не так. Кавелин занимает позицию ученого, видящего шаткость оснований тех учений, которые основываются не на критическом восприятии своего материала, а лишь на внешности, на словах, лишенных сколько-нибудь осмысленного внутреннего содержания. По видимости, произносятся слова о том, что «наука есть исследование, труд, работа, медленно, шаг за шагом завоевывающие знание и свет, а не Коран, не провозглашение прав, распространяемые в мире огнем и мечем, с пеной у рта, истребляющие то, что есть, во имя воображаемого лучшего будущего», Кавелин протестует против попыток усвоить русскому бунту некоторое «передовое мировоззрение». Но на деле его мысль оказывается еще глубже и, пожалуй, актуальнее: человеческое знание вообще должно основываться не на чужих авторитетах, какими бы близкими тебе лично и существенными в нынешней ситуации они ни казались, а на добросовестном изучении материала и критическом отношении к теориям, сформулированным по данному поводу. Одним словом, Кавелин призывает свою юную собеседницу подчиняться велениям разума, что для нее было органиче-

ски невозможно. Но письмо она хранила в своем архиве, и через все жизненные перипетии Зиновьевой-Аннибал оно дошло до нас.

19 марта 1885

Благодарю Вас, Лидия Дмитриевна, за доверие, которое Вы мне оказали Вашим письмом. Оно полагает на меня нравственную обязанность, не отделяясь общими местами и уклончивыми фразами, высказать Вам прямо и откровенно то, что я думаю о Вашем положении и о том, что Вам делать, чтоб из него выйти. Мне это тем легче, что я сам в молодости находился точно в таком же положении, так же страстно, как Вы, отдавался идеалам общего блага, так же, как Вы, вырывался или, если хотите, выбивался из обстановки, которая не давала полету моих стремлений той свободы, о какой я мечтал. Теперь я старик; но обращаясь к прошлому, я нахожу, что и теперь остался таким же, каким был, с тою же непреклонною верою в идеалы общего блага и горячностью в их преследовании; вся разница только в приемах, в оценке своих сил, в отношении к той среде, в которой мне суждено действовать, во взгляде на свои и ее права на существование. Разбирая себя, свои взгляды и стремления теперь и сравнивая их с теми, какими я жил около полустолетия тому назад, я не чувствую ни нравственной усталости или надорванности, ничего похожего на презрительное или насмешливое отношение к тому, что мне было дорого и свято в молодости, чем я тогда жил и дышал полною грудью. Я теперь тот же, чем был тогда, и в то же время совсем другой. В чем же разница и откуда она, чем ее объяснить? Вот что я Вам хочу рассказать и что, я думаю, будет для Вас полезно в Вашем теперешнем тяжелом положении. В моем личном развитии перед Вами раскроется картина того, что Вы есть, и того, чем Вы непременно, рано или поздно, будете впоследствии.

Пятьдесят лет спустя после моей порывистой, кипучей молодости, когда я горел самыми высокими и святыми чувствами и стремлениями, как Вы теперь, я беспрестанно, ежеминутно повторяю себе: какое великое, беспримерное, неочтенное счастье, что увлечения молодых, неопытных лет не натолкнули меня на такой шаг, на такой поступок, который оставил бы неистребимый след на всю мою жизнь! Было и в моей жизни много такого, о чем я теперь сожалею; во многих случаях я бы поступил иначе – умнее, рассудительнее; но не случилось, к моему великому благополучию, ничего такого, в чем бы теперь, под старость, мне приходилось горько раскаиваться <так!> или мучиться совестью. К счастью и – спешу прибавить – без всякой с моей стороны заслуги – я не совершил в жизни ни однако <так!> такого поступка, который бы испортил мне всю жизнь или был причиною несчастья других людей, свел бы их с горя в могилу или отравил их существование. Когда период кипения и бешеных порывов прошел и я стал с годами спокойнее, опытнее, приобрел над собою и своими движениями больше власти, оказалось, что я прошел самую опасную пору жизни без горестных душевных ран. Старость моя светла и ясна, как в хороший летний тихий вечер перед закатом. С отцом и матерью я нередко ссорился, как всегда молодые со старыми; но никогда до полного разрыва у нас не дошло. Мать, с которой я всего больше сталкивался, видела во мне самого любящего сына, потому

что, несмотря на ссоры, делал все, чтоб успокоить ее старость, благословила меня на смертном одре и ее последняя слеза была посвящена мне, – горю о том, что она расстается со мною навеки. В молодости я тоже увлекался любовью и страстью; но от них никто никогда не страдал, ничья жизнь не была помята или искалечена, никто кулаками не утирал слез и не бил себя в грудь от раскаянья и горя. Повторяю, во всем этом нет и не было ни малейшей заслуги с моей стороны. Так случилось, к моему великому, величайшему счастью. Оттого так прозрачна, светла и тиха моя старость.

Вот чего я от всего сердца желаю и Вам, Лидия Дмитриевна! Пусть крылатая молодость Ваша пройдет, не оставя тяжелых следов на Вашей судьбе и Вашей совести. Тяжко и горько с ними жить. От радужных и светлых Ваших порываний, Вы, с такими следами, скоро перейдете к разочарованию и ожесточению, которые, как тень, будут Вас преследовать и отравлять каждую минуту Вашей жизни. Вы собирались бежать с любимым, сочувственным Вам по мыслям и убеждениям человеком, – мужем и отцом семейства – в Швейцарию. Какое счастье, что это Вам не удалось, что Вам помешали! За чем бежать в Швейцарию? Разве там разрешены все социальные вопросы, правда, справедливость и счастье людей разве там осуществились уже на деле? Что Вам там делать? Изучать социальные вопросы? Но ведь это Вы можете так хорошо и основательно делать и здесь, даже лучше, потому что применение великодушных задач, которые Вы носите в Вашем сердце, ближе Вам в среде, Вам знакомой и близкой, чем в той, которую Вам пришлось бы еще долго и пристально изучать. С Россией Вы связаны неразрывно всем, а Швейцария Вам совсем чуждая страна, и Вы ей чужая.

Вы говорите, что любите человека, с которым хотели оставить родину. По горячему сочувствию к его стремлениям и задачам, которое Вас с ним связывает, Вы заключаете, что его любите. Допросите хорошенько свое сердце – не обманываете ли Вы себя? Нет ничего легче, как принять за любовь волнение страсти или благоговение перед человеком за его талант, ум, характер, подвиги, заслуги, а между тем нет большего личного несчастья, как такое смешение. Сколько проходит мою памятью жертв такого *qui pro quo!* Любовь есть чувство особенное, которое возникает в душе Бог знает откуда, как и почему, часто вопреки всяким резонам и доводам, еще чаще при полном несходстве характеров, понятий и взглядов. Я не говорю, что Вы этого человека не любите, но я крепко стою на том, что Вы не знаете, любит ли он Вас и любите ли Вы его. Ни того ни другого Вы не знаете и не можете знать. Хорошо, если Вас соединяет действительная, серьезная, глубокая любовь. Она искупит отчасти страдания, неразрывные с союзом, которого не признает ни закон, ни общество, ни Ваша семья и родные. Ну а если окажется, что Вы оба ошиблись друг в друге, т.е. ошиблись в Ваших чувствах, и после первых восторгов Вы оба разглядите, что между вами очень мало или ничего общего? Что облегчит Вам бремя несчастий, которые на Вас разом обрушатся со всех сторон после решительного шага, который Вы задумываете? Пощадите себя, если не других! Подумайте! Ведь Ваша ставка – пан или пропал. Вы ставите на карту все, всю свою жизнь, и играете втемную, причем шансов выиграть один, а шансов проиграться в

пух и прах – 99. Признаюсь Вам: я на месте человека, которого Вы любите или думаете, что любите, ни за что на свете не принял бы от Вас такой жертвы, и то, что он готов ее от Вас принять, дает мне невыгодное понятие не только о его нравственном характере, но и о роде чувств, которые он к Вам питает. Я бывал несколько раз в жизни, еще очень юным, в подобных положениях, и никогда, ни разу не принимал подобных жертв, не только от молодых, неопытных девушек, но и от замужних женщин, любимых мужьями и счастливых в своей домашней обстановке. Растирать ногами чужой душевный мир, пользуясь увлечением, страстью, слабостью, – что же может быть позорнее и отвратительнее подобного преступления! Счастливая звезда меня от него избавила. Его я никогда не совершил.

Вы говорите, что любимый Вами человек несчастлив в своем браке, что его жена его недостойна. Но почему Вы это знаете? Ведь для определения счастливого и несчастливого супружества нет никаких внешних, указательных признаков. Ни красота и грация, ни ум, ни талант, ни материальное благосостояние и бедность, ни характер, ни даже добродетельность и порочность – ничто в мире не дают возможность заключать, что брак счастлив или несчастлив. Стало быть, вы судите по тому, что Вам кажется, или по отзывам самого любимого человека. Что касается до личных впечатлений, то поверьте моей долголетней опытности – они относительно супружеских отношений чрезвычайно обманчивы. Сколько мне случалось видеть браков, с виду очень неладных; а на самом деле оказывалось, что супруги не могут жить друг без друга и срослись в один неразрывный союз. Не верьте и дурным отзывам супругов друг о друге: часто, слишком часто они не более как самообман под влиянием минутной ссоры, которая завтра же забывается. Но когда брак действительно несчастлив и между супругами существует глубокий разлад, – я, признаюсь Вам, с большим недоверием и неуважением смотрю на мужа или жену, которые разрывают брак и расстаются, бросая детей и друг друга на произвол судьбы. Любовь и привязанность – далеко не все в браке. Он устанавливает еще и обязанности относительно детей, не виноватых в том, что они родились на свет Божий, относительно оставляемого супруга, когда ему жить нечем. В каждом неудачном браке вина не на одной стороне: виноваты, более или менее, оба, и муж всегда больше, потому что он самостоятельнее и свободней по своему положению. Если ему жизнь в семье опротивела, то он не может с нею разорвать иначе как обеспечив существование жены материально, а воспитание и содержание детей материально и нравственно. Не выполнив добросовестно этих обязанностей, он не может расстаться с своей семьей, оставаясь честным человеком. Как Вы назовете хозяина или хозяйку, которые отпускают на голодную смерть беспомощную служанку или престарелого слугу, когда они им больше не надобны? А ведь ничем не лучше бросить на произвол судьбы семью, которую создал сам бросающий. То и другое одинаково бесчеловечно и безнравственно и не может быть ничем оправдано. Кто так поступает, тот черствый эгоист. Кажущаяся его гуманность, преданность общему благу есть напускная, деланная, фальшивая. Настоящая гуманность никем не жертвует, а, напротив, себя приносит в жертву другим.

Соединяясь с женатым человеком, который из-за Вас – допустим, что это действительно так, – выбрасывает за окошко свою семью, – Вы совершите дважды бесчеловечный, негуманный поступок: во-1-х, Вы косвенно будете виной гибели семьи любимого человека, и, во-2-х, Вы внесете горе в Вашу собственную семью. Как там ни рассуждайте, но если свет, общество, люди смотрят на связь девушки с кем бы то ни было, а тем более с женатым и семейным человеком как на позор и клеймо для ее семьи, то Вы не можете претендовать на то, что Ваша мать, сестра, братья и родные с страхом и ужасом смотрят на Ваши намерения и делают все возможное, чтоб они не исполнились. Как бы каждый из нас не смотрел на свои поступки, чувства и решения, мы не имеем права созидать свое благополучие и достигать своих целей на счет спокойствия, счастья и благополучия других, – это аксиома, правило без исключения для всех, кто действительно хочет быть передовым, гуманным и кичится этим. Только эгоисты преследуют свои идеалы, не заботясь и не думая о других; гуманность и передовые идеи в таком случае служат только обманчивым покровом для личных, себялюбивых целей. Когда для достижения общего блага мне нужно раздавить благо хоть одного человека, разбить существование хоть одного человеческого существа, верьте – это не общее благо, а лживый его призрак. Общее благо не Молох; оно не нуждается в человеческих жертвах.

Вы жалуетесь горько на то, что Ваша матушка стесняет выбор Ваших чтений. Я знаю Ваше семейство очень давно и сужу о Софье Александровне не по личным впечатлениям, а по ее делам и по отзывам копорских и соседних крестьян. Она делает массу добра и заботится о крестьянах и крестьянских детях как мать, больше иной матери. Вам, до последнего времени, она никогда не отказывала в средствах образования, как того требует наше время и как Вы сами желали. Но Вы не вправе, не можете и не должны требовать от нее, чтоб она смотрела на все Вашими глазами. Ваше последнее решение привело ее в ужас, и этому нечего удивляться: я к Вам по образу мыслей стою ближе, чем Ваша матушка, но и я не нахожу возможным сочувствовать Вам в Ваших последних решениях. Софья Александровна приписывает их влиянию политико-экономических и философских учений. Я довольно ими занимался на своем веку и думаю, по собственному опыту, что они не приводят к тем взглядам на цели жизни, на каких Вы остановились. Но я вполне понимаю, как и почему она возненавидела и Политич<ескую> Экономю, и Философию. Подумайте, сравните себя с Вашей сестрой, которая этими науками не занималась, и скажите, положила руку на сердце, могла ли Ваша матушка прийти к другому выводу? Вот две дочери: одна дает полное счастье всем вокруг себя и далека от всяких ученых умствований; другая во имя этих умствований готова погубить себя, вносит смуту в жизнь хорошей, честной семьи. Прямой и простой вывод отсюда: вся вина в проклятой учености. Вы сами навели Вашу мать на такое заключение, и вините в нем себя, а не ее. Вы приняли верхушки науки, выдержки из нее, за самую науку. Но и Политическая Экономия, и Философия в наше время не довольствуются готовыми программами и сентенциями, которых тщета и бессилие разрешить вопросы давно доказана. Наука в наше время прежде и больше всего критическая, располагающая не к скорому

и легкому решению задач жизни, а, совсем напротив, к глубокому раздумью и упорному, систематическому труду и усиленной работе мысли. Ничто не дается с одного маха, всего менее в науке. Хотите серьезно заняться ею, не довольствуясь скорыми и легкими, но зато и поверхностными выводами, – я убежден, что Ваша матушка Вам не только в этом мешать не будет, напротив, она охотно даст все к тому средства. Не будет никакого труда убедить ее в том, что между серьезной наукой и научным жаргоном, под которым скрываются одни фразы, а не глубокая критическая мысль, нет решительно ничего общего.

Вы, между прочим, говорите в Вашем письме, что счастье есть цель и задача жизни. Я об этом много писал в своих «Задачах Этики». Жизнь есть жизнь, в которой есть и минуты счастья, и минуты несчастья, и много целых годов, месяцев, недель и дней ни счастливых, ни несчастных, а так себе, серых, прозаических, наполненных заботами о том, без чего прожить нельзя. Мы все, не исключая и Вас, привыкли валить прозу жизни на других, а себе выгораживаем ее праздничную сторону, разумея под нею не одни утехи и радости, но и чрезвычайности всякого рода, говорящие воображению, кипящие кровь, волнующие ум. Без них мы скучаем и жалуемся на пустоту жизни. Это своего рода барство, хотя бы мыслью и любовью мы обнимали весь мир и всех людей. Знаете ли Вы или нет, что при расчете пищи для коров полагается большая часть такого корма, который не включает в себе ничего питательного и служит как бы балластом, без которого скот, т.е. его желудок, обойтись не может? Такова и проза жизни, изредка перемежающаяся мгновениями великого счастья и больших несчастий. Без этой прозы, наполненной необходимым, часто скучным трудом, немислимо существование. Без нее мы бы скоро сгорели и исчезли.

Вы спрашиваете, что Вам делать, что начать, как разобраться в хаосе? Вас глубоко оскорбляет, что честность и чистота Ваших помыслов и намерений заподозрены и не признаются Ваши близкими. Мне кажется, Вы тотчас же сами, без всякого совета, проложите себе путь ко всему лучшему, когда этого сами серьезно захотите. Стоит Вам только подумать и убедиться, что если Вы хотите быть тем или другим, достигнуть тех или других целей, то и окружающие Вас точно так же хотят быть тем, что они есть, и достигнуть своих целей. Выход из этого один – прийти к какому-нибудь соглашению, которое и даст возможность и Вам и Вашим близким существовать без глубокого взаимного раздражения. У Вас сердце доброе, Вы горячо любите детей: займитесь школьным воспитанием и обучением. Какое широкое и плодотворное поле деятельности для общего блага и на пользу народных масс! Вы интересуетесь знанием, наукой: наукой вообще заниматься нельзя, не сделавшись верхоглядом, поверхностным человеком, который довольствуется общими местами и непроверенными общими выводами. Наука – целый необъятный мир, которого малая часть потребует глубоко и упорного изучения в продолжение целой жизни, прежде чем человек получит право сказать, что он эту малую часть знает порядочно. Когда моя покойная дочь, кончая гимназический курс, намеревалась заняться наукой, я говорил ей то же, что говорю Вам теперь: выбери один какой-нибудь предмет, изучи его глубоко и основательно, начав с учебника, а потом перейди к моно-

графиям, которые подробно трактуют ту часть предмета, которая тебе почему-либо кажется особенно интересной. Моя дочь последовала моему совету, выбрала предметом изучения историю, основательно прогугудировала сначала учебник – так основательно, что изумляла своими познаниями опытных учителей и профессоров, и потом начала так же основательно изучать и другие части и эпохи истории по первоклассным монографиям. Результат был тот, что из нее вышла действительно ученая женщина и образцовая учительница. Повторяю, я совершенно убежден, что такое занятие наукою не встретит в Вашей матушке ни малейшего противодействия; напротив, она будет радоваться и гордиться успехами Вашими на этом пути. Она с справедливым недоверием относится к тому, что, выдавая себя за науку, а на самом деле не будучи ею, представляет собрание сентенций, будто бы решающих бесповоротно и окончательно судьбы мира и все тайны человеческого существования. Такой науки нет и быть не может. Наука есть исследование, труд, работа, медленно, шаг за шагом завоевывающие знание и свет, а не Коран, не провозглашение прав, распространяемые в мире огнем и мечом, с пеной у рта, истребляющие то, что есть, во имя воображаемого лучшего будущего. Наука, – настоящая, а не мнимая, критическая, а не заключающаяся в общих местах, сентенциях и громких, но бессодержательных фразах, – помирят Вас с жизнью и обстановкой, внесет спокойствие и отраду в Вашу душу, поборет Вашу самоуверенность и требовательность от других. Наука даст Вам понять, как трудно достигнуть того, что способно подвинуть человеческий род хоть на самый малый шаг вперед, приучит к выдержанному, методическому труду и терпению. Эти благодатные плоды научной работы поставят Вас в нормальные отношения к среде, в которой Вам суждено жить и действовать. Займитесь наукой серьезно – и Вы скоро разберетесь в хаосе, который Вас тяготит. Она выучит Вас владеть собой, своими мыслями, чувствами и поступками – первой, важнейшей и благодатной целью для каждого человека в жизни. Вы молоды, начинаете жить, и наладиться в хорошую колею, при некотором усилии, Вам не будет трудно. Ваши порывания и стремления, внушенные благородным сердцем и чистыми помыслами, войдут в правильную колею и выиграют в глубине и энергии. Помните, что истинная сила всегда спокойна. Раз что Вы так наладите Вашу жизнь и деятельность – теперешние недоразумения, диссонансы и страдания скоро исчезнут и забудутся всеми, кому Вы близки и дороги. Сами Вы будете об них вспоминать как об ошибках мысли и благословлять судьбу, которая помешала Вам осуществить их в поступках, после которых уже нет возврата.

Вы требовали от меня откровенного и сердечного отзыва на Ваши страдания, сомнения и вопросы.. Верьте, что я положил всю душу в этот длинный ответ, не кривя ею ни перед Вами и ни перед кем. Пишу только то, что думаю в самых затаенных уголках моего сознания, исполняя нравственную обязанность, долг совести перед Вами. Будет мой ответ Вам по душе – последуйте моему совету, поборите себя. Не будет по душе – делайте как знаете, но не пеняйте ни на кого, если погибнете безвозвратно для себя и для других, жертвою самых горестных иллюзий. Перед Вами две дороги. Выбирайте любую, но знайте наперед и помни-

те, куда каждая ведет.

Ваш К. Кавелин.

Перечитав свое письмо, спешу дополнить сказанное в нем следующим: не только для Вас, Ваших родных и близких, но и в интересах общего блага, которое так дорого и близко Вашему сердцу, Вы должны побороть себя, оставаться в среде, которая дана Вам судьбой, начать сближение с миром, служение правде примирением с ближайшей обстановкой, умением найтись в ней. Правда, истина, благо в жизни не есть программа, а живой факт, который растет из малой ячейки и разрастается все больше, шире, обнимая наконец всех и все. Хороший полководец начинает свою карьеру с солдатской службы, отличный сельский хозяин – с полевого работника, первоклассный художник, ученый – с ученических упражнений. Кто хочет других учить, тот должен сам учиться, кто хочет работать на благо других – тот должен выучиться создавать благо и счастье в своей непосредственной обстановке. Работа для других есть прежде и больше всего работа над самим собой. Недаром сказано в Евангелии: кто хочет быть господином над другими, тот пусть будет сперва слугою всех. Заносчивость, самоуверенность, убеждение, что только мы правы, а все другие – неправы, что нам нужен простор, а другие должны потесниться, чтоб дать нам дорогу, – взгляд неопытности, с которым скоро приходится расстаться, и чем раньше, тем лучше. Не отказать от того, что Вам дорого и свято, приглашаю я Вас, а, напротив, выучиться сделать Ваши взгляды и убеждения понятными, серьезными и сносными для других. Надо убеждать, а не ломать, сближать с собою, а не отталкивать, чтобы Ваши взгляды получили право гражданства между людьми. Противник Вас не поймет, пока Вы не вдумаетесь в его склад мыслей и не поймете, что заставляет его думать иначе, чем Вы. Поверьте, те, чей образ мыслей Вам не симпатичен, почти всегда, за очень редкими исключениями, так же желают добра и правды, как и Вы, только расходятся с Вами в путях, которые к ним ведут. Когда Вы в этом убедитесь, Вы станете снисходительнее, добрее, терпеливее и будете сами шире смотреть на вещи ⁹.

Письмо Кавелина, рассчитанное на единственную читательницу, которой не нужно было напоминать расклад событий, существенно именно своими рассуждениями. Но нам остается неизвестным, в кого именно влюбилась Зиновьева-Аннибал, тем более – кто был тем братом, за которого она должна была фиктивно выйти замуж. Мы не знаем, до какой стадии дошли их личные отношения: была ли та любовь, о которой пишет Зиновьева-Аннибал, только сухой и выдуманной, как она утверждает, основанной исключительно на желании совместной возвышенной деятельности на благо простого народа, или чем-то более значительным. Ничего не знаем мы о мыслях и чувствах ее сообщника. Тем ценнее письмо, обращенное к этому человеку (теперь мы знаем, что его звали Робертом Александровичем) и написанное в конце октября 1886 года, которое сохранилось в ее архиве. Видимо, отправлено оно так и не было, но содержащиеся в нем факты и суждения достаточно выразительны для реконструкции происходившего.

Роберт Александровичу <так!>

Вчера вечером узнала совершенно случайно о смерти вашей жены, и это известие так глубоко потрясло мою душу, с такою страшною ясностью напомнило мне мою жизнь, что я решила не медля писать Вам это письмо. Тем более мне кажется необходимым объясниться с Вами потому, что я решила выйти замуж по любви за человека, полюбившего меня около года тому назад. Свадьба моя назначена через неделю 2 Ноябрь<я>. Жених мой учитель истории в гимназии кн. Оболенской, выйдя за него, я надеюсь наконец перейти из области мечтаний и порываний и устроить жизнь по идеалу, который развивался всё в одном направлении с тех пор, как я начала мыслить. До сих пор, Р.А., я спокойно глядела вперед, и не одно сомнение не тревожило душу, и вдруг как громом обрушилось на меня известие о смерти Г.И. Я поклонилась в землю памяти женщины, перенесшей столько вольных или невольных тяжелых минут из-за меня. Потом я думала весь вечер, всю ночь. Я думала о Вас, Р.А., припоминала все поступки и слова с ужасом перед мыслью, что Вы можете в чем-нибудь упрекнуть меня. Эта мысль измучила меня за эти часы, и я решила написать Вам, напомнить Вам те месяцы, которые мы прожили вместе, и сказать несколько слов о всем пережитом после нашего разрыва. Мне хотелось бы получить ваше честное оправдание, если я права, ваше искреннее прощение, если я в чем виновата перед Вами. Я начну с начала. Вы помните, как произошло наше сближение. Пока я Вас не знала так близко, Вы казались мне прекрасным, умным, твердым, мне казалось, что в таинственной глубине вашей души таятся какие-то неведомые силы, какое-то глубокое знание, которое недоступно мне. Потом я полюбила Вас и, пожалуй, сильно разочаровалась в Вас. Впрочем, уже ранее дневник Ваш представил мне Вас в совершенно ином свете. Вы писали, что жизнь Вам тяжела, потому что Вы не умеете ее употребить, что Вы чувствуете в себе молодые, святые стремления, порою кидаетесь вперед к свету, но жизнь, дрязги тянут вниз, Вы падаете, страдаете, снова подымаетесь и снова падаете. Прочитав это, во мне зародилось вместо прежнего трепетного любопытства иное, пожалуй, более мягкое, теплое чувство – жалость. От нее было 2 шага до любви. Вы сказали мне, что страстно полюбили меня, и меня охватило вашим пламенем. Впрочем, это не совсем так. Я тоже полюбила Вас, но не пламенем, Вы это знаете, я полюбила Вас теплым дружеским чувством. Не считайте это самоуверенностью с моей стороны, то, что я сейчас скажу, но, Р.А., Вы сами в вашем дневнике, в ваших словах, наконец и в ваших поступках показали себя человеком без крепкой воли. Я рассуждала так: в нем есть знание, есть ум, но нет силы, чтобы употребить их в пользу. Его жизнь принизила, придавила. Я воспользуюсь его знанием и умом и дам ему силу, которая в таком избытке наполняет меня, меня жизнь еще не тронула, и я хочу жить вполне. Вы помните, Р.А., какие фанатичные, смелые письма я я <так!> писала Вам осенью из Копорья. В Копорье, мне кажется, у меня было к Вам, кроме воодушевления идеею, и любовь <так!>. Вы помните, что сблизило нас. Помните, в лесу мы ехали верхом, я чуть не плача говорила о бедствиях крестьян. «Пойдемте помогать им вместе». «Пойдемте», – горячо ответила я. А потом, в то утро, когда Вы мне сказали: «Я не могу быть Вам другом, я Вас люблю». Помните, как странно,

как непрактично я говорила: «Пойдемте вот так, рука об руку вперед, туда, сквозь дождь и туман, к свету, там должен быть свет. Пойдемте трудиться и бороться вместе». Тогда вся душа была полна идей, в ней не было места личному чувству. Потом оно развилось понемногу, и самая горячая пора моей любви была в Копорье перед вашим отъездом. По вашему отъезде я снова стала увлекаться общими вопросами, пол<итической> пропагандой, соц<иальной> наукою. Припомните мои горячие письма. Когда я приехала в город, наш при первом разговоре <сначала было «наш первый разговор»> я сказала: «Я не хочу личного чувства. Человек не имеет права на личное счастье». Тогда Вы спорили со мною. Потом потянулась долгая зима. Боже, мне страшно вспоминать, сколько муки, сколько борьбы перенесла я. Я согласилась на ваш план обвенчаться с в<ашим> братом и уйти с Вами, но клянусь Вам, да и сами Вы не раз чувствовали и говорили: в моих мечтах о будущем не было ясной, светлой мысли о том личн<ом> счастья через Вас, через вашу любовь. Вы мне сами говорили: «Мне кажется, ты меня не любишь, хотя факты и говорят противное». Да, Р.А., этою фразою Вы выразили всё: я не любила Вас, как надо любить мужу <так!>, но я решилась и я шла вперед. Причин моему тверд<ому> решению было много. Во-первых, меня толкала вперед клятва, данная мною еще летом, затем мне хотелось поднять Вас, потому что Вы стояли не высоко, потом я хотела принести много пользы, и еще я задыхалась дома: я должна была идти, и я шла, шла мучаясь, борясь, но шла неустанно и твердо, и, клянусь Вам, дошла бы до конца, без страха за себя, без сомнений в своей правоте. (Я мучалась только за мать и за вашу жену). Итак, я дошла бы до конца, если бы – не Ваше непонятное малодушие или нерешительность, а пожалуй и нежелание. Только зачем Вы не сказали прямо, Р.А.: «Я не настолько люблю тебя, чтобы вынести жизнь с тобою»? Этим Вы только еще раз доказали свою слабость. Я не хочу упрекать Вас, право, право, я не зла на Вас, но мне хотелось бы знать от Вас самих, права ли я, говоря: «Он побоялся силы моего чувства, силы моего решения, он побоялся меня и стал отступать!» Ведь Вы не виноваты в слабости. Мы дотянули дело почти до масляницы. Вы помните наше роковое свидание в Копорье зимой. Вы правы были, говоря: «Когда я с тобой, я не боюсь будущего, мне всё ясно». Я и тогда убедила, подтолкнула Вас, Вы решили ехать в город и тотчас всё устроить к свадьбе. Я подала Вам руку и дала слово. О, я хотела сдержать его, я бы сдержала его. Не на радость себе, не на счастье, но потому что какое-то тупое упорное чувство толкало меня неудержимо вперед, должно быть, чувство долга, как я его понимала. Через 3 дня я приехала в город. Дома меня сильно подозревали. На другое утро по условию я вышла к Вам, т.е. скорее убежала, потому что за мной ходили следом. Я думала, Вы всё решили. До масляницы было 3 дня, я думала как-нибудь протянуть дня 2 и потом уйти навсегда, и вдруг Вы говорите: «Я ничего не сделал, я прозевал, я не сумел не помню что», – помню только, что сердце упало во мне: Назад нет дороги, да и не хочу я назад, а впереди стена, и Вы, Вы не сумели, не захотели отодвинуть эту стену. А Вы как в насмешку удивились моей бледности! Я не не упрекнула Вас, я стала Вас бодрить, уговаривать, я обещала добыть 200 р. Вы пообещались и ушли, а на другое утро написали: «Поздно». А дома всё узнали,

дома семья вся поднялась на меня. Тут-то вдруг ясно показала себя моя молодость. До сих пор я боролась, я храбрилась за Вас и за себя, тут вдруг в глазах всё померкло. Я поняла, что выхода не было. Вы меня не поддерживали, уйти я не могла, меня бы вернули, дома на меня обрушилась такая тяжесть презрения и гнева. Голова закружилась, я кинулась в комнату и почти машинально хотела застрелиться, но за час до того брат потихоньку унес револьвер. За мною пришли мои сторожа, и с тех пор 4 месяца я ни минуты не оставалась одна. Понимаете ли Вы, что значит ни минуты не оставаться одной, когда в душе ад, когда кругом топчат в грязь, унижают, оскорбляют. Боже, чего я не вынесла в то время. Я была одна на всем свете. Я билась головою об стену или лежала часами без мысли, без движения. У меня начиналась нервная горячка. Меня увезли в Крым. Я хотела броситься под колеса вагона, но мать и Э.В., подозревая, ни минуты не оставляли меня. Они ходили следом, одна спереди, другая сзади. Я была озлоблена, я вся жила одною ненавистью. Так прошло несколько недель. Я не смела плакать, я не смела печалиться, я ведь ни минуты не была одна. Я ходила, гордо поднимая голову, почти не говоря. Еще в П<етербурге> написала я Вам письмо, я послала его только из Симфер<ополя>, не знаю, дошло ли оно, не знаю по чести, что там было. Верно, бред какой-нибудь, ведь я днями бредила. И вдруг со мною совершилась крутая перемена. Я смирилась. Да, но в моем смирении была бесовская гордыня. Одни меня презирают, другие отвернулись, бросили. Нет чести, нет верности в людях. Всякий момент<ально> бросит, в грязь втопчет <в оригинале: втопчит>, так не надо мне никого. Я одна. Хорошо, так я и буду себе друг и помощник. Я буду идти вперед мягко, ласково, как бы любя. Но никогда никто не заглянет в душу мою, никогда ни от кого не приму я помощи и ласку <так!>. Все меня презирают, так и я любя – презираю. Я успокоилась, я работала, покорно (читать мне не давали), я была равна, ласкова, тиха, я всеми силами давила в себе тоску, злобу, отчаянье и – страстную потребность любви. Я помню, иногда душила, душила тоску, а сердце все ноет, физически ноет, да вдруг заломит, заломит, остановишься, чуть не с криком вздохнешь, и боль снова тупо засверлит грудь. Боюсь, Р.А., чтобы Вы не подумали, что я из желания разжалобить Вас говорю всё это. Прошу Вас, отложите эту мысль. Ведь я теперь счастлива и свободна, мне не надо ничье сожаление <так!>, и пишу я Вам именно теперь, когда я счастлива и свободна, чтобы сказать Вам о прошлом горе. Раньше, когда я нуждалась, быть может, в человеке, я ни за что не обратилась бы к Вам. Из Ялты еще я писала Вам, но письмо вряд ли дошло. Я адресовала его в уч<ительский> инст<итут> для пересылки Я.В., а от него Вам. Я писала Вам спокойно и разумно. Это было после перемены в моем настроении. Я писала Вам, что благодарю за все хорошие минуты <так!> во время нашего знакомства, за всю пользу, которую Вы отчасти даже помимо воли принесли мне, еще неразвитой девочке. Я просила Вас забыть всё горькое, как и я забыла и простила, и кончала тем, что мы оба и врозь можем попытаться исполнить наш долг в жизни до конца, а что об соединении нечего и думать, потому что ни я, ни Вы уже не имели бы силы начать борьбу сначала. Заметьте еще одно, Р.А., и в истине своих слов я даю Вам слово. Во всем моем отчаянии мысль о Вас разве что прибавляла горечи разочаро-

вания, но почти ни разу не испытала я тоски по Вас как по любимому человеку, я больше и сильно тосковала по Я.В., я мучалась тем, что он тоже будет презирать меня. Я помню, я и тогда с удивлением заметила это. Говорю Вам это не ради обиды, а чтобы фактом доказать, что я и тогда и прежде не любила Вас. Это мне впоследствии пригодится. Потом я вернулась из Крыма. Меня стерегли по-прежнему, но напрасно. Я была слишком убита, задавлена, во мне сил уже не было, я и сама никуда не пошла бы. Я знала, что Вы в городе, но я не хотела Вас видеть. И вдруг на выносе в толпе меня назвали по имени, я обернулась: Т.И. кивала мне головою, я низко поклонилась ей, и сердце надорвалось во мне. Потом я пришла домой и написала ей: Мн. Т.И.

Я послала письмо с судомойкой, но она пошла в кабак. Дошло ли письмо?

Затем я поехала в деревню. Потянулась серая, пустая, скучная жизнь. Меня стесняли, не давали читать, мучали попреками по-прежнему днями, неделями, и вдруг прорывалась прежняя, гордая, сильная молодая жизнь, я, рыдая, кидалась на пол. Я рыдыла над Д.П., они напоминали мне прошлые мечты и верованья. Я им никогда не изменяла. Меня бранили, упрекали в неблагодарности к семье, которая великодушно простила мне мой грех. Я снова смирялась, терпела, прозябала, тосковала. Меня нельзя было узнать. И вдруг, именно вдруг, неожиданно мне минуло 20 лет. Никогда не забуду я этот день. Меня тетка чем-то сильно обидела. Дело коснулось, я помню, п<олитических> убежд<ений>, я вспылела, ушла к себе и зарыдала. И вдруг холодный ужас охватил душу. Мне 20 лет, думала я, и что я делаю. Гублю себя, свою молодость, свои способности, трачу свои силы на бессмысленную борьбу против себя самой. Чего я жду – старости, дряхлости. Я жду, но время не ждет. Да, ужас и тоска охватили мною, и смирения как не бывало. Я снова стала кидаться и метаться, ища помощи, но помощи не было. Одна я ничего не могла. Семья прямо и упорно отказывалась дать мне свободу. Зимой я решила держать экзамен, и упорный труд подкрепил мои нервы, которые были до того плохи, что я до боли боялась сумасшествия. Весною я выдержала экзамен и сделалась невестою. После долгих и тяжелых раздумий семья согласилась на брак по моему вкусу, и теперь через неделю я выхожу замуж за К.С.Ш. и по его же совету пишу Вам это письмо. Теперь я сказала Вам всё относительно себя. Вы видите, я честно и искренно созналась во всех своих поступках и мыслях, касающихся Вас. Повторяю, я много помучилась со вчерашнего дня, вспоминая прошлое. Предо мной восстал страшный вопрос: «Не виновата ли я перед Вами? Вполне ли чиста совесть моя? Можете ли Вы упрекнуть меня в чем-нибудь?» Страшно тяжело было бы мне вступать в новую жизнь без полного и ясного сознания, что нет на моей душе незаметного пятна, что честно и смело могу я взглянуть каждому в глаза, и Вам в том числе, что искренно могу исполнить свое обещание всегда по первому вашему желанию стать вам другом. Потому что нет в душе моей злобы и ненависти к Вам, напротив того, охотно протянула бы я Вам руку свою. Вот в чем состоит моя просьба к Вам, Р.А.: загляните и Вы в самую глубину души Вашей, вспомните честно всю жизнь свою. Я ведь верю Вашей честности. Знаете, мне со всех сторон чернили Вас, мне го-

ворили: «Он подлец, мерзавец, он затянул тебя в гадость!» Но я с гордостью отвечала: меня никто не затягивал и не увлекал, я сама шла и знала, зачем и куда. А отнять веру в человека, который мне был так близок и дорог, – вещь немалая, и никогда не решусь я на нее, и буду верить в его честность, в его прошлую, но искреннюю любовь до тех пор, пока он сам мне не скажет: «Я подлец, я обманщик». И, клянусь Вам, самая горячая, самая лучшая мечта моя по отношению к Вам, Р.А., была и есть, что когда-нибудь Вы придете ко мне и скажете: «Я был слаб, я был малодушен, но я был искрен, я был честен, я не обманывал Вас, я любил Вас, мало, быть может, но любил и желал Вам добра и счастья». Неужели этой мечте никогда не суждено свершиться? Знайте, если Вы придете и скажете мне так, я вполне поверю Вам и всю жизнь буду радоваться, что не усумнилась в Вас, когда и люди, и факты – всё было против Вас. Теперь, Р.А., Вы должны понять, как искренно и хорошо отношусь я к Вам. Заклинаю Вас этою искренностью, Р.А., подумайте серьезно, вполне ли Вы чисты передо мной. Как относились Вы ко мне и к Вашей жене. Вы знаете, Р.А., когда Вы уверяли меня в своей любви, Вы говорили, что разошлись с женою, Вы, уходя от меня в последний раз, сказали: я пойду и теперь же разведусь с ней навсегда. Помните, Р.А., что я никого тогда не любила, кроме Вас, что я была Вам верна, и тогда, и долго после. Я изменила Вам только теперь, полюбив от души другого. Так ли вполне поступали и Вы? Ради Бога, не думайте, что я хочу допрашивать Вас, я только хочу знать, права ли я, строго судя себя и во всем оправдывая Вас. Ведь я знаю малейшие погрешности в <в тексте: с> своей. Вашу душу и Вашу жизнь я не знаю. Будьте же так же честны, как я, скажите: были Вы вполне правы предо мною в то время, когда говорили, что любите меня. О последующем я не спрашиваю, ведь по внешности не Вы меня покинули, а я Вас. В том письме, которое я написала Вам, я вполне отказалась от Вас, я говорю «по внешности», потому что в сущности, в сущности, Р.А., мне кажется, что Вы оттолкнули меня. Не оттолкни Вы меня тем, что я страстно <?> желала назвать только слабостью и нерешительностью, итак, не оттолкни Вы меня тогда, я твердо верю, что не упала бы духом до попытки на самоубийство, до полного отчаяния, когда вся жизнь еще лежала впереди, когда теперь, через 2 года, я иду вперед с надеждой наконец испытать счастье¹⁰.

Из данного письма нам становится более или менее понятен хронологический расклад этой истории. Судя по всему, начальный момент этой истории приходится на весну или лето 1884 года, то есть когда Лидии было девятнадцать лет. Осенью ее сообщник покинул Копорье и они стала переписываться; в двадцатых числах января 1885 года¹¹ она узнала, что брак не сможет состояться, и в то же самое время история стала известна родителям. После выздоровления от нервной горячки ее увезли в Крым, где продержали, судя по всему, до апреля месяца¹². После этого Роберт Александрович, о котором мы все так же практически ничего не знаем, пропал из ее жизни на полтора года и возник совсем случайно буквально накануне назначенного уже венчания.

25 октября 1886 г. Зиновьева-Аннибал написала письмо священнику, о. Алексею Колоколову, который должен был ее венчать, письмо:

Многоуважаемый Отец Алексей!

С полною верою в Вашу доброту, в Вашу высокую, святую душу, обращаюсь я к Вам с великою просьбою. Ради Христа, не откажите мне. Я дочь Софии Александровны Зиновьевой и должна сегодня, за неделю до своей свадьбы, исповедываться у Вас. Я 2 года тому назад любила женатого человека. Письмо приложенное Вам всё объяснит. Я не берусь решить, имела ли я право любить его. Я беру совершившийся факт. Расставшись с ним, я думала, что всё кончено, и вдруг третьего дня, узнав о смерти его жены, со мною случилась странная вещь. Я стала думать, думать, и мне показалось, что я, любившая его, и в таких страшных условиях, отнимавшая его от жены, от дочери, теперь, когда он один, с ребенком на руках, не имею права быть счастливой и идти замуж за другого. Я не только что теперь не люблю первого, я даже и прежде плохо любила его, а больше увлекалась искренно и сильно современными увлечениями молодежи: социализмом, политической пропагандой и т.д.

Я говорю «искренно и глубоко увлекалась», потому что мало читала, а больше сама примечала весь ужас положения бедных слоев общества и еще потому, что серьезно собиралась бросить любимую семью, свет, богатство ради своей, быть может, и неверной идеи.

Теперь мне кажется, что я должна предложить тому, кого я первого любила, отказаться от своего горяче-любимого жениха, сказать ему откровенно, что не люблю его, что семья проклянет меня, если я пойду за него, но что по чувству долга я согласна идти за него и стать матерью его ребенка, против которого я грешила, и трудом своим помогать ему зарабатывать хлеб.

Не знаю, выдержала бы я то, что беру на себя, но кажется, что да, и я знаю, что оттолкну я решение этого вопроса и выйди я замуж, меня замучила бы совесть.

Я говорила об этом с женихом. Он плакал как малый ребенок, он убеждал меня, что я ложно понимаю свой долг. Что я не виновата перед тем, что я не имею права разбить ему сердце. И вот я стала страшно колебаться. Я искренно хочу отбросить все сторонние вопросы, как то: любовь, счастье личное... я хочу знать, где истина, где долг, и хочу поступить по правде. Я знаю, что я не поколебалась бы пойти за тем, если – я должна. Жених мой говорит: «Ты хочешь *на крест*, и вот главная черта твоего характера». Нет, я не хочу своего несчастья, но быть может я заслужила крест, и тогда я пойду. Скажите Вы мне, Батюшка, спасите меня от себя самой. С этим «вопросом» в душе я не могу жить.

Не откажитесь прочесть и то письмо и спасите нас обоих, а быть может, и троих.

С глубоким истинным уважением остаюсь в надежде на Вашу доброту.

Лидия Зиновьева¹³

Письмо очень характерно и для времени, когда оно было написано, и для характера Зиновьевой-Аннибал. Изо всех документов, имеющихся в нашем распоряжении, изо всех мемуаров мы знаем, что для нее одним из самых существенных нравственных вопросов был вопрос о соотношении долга личного и общественного. Своя собственная жизнь и ее

связанность с жизнями других людей, причем в равной степени и близких, и далеких ее мучили постоянно. И вместе с тем среди всех этих переживаний она не только стремилась к альтруистическим действиям, но и (кажется, часто вполне инстинктивно) обороняла свое собственное счастье, каким оно виделось с тот момент.

В письме к священнику это очень и очень чувствуется. С одной стороны, она чувствует необходимость «идти на крест», а с другой – видит, что это для нее будет трагедией, и почти подсознательно перелагает на священника обязанность уговорить ее отказаться от первоначального, прямо скажем, сумасбродного намерения. Судя по всему, ему это удалось сделать к общему удовлетворению сторон. Поскольку письмо осталось в архиве, оно не было отправлено. Послала ли Зиновьева-Аннибал вместо него какое-либо иное, мы не знаем и вряд ли когда-нибудь узнаем, но свадьба состоялась в назначенные строки. Впрочем, об этом рассказывается в следующей нашей «хронике».

ИСТОРИЯ ОДНОГО РАЗВОДА

Семейная жизнь знаменитых людей далеко не всегда является общеинтересной. То есть, конечно, праздного читателя, по тем или иным причинам проявившего внимание к той или иной личности, она интересует почти всегда, поскольку служит основой для сопоставления со своей собственной. Но в поле зрения специалистов она попадает гораздо реже. Классические примеры не раз осуществленных анализов – семейные драмы Герцена и Блока, или менее известные случаи Ахматовой-Гумилева, Розанова, Заболоцкого. Однако бывает и так, что на долгие годы обстоятельства, омрачающие жизнь известных людей, остаются малоизученными, хотя для них они были чрезвычайно важны. Одна из таких историй – жизнь Вяч. Иванова с его второй женой, Лидией Дмитриевной Зиновьевой-Аннибал.

Нельзя сказать, чтобы ее обстоятельства совсем остались в тени исследовательского внимания. Так или иначе ее были вынуждены упоминать все, кто сколько-нибудь развернуто писал о биографии Иванова. Однако поскольку изучение этой биографии фактически находится только в самом начале, и тут известно чрезвычайно мало. Так, кажется, почти никто не писал о том, что с перипетиями этой истории в немалой степени оказался связан отказ Иванова от научной карьеры: как раз в тот момент, когда он должен был подвергаться испытаниям в Берлинском университете, а следом за этим защищать диссертацию, которая уже была написана, он оказался вынужден покинуть своих университетских наставников да и сам город, чтобы жить вместе с новой семьей (еще неофициальной) в Париже, а далее, следуя как своим собственным, так и жены опасениям скитаться по Европе, часто оказываясь вдалеке от библиотек, без которых занятия становились невозможными. Известный пассаж в «Автобиографическом письме» Иванова к С.А. Венгеру¹, лишь отчасти объясняет положение дел. Да и вообще вся его жизнь 1895-1899 годов в очень значительной степени проходит под знаком постоянного напряжения как раз в той сфере, где, казалось бы, человек должен чувствовать себя неколебимо уверенным. Очень подробно об этом читатель сможет узнать из переписки Иванова с Зиновьевой-Аннибал, но не менее важна и предыстория, о которой мы предполагаем рассказать здесь.

Конечно, Иванов и сам был виноват в данной ситуации, отчетливо вину осознавал и старался минимизировать принесенный вред. Оставив первую жену с маленькой дочкой без средств к существованию, на попечение бывшей тещи, он взял на себя вину в измене, жена легко получила развод, но сам он отныне был не в праве вступить в новый брак. Как и какими совершенно незаконными способами он обходил это запрещение, также рассказано в переписке супругов и комментариях к

ней. Но не только ему приходилось предпринимать различные действия, но и его новой жене. Именно о ее семейной жизни и ее окончании пойдет у нас разговор.

Удивительно, как мало знаем мы о жизни этой незаурядной женщины. Даже дата ее рождения доподлинно неизвестна. То есть день и месяц мы знаем наверняка – 6 октября, но вот год довольно-таки неопределен. В разных источниках встречается и 1865, и 1866, и 1867 год. Так, в письме к детям, помеченном только 1894 годом, она говорит, что ей 28 лет, – и тут же прямо утверждает: «Я родилась в 1867 году», чего, как нетрудно понять, быть никак не могло: если письмо было написано до дня рождения, то годом рождения она перифрастически называет 1865, если после – то 1866. В дневнике 1907 года (хранится в Римском архиве Вяч. Иванова) в день своего рождения она утверждает, что ей исполняется сорок два. И будущий ее первый муж 6 октября 1886 года поздравляет ее с днем не только рождения, но и совершеннолетия, которое по тогдашним законам наступало в 21 год². Так что, кажется, все сходится на том, что она была на год старше обычно называемого возраста. Впрочем, вероятно, это не столь уж принципиально, и будет довольно ограничиться словами Иванова, описывавшего первую встречу: «Ей, кажется, еще нет 30 лет»³.

Подробную ее биографию писать мы не готовы. Обычно для понимания ранней жизни Лиды Зиновьевой (так ее звали в детстве) используются ее написанные уже незадолго до смерти рассказы. Конечно, автобиографический элемент в них есть, но он совершенно явно идеализирован. Будущему исследователю предстоит внимательно изучить ее сохранившиеся письма к родителям, чтобы извлечь из них более адекватную картину. Для нас же довольно указания на более или менее существенные для нашей темы факторы. В предыдущей «хронике» мы рассказали историю ее первого серьезного увлечения и несостоявшегося брака. Но через сравнительно недолгое время началась совсем иная история.

Согласно семейной легенде, «когда Лидии исполнилось лет 17⁴, ей пригласили в учителя молодого <...> историка Константина Семеновича Шварсалона. <...> На ее вопрос об его отношении к миру он ей объяснил, что у него мировоззрение "альтруистическое". Слово альтруизм он употреблял эвфемистически вместо опасного слова "социализм", которое могло бы его скомпрометировать в аристократической среде <...> он не упускал случая помянуть каких-то своих именитых французских предков» (I, 20-21). Однако по названным материалам становится ясным, что ни в 17, ни в 18 лет со своим будущим мужем она даже не была знакома. Первые достоверные свидетельства о занятиях с К.С. Шварсалона относятся к весне 1886 года⁵. В сентябре того же 1886 г. Шварсалон просил руки Зиновьевой-Аннибал и получил согласие, о чем писал ее отцу, уже и тогда жившему в Женеве: «Ваша дочь сделала мне честь, приняв мое предложение – быть другом ее, и согласившись выйти со мной в жизнь, на которую она смотрит строго и серьезно, как на поприще труда и любви на пользу родного народа»⁶. Свадьба состоялась в ноябре, о чем Шварсалон сообщал ему же 19 ноября: «Вероятно, Софья Александровна подробно писала Вам о свадьбе нашей, как пре-

красно служил духовник ее и Лиды, отец Колоколов (церкви Георгиевской Общины; а венчали нас в домово́й церкви Коммерч<еского> Училища). Все вынесли от его чудной службы впечатление поистине торжественного и вдохновенного настроения»⁷.

Константин Семенович Шварсалон («из Евреев», как отметит Иванов⁸), сын унтер-офицера, был старше своей ученицы на 8 или 9 лет (родился в 1857 году), окончил историко-филологический факультет Петербургского университета в 1880 г., в 1881 стал кандидатом⁹ и служил преподавателем истории в училище Св. Елены. Среди прочих мест его службы – Павловский институт, женские гимназии Оболенской, Гедда и Таганцевой, Псковская мужская гимназия¹⁰. К 1917 году он был статским советником. Дата его смерти нам неизвестна, хотя можно предположить, что он умер между 1918 и 1923 годами¹¹. В конце 1880-х и начале 1890-х годов он был вполне заметной величиной в кругу молодых тогда историков, писал диссертацию, работал для этого в Италии. Кое-какие его статьи обнаруживаются в журналах того времени¹².

О без малого семи годах семейной жизни Шварсалонов мы знаем немного. Однако, кажется, и этого довольно, чтобы опровергнуть еще одну семейную легенду. «Мама была яркой социалисткой <...> Мама наняла нарочито бедную, неотопливаемую квартиру (принципиальный вызов буржуазии!), присоединилась к партии эсеров (она жалела и любила крестьян) и стала в своем доме устраивать тайные политические сходки. <...> Встреча с моим отцом отвела маму от ее замыслов прямого участия в политической жизни»¹³; «Сразу после свадьбы Лидия, во исполнение поучений мужа в прошлом и к его ужасу в настоящем, примкнула к социал-революционерам и завела у себя конспиративную квартиру. <...> В Петербурге Лидия Димитриевна сразу затосковала в своем сером, заваленном пыльной, нелегальной литературой жилище. <...> Сделает ли она кому-нибудь добро своей подпольной типографией – это еще большой вопрос <...> Лидия Димитриевна <...> повесила у себя в комнате рядом с портретами революционных вождей большую фотографию Венеры Милосской. Фанатические подпольщики, с нею работавшие, сочли такой поступок неприличным вызовом, революцией против революции» (I, 21-22).

Никаких положительных сведений о революционаризме молодой женщины семейная переписка не дает. Скорее наоборот. Вот, например, как описывает К.С. Шварсалон жизнь начала 1893 года: «Теперь у нас взята лишняя прислуга и Лидия имеет возможность отдохнуть. Хозяйство наше так устроилось, что кроме удовольствия и спокойствия – иметь свое прекрасное молоко, теперь свои яйца, – и некоторой, пожалуй, выгоды при этом, ничего другого это хозяйство не причиняет. Держать одну корову, как Вы знаете, неудобно: останешься как раз без молока; а от двух его слишком много и поневоле приходится продавать. <...> Недавно присылал, по совету и рекомендации врача, просить давать ему молока – Ваш любимый писатель, Лесков. У него печень не в порядке и прописано молочное питание, а доставать в Петербурге добросовестного молока мудреное дело: если не подмешивают, то корм коров нездоровый. К сожалению, у нас не нашлось более для Лескова. <...> За коровами и курами ходит у нас Дуня, девушка с Устья, преми-

лая, ласковая и скромная <...> У Лидюши будет летом кто-нибудь гостить; кроме того, невдалеке думает поселиться мой товарищ – Яковлев с семьей, очень серьезный и почтенный господин»¹⁴.

Из этого письма, как из ряда других, можно себе представить, что усилия Зиновьевой-Аннибал были направлены в первую очередь на то, чтобы жить самой и приучать детей к естественной жизни и физическому труду, возможно даже, что к некоторому опрошению. Но от этого еще очень далеко до участия в революционном движении. К тому же следует отметить, что никакой партии эсеров во второй половине 1880-х и в начале 1890-х годов не существовало, она стала формироваться лишь в середине 1890-х, когда Зиновьева-Аннибал практически не бывала в России¹⁵. Это ставит под сомнение рассказы и про конспиративную квартиру, а тем более про подпольную типографию. К тому же при такой степени привязанности к полуподпольной деятельности странным выглядило постоянное отсутствие в городе и обращенные к самым различным людям приглашения погостить длительное время.

Вряд ли возможно отрицать, что в конце 1880-х и начале 1890-х годов К. Шварсалон и его жена находились под влиянием некоторого обаяния «вольности», особенно по сравнению с традиционными веяниями Министерства народного просвещения. В архиве сохранился интересный документ – памятная записка Шварсалона «Любопытные факты к истории моего отчисления от Мин<истерства> Нар<одного> Пр<освещения>», где рассказывается о том, как «получил я от Департ<амента> Мин<истерства> Нар<одного> Пр<освещения> уведомление в 4 строчки – точнее: ответ на мой запрос из Флор<енции> – в Апр<еле> 1890 г. о том, что я “приказом г. Мин<истра> (Дел<янова>) от 4 мая 1889 г. отчислен от Мин<истерст<ва>” <...> Еще до получения этого уведомления от Департ<амента>, виделся я в том же Апреле <18>90 г., во Флоренции, с кн. Волк<онским>, Товар<ищем> Мин<истра> Нар<одного> Пр<освещения>; передал ему записку с подробным изложением обстоятельств нашего житья в Берне зимой 1888/89 г. (с конца Сент<ября> по конец Февр<аля> нов. ст.)»¹⁶. Из этого документа следует, что по доносу из Швейцарии на основании представления Департамента Государственной полиции Шварсалон потерял возможность служить в казенных гимназиях. Выясняя в 1891 г. отношения непосредственно с директором Департамента известным П.Н. Дурново, Шварсалон узнал, в чем его обвиняли. «?Надв<орный> Сов<етник> К.С. Шв<арсалон>, проживая в Женеве зимой 88/89 г., вступил в сношение с жившими там Русск<ими>, был выбран старшиной в читальне и участвовал в совещаниях, происходивших в этой чит<альне>, по революционн<ым> делам. Еще более деятельное участие принимала в революц<ионной> пропаганде жена его, Лид<ия> Дм<итриевна>, находившаяся в постоянн<ых> сношениях и до сих пор не прекращ<ающая> сношений и поддержки некот<орых> рус<ских> эмигр<антов>”. [К сожалению, дословно не могу передать, что прочитал мне Д<урново>, но за точный смысл слов ругаюсь]»¹⁷. Существенна для нас и суть его оправдания: «...в Женеве мы никогда не только не жили за все время пребывания за границей, но даже ни разу не останавливались, а проезжали прямо к моему тестю, в 40 мин. от Женевы, на его

виллу (Aîre). Кроме того я указал Д<урново> на ложность обвинений и против меня, так к<a>к в Бернск<ой> читальне никогда и ни разу в мою бытность в ней членом и одним из трех заведующих не было совещаний о революц<ионных> вопросах. Нечего прибавлять, что я никогда бы не согласился не только в общих собраниях, но даже с отдельными членами, один на один, говорить о политич<еских> взглядах, да и не с кем было в Берне говорить об этом. Что касается до обвинен<ий>, взведенных на мою жену, то *решительно все*, что про нее сказано, *ложь*, так как жена никаких сношений, кроме занятий в Универс<итете> (анатомией), ни с кем из Рус<ских>, живущих в Берне и незнакомых – не имела. Из учащихся там бывали, правда, у нас, в доме неск<олько> девиц, как знакомых, семейное и обществ<енное> положение кот<орых> нам было хорошо известно и с которыми мы или раньше встречались в П<етербур>ге или могли встретиться, по возвращении; ни с какими эмигрант<ами> или революц<ионерами> никаких сношений ни у жены ни у меня не было»¹⁸.

Можно, конечно, не поверить всячески желавшему оправдаться Шварсалону, но, кажется, дальнейшая его судьба свидетельствует о том, что после проверки донесения Дурново направил в Министерство просвещения отношение, дезавуирующее прежнее. Во всяком случае, в дальнейшем службе его ничто не препятствовало.

У нас до некотором степени вызывало сомнение, что Л.Д. училась на Бестужевских курсах, о чем писала дочь¹⁹. Однако в архиве сохранился «Билет № 1051 постоянной слушательницы Шварсалон Лидии Дмитриевны С.-П.-Б. Высших женских курсов, Отделения Словесного, Курса II, Второе полугодие 1886/87 года»²⁰. Судя по отрывочным сведениям, которые удается извлечь из разнообразной переписки, весной 1886 г. она сдавала экстерном экзамены за гимназический курс²¹. Стало быть, на ВЖК она могла поступить лишь осенью этого года, и почему билет выдан за второй курс – не слишком понятно. Нам неизвестно, продолжала ли она обучение и далее (это должно стать предметом особых разысканий), но, кажется, это не слишком вероятно. Намекает на это и довольно решительное изменение предмета ее интересов: в той же единице хранения сохранился «Билет члена съезда “Высочайше утвержденный съезд русских естествоиспытателей и врачей” Л.Д. Шварсалон № 1995»²². Документ не датирован, но почти наверняка можно сказать, что это был VIII съезд, проходивший в Петербурге в конце 1889 и начале 1890 г., поскольку предыдущий, седьмой, проходил в Одессе в 1883 г., когда Л.Д. была еще не Шварсалон, а Зиновьева; следующий, девятый – в Москве в январе 1894 г. Конечно, находившаяся в это время за границей Л.Д. участия в съезде принять не могла, но сам факт, что такой документ был получен, свидетельствует (как и упоминавшиеся выше занятия анатомией в Швейцарии) о новых интересах.

Тем временем семейная жизнь шла и рождались дети. Вероятно, следует здесь еще раз повторить точные сведения об их появлении на свет²³: старший, Сергей, родился в имении Зиновьевых Копорье Петербургской губ. 21 сентября 1887 г.²⁴. Правда, с этой датой были небольшие недоразумения, о которых С. Шварсалон писал Иванову 2 октября 1915 г.: «...о рождении своем я даже забыл, настолько привык считать,

что оно – 25-го (как у меня ошибочно значится в метрике и в паспорте, а не 21-го, как на самом деле)²⁵. Традиционно считается, что второй ребенок, дочь Вера, ставшая третьей женой Иванова, родилась в 1890 году. Однако на самом деле это произошло годом ранее: 7 августа (нового стиля, т.е. 26 июля по старому) 1889 года, о чем Шварсалон известил Д.В. Зиновьева телеграммой. Жили они в то время в Италии, почтовый адрес был: Sta Margherita. Ligure. Casa Costa²⁶. Семейная легенда о рождении гласила: «Веру она чуть не родила на скале Средиземного моря»²⁷, хотя на самом деле все было не так романтично. 6/18 августа 1889 К.С. Шварсалон писал тестю: «Дорогой Дмитрий Васильевич!

Спешу несколько подробнее рассказать Вам о рождении нашей девочки (Веры).

Родилась она в 10 ч. 35 м. вечера, роды были в этот раз идеально хороши: еще в 10-м часу веч. Лидюша была в саду у моря – вечер был дивный, и мы даже катались все в лодке, – так что с небольшим час были страдания. Все шло и окончилось как нельзя лучше. Лидя в прекрасном состоянии, ребенок – большой, здоровый, крепкий и горластый»²⁸.

О рождении младшего – сына Константина Шварсалон-старший известил тестя телеграммой от 23 июня 1892 г. со ст. Перкьярви Финляндской железной дороги: «Родился сын сегодня ночью»²⁹. Это подтверждается и письмом С.А. Зиновьевой к мужу от 4 июля: «Тебе писал Лидин муж, и ты знаешь, что 23 июня она родила благополучно второго сына»³⁰.

Стоит, вероятно, еще отметить, что, судя по всему, в семье жены Шварсалона не очень любили. В архиве сохранилась копия завещания С.А. Зиновьевой – там его имя не упоминается вовсе. Конечно, это может быть объяснено, что завещание составлялось уже после разезда Л.Д. с мужем (2 марта 1894 г.), но трудно понять, почему то же самое относится и к составленной 23 марта 1891 г., а после подтвержденной 10 декабря 1892 г. бумаге, в начале которой стоит фраза: «Мои желания, выраженные здесь, исполнятся детьми моими по смерти моей». Это своего рода дополнение к завещанию, где даются распоряжения относительно мелкого имущества, долженствующего быть разделенным между родными и близкими, а также пожелания и наставления им на будущее. Муж покойной дочери Ольги, Ф.И. Блок, там прямо называется сыном; невестка, жена сына, – «моя Лиза» (хотя отношения были не благостными), а Шварсалон не упомянут нигде и никак³¹. Мы не можем быть вполне уверенными, но не исключаем, что поводом для этого было просматривающееся в некоторых письмах к тестю желание каким бы то ни было образом внедриться в сулящее большие перспективы семейное дело Зиновьевых. Шварсалон был очень корректен и осторожен, но все-таки такое желание можно почувствовать. Явной была и другая сторона – желание держать Л.Д. вдали от семьи. Так, ее мать писала отцу: «...теперь, когда нет около нее недобросовестного Г-на Шварсалона, всегда старавшегося вредить семье в ее глазах, она в хороших и ласковых отношениях с братом и Лизой»³².

И раз уж у нас зашла речь о завещаниях, воспользуемся случаем, чтобы прояснить вопрос о том, каким состоянием обладала Зиновьева-Аннибал. С полной достоверностью нам это неизвестно, поскольку мы

не знаем в точности, сколько она получила по смерти родителей (матери в 1903 и отца в 1904 гг.), но уже в 1900 г. в ее завещании говорилось:

...она, Иванова, совершает нотариальное духовное завещание в следующем: 1., из принадлежащего ей денежного капитала она, Иванова, завещает: а) двадцать тысяч рублей – мужу своему Вячеславу Ивановичу Иванову, а в случае его смерти ранее завещательницы, то дочери его Лидии Ивановой, родившейся в Париже 28 Апреля 1896 года; б) две тысячи пятьсот рублей – девице Анне Николаевне Шустовой; в) одну тысячу пятьсот рублей – крестьянке Ольге Федоровне Никитиной и г) одну тысячу рублей – крестьянке Евдокии Семеновне Строгоновой. 2., весь же остальной свой капитал: в наличных деньгах, процентных бумагах и долговых обязательствах, а равно все недвижимое и движимое имущество свое, в чем бы таковое ни заключалось и где бы ни находилось, она, Иванова, завещает всем детям своим от первого и второго брака, какие на день смерти ее будут в живых, без различия пола и возраста, для раздела между ними поровну³³.

Сумма в 20.000 рублей по тем временам была весьма значительной. Достаточно сказать, что С.А. Зиновьева в своем завещании только на проценты с капитала в 31.000 рублей рассчитывала финансировать Копорскую земскую больницу, а на проценты с капитала в 15.000 рублей содержать шестерых крестьянских детей в приюте, пополнять его библиотеку и оказывать другую денежную помощь разным нуждающимся людям.

2

И вот в эту довольно спокойную, хотя бы по внешности, и вполне обеспеченную жизнь вторгается событие, ее решительно повернувшее. В письмах к тестю Шварсалон несколько раз упоминает о находящейся под их опекой жене коллеги. Подробнее всего рассказано об этом в письме от 10/22 марта 1893 г.: «Трудное дело – бороться с натурой вообще, а с исключительной натурой – тем более. У Лиди же, несомненно, натура незаурядная. Она не из тех людей, которые могут быть счастливы при исполнении условий, необходимых для человеческого так называемого счастья. Для Лидюши всегда остается или найдется *нечто*, что будет ее тревожить, волновать, мучить, лишать покоя, утомлять, бесить, наконец. <...> Вы лучше, чем кто-нибудь, понимаете характер Лидюши и потому знаете, что она просто не в силах сдерживать себя в пределах семейного эгоизма и оставаться равнодушной к несчастьям, затруднениям всякого рода людей близких и даже неблизких. <...> Конечно, тяжелая болезнь нашей знакомой, – жены моего товарища, молодого ученого, доставила нам немало горя и труда; но зато подумайте, какое счастье испытываем мы теперь при одной надежде, недавно появившейся, что эта больная будет спасена после 2 с лишком месяцев ужасной болезни. Если бы Вы, дорогой Дмитрий Васильевич, видели эту бедную молодую чету (у мужа, по-видимому, тоже мало надежды на прочное здоровье), то – я уверен, Вы сделали бы все, что от Вас зависит, чтобы

помочь им»³⁴. В письмах Л.Д. мелькают инициалы этой женщины: Н.П.В., а из письма Иванова к первой жене выясняется и ее подлинная фамилия. Рассказывая ей про Шварсалона, Иванов писал 12 июля (н. ст.) 1894 г.: «Он вступил в связь с женою бедного Вульфуса. Этим объясняется то обстоятельство, что этот последний, не подозревая о неверности своей жены, пользовался с семьей денежною помощью Шварсалонов (т.е., собственно говоря, жены Шварсалона). По смерти Вульфуса Шварсалон поселил вдову (свою любовницу) вместе со своей женой, а сам уехал за границу, куда затем пытался выписать вдову Вульфуса. Дело обнаружилось, г-жа Ш. была в экстазе, хотела убить себя, мужа, детей и пр.»³⁵.

По семейному преданию, передаваемому О. Дешарт это вряд ли могло произойти позднее 1892 года: «...она возмутилась, забрала детей и уехала за границу. Она надеялась, что путешествие по знакомым любимым местам Швейцарии и Италии придаст ей новые силы <...> Лето 1893 г. Лидия с детьми проводила во Флоренции» (I, 21). На самом деле лето 1893 г. Зиновьева-Аннибал проводила в Петербурге и на Карельском перешейке, а в Италии был ее муж. Именно тогда и вскрылась вся история. Еще в июне Л.Д. писала отцу явно про нее: «...у меня еще взята 5-тимесячная дочка нашей несчастной знакомой, которая все еще больна в больнице. С нею и кормилица ее»³⁶, 7 июля (старого стиля) получает ответ на свои хлопоты о Вульфусе³⁷; в середине июля (по старому стилю – в конце) Шварсалон спокойно пишет тестю из Италии, а уже 3 августа старого стиля – из финского имения, незадолго до того приобретенного: «Письма, полученные мною в Генуе от Лиди, были такого содержания, так неожиданны и вследствие моего переезда из города в город за последнюю неделю так залежались на почте в ожидании меня, что мне представилась решительная необходимость немедленно ехать прямо в Петербург. Вы знаете, как можно встревожиться из-за писем, когда вдали от семьи и зная Лидюшу, ее темперамент и непрактичность. Хуже всего то, что ничего определенного в письмах не было, а между тем ясно было, что Лидя ждет меня немедленно. Можно было подумать, что из-за каких-нибудь 50 или 70 р. предстоит продажа с аукциона всей усадьбы или опасность попасть в тюрьму. А на Тверской, в городском доме, из-за недостатка в устройстве коровника – именно не было второго пола и стока для воды, санитарная комиссия <так!> грозила тоже чем-то ужасным. И все это к определенному сроку надо было исполнить, с записью в книгу и т.д.»³⁸ Кроме того, Лидя имела большие нравственные огорчения из-за своего доверия к людям и бесконечной любви к каждому. Противно говорить об этом»³⁹. Вполне мирную приписку к этому письму сделала и Л.Д. Но несколько позже, 16 сентября, она все-таки поставила отца в известность о том, что между ними произошло: «Дорогой Папочка, приходится сообщить тебе печальную весть о себе, которую до сих пор умалчивала из желания побереечь тебя. Дело в том, что я разошлась с мужем и теперь хлопочу о выдаче мне отдельного вида на жительство и права самостоятельно воспитывать своих детей. Не стану объяснять тебе подробностей дела, чтобы не волновать напрасно тебя и себя. Суть в том, что в Июле я узнала о его измене и написала ему тотчас, что разойдусь с ним. Он моментально

полетел домой, написав тебе лживое письмо. По приезде сюда ему удалось подействовать на мою мягкосердечность, и я одно время надеялась на возможность поправить дело, почему и решила в письме к тебе из Финляндии сделать приписку и тем поддержать обман, ради твоего спокойствия. Но очень скоро последовали такие разоблачения, которые заставили меня употребить все меры для скорейшего и полнейшего разрыва с ним. Дело уже совершенно непоправимо»⁴⁰.

По тогдашнему законодательству развод был весьма затруднен. Хорошо известно, сколько пришлось пережить в связи с этим В.В. Розанову, расставшемуся с первой женой, но из-за ее отказа не смошему официально развестись. О проблемах Вяч. Иванова и Л.Д. речь пойдет далее. Но пока что ей нужно было спешно что-то решать. На первых порах она решила воспользоваться помощью близкого приятеля, чиновника Министерства народного просвещения, крестным отцом кого-то из своих сыновей – Владимира Эдуардовича Гаген-Торна. К сожалению, нам известны преимущественно его ответные письма⁴¹, но и они достаточно выразительны. Уже 9 августа он попытался уговорить ее не спешить: «Вы пишете, что у Вас хватит сил порвать с мужем и что одиночество Вас не страшит. Но, во-первых, это, может быть, только кажется Вам теперь, на первых порах, а, во-вторых, хватит ли у Вас сил, чтобы вынести все дрязги, все хлопоты и неприятности, с которыми сопряжен подобный разрыв? Дело в том, что К.С. может и не согласиться добровольно на все Ваши требования, а тогда без Комиссии <так!> Прошений, где всю душу способны вымотать у человека, дело не обойдется. Я говорю это потому, что в субботу К.С. приходил ко мне, как мне показалось, исключительно с целью узнать, как я смотрю на это дело и не поддерживаю ли я в Вас мысли о необходимости разрыва. Хотя он был очень сконфужен и казался удрученным и вполне раскаивающимся в своем поступке, тем не менее у меня осталось впечатление, что он во что бы то ни стало постарается удержать Вас и детей и вряд ли уступит Вашим требованиям, разве что побоится скандала. Но, может быть, я и ошибаюсь, и он вполне искренно раскаялся и понял всю величину своего проступка и грозящей ему потери. А в таком случае не лучше ли простить, примирившись с мыслью, что и у Вашего мужа, как у большинства людей, не только маленькие, но и один крупный недостаток, от которых вообще никто не свободен. Надо брать жизнь как она есть, а не такую, какую Вы хотели бы, чтобы она была. Вы просите меня узнать мнение “начальствующих” о том, может ли голый факт размолвки с женой повредить в карьере <так!> выдающемуся преподавателю и способному ученому. Узнать этого мнения нельзя, потому что определенного, установившегося воззрения на подобный факт нет и не может быть, ибо “начальствующие” – тоже люди: иной из них держится более строгих принципов на этот счет, большинство же довольно снисходительно и если не пожелает поставить “ошибки в фальшь”, то не взыщет с виновного, особенно если станет известным только один голый факт, без каких-либо некрасивых подробностей»⁴².

То ли его, то ли чьи-то еще уговоры подействовали на Л.Д. Вряд ли можно сомневаться, что родственники и близкие знакомые уговаривали ее сохранить супружеские отношения. Действительно, молодой женщи-

не, матери троих детей, из которых старшему в сентябре исполнялось 6 лет, а младшему только что сравнялся год, должно было нелегко прийти в отдельной от мужа жизни, тем более, что и с семьей ее отношения были крайне неровными: периоды пылкой близости сменялись почти что полным отчуждением. Но все же во второй половине сентября, насколько мы можем судить по письмам, Л.Д. для себя все решила. Мы уже цитировали ее письмо к отцу от 16 сентября, а через 10 дней, получив за это время сразу три заказных ответных письма, она выразительно обрисовала свою позицию: «Я приняла это решение, обдумав его зрело со всех сторон. Пока я думала, что муж изменил мне раз, и хотя целый год гнусно обманывал меня, эксплуатируя <так!> на содержание своей любовницы и деньги мои, и силы, и сердце мое и друзей моих, пока я знала этот один его поступок – я была мягка настолько, что не решалась лишать его детей и даже не отнимала надежду на примирение со мною. Но спустя месяц после первого разоблачения я узнала совершенно достоверно, что уже много лет муж мой в недостойном обществе кутил, посещал увеселительные заведения и дома разврата. Что в Италии, живя со мною, он сходил с разными женщинами. Кроме того, когда я потребовала пожизненный вид на жительство, исключительное право на воспитание и образование детей, перевод дома на мое имя и продажу имущества, сделавшегося мне отвратительным по воспоминаниям, когда я сказала ему всё это, он принялся кричать на меня, отказался от исполнения всех этих требований и грозил “вышвырнуть” меня из моего дома и брать с меня плату за квартиру. После, из страха комиссии <так!> прошений, он стал делать какие-то полууступки, но без главного, т.е. *без полной личной свободы и права на детей, я жить не могу.* Что касается советов, то в таком тонком семейном деле советовать другие не могут. Я одна могу знать всю глубину мерзости, которая меня окружала, одна могу измерить свои силы и знать, хватит ли их на жизнь с развратным и гадким негодяем, а также, вправе ли я или нет отнять у детей гадкого отца. За это последнее мне придется отвечать перед детьми, *и я отвечаю*, с документами в руках. Что касается жалобы в комиссию, то она вызвана исключительно упорством моего мужа добровольно уступить моим требованиям, и я всеми силами, до последней капли крови буду стоять за эти требования. Напрасно, папа, ты так преувеличиваешь себе значение моей жалобы в комиссию. Никто не помешает мужу моему давать уроки и читать лекции, а уезжать из России за разврат и обман жены простому смертному преподавателю еще не приходилось никогда. Напрасно ты также говоришь о моих страхах и жажде мести. Долго, кроме жгучей жалости к мужу, я ничего не испытывала, и теперь, хотя я меньше жалею, но *не ненавижу* его. Я только презираю и силою разума своего пришла к *сознательному и непоколебимому решению* освободить от жалкого негодяя себя и своих детей»⁴³.

Вряд ли нам стоит принимать на веру все те обвинения, которые предъявляет мужу Л.Д. Еще не раз придется столкнуться с тем, что она приписывает ему такие качества и поступки, которые ничем не могут быть подтверждены, рисуя исключительно в черных тонах (впрочем, и опровергнуть сказанного мы не можем). Существенно, что в конце сентября она окончательно решила начать официальный процесс рас-

хождения, прибегнув по этом к помощи учреждения, которое называла по старинке. Официально с 1885 года оно именовалось Канцелярией прошений, подаваемых на высочайшее имя (в 1895 г., когда ей все еще приходилось иметь с нею дело, она стала Канцелярией Его Императорского Величества по принятию прошений, на Высочайшее имя приносимых). Как увидим далее, в задачу Канцелярии входило не только разрешение юридических проблем, но и стремление уладить спорные вопросы миром.

В 1893 году пик выяснения отношений с мужем пришелся на конец октября. Состояние дел до этого момента подробно обрисовано в письме ее брата, человека с большими связями и перспективой большой карьеры⁴⁴, который временами оказывал существенную помощь сестре. Он писал: «При первом же, более чем неожиданном, сообщении Лидюше постигшего ее несчастья и намерения ее разойтись с мужем, я выразил ей убежденье в том, что *лучше простить* и попытаться забыть *самую тяжелую даже вину* мужа, чем порывать навсегда связь, долго державшуюся и разрушать семью; на этом я настаивал усиленно и настойчиво. К несчастью, разрыв, по-видимому, глубокий и далеко зашедший – как он ни внезапен; при объяснениях Лидия сказала про К.С. настолько прискорбно-резкие факты и в такой некрасивой окраске, вынырнули, довольно резко, материальные побуждения, вызвавшие, помимо огорчения, чувство гадливости, что стало невозможным *настоять* на примирении и что пришлось направить усилия к тому, чтобы Л. не поступила опрометчиво и спокойно приняла бы меры к обеспечению себя и детей. Лучшим путем к этому было обращение в Коммиссию прошений, где дело, хотя бы и начатое, может в любое время быть прекращено по желанию просителя. Имея затем в виду, что Лидя *ничьего* совета не спрашивала и не принимала, что она, так или иначе, *хочет* действовать по собственному убеждению и что она Тебе, Маме и мне скорее *сообщает* des faits accomplis et des desseins arrêtés, советуясь *только* о том, *каким путем* сделать то или это, то и приходится в пределах возможности помогать и ограждать ее хотя в этом. Я это говорю не как упрек Лидюше; настойчивость ее Тебе известна, и это не переменить. – Собственно, о самом деле, об обвинениях и об извинениях (т.е. том, что может быть приведено к извинению К.С.), я судить не могу с безусловной уверенностью; да кто и может? Подобные вещи слишком личны; а тут Л. и не хочет, чтобы судили! Можно только сказать, что, как бы виновен К.С. ни был, для молодой женщины с детьми и в особенности при темпераменте Л. разрыв с мужем составляет большое несчастье, большее, чем потеря доверия и нежности к нему. Это я ей настойчиво, повторяю, высказывал. Чем все это кончится, положительно не предвижу. Вчера Лид. мне сказала, что она подала в Коммиссию прошение о выдаче ей, помимо согласия мужа, постоянного вида на жительство с правом исключительного воспитания всех детей. Прошения она мне не показала и просматривать до подачи, по-видимому, не желала давать, но обещала, еще раньше, принять к сведению некоторые указания, как писать»⁴⁵.

Самый подробный отчет об октябрьских перипетиях сохранился в большом письме Шварсалона к тестю, которое полностью цитировать

вряд ли имеет смысл, но суть вполне можно изложить, проиллюстрировав сравнительно небольшими выписками. 10 октября Л.Д. пишет мужу, что после получения отдельного вида на жительство и удовлетворения ее условий на отказ от свиданий с детьми она готова удовлетворить все его финансовые требования. 23 октября супруги явились в Канцелярию Прошений, где, «в присутствии барона Будберга, при Лиде и при мне был составлен протокол, в котором выражено и нами обоими подписано, что я признаю себя виновным в нарушении супружеской верности с Г-жей В., отвергаю все другие обвинения, изложенные Лидией в жалобе на меня, и добровольно соглашаюсь на выдачу ей с детьми бессрочного вида. Затем мною и было подписано это согласие. Бар. Будберг предупредил меня, что мы можем миролюбиво сговориться относительно детей; в случае же, если мы не придем к соглашению, то Лидия Дм. оставляет за собой право – возбудить вновь в Коммиссии свою жалобу, во второй ее части, т.е. *по обвинению меня в безнравственном и распутном поведении за все время супружеской жизни*. После этого мы удалились из Канцелярии»⁴⁶.

Но на этом все не прекратилось. Л.Д. все устражала требования, и в какой-то момент ее муж взбунтовался. 25 октября он написал ей решительное письмо: «Лидия Дмитриевна. Вы не станете отрицать, что на Вас лично, на Вашу свободу располагать собой я никогда не считал себя вправе претендовать и не держал себя никогда “главой” в семье; но счастлив был установившимся между нами равенством, при взаимном доверии и уважении, которым я изменил первый, после 6 лет нашей супружеской жизни. Теперь, после совершенного мною в отношении Вас, я ни на минуту не сомневался, что обязан и формальным образом сделать Вас совершенно независимой от моей воли и от моих желаний. Вам угодно было эту формальность сделать под покровительством и ручательством самого правительства – чужих нашей семье людей, и я подписал в субботу, 23 сего Окт<ября> в Канцел<ярии> Ком<иссии> Прош<ений>, свое согласие на получение Вами с детьми бессрочного вида на жительство. – Признаюсь, давая свое согласие на вид, я обманулся <...> в надежде, что между нами будет немедленно заключен мир, что на некоторое время вопрос о моих отношениях к детям останется открытым или решен в том смысле, что пока я не буду даже видеть детей в течение этой зимы или всего года, по меньшей мере.

Но Вы поспешили тотчас же, по выходе из Канцел<ярии> Прошений, в субботу, рассеять самым энергичным образом мои надежды, заявив мне, что Ваше требование относительно детей остается в полной силе и что если в понедельник, т.е. сегодня, 25 Окт<ября>, до 5 час. я не явлюсь в Комм<иссию> и не дам там своей подписки об отречении от всех своих родительских прав и обязанностей, то Вы возобновите жалобу, и добиваетесь всеми силами от меня вынужденного отречения или, в крайнем случае, будете искать формального развода. – Вы знаете, что вчера, в воскресенье, я долго беседовал с Ив. Мих. Гревсом по поводу Вашего последнего настойчивого требования; Вы успели предупредить его о нашем разговоре в субботу и уже имели известие сегодня о моей вчерашней беседе с ним <...>

В ответ на Ваши письма и на Ваш ультиматум, я скажу то же, что

говорил вчера Ивану Мих. Гревсу: “За свою страшную вину перед Вами я лично должен перенести все, что Вы потребуете или придумаете сами, до уничтожения меня в нравственном и материальном отношении. Разумеется, я не перестану бороться за свое существование, т.е. не перестану работать, мыслить, жить, – но уверяю Вас! ни на один момент до сих пор и, надеюсь, навсегда! не только не чувствую против Вас озлобления или раздражения, но единственно испытываю досаду на самого себя, горечь и обиду, что мог так оскорбить Вас и довести до такого состояния возмущенности, в каком Вы живете столько времени. Да, я лично все перенесу от Вас!

Но не могу исполнить Вашего последнего требования – отречься от детей навсегда; не могу, потому что – поймите Вы это, умоляю Вас! – я не имею права перед детьми это сделать навсегда. Кроме горечи потери детей, которых Вы хотите отнять у меня, это сознание несправедливости в отношении их и несправедливости передачи Вам одной, Вам лично, а в случае Вашей смерти другим, посторонним людям, всего того, что принадлежит обоим родителям в отнош<ении> детей и лежит на них обоих, – это сознание я не в силах подавать в себе никакими доводами ума, никакими чувствами к Вам, никакими возможными предположениями об исходе Вашего упорства»⁴⁷.

Пожалуй, сознание современного человека скорее поймет правду Шварсалона, чем его жены. Действительно, отнять у человека, пусть даже и виновного, право видеться с детьми, причем отнять навсегда, – не очень укладывается в представления о возможных отношениях между расходящимися супругами. Но Л.Д. была тверда настолько, что готовилась идти на самые крайние меры. Вот как она сама описывала отцу ту же ситуацию: «Я писала тебе, что возьму назад свое прошение. Дело в том, что муж, при помощи Оома, своей ловкости, своих рыданий и, увы, твоих писем, которые он показывал Буд<бер>гу или о которых ему говорил, словом, он достиг того, что Будберг отказал мне в передаче мне исключительного права на детей. Теперь мне, конечно, ничего не остается, как отступить от моего последнего требования, благо муж купил расположение Будберга обещанием вполне отказаться от имущества и выдать мне бессрочный вид с детьми. Пока я решила удовлетвориться этим и оставить в стороне комиссию прошений. Когда же я увижу, что мне от мужа будет малейшая неприятность, я постараюсь справиться с ним иным путем. Детей ему я не дам ни душою, ни телом. Напрасно ты думаешь, что он выше всего дорожит грошовым, к сущности, имуществом. Для этого он слишком умен. Мне же особенно важно отнять у него дом и дачу, так как тогда он у меня будет в руках и я всегда успею подкупить его, когда понадобится»⁴⁸. И здесь стоит припомнить, что среди угроз, с которыми она обращалась к мужу, была и такая, отчетливо сформулированная позднее, но намеки на которую были уже осенью: «Я дело не тороплю, а поставила мужу на выбор: или преследование его по закону перед уголовным судом, или согласие его на развод»⁴⁹.

Но в общем ситуация осени 1893 года была такой: Л.Д. получила от мужа бессрочный отдельный вид на жительство, дети оставались с ней, финансовые дела были более или менее улажены, и другая женщина,

возможно, этим удовлетворилась бы. Но не она. Приведем отрывки из выразительного письма к В.Э. Гаген-Торну, в котором рассказывается о ее душевном состоянии в это время:

16 Дек. 93 г.

1-ое письмо было послано 15 Ноября 93 г., после такой же ужасной ночи, какая описана здесь.

Владимир Эдуардович, не знаю, отошло ли я когда-нибудь это письмо, но пишу его, обращаясь к Вам, так как мне это обращение доставляет ощущение чего-то теплого и дружеского <...>. В прошлое Воскресение я вела себя возмутительно, я сознаю это теперь, сознавала и тогда, хотя не могла удержать себя. Я думаю, что если Вы захотите понять меня, В. Эд., Вы поймете и простите мне те неприятные часы, кот<орые> я заставила Вас пережить. А быть может, Вы и не простите, т.к. Вы сильнее меня и презираете слабость. С Июля по Дек<абрь>, т.е. в 3 мес<яца>, я пережила столько, сколько иному не пережить во всю жизнь, и часами я теряю душевное равновесие и чувствую, что говорю и делаю то, что никогда не допустила бы себя сказать и сделать в состоянии полной вменяемости. Обыкновенно я сравнительно бодра и сильна, я слушаюсь разума и железным прессом давлю чувство и сердце, но бывают часы слабости, и тогда неразумное сердце просыпается и требует, о, глупо, бессмысленно требует счастья и жизни, и тогда начинается мучительная борьба <...>. Дом, работа, общественные интересы, «тепленкакая дружба» и дети... – вот проповедь разума, и вот чему я покоряюсь и покорюсь, уверяю Вас, но в душе порою со страстною силою просыпается протест. Музыка, стихи, собственное чутье, – всё говорит о счастье, о возможности светлых, ярких блесков и лучей, прорывающихся в серую прозу жизни, освещающих и согревающих душу. И сердце молит о годе, месяце, дне, даже дне этих блесков, для кот<орых> одних стоит проживать годы мук и труда. Я не могла выразить ясно то состояние, которое привело меня к таким неразумным, игоист<ическим> <так!> и унижительным вспышкам в прошлое Воскр<есенье>. Поверьте одному: хотя я отвратительно и неверно, вполне неверно выразила тогда свою мысль, но, в сущности, чувство, заставившее меня говорить, было правдивое.

Самоубийство казалось мне неизбежным, сердце отказывалось покориться разуму. <...> Когда я вышла на улицу, я не знала, где я и что со мною. Я не знаю, играла ли музыка, были ли люди и свет позади меня в зале собр<ания>, я знала только, что я никогда не буду счастлива, что позади тоска и насмешки, а впереди старость и могила и долг, исполнить который я не в силах. Я знала, что не переживу этой ночи, и смерть не страшила.

Извозицья лошадь, испугавшись чего-то, понесла, и я с надеждою радостно ждала, что она разобьет мне голову, но этого не случилось, а дождь лил так сильно, вода на мостовой брызгала, и я не заметила, как слезы брызнули и у меня из глаз и привели меня в себя. Я не спала эту ночь. Когда я входила в дом, я вспомнила, как мы вернулись из Павл<овска> летом: тогда было тепло, небо было светлое, а Вы были добрее. Теперь Вы не пожалели руки моей на прощание, а в глазах моих стояло лице Ваше рассерженное и враждебное. Вы были правы, а я ви-

новата, конечно. <...> Да, в эту ночь я не спала, я рыдала, а потом я почувствовала, что не в силах жить, я понимала, что смерть для меня непозволит<ельное> счастье, но и жизнь непосильное бремя. <...> я чувствовала, что разум исчезает, мне хотелось кричать, хохотать, схватить револьвер<вер>, убить детей, потом того, кот<орый> раздавил мне жизнь, кот<орого> по существу я так страстно любила, в кот<орого> верила, как в высшее благо. <...>

С тех пор прошло несколько дней, и я твердо верю, что то, что было, не повторится. <...> Не лишайте меня своей дружбы, постарайтесь забыть возмутит<ельное> поведение мое в тот вечер. Я не хочу сказать: простите. Вы этого не любите. Я признаю, что ничего нельзя уничтожить сказанного или сделанного, но постарайтесь изгладить хоть несколько из памяти и поверьте, что я в конце концов сильна, что часы презренной слабости и безумия были неизбежны после того, как человек в 3 мес. прожил жизнь, похоронил ее и помирился с личным небытием.

Да, я, кажется, отошло это письмо. Я лично не решусь, не сумею сказать Вам этого всего, а между нами было сказано слишком много, чтобы не договориться до конца.

Позвольте мне мысленно пожать Вашу руку, В.Э.

Ваша Л. Шварсалон⁵⁰.

3

26 ноября, то есть через месяц после описанных нами событий, С.А. Зиновьева, мать Л.Д., писала мужу: «Лидя отказалась оставить Петербург, пока совершенно не покончит с своими отношениями к К. Счу, прибавляя, что здесь ей не тяжело, когда она занята, что здесь много друзей, которыми она очень дорожит; так, весь круг ее отвернулся от К.С. и уважает и ценит ее, а она дорожила прежде и дорожит теперь, сходясь с ними по убеждениям своим <...> дабы иметь с нею сердечную связь, надо держать ее тепло, но помириться на том, что она своенравна, никогда и ни в каком случае с своими идеями не расстанется, и теперь, оскорбленная в личном чувстве, в которое больше не верит, убеждена, что найдет вполне занятия и цель жизни не только в детях, но в единомышл<енных> св<оих> друзьях, литературе <так!>, искусстве и т.д. и т.д. Как бы то ни было, с ее характером и убеждениями починить разбитое *невозможно*. Итак, увидим, как пойдет дело ее развода и возможен ли он. Но у Лидии слишком много потребностей и интересов всеобщих, чтобы быть *убитой* разочарованием в личной жизни. Она знает, где найти участие и любовь, но очень довольна своими друзьями, большею частью людьми, которые интеллигентны, а это она ценит больше всего. Ничего невозможно сделать для нее. Она давно пробует писать, берет с больш<им> интересом уроки пения и уверяет, что сумеет устроить свою жизнь разумно, не нуждаясь в советах»⁵¹. И как бы в продолжение этого через два месяца, 29 января: «Это особенный человек, и человек, которого никто никогда не переделает, которого благородные и хорошие качества можно уважать, но странности которого, с детства развивавшиеся, обратились теперь, близко к 30 годам, убежде-

ниями своеобразными и взглядами упрямыми и стойкими, не поддающимися ничьему влиянию на свете. Я, впрочем, боролась много, пока она развивалась так упрямо и своеобразно, и положила на это много сил своих. Когда она выходом замуж стала на свои ноги, и тут я следила за ее знакомыми и, живя часто у нее, знаю почти всех, и по совести не имею права сказать что-либо дурное про них. Она знакома и дружна со многими учительницами и учителями, из которых многие женатые, честные отцы семейства живут трудом. Это замечательная вещь, *что все прежние друзья* Г-на Шварсалона отвернулись от него, тогда как Лидия пользуется глубоким уважением. Это я знаю через мать и семью нашей Якобсон, посещающей Лидин круг, когда у нее собираются, и самые его близкие его знать более не хотят. Лидия, у которой всегда был большой голос, не казавшаяся музыкальной, теперь всю зиму им исключительно занимается, и это составляет главную отраду – половину она ничего не способ<на> делать. Поэтому она не оставит Петербурга, пока ее учительница там. Многие годы она интересуется и держится совсем иной сферы, чем наша, но теперь, когда нет около нее недобросовестного Г-на Шварсалона, всегда старавшегося вредить семье в ее глазах, она в хороших и ласковых отношениях с братом и Лизой»⁵².

Литературе, как мы знаем, Л.Д. отдалась со страстью и до самой своей безвременной смерти занималась писательством. О друзьях и пении стоит сказать несколько слов.

Нет сомнения, что после расхождения со Шварсалонам ее многие поддерживали. Кто-то брал на себя уход за детьми, кто-то приглашал к себе, кто-то был готов сопровождать в путешествие. 28 апреля 1894 г. она пишет отцу: «Я давно не писала вам, так как была в путешествии и не могла сообщить ничего определенного и ничего приятного. Поехала я в Тверскую губернию и в Москву, чтобы повидать своих друзей, посмотреть вторую нашу столицу, которую, в сущности, никогда не видела. Но, к сожалению, и в этот раз мои намерения разбились в прах вследствие отвратительного настроения. В Осташкове я всё время скучала, потому что воздух там очень хороший, и я всё думала о детях в городе и представляла себе их в деревне на воле. В Москве же на меня напала такая вялость и апатия, что я или сидела со своею подругою, или плакала и мечтала о доме своем и о детях. Несмотря на лучшие намерения, не имела сил сходить в галерею Третьякова, не видела храма Спасителя, не была в Кремле. Самое интересное я пережила в опере в Большом Театре. Видела “Демона”, которого пел Хохлов, любимец Москвы. Не говоря о прелестной музыке, роскошной постановке и недурных исполнителях, было интересно и приятно видеть непосредственный, сердечный взрыв симпатии и благодарности со стороны публики любимому и уважаемому артисту. Ничего подобного в Петерб<урге> не увидишь. Кроме того, я была на вечере у одного молодого профессора Московск<ого> универ<ситета>, где видела много интересных людей. Пробыла вне дома всего 10 дней и третьего дня с радостью вернулась к своим. <...> Я почти решила ехать к тебе, папочка, в Июне. Дело в том, что осенью мне пришлось бы ехать совсем одной, а теперь в Июне предполагают ехать двое моих хороших друзей, с которыми я побродила бы по горам и проехала бы в Италию, а затем приехала бы в Женеву

и пожила бы у тебя. <...> Поэтому я с радостью ухватилась за мысль поехать со своими друзьями, из которых один известный и всеми уважаемый профессор истории Гревс»⁵³. Прошлым летом Гревс ехал в Италию с К.С. Шварсаломом⁵⁴, теперь отправился с его женой. И, надо сказать, эта поездка вызвала бурное возмущение Шварсалона и даже жалобу в Канцелярию прошений, которая продолжала следить за делом. 23 октября ей сообщал В.Э. Гаген-Торн: «К.С. уже успел донести Канцелярии, что Вы летом “бросили детей, оставив их на попечении одной прислуги, а сами уехали за границу с двумя какими-то профессорами”. В Канцелярии это произвело очень дурное впечатление, и мой знакомый говорит, что в случае повторения подобного факта очень легко может состояться постановление в пользу передачи детей отцу»⁵⁵. Именно во время этого путешествия она познакомилась с Ивановым, и результаты знакомства вызвали явно охлаждение во взаимоотношениях с прежними друзьями. Их имена почти совсем перестают попадаться в ее письмах, а остающееся имя И.М. Гревса постоянно звучит с какими-либо оговорками. Это, безусловно, объясняется далеко не однозначной реакцией их на историю вторых браков Л.Д. и Иванова⁵⁶.

Что же касается пения, то о нем мы уже писали в этой книге ранее, здесь же только напомним выводы: несмотря на устойчивые легенды, карьеры профессиональной оперной примадонны она сделать не могла, поскольку занятия начались слишком поздно, и уже невозможно было рассчитывать на какой бы то ни было успех. Максимум, на который она была способна, – участие в любительских концертах и домашнее пение.

Как бы то ни было, жизнь продолжалась, и Л.Д. твердо решила получить развод. Несомненно, одним из побудительных мотивов стало то, что уже осенью 1895 г. дело о своем собственном разводе начал Иванов. 9/21 октября 1895 он писал Л.Д.: «Вчера вечером, дорогая моя, я совершил главнейшую часть своей здешней миссии – свое фиктивное прелюбодеяние, – и совершил, благодаря малому педантизму “свидетелей”, с наивозможным [, по-видимому,] *minimum*’ом гнусности, присущей этому позорному обряду: они привезли меня в публичный дом, видели меня, в одном из его *cabinets*, сидящим на постели рядом с женщиной и, удовольствовавшись этим, – уехали; я же, думая, что они войдут опять, лежал несколько минут в пассивном ожидании рядом с своей очень молоденькой и довольно хорошенькой *complice* (упругое тело которой успел эстетически оценить, не ощущая, однако, никакого эротического влечения), – пока не услышал от своего “поверенного” освободительную весть об отъезде свидетелей, после чего объявил удивленной и как будто даже слегка обиженной сообщнице своей, что немедленно уезжаю и что все случившееся было просто комедией... Завтра я должен буду дать нотариальные доверенности на ведение моего дела; потом, через несколько дней, – явиться, для [врачебного осмотра] признания меня больным, во врачебную управу, чтобы быть освобожденным от обязанности лично являться в суд. Этим и ограничивается мое личное участие в процессе, так что мой адвокат считает возможным отпустить меня через неделю на все четыре стороны» (Переписка. С. 307). Менее чем через год его развод был утвержден Синодом, но с важным добавлением: «Определением С.-Петербургского Епархиального Начальства,

24/31 Мая сего 1896 года состоявшимся и утвержденным Святейшим Правительствующим Синодом, как видно из указа Оного, от 29-го Июля того же года, за № 3661, брак супругов Ивановых, совершенный 4-го Июня 1886 года причтом Московской Иоанно-Предтеченской в старой Конюшенной церкви, по причине доказанного прелюбодеяния Вячеслава Иванова Иванова, на основании 253 ст. Уст<ава> Дух<овных> Констисторий, расторгнут с воспрещением ему, Иванову, навсегда вступать в новые браки и преданием его, затем, по 20 пр. Поместного Анкирского Собора, семилетней Церковной эпитимии; Дарии же Михайловой Ивановой, урожденной Дмитревской, дозволено, если пожелает, вступить в новый брак и с другим, беспрепятственным к тому лицом»⁵⁷. Итак, Иванов до конца жизни должен был оставаться безбрачным. Но вряд ли это особенно смущало Л.Д.

Подробности разводного дела известны нам лишь в пересказах. Если придавать им более или менее связный вид, то вот как оно будет выглядеть.

Еще в начале 1894 г. Л.Д. так обрисовывала положение дел отцу: «Дело мое с мужем улажено окончательно. По совету Герарда я грозила ему одним для него крайне гибельным процессом в случае, если он не согласится передать мне исключительные права на детей и не согласится всеми способами содействовать разводу. Сначала К.С. делал вид, что не боится моих угроз, и объявил мне, что развода не даст ни под каким видом. Я советовалась с несколькими юристами, и все советовали настаивать на своей угрозе и в случае его окончательного отказа начать уголовное дело против него. За успех этого дела юристы ручались, так как я добыла понемногу все требуемые доказательства. Конечно, приговор уголовного суда не дал бы мне развода, но и синод, и канцелярия прошений могли принять во внимание обвинительный приговор. Кроме того, он покрыл бы позором К.С. на всю жизнь и лишил бы его заработка. Поэтому, поставив ему свой ультиматум, я решилась терпеливо ждать, когда он одумается. Действительно, не много прошло времени, когда он решил сам по себе отправиться в канцелярию прошений и через б. Будберга предложил мне некоторые уступки. Но я решила ковать железо пока горяче и не согласилась на уступки, требуя большего. Я устроила переговоры с мужем в присутствии Будберга. Мы спорили более 2-х часов. Я в первый раз решилась вполне высказаться и в присутствии мужа в горячих словах охарактеризовала его личность его же поступками. Я закончила свою речь словами: “Я не жила, я не любила, у меня не было друга, не было счастья! и тот, кто обратил в отраву всякое воспоминание о моем прошлом, обязан исполнить все мои требования, и что бы я ни <в оригинале: не> сделала, как бы ни <в оригинале: не> распорядилась своею свободою, он должен молчать и покориться!” Будберг сказал: “Всё, что говорит жена Ваша, – совершенная истина, и я скажу от себя: хуже мужем, чем были Вы, нельзя было быть. Вы разве только не били Вашу жену?”. Затем я с Будбергом уже заодно принялись уламывать его и пришли к следующему соглашению, которое записали в протокол и оставили в канцелярии. К.С. отрывается от всяких прав отца на своих детей, предоставляя их всецело мне. Затем: развод он дает тотчас же, *как я пожелаю выйти <так!> вторично замуж* или, во

всяком случае, через 2 года. Эти два года я уступила ему, чтобы упрямством излишним не испортил свое дело. Взамен всего этого я обязуюсь допускать его два раза в месяц до свиданий с детьми. – Я, впрочем, решила, что всего умнее будет не стеснять его ни временем, ни сроком этих свиданий и частным образом дала ему *carte blanche* посещать детей когда и сколько угодно»⁵⁸.

Впоследствии адвокатом Л.Д. стал известный юрист именно по бракоразводным делам присяжный поверенный В.Е. Головин. За дело ему пришлось решительно взяться в 1896 году, то есть когда, с одной стороны, прошли два оговоренных года, а с другой – весной этого года у Л.Д. родилась дочь от Иванова, и она твердо была намерена жить с ним, в браке или без брака. Вдобавок к тому времени у нее сложилось твердое убеждение, что в борьбе за детей и деньги Шварсалон готов на все. Полукомический эпизод произошел летом 1896 года, когда Л.Д. уехала в горы отдохнуть и поправить здоровье, а Иванов и дети с кор-милицей и ухаживавшими «девушками» оставались в Париже (конечно, они жили раздельно). И вот в этот момент Иванов отправляет Л.Д. тревожную телеграмму о том, что ее спрашивал у консьержки некий толстый блондин. Больше этот толстый блондин не появлялся, о нем не было никаких известий, но у всех взрослых членов семьи началась самая настоящая паника, и мысли о том, как бы скрыть от него местопребывание как Л.Д., так и детей, занимали их на протяжении долгого времени.

В борьбе с этим противником Л.Д. была готова на все, в том числе и на представление лжесвидетелей. Так, она просила свидетельствовать в ее пользу уже упоминавшегося выше В.Э. Гаген-Торна, на что тот в письме от 25 июля 1896 г. отвечал: «Что касается Вашей просьбы давать показания по Вашему делу, то я написал Александру Дмитриевичу о своей готовности переговорить с прис<яжным> пов<еренным> Головиным, хотя в то же время предупредил Вашего брата, что Головин вряд ли признает возможным указать на меня как на свидетеля, потому что я знаю подробности Вашего дела лишь с Ваших слов, лично же свидетелем каких-либо предосудительных поступков Вашего мужа не был. <...> Свидетели Ваши, действительно, плохие, и я не знаю, удастся ли Вам добиться своего»⁵⁹.

Как можно понять, первое заседание состоялось 15 октября 1896 года. Незадолго до этого Л.Д. написала адвокату:

Многоуважаемый

Владимир Евгениевич!

Еще не получала писем ни от Вас, ни от Владимира Эдуардовича <Гаген-Торна>. Посылаю Вам несколько писем, которые дополняют [картину] отношений Шв<арсалона> и Тул<инова> и также содержат несколько признаний в факте его измен в <1 нрзб> и также упоминаний о Н.П.В.

Кроме того, посылаю черновую с прошения, поданного мною в <18>93 г. в Канц<елярию> Прошений, которая хотя и не надеюсь, что пригодится Вам для представления на суде, но, быть может, осветит лучше Вам лично связь событий моего разрыва с мужем. Еще не полу-

чила Вашего ответа на мое письмо. Относительно соглашений денежных с Шварсалоном остаюсь при прежнем моем убеждении, высказанном мною Вам в письме и в телеграмме, и еще раз безусловно отклоняю его <так!>.

Буду ожидать 15 Окт<ября> с полною верою в правду своего дела и ваше знание и талант для его ведения.

Прошу в ⁶⁰.

Как можно судить на основании письма, отправленного Л.Д. ему же уже после слушания, в деле появились некоторые новые обстоятельства. Во-первых, Шварсалон стал требовать у Л.Д. денег. Во-вторых, на суде он, видимо, сказал нечто о психическом состоянии своей супруги, и это вызвало серьезное неудовольствие у нее. Головину она писала: «Горяче благодарю Вас за подробное извещение о заседании 15-ого Октября. Посылаю Вам требуемое заявление, но упомянуть о требовании денег со стороны Шварсалона пока еще не решаюсь, не желая делать этого окончательно позорящего его честь изобличения иначе как в случае крайней необходимости, о которой, надеюсь, Вы своевременно известите меня. Относительно возражений, представленных Шварсалоном на суде, позволю обратить Ваше внимание на следующее: мне кажется, что даже медицинским авторитетом можно было бы подтвердить, что явления *неврастенического* характера, о которых говорится в моем медицинском свидетельстве, *ничего общего не имеют с психическим расстройством*, а тем более с каким-то «наследственным психозом <...>». Не знаю, передал ли Вам Гаген-Торн мою просьбу осуществить Ваше намерение переговорить с Яковлевым и просить его, в случае нужды, дать на суде показания; сообщаю Вам адрес Яковлева (Владимир Владимирович): Петерб. Стор. Большая Ружейная, 7; чтобы Вы могли известить его о Вашем желании с ним видеться» ⁶¹. Еще в 1898 году Иванов писал о принесенном Шварсалоном ходатайстве «о расторжении брака в *его* пользу (с предоставлением, следовательно, детей *ему*) по причине душевной болезни жены, обусловленной “печальным (!) законом наследственности” и проявляющейся в *idée fixe* освобождения от него, Ш-а, и в болезненно-ожесточенном против него настроении...» ⁶²

Но для самой Л.Д. теперь возникала ситуация, о возможности которой ей несколько ранее писал Гаген-Торн. Спрашивая его, возможно ли ей без риска приехать в Россию, она получила ответ: «Канцелярия выдала разрешение отправиться на границу ввиду определенной причины, напр<имер>, ввиду того, что Ваше здоровье или здоровье Ваших детей требовало пребывания за границей. Если бы Вы теперь вернулись, то это было бы признано за выздоровление и Канцелярия затруднилась бы вновь выдать Вам разрешение уехать, особенно если Ваш муж восстал бы против этого. К тому же Ваше присутствие вряд ли подвинуло бы дело развода, который, при несогласии мужа, почти неосуществим. Если же Вашему адвокату удалось бы убедить Конститорию в необходимости или возможности развода, то тогда Вам во всяком случае нужно будет приехать в Петербург, потому что окончательному расторжению брака должна предшествовать церемония увещевания, для которой вызываются оба супруга. Тогда Вы могли бы уже спокойно приехать, так

как церемония эта устраивается только в том случае, если вопрос о разводе принципиально уже решен духовным начальством. В настоящее же время Вам, быть может, было бы трудно уехать опять за границу, коль скоро Вы раз вернулись»⁶³. Судя по тому, что в самом начале 1897 года она приехала в Петербург, Головину удалось убедить Консисторию и должна была состояться процедура увещевания. Но Л.Д. не ограничилась только ею, а, как следует из писем к Иванову, продолжала искать пути, чтобы как можно надежнее обеспечить свое юридическое верховенство над пока еще формальным мужем. В письме к Иванову от 19/31 января она рассказывала: «...пришел адвокат <...>. Он объяснил мне, что брак<раз>-одно<е> дело идет так: 1) консисторский суд, где попы требуют известных тебе свидетелей, судят по букве, очень строго, <как> что адв<ока>т прямо предупреждает, что консист<ория> провалит дело. 2) утверждается приговор высшим синод<альным> начальством, и оно сплешь и рядом переменяет приговор, судя по тому, на чьей стороне “рука”. Он сказал: Ваш брат поговорит с митроп<олитом>, с Сабл<ером> и т.д., и на это единственная надежда, т.к. кроме tableau de mœurs г. Ш<варсалона> мы ничего представить положительного не можем. Надежды на исполнение обещания Син<ода> адвокат имеет мало, ибо только что был случай, где несмотря на “сильные влияния” к<омиссия> пр<ошений> отказала выдать подобный документ, а Синод отказался просить ее о выдаче. Ergo успех весь в покровительстве брата». И через три дня в почти ликующем письме сообщала: «...мое дело в шляпе. Только что был Тул<инов> и окончательно дал слово за себя и за своего товарища быть мне свидетелями. Теперь нет, по словам адвоката, ни малейшего сомнения в успехе! <...> Тул<инов> честный малый, и теперь развод ускорится» (Переписка. Т. I. С. 546-547, 553).

Остается только гадать, каким способом Л.Д. уговорила двух свидетелей выступить на ее стороне. Но тем временем дело продолжало двигаться, и осенью Л.Д. в письме к матери описывала состояние дел в данный момент: «Согласиться же на план Сашин и предложение Шварсалона было бы также очень неразумно. Подумай, какое же право я имею уменьшать наследство моих детей на 50 тысяч! Ведь еще меньше права имею я не выплатить в *общий* капитал деньги эти из моего капитала, когда я его получу. Что же касается *необходимости* выдавать эти деньги Шварсалону ради успеха дела, я уже много писала и Саше, и адвокату, и Владимиру Эдуардовичу. Прибавлю еще тебе самой, дорогая мамочка, что если бы я и согласилась на эту взятку и получила бы развод, далее я по-прежнему была бы предметом для шантажа г-ну Ш<варсалону>, ибо Иванов разведен, но он добровольно дал развод, взяв вину на себя, чтобы освободить свою жену. Сам же он по *букве* церкви не имеет права жениться. В жизни постоянно видны такие браки, и сам священник Парижский *предлагал* ему обвенчать его, но если есть враг, желающий вредить, он всегда может подать донос и уничтожить совершенный уже брак. Значит, Ш<варсалон> будет, обрадованный первою подачкою, пытаться и дальше шантажировать. Мне кажется, что единственная возможность зажить мне спокойно – это оставаться с семьею за границей, где мы оба можем всего лучше работать сами и воспитывать детей до их совершеннолетия. А развод, если удастся, то и

слава Бога <так!>, тогда подумаем и насчет брака, но оставаясь, вероятно, за границею, если же не удастся – неудача эта не сто́ит 50 тысяч из денег детей. А за границею Шварсалон нам ничего сделать не может»⁶⁴.

Почти ровно через год она так описывала положение дел уже отцу, и с несколько другой точки зрения: «...я только третьего дня получила твое письмо с радостным известием с копией об удачном окончании дела в Консистерии. Теперь оно будет ждать дальнейшего хода в течение двух месяцев. Потом пойдет на утверждение в Синод и там еще пробудет некоторое время. В течение этих двух месяцев Шварсалон имеет право подавать жалобу в Синод на кассацию. Затем, когда дело окончится в Синоде, то мне предстоит еще специальный процесс в Канцелярии Прошений об утверждении Высочайшим Именем детей моих за мною. Итак, видишь, что дела еще порядочно и надолго хватит. Ты, дорогой Папа, хорошо советуешь мне осторожность! Конечно, теперь всё дело может рухнуть у самого уже окончания его из-за малейшей моей неосторожности. Только горе в том, что нам стало не вполне безопасно теперь продолжать наше пребывание здесь. Адрес мой мог мало-помалу и *как-нибудь дойти до Шварсалона*. Ведь всё когда-нибудь выходит на свет! Мне кажется, что лучше было бы вновь переменить место жительства на другое столь же разумное! и там сидеть смиренно в ожидании конца процесса. Я и ездила вокруг поискать такого местечка, но пока ничего не нашла. Во всяком случае, мы совершенно проникнуты одною заботою: жить тихо и скрывать свои следы»⁶⁵. Действительно, в конце 1897 и начале 1898 гг. семейство жило в небольшом местечке Аренцано под Генуей, очень уединенно и почти ни с кем не переписываясь (письма приходилось пересылать через отца Л.Д., чем он был недоволен как лишней обузой), потом недалеко от Неаполя, откуда в конце лета 1899 г. переехало в Лондон.

Лишь 17/5 марта 1899 г. Л.Д. могла сообщить отцу: «Дорогой Папочка, Ты, наверное, знаешь уже от Саши о счастливом разрешении моего процесса. Слава Богу! <...> Теперь, конечно, очень многое уже достигнуто, но еще остается немало затруднений. Надо мне теперь узаконить мой второй брак, что будет нелегко, так как Вячеслав дал своей первой жене *развод* и сам по закону вступить в брак не может. *Конечно, это правило часто обходится*. Но и после венчания мне предстоит еще борьба с Шварсалоном *за детей в Канцелярии Прошений*, так как там наше условие действительно лишь *до заключения моего второго брака!* К сожалению, я теперь *чувствую себя совсем больною* и потому, особенно ввиду моей большой слабости, тяжек мне долгий путь. По крайней мере, возьму самый лучший прямой поезд в Вену и решусь со всеми удобствами проехать в Россию для хлопот и совета практического с Сашею и адвокатами. Буду беречься, сколько могу, дорогой папа! Пока же *надо еще хранить глубокую тайну* моего адреса и быть мне очень осторожной»⁶⁶.

Пожалуй, на этом можно и закончить историю этого характерного дела, лишь коротко сказав о дальнейшем. Летом 1899 года Ивановы находятся в Петербурге, где проворачивают абсолютно противозаконную операцию: В.И. заявляет о пропаже паспорта и за солидную взятку получает новый, в котором не отмечено запрещение брака. После этого

они бросились за границу и с большим трудом в июле обвенчались в греческой церкви в Ливорно. Примерно в то же время, в 1899 или 1900 г. вторично женился Шварсалон. В недатированном письме одна из «девушек» Зиновьевой-Аннибал, Е. Строганова, сообщала ей: «Их бабушка получила письмо из Флоренции, и между прочим пишется про Шварсалона, что он во Флоренции с молодой женой. Анюта пишет: Лидия Дмитриевна совсем может не бояться его преследования! так как он занят другой жизнью»⁶⁷. Из другого источника Зиновьева-Аннибал узнала об этом весной 1902 года. Так что и действительно перипетии первого брака можно было забыть.

В завершение приведем лишь письмо К.С. Шварсалона к детям, написанное уже после смерти Л.Д. Зиновьевой-Аннибал, которая последовала 17 октября 1907 года:

Мужская гимназия
Миргород Полт. губ.
22 Апр. 1908.

Дорогие мои!

Вашим ответом, полученным мною в П<етербур>ге., в субботу, 12 апр<еля>, я не был поражен: и мне стоило больших усилий обратиться к вам с предложением свидания. Время – лучший врач, особенно в таких случаях... Но вы поймете меня и извините мне мое страстное желание услышать от вас, моих детей, отклик на то чувство, которое никогда не потухало в моей груди, – чувство веры в торжество любви.

Будучи убежден в страшном вреде для детей от семейного разлада, я дал себе слово – не вести борьбы над вашими головами, и я сдержал это слово: в течение почти 14 лет, с 1894 г., я не домогался даже видеть вас. Но мне было известно, что ваше воспитание не заброшено.

Моя вторая женитьба в 1900 году и мои дети от второго брака – у меня дочь Евдокия, 6 лет, и сын – Константин, 7 месяцев – не вытеснили вас из моего сердца.

Моя жена всегда знала о моем душевном состоянии, и в тот момент, как только убедилась, что и вы не отклоняете мысли о свидании с отцом, она, по собственному побуждению, решила написать вам.

Если вам придется когда-нибудь встретиться с ней, вы убедитесь, что она искренна и непосредственна в своем порыве.

Повторяю: время – лучший врач, и когда вы заходите спросить меня обо мне или сказать что-нибудь о себе, то я готов всей душой пойти на встречу вашему желанию.

Ваш отец

К. Шварсалон⁶⁸.

Встречались ли дети с отцом в дальнейшем, мы не знаем.

СКРЕЩЕНИЯ

СКРЕЩЕНИЯ

По справедливому суждению С.Г. Бочарова, «тема о Ходасевиче и Блоке (как и тема о Ходасевиче и Вячеславе Иванове) еще подлежит изучению, для которого плодотворными должны оказаться <...> реальные сопоставления существования поэтов в истории»¹. Здесь мы ограничимся некоторыми суждениями о творческих взаимоотношениях поэтов в доэмигрантский период их жизни. О более поздних контактах также существует некоторая литература².

С первых высказываний Ходасевича о творчестве Вяч. Иванова становится понятно, что оно ему почти полностью чуждо. Уже в 1905 г. в частном письме он говорит: «Относительно В. Иванова для меня давно решен вопрос о его праве на существование. Терпению и труду не всегда удастся перетереть искусство» (Ходасевич. Т. 4. С. 379). Рецензируя «Сог ardens», он формулирует свое отношение более завуалированно, но все равно недвусмысленно: «Можно ли, перечисляя прекраснейшие создания искусства, умолчать о San Marco? Нельзя. Но с другой стороны – <...> историю веков последующих он не изменил ни на иоту. Стиля, который мог бы назваться его именем, не существует и не могло существовать. Продолжателей у него не было. Точно так же, как и San Marco, творчество Вячеслава Иванова неизбежно войдет в историю, но если и вызовет наивные подражания, то не будет иметь продолжателей» (Ходасевич. Т. 1. С. 408-409)³. Особенное значение в контексте наших рассуждений имеет письмо Ходасевича к В.Г. Лидину, написанное 27 августа 1921 г., т.е. за два с половиной месяца до интересующего нас стихотворения, где он говорил: «Знаете ли, что живых, т.е. таких, чтоб можно еще написать новое, осталось в России три стихотворца: Белый, Ахматова да – простите – я. Бальмонт, Брюсов, Сологуб, Вяч. Иванов – ни звука к себе не прибавят. <...> Это все соображения, не подлежащие огласке...» (Ходасевич. Т. 4. С. 435).

Их личное знакомство, фиксируемое с 1914 года⁴, довольно скоро стало дружески-приятным, что поначалу не могли не быть связано с тем, что в личном общении Ходасевич мог почувствовать себя практически равным много старшему и известному поэту, но все же контекст показывает – Ходасевич воспринимал личность и литературное поведение Иванова (которого имел возможность наблюдать и достаточно близко, хотя бы в знаменитой «Здравнице», когда создавалась «Переписка из двух углов») как несколько двусмысленные⁵.

Вместе с тем, как кажется, ни общими отзывами о поэзии Иванова, ни впечатлениями от его личности отношение Ходасевича к Иванову

далеко не исчерпывается. И в первую очередь это следует отнести к внутренним переключкам в ряде стихотворений.

Изю всех стихотворений Вл. Ходасевича в последнее время исследователи более всего проявляют интереса к стихотворению «Обезьяна». Только в 2008 году о нем более или менее подробно написали Вс. Зельченко, А. Макушинский, Ирена и Омри Ронен в совместной статье. Но начата эта экспансия была еще в 2000 г., когда его вполне подробно разобрали Г. Амелин и В. Мордерер ⁶, а следом – А. Жолковский ⁷. Еще до этого, в 1994 г. один из важных подтекстов стихотворения обнаружил Р. Хьюз, а в промежутке – О. Ронен.

Вс. Зельченко выстроил свою запись в «Живом журнале» почти аналогично заметкам в культивируемом М. Безродным жанре «Ср.». Прочитируем ее, благо невелика:

«И мнилось: хор светил и волн морских,
Ветров и сфер мне музыкой органной
Ворвался в уши, загремел, как прежде,
В иные, незапамятные дни...

(«Обезьяна», 1918–1919)

Н. А. Богомолов и Д. Б. Волчек отсылают здесь к «Сну на море», но есть, кажется, и еще один подтекст:

Оно [эхо рога] носилось меж теснин таким
Неизъясненно-сладостным созвучьем,
Что мнилось: незримый духов хор,
На неземных орудьях, переводит
Наречием небес язык земли...

(Вяч. Иванов, «Альпийский рог», опубл. 1902) ⁸.

И. и О. Ронен написали несколько подробнее: «И образность, и идеи Вяч. Иванова претерпели у Ходасевича изменения, свойственные характерному для третьей волны символизма трезвенному и стоическому недоверию лирического субъекта к “вещей правде” здешнего, прижизненного видения предвечных идей, быть может, лишь кажущейся. Больше доверия Ходасевич испытывал к древней правде взора обезьяны в день объявления войны <далее следует цитата из “Обезьяны”> Характерно, однако, что и в образности, и в ритмико-синтаксическом узоре этих стихов о рукопожатии зверя ⁹ можно расслышать отзвук программного, выставленного эпиграфом к статье “Мысли о символизме” (1912) стихотворения Вячеслава Иванова об эхе альпийского пастушеского рога <цитата из “Альпийского рога”>» ¹⁰.

Задачей статьи двух авторов был сопоставительный анализ некоторых тематических комплексов у Ходасевича и Иванова, присутствующих на протяжении долгого времени и свидетельствующих об их обращении к чрезвычайно сходным ситуациям в человеческой жизни. Поэтому наблюдение о сходстве фрагмента «Обезьяны» с «Альпийским рогом» оказывается в их работе одним из существенных элементов конструкции, говорящей о том, что сближало двух поэтов. Нам же в первую очередь интересны расхождения при внешней похожести. И если мы попробуем взглянуть на переключки между «Обезьяной» и текстами

Иванова (теперь уже не только «Альпийским рогом», но и другими) как на свидетельстве литературных схождений и несогласий, то будем вынуждены констатировать вполне достаточное количество материала для выводов, отнюдь не исчерпывающихся чисто поэтической близостью. Нам кажется, что здесь должна идти речь об определении младшим поэтом собственной литературной позиции, отнюдь не во всем совпадающей с позицией старшего¹¹.

Статья «Мысли о символизме», к которой, как справедливо напомнили И. и О. Ронен, «Альпийский рог» стоит эпиграфом, была опубликована в 1912 г. и несомненно попала в поле зрения Ходасевича. В ней читаем: «Потрясенная душа не только воспринимает, не вторит только внешнему слову <...> В ней самой открывается вселенная. <...> И в ней – солнце и звезды и созвучный гул сфер¹², движимых мощью божественного Двигателя. <...> Изученный стих <...> оказывается не просто полным внешней музыкальной сладости и внутренней музыкальной энергии, но и полифонным, вследствие вызываемых им восполнительных музыкальных вибраций...» (Иванов, II, 607–608)¹³. Кажется, совпадения довольно очевидны, чтобы не подчеркивать их. Но есть здесь и другой подтекст из Иванова, менее очевидный словесно, но семантически абсолютно ясный: «Символизм кажется воспоминанием поэзии о ее первоначальных, исконных задачах и средствах. <...> Воспоминание символизма об этой почти незапамятной исторически, но незабвенной стихийною силою родового наследья, поре поэзии, выразилось в следующих явлениях <...> 3) в намечающемся самоопределении поэта не как художника только, но и как личности – носителя внутреннего слова, органа мировой души, ознаменователя сокровенной связи сущего, тайновидца и тайнотворца жизни» (из еще более знаменитой статьи «Заветы символизма»: Иванов, II, 595, 596).

Нам уже приходилось говорить, что при определении целей и задач поэзии Ходасевич, причем вполне уже зрелый Ходасевич, в тридцатые годы, словно пересказывает собственным языком положения теорий младосимволистов, то есть наиболее законченных проповедников «тайновидения» и «тайнотворства»¹⁴. Но тогда мы основывались на совпадении идей при весьма заметном различии в их словесном выражении. Здесь же совпадают не только идеи, но и словесная форма.

Дополняют эти совпадения и отсылки к другим поэтам. Так, «ветра» и «волны морские» у Ходасевича, воспринятые в контексте статей Иванова, должны восприниматься как отсылки к текстам Тютчева: «О чем ты воешь, ветр ночной...» и «Сны», которые Иванов цитирует в «Заветах символизма» как произведения «истинного родоначальника нашего истинного символизма» (Иванов, II, 597). Отметим также, что первое из этих стихотворений как подлинный и наиболее яркий образец реалистического символизма отмечено еще и в статье «О поэзии Иннокентия Анненского»¹⁵. Конечно, Ходасевич узнал эти стихотворения отнюдь не из статей Иванова, но вместе с тем обращение к одним и тем же текстам поэта-предшественника свидетельствует о некоторой общности.

«Светила» у Ходасевича вполне могут быть теми самыми «il Sole e l'altre stelle», которые Иванов анализирует как составную часть цитаты

из Данте – последнего стиха «Рая». Правда, сам он переводит «Солнце и другие Звезды», но вряд ли случайно в значительно более позднем переводе М. Лозинского читаем – «светила». Слово Ходасевича взято из синонимического дантовской лексики ряда.

Если подсчитать, то из шестнадцати знаменательных слов в четырех строках текста Ходасевича восемь встречаются в ключевых отрывках двух статей Иванова прямо и еще два («иной» вместо «другой» и «светила» вместо «звезды») – как синонимы. Вряд ли такое совпадение может быть случайным. Но значит ли это, что Ходасевич просто-напросто повторяет Иванова? Кажется, вовсе нет. Но чтобы понять, о чем идет речь, следует выйти за пределы простых параллелей и посмотреть на общее строение этого стихотворения Ходасевича и его непосредственного окружения.

Всего в сборнике «Путем зерна» находим шесть стихотворений, написанных белыми ямбами. Еще одно, седьмое, открывает следующую книгу Ходасевича – «Тяжелая лира», но оно построено, как нам кажется, во многом уже на иных основаниях. Те же стихотворения, которые входят в «Путем зерна», если отнестись к этому непредвзято, структурированы более или менее одинаково, и схема их композиции может быть определена как «реалистическое» описание действительности во всех ее мельчайших подробностях, сменяющееся столь же иллюзионистическим описанием перехода в иной мир, не совпадающий с нашим, – вслед за чем вновь появляется «описание действительности»¹⁶. Отнюдь не случайно в связи с этим стремление автора поставить читателя в ситуацию «здесь и теперь»: два стихотворения точно прикреплены хронологически (день объявления Первой мировой войны и 2 ноября 1917 года), еще одно подчинено хронологической иллюзии («... в одно из утр пятнадцатого года» [Ходасевич. Т. 1. С. 159]¹⁷), а четвертому Ходасевич придает временные ориентиры в помете под текстом («Англичанка, впрочем, была в 1911 г., как и все прочее» [Ходасевич. Т. 1. С. 509]). Лишь «Полдень» и «Дом» оставлены вне реальной хронологии.

Наиболее интересно с композиционной точки зрения построено стихотворение «Эпизод», открывающее весь интересующий нас ряд как по хронологии написания, так и в структуре сборника. В нем описание «реальности» составляет пять строк (из которых две неполных) в начале и 19 строк в конце. Все же остальное пространство занято описанием «иноного бытия», но поданного как нечто нерасчленимое с подлинной реальностью. В нем нет решительного перехода от «здесь» к «потустороннему», есть только уточняющие характеристики. Два плана постепенно совмещаются друг с другом, и трудно определить, в каком именно мы находимся в каждый конкретный момент. Противоположный пример – «2-го ноября», где «иной план» занимает всего лишь неполных 10 строк, тогда как все остальное – описание низкой действительности. На этом фоне «Обезьяна» – нечто среднее: 23 с половиной строки занимает описание встречи с сербом и его обезьяной, потом (начиная со сравнения обезьяны с Дарием) следует переход в иной мир, занимающий также 23 с половиной строки, а потом – возвращение из «иных, незапамятных дней» в день начала войны (9 строк). При этом, как и в «Эпизоде», переход случается не вдруг, а постепенно: сначала следует

развернутое сравнение пьющей обезьяны с Дарием «пред мощною фалангой Александра», потом вполне достоверное описание рукопожатия, и лишь в конце все эти выбивающие натуралистическое восприятие из его обычной колеи эпизоды завершаются окончательно «недостоверным» фрагментом, который и был нами процитирован в начале.

Мы вместе с поэтом постепенно движемся от *gealía* к *gealíoga*, чтобы в конце концов вернуться опять в *gealía*, но уже с осознанием только что осуществившейся прикосновенности к непостижимому. В тех же «Мыслях о символизме» Иванов писал: «...в каждом произведении истинно символического искусства начинается лестница Иакова» (Иванов, II, 606). Напомним, однако, что согласно книге Бытия «вот, лестница стоит на земле, а верх ее касается неба; и вот, Ангелы Божии восходят и нисходят по ней» (Быт. 28: 13). Ходасевич буквально следует этому тексту: если по Иванову стихотворение есть только восхождение, то по Ходасевичу – и восхождение и нисхождение, возвращение в земной мир.

А вслед за этим пунктом появляется и второй. В последней главе «Мыслей о символизме» читаем: «Для нас символизм есть <...> энергия, высвобождающаяся из граней данного, придающая душе движение развертывающейся спирали. Мы хотим <...> быть верными назначению искусства, которое представляет малое и творит его великим, а не наоборот. Ибо таково смирение искусства, любящего малое. Истинному символизму свойственнее изображать земное, нежели небесное: ему важна не сила звука, а мощь отзвука» (Иванов, II, 611). Однако в собственном своем творчестве Иванов чрезвычайно редко бывал смиренен. Он словно всегда начинает с полпути к своей высшей цели, оставляя малое за пределами своего поэтического опыта. В противоположность ему Ходасевич уже в «Счастливым домике» «...решительно принял "простое" и "малое" – и ему поклонился»¹⁸. Нетрудно заметить, что и в первой половине «Обезьяны» предметы простого и малого мира заполняют практически все его пространство: горящие леса, кричащий петух, потная полуголая грудь серба, комическая красная юбка обезьянки и многое другое создают у читателя полную иллюзию низкой и ничем не приукрашенной действительности. Перемена начинается в тот момент, когда обезьянка уподобляется Дарию, пьющему из лужи¹⁹. В помете под стихотворением Ходасевич вряд ли случайно вспомнил: «Гершензон очень бранил эти стихи, особенно Дария» (Ходасевич. Т. I. С. 509). В момент, когда писалось стихотворение, до создания «Переписки из двух углов» оставалось еще полтора года, но вряд ли можно сомневаться, что круг идей Гершензона, развитый им в этой переписке, был Ходасевичу хорошо известен, как понятно и их противостояние идеям Иванова, там же отчетливо выраженным. Упоминание Дария и Александра Македонского и должно было не понравиться Гершензону²⁰, зато постепенно настраивало читателя на ту волну, которая окончательно восторжествовала (пусть и временно) в заинтересовавших нас с самого начала четырех строчках.

Но после этого, безо всякого предупреждения и обоснования, одним пробелом между строками нас снова возвращают в Томилино 17 июля 1914 года:

И серб ушел, постукивая в бубен.
 Присев ему на левое плечо,
 Покачивалась мерно обезьяна,
 Как на слоне индийский магараджа.
 Огромное малиновое солнце,
 Лишенное лучей,
 В опаловом дыму висело. Изливался
 Безгромный зной на чахлую пшеницу (Ходасевич. Т. 1. С. 173).

Обратим внимание на то, как изменяется стиль и дух описания. Вместо простого «Была жара», открывающего все стихотворение ²¹, – «изливался безгромный зной»; вместо «леса горели» – «опаловый дым»; вместо «Кожаный ошейник, / Оттянутый назад тяжелой цепью, / Давил ей горло» – «Покачивалась мерно обезьяна, / Как на слоне индийский магараджа»; неназванное но вполне подразумеваемое солнце становится солнцем апокалипсиса; бродячий серб, постукивающий в бубен, последней строкой (нами не процитированной) переводится в разряд предвестий этого апокалипсиса, а то и вовсе его всадников, поскольку для уже знающих что в этот день случилось, чрезвычайно актуализируется его соплеменничеством с Гаврилой Принципом ²². Мир становится тот же, да не тот, он окрашивается пережитым в воспоминании о «незапамятных днях» и одновременно предвещающим последнюю строку: «В тот день была объявлена война».

Приблизительно так же построены и все остальные белые ямбы Ходасевича. Меняется соотношение частей, степень выраженности отпечатка, накладываемого «потусторонним» на «здешнее», и, конечно, внешние обстоятельства, но суть остается неизменной. Как нам представляется, в этом принципе устройства целого отчетливо выраженного ряда стихотворений (мы бы даже применили слово «цикл», поскольку в 1927 году Ходасевич и представил большую их часть как цикл «Белые стихи») отражается его отношение к классическим статьям Вячеслава Иванова о символизме, которое предельно обобщенно и несколько огрубленно можно было бы сформулировать как стремление к подлинной реализации того, что этими статьями было представлено в качестве характерных черт символизма (не только русского, но вечного символизма), и в то же время внесение существенных поправок в то, каким образом эти принципы действуют в творчестве самого Иванова.

Тем самым, нам представляется, могут быть несколько уточнены представления об отношении Ходасевича к символизму, особенно в период книги «Путем зерна», но и не только тогда.

Комментируя свои стихи, включенные в «Собрание стихов» 1927 года, возле стихотворения «Вакх», вошедшего в книгу «Тяжелая лира», Ходасевич написал: «Никто этих стихов не понимает» (Ходасевич. Т. 1. С. 515). Такая помета очевидно означает неудовлетворенность автора тем, что заложенное им в текст послание так и не было прочитано. Попробуем его прочитать, но предварительно напомним сам текст:

ВАКХ

Как волшебник, прихожу я
 Сквозь весеннюю грозу.
 Благоклонно приношу я
 Вам азийскую лозу.

Ветку чудную привейте,
 А когда настанет срок,
 В чаши чистые налейте
 Мой животворящий сок.

Лейте женам, пейте сами,
 Лейте девам молодым.
 Сам я буду между вами
 С золотым жезлом моим.

Подскажу я песни хору,
 В светлом буйстве закружу,
 Отуманенному взору
 Дивно все преобразу.

И дана вам будет сила
 Знать, что скрыто от очей,
 И ни старость, ни могила
 Не смутят моих детей.

Ни змея вас не ужалит,
 Ни печаль – покуда хмель
 Всех счастливых не повалит
 На зеленую постель.

Я же – прочь, походкой резвой,
 В розовеющий туман,
 Сколько бы ни выпил – трезвый,
 Лишь самим собою пьян.

8 ноября 1921 (Ходасевич. Т. 1. С. 219).

И спустя без малого 80 лет можно констатировать: критики-современники рецензировавшие «Собрание стихов» 1927 года (В. Вейдле, Э. Гиппиус, В. Набоков – если называть самых тонких), о стихотворении промолчали, да и позднейшие исследователи также немногого смогли сказать о нем. Оно как будто оказалось вытесненным на периферию читательского внимания, и даже помета Ходасевича мало кого заинтриговала²³. Нам удалось обнаружить лишь два содержательных упоминания о нем. В первой книге о Ходасевиче Дэвид Бетеа написал об этом стихотворении (вкуче с другими, созданными одновременно): «...эти стихи не мифологизируют, не делают утверждений, более важных, чем жизнь, без отрезвляющего балласта иронии и конкретных деталей. Жезлоносец, от лица которого ведется речь, появляется на сцене в момент начала стихотворения и уходит в момент завершения. Он при-

носит волшебную лозу собственного искусства, которую велит своим последователям культивировать (буквально “прививать”). Когда приходит время, растение дает “животворящий сок”, который, будучи выпит, преобразует действительность и опьяняет всех, кроме самого Вакха, творца и сборщика винограда, своим тайным знанием»²⁴. Приведем и мнение Э. Демадра, писавшего об этом стихотворении как о «блестящей иронической аллегории». «Если поэтический акт здесь ясно определен как раскрытие тайны, он, тем не менее, совпадает с эфемерной иллюзией опьянения. Эта демифологизация отчетливо проявляется в завершении шестой строфы <...> и еще более в заключительной насмешке над самим собой. <...> Мы уже отмечали, что Ходасевич, заметно расходясь в этом пункте с теми, кого он называет “вторым поколением” русских символистов, не присоединяется ни к мифу о “теургической” власти поэта, ни к представлению о его мессианской роли. <...> Впрочем, не испытывает он никаких иллюзий и относительно той веры, которую толпа может придавать “пророческой” речи поэта, когда он прав»²⁵.

Против этих утверждений возразить нечего, однако, как кажется, они не исчерпывают актуальных смыслов стихотворения, скрытых все не за семью печатями.

Стоит нам вспомнить, что Вакх – это имя бога Диониса, как становится гораздо более определенной та концепция, с которой ведет полемику Ходасевич. Хотя антитеза дионисийства и аполлонизма была в России в начале века общеупотребительной, но связывалась она в первую очередь с именем Вячеслава Иванова, давшего на русской почве наиболее глубокую и эксплицированную картину соотношения этих понятий, причем его собственная творческая деятельность воспринималась почти исключительно в контексте, определяемом первым из членов этой пары²⁶. Как нам представляется, одним из этих сопоставлений должно стать и данное стихотворение Ходасевича, являющее собою многосмысленное размышление о судьбе русского дионисизма, облеченное в безупречно поэтическую, то есть далекую от какой бы то ни было назидательности, публицистичности и личных выпадов форму.

Говоря о семантике стихотворения, прежде всего обратим внимание на то, что вакхова лоза, которой идет речь в его начале, приносится издалека и подлежит прививке на инородной почве²⁷. Тем самым предопределяется нетождественность исходной сущности и ее здешнего воплощения. Имеет ли какой-либо смысл то, что лоза «казийская», мы сказать не можем, однако, как кажется, следует обратить внимание, что вторая строка стихотворения отсылает нас к «Весенней грозе» Тютчева, что поддерживается и другими, слабыми, но все-таки слышными отголосками. Прежде всего это относится к особо отмеченным русской поэзией строкам Тютчева: «Громокипящий кубок с неба, / Смесь, на землю пролила». Ср. у Ходасевича «чаши» (аналог кубку), дважды повторенное «лейте» и, наконец, «животворящий», где не только фонетический облик чрезвычайно близок тютчевскому «громокипящий», но и сама фонетика исполняет функцию, очень схожую с тем объединением всего стихотворения в единый звук, которая есть у Тютчева. Если там интересующее нас слово концентрирует в себе «грозу», «гром», «играя», «грохочет», «гремя», «громом» и чуть более далекие «горы», «на-

горный», – то у Ходасевича «мой животворящий сок» в дальнейшем словно рассыпается по строкам, что достигает максимума в четырнадцатой. Довольно внимательно посмотреть на эти две строки, чтобы увидеть: из 11 согласных звуков восьмой строки 9 присутствуют и в четырнадцатой («В светлом буйстве закружу»), причем еще один ([j]) всего лишь не повторен. Совсем не представлен в 14-й строке лишь звук [щ] (т.е. «ш долгий мягкий»). Чуть дальше в этом отношении строка 26 («В розовеющий туман»), где нет [ж], [с] и [к], что отчасти компенсируется начальным словом ст. 27: «Сколько».

Вместе с тем, помимо собственно стиховых задач, тут, как кажется, мы имеем основания увидеть попытку поэта восстановить ту же логику, что и у Тютчева: если там от обычной весенней грозы мы в последней строфе переходим к ситуации пира богов, то и здесь – пир с участием бога заставляет нас искать первоначальную ситуацию в современности.

Центральная часть стихотворения (строфы 3-5) – воспроизведение «дионисических» клише, когда-то порожденных в русской культуре Ивановым: Дионис как «бог женщин по преимуществу» (Иванов, II, 191), его золотой жезл, хоровая природа дионисова действия, «священный хмель и оргийное самозабвение», «дионисийский экстаз» (Иванов, I, 719–720), преобразование мира в этом дионисийском хмеле²⁸ и т.д.

Но в двух последних строфах «всенародное действие» и его бог оказываются разделенными: «дети» погружаются в хмельной сон (очевидно не лишенный и эротических ассоциаций), бог же уходит «трезвый, лишь самим собою пьян». Тем самым мистериальное начало уничтожается, отрезвляющая печаль и возможность быть ужаленным змеею возникают вновь даже не в момент возвращения в реальную действительность, а в момент наступления сна. Уже в нем «дети» остаются беззащитными, оставленными на произвол природы и собственных переживаний.

Для Ходасевича привитый на русской почве дионисизм предстает нетождественным своему прообразу прежде всего, как кажется, потому, что в нем отсутствует истинная трагедия. Он скорее напоминает хлыстовское радение, чем мистерию истинного постижения мира²⁹. Констатируя именно такой смысл стихотворения, мы, вероятно, обязаны сказать, что для Ходасевича облик теории и ее проповедника были взаимосвязаны. Как кажется, приведенные слова дают нам право думать, что в стихотворении «Вакх» Ходасевич дает некоторую, не слишком приятную итоговую оценку не только русскому дионисизму, но и деятельности его наиболее известного пропагандиста.

Характерно, что, прочитав «Тяжелую лиру», где стихотворение было напечатано, Иванов в отзыве обошел стихотворение молчанием, сосредоточившись на ином³⁰. При той его пронизательности в области поэзии, которую сам же Ходасевич отмечал (см., напр.: I, 505), причины этого, вероятно, должны были лежать в сфере личных отношений, внешне вполне дружеских. Может быть, слабую тень отклика можно разглядеть в том, что эпистолярная рецензия Иванова начинается с темы Орфея, которая вполне может связываться с размышлениями о дионисизме в мифологии и культуре. Но это, пожалуй, подлежит рассмотрению в иной работе.

II. ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ

ЗАГЛАВИЯ В ЛИРИКЕ: ОПЫТ ХОДАСЕВИЧА

Проблема заглавий в литературе ставилась неоднократно и решалась различными способами. Не задаваясь задачей дать обзор довольно разнообразной литературы, посвященной этой проблеме¹, отметим, что по большей части – это исследования скорее теоретического порядка, недели конкретно-исторические работы. Мы же, напротив, предполагаем представить монографическое исследование поэтики заглавий одного поэта – Владислава Ходасевича.

Выбор именно этой литературной фигуры не выглядит случайным. С одной стороны, поэтическое наследие Ходасевича сравнительно невелико и вполне обозримо, что делает возможным пристальное внимание к подавляющему большинству названий его стихотворений. С другой – сама поэтика Ходасевича так или иначе вписывается в различные контексты русской поэзии: символизма, постсимволизма, эмигрантской поэзии 1920-х годов, и это позволяет сделать выводы более масштабные, чем исключительно основанные на изучении отдельной художественной индивидуальности.

Прежде всего следует сказать о первоначальной характеристике: соотношении озаглавленности и неозаглавленности стихотворений в поэзии Ходасевича (по терминологии Н.А. Фатеевой – коэффициенте озаглавленности). По ее словам, «коэффициент озаглавленности лирических стихотворений <...> резко отличается у разных поэтов, что, видимо, связано, с характеристиками коэффициентов каждого из них»². Из названных ею цифр отметим коэффициенты Блока (21%), Брюсова (91%), Анненского (93%). Они нам понадобятся в дальнейшем.

У Ходасевича в первой книге «Молодость» (1908) из 35 стихотворений (плюс 3 названия циклов – итого 38) озаглавлены 25, то есть примерно 65%, во второй «Счастливый домик» (1914) из 38 (включая названия циклов, но без учета названий разделов и с исключением стихотворения «Акробат») – 29, то есть около 75%, в третьей «Путем зерна» (1920, состав окончательно установлен в 1927) из 45 – 35, то есть 77%, в четвертой «Тяжелая лира» (1922, состав установлен в 1927) из 50 – 25, то есть ровно 50%, в пятой «Европейская ночь» (1927, с присоединением стихов, опубликованных автором при жизни) из 38 – 24, почти так же, как в «Молодости» (63%).

Как видим, коэффициент колеблется от 50 до 75 процентов, то есть, за исключением «Тяжелой лиры», количество озаглавленных стихов всюду переваливает за половину. Как кажется, это самым непосредственным образом связано с поэтикой названий в тех книгах русских сим-

волистов, которые Ходасевич внимательно читал. Чтобы не утруждать читателей цифрами, скажем, что в «Золоте в лазури» и «Урне» Белого названы все стихотворения без исключения (если не считать стихотворения внутри циклов: их название/неназывание представляет собой особую проблему), в его же «Пепле» не названных всего два. У Брюсова в «Urbi et Orbi» названы все стихи, в «Stephanos» – 85 процентов, но в более ранних книгах («Me eum esse» и «Tertia Vigilia») – меньше половины. Бальмонт в своих лучших книгах («В безбрежности», «Горящие здания», «Будем как Солнце», «Только любовь») тяготеет к называнию (от 59 до 80 процентов³). И даже названный исследовательницей как «беззаглавный» Блок в первых трех книгах демонстрирует любопытную закономерность: если в «Стихах о Прекрасной Даме» 1903 года названо всего 9 стихотворений, то в «Нечаянной радости» – 40 процентов, а в «Земле в снегу» всего 7 стихотворений оставлено без названий, причем все они входят в структуру циклов⁴. Единственное исключение на этом фоне среди крупных поэтов-символистов – Ф. Сологуб. В первой книге стихов (1896) озаглавленных стихотворений немного менее половины, во второй (вошла в состав книги рассказов и стихов «Гени») – из 77 озаглавлены всего 10, в третьей и четвертой (изданы совместно в 1903 году) назван только цикл «Земля Маир», все же остальное оставлено без именованья, наконец, в «Пламенном круге» (1908) названия получили лишь 9 стихотворений из 151. К традиции Сологуба тяготел ближайший литературный сочувственник Ходасевича Муни. Конечно, мы не знаем, как обстояло бы дело, если бы он сам издал собственную книгу стихов, но в посмертном сборнике, куда вошли все известные на сегодняшний день стихи, на 28 озаглавленных приходится 93 оставленных без заглавий⁵.

Для сравнения скажем, что вступивший почти одновременно с Ходасевичем в литературу и учившийся у тех же самых поэтов Гумилев после «Романтических цветов» 1908 года, где из 29 стихотворений названо 19 (почти как в «Молодости»), начиная с «Жемчугов» 1910 года весьма повышает свой коэффициент: в обширных «Жемчугах» не названо 5 стихотворений, в «Колчане» (1916) – 3, а в «Чужом небе» (1912), «Костре» (1918) и «Огненном столпе» таких стихов нет вовсе.

Но у Ахматовой с самой первой книги названия – скорее исключение (если не брать в расчет третий раздел первого издания «Вечера» со стилизованными стихами). В «Камне» Мандельштама названа примерно треть стихотворений.

Если подвести предварительный итог, то, видимо, можно сказать, что основная тенденция символизма – называть стихотворения как можно чаще, добавляя тем самым дополнительные семантические элементы в структуру стихотворения (сюда же относится и стремление создавать сложные конструкции циклов, разделов и книг). Единственное исключение – творчество Сологуба, отказывающегося от названий так же, как он отказывается от структурирования своих сборников и вообще с принципиальной легкостью относящегося к композиционной уравновешенности поэтических книг. Блок на этом фоне выглядит промежуточной фигурой: начиная с создания эффекта единого лирического порыва («Стихи о Прекрасной Даме», обходящиеся и без заглавий, и без

членения на циклы), дальнейшие свои отдельные книги он строго структурирует, и роль заглавий растёт, однако впоследствии, начиная с первого мусагетского собрания стихотворений, при повышенном внимании к композиции всей лирической трилогии он понижает роль названий отдельных стихотворений (тот самый 21%, который констатировала Н. А. Фатеева).

Если максимально спрямить логику, то в случае большинства символистов она будет выглядеть как: «Не называть только если нельзя назвать», а в случае Сологуба и Ахматовой или Мандельштама: «Называть только если нельзя не назвать». На этом фоне Ходасевич выглядит фигурой промежуточной и наиболее гармонической. Для него проблема называния или не называния стихотворения не является ключевой ни в коем случае. Гораздо важнее, на наш взгляд, проблема семантики названий, которой и займемся.

Однако для этого нам придется сделать несколько оговорок, а потом заняться очищением того ядра, которое в наибольшей степени нас интересует

Прежде всего, следует сказать о том, что мы лишь в минимальной степени будем заниматься стихотворениями Ходасевича, не входившими в сборники. Это связано прежде всего с тем, что большая их часть относится к самому раннему периоду творчества и потому не может быть в достаточной степени репрезентативна. В ранних стихах, оставшихся за пределами «Молодости», он еще не владеет своим замыслом так, как было бы должно. К тому же стихотворения, оставленные в рукописях, невозможно считать окончательно оформившимися. При подготовке к печати они, скорее всего, подверглись бы некоторой редактуре, что не могло бы не сказаться и на их наречении. Скажем, стихотворение «Зимние сумерки», вошедшее в состав первой публикации Ходасевича, в рукописи называлось «В сумерках» (что, кстати, устраняло параллелизм названий – «Зимние сумерки» – «Осенние сумерки»). Стихотворение «Горьки думы о земном...» при публикации получило название «Отшельник». Стихотворение, начинающееся строкой «Привет тебе из тихой дали» имело два названия: «Грифу» и «Epistola in urbem ardentem», и т.д. По большей части не используем мы и стихотворения незавершенные, поскольку в них названия чрезвычайно неустойчивы.

Далее, следует, как кажется, отказаться от рассмотрения названий, являющихся жанровыми характеристиками или чем-либо подобным. Вряд ли имеет смысл делать какие-то выводы на основании названий вроде «Пролог неоконченной пьесы», «В альбом», «Песня», «Романс», «Элегия», «Стансы», «Баллада». Они являются безличными, поскольку были употребимы в русской поэзии с весьма давних времен и не несут сколько-нибудь индивидуальных черт (впрочем, далее мы позволим себе сказать несколько слов и по этому поводу). Явно заказной характер стихотворения «Голос Дженни» заставляет нас исключить его из рассмотрения⁶. Выведем за пределы анализа также стихотворение «К Лиле», очевидное по своей модели⁷, о которой мы еще будем говорить, но включающее условное имя.

Первоначальной нашей гипотезой, возникшей еще до проведения исследования, а лишь на основании впечатлений от общего восприятия,

было то, что в первых двух книгах Ходасевича – «Молодость» и «Счастливей домик» практически все стихотворения заимствуют названия из поэзии В.Я. Брюсова. Нечего и говорить, что впечатление оказалось обманчивым, но верным оказался путь: подавляющее большинство названий Ходасевича оказалось тем или иным образом связано с поэзией крупнейших русских символистов, которую он заведомо знал. И эти пересечения очень ярко определяют эволюцию Ходасевича от монотонной «Молодости» до последнего раздела «Счастливого домика».

Как мы уже сказали, в «Молодости» 25 стихотворений и циклов носят заглавие; без учета «Романса» и «Пролога неоконченной пьесы» – 23. Из них лишь 7 (менее трети) носят названия «оригинальные», т.е. не встречающиеся у поэтов-символистов⁸.

Точные соответствия имеют вполне банальные «Осень» (Гиппиус, дважды Бальмонт, трижды Белый), «Звезда» (Брюсов), «Она» (Брюсов и дважды Гиппиус), «Поэт» (Мережковский, Белый, Блок). В еще большей степени банальность чувствуется в тех случаях, когда и сам Ходасевич не раз пользуется одним и тем же названием. «Утро» есть и в «Молодости», и в «Путем зерна», и в двух черновых набросках – и такое же название находим у Брюсова, Бальмонта, Белого (дважды), Сологуба, Вяч. Иванова (тоже дважды). «Воспоминание» у Ходасевича находим в «Молодости» и в «Путем зерна» – а среди других поэтов оно встречается у Бальмонта, Вяч. Иванова, и трижды у Белого, причем в одном случае – в стихотворении, посвященном Л.Д. Блок, что для Ходасевича, рано узнавшего историю отношений Белого и Любви Дмитриевны, не могло быть безразличным.

Особый случай представляет собой название «Романс», имеющееся в «Молодости» и дважды среди неопубликованных стихотворений. Как мы имели случай показать, жанр романса для Ходасевича некоторое время был чрезвычайно важен⁹, и появление такой жанровой характеристики было вполне естественным, тем более оправданное введением цитаты из реального романса. Но стоит отметить, что и это жанровое определение (правда, с добавочным эпитетом) является нередким у символистов. Ср., напр., «Весенний романс» и «Осенний романс» у Анненского (оба опубликованы в 1906 г.), и особенно «Сангментальный романс» Белого, посвященный Ходасевичу¹⁰ и написанный, вероятно, как немедленная реакция на выход его книги (наиболее точная из известных дат – апрель 1908¹¹).

Более редкие заглавия «Зарница» и «Sanctus Amor» также находят прямые параллели. Первое – у Бальмонта и Вяч. Иванова, второе – название книги рассказов Нины Петровской, которая готовилась к изданию параллельно с «Молодостью», а вышла несколько ранее.

Но, пожалуй, чаще Ходасевич переносит названия не точно, а слегка их варьируя, создавая собственные вариации на темы, заданные старшими современниками. Так, «Старинные друзья» – вариант названия очень известного стихотворения из «Золота в лазури»: «Старинный друг». «За снегами» – теснейшим образом связано со «Снежной маской» Блока, где находим весьма похожее название – «В снегах»¹². «Цветок Ивановой ночи» явно окликает не столько Гоголя, сколько «Иванову ночь» того же Блока. «Кольца» связаны с поэзией Андрея Белого:

«Обручальное кольцо» из «Пепла» и «Кольцо» из «Урны», опубликованные в 1908 г., были написаны в конце весны и летом 1907-го¹³, и вполне могли быть известны Ходасевичу, близко общавшемуся с Белым осенью этого года, когда они, терзаемые личными переживаниями, одновременно оказались в Петербурге. Вкупе с «Кольцом» Бальмонта» из сборника «Литургия красоты» (1905) эти стихи создают фон, хорошо определяемый блоковской строкой «Я бросил в ночь заветное кольцо» («О доблестях, о подвигах, о славе...», 1908). «Ночи» – в таком точно виде название нам не попало, однако, кажется, не так много различия между нам и употреблением в единственном числе, о чем см. ниже.

Два оригинальных употребления дают нам названия «К портрету в черной рамке» и «В моей стране». Первое из них построено по широко распространенной модели «К портрету имярек» (напр., у Брюсова: «К портрету К.Д. Бальмонта», «К портрету Лейбница», «К портрету М.Ю. Лермонтова» – все из ранних книг), но имя заменено описанием портрета, а само стихотворение представлено как послание (к Нине Петровской в допечатном варианте и к *** – в окончательном). Второе же название было подхвачено Брюсовым и использовано в стихотворении 1909 года. Напомним, что первую книгу Ходасевича Брюсов рецензировал более чем снисходительно¹⁴, а первое стихотворение в любом сборнике всегда относится к самым запоминаемым и используемым в той или иной связи.

Таким образом, у нас остались не истолкованными те названия, параллелей которым в обозреваемом нами материале на находится. Это: «Как силуэт» (название цикла), «Ряженные», «Гадание», «Стихи о кухне» (цикл), «Кухина плачет» (стихотворение из этого цикла), «Вечером синим» и «Passivum». Даже самый первый взгляд на этот набор названий показывает, что и они они вписываются в номинативную систему русских символистов. Очевиднее всего это в случае в латинским заглавием, которое, с одной стороны, обозначает нечто эзотерическое, а с другой стороны – без труда прочитывается гимназистом выпускного класса. Ср. подобные же наименования (в названиях книг): «Navis nigra» (А. Гиняков)¹⁵ или «Speculum animae» (С. Рафалович). «Ряженные» и «Гадание» вводят (естественно, с параллелями, отсылающими к русской поэзии пушкинского времени) тему карнавала и предсказаний будущего, которая так или иначе была распространена у символистов. Ср., напр., «Маскарад» у Белого, «Маскированный бал» у Бальмонта, «Маски» (название раздела в «Снежной маске») у Блока. «Как силуэт» некоторое время спустя (в данном случае хронология неясна) откликнется в «Черном силуэте» Анненского.

Как кажется, общий метод номинации стихотворений в первой книге Ходасевича по отношению к старшим символистам может быть определен как «подражание без прямого повторения». И если в самих текстах стихов такой принцип построения может быть оспорен (то ли в сторону утверждения самостоятельности Ходасевича, то ли в сторону утверждения его вторичности), то именование стихотворений становится гораздо более однозначным.

И с еще большей степенью отчетливости же самое происходит во втором сборнике, в «Счастливом домике». Сам поэт говорил, что про-

читал около пятидесяти отзывов о книге. Мы столько не знаем, но довольно значительное число очевидных и хорошо известных отзывов заставляет говорить, что книга не была понята современниками. Более или менее открытые упреки в «пассеистичности» имели мало отношения к поэтической реальности, равномерно представленной как на уровне содержания отдельных текстов, так и на уровне их номинации¹⁶.

Во всяком случае, первые два раздела книги не являют нам ни одного стихотворения, которое было бы названо вне смысловых связей с типично символистскими заглавиями. Если не принимать во внимание жанровые обозначения («Элегия», «Стансы», «В альбом») и уже упоминавшееся «Голос Дженни», то практически без исключений остальные названия находят параллели в книгах символистов: «Ущерб» – заглавие раздела в первом издании «Стихов о Прекрасной Даме» Блока; «Зима» есть в «Урне» Андрея Белого; «Матери» – в его же «Пепле» (не говоря уж о многочисленных «Моей матери» Блока); «Закат» есть у Брюсова, а «Закаты» и «На закате» – в «Золоте в лазури»; «Душа» (отметим, что стихотворение с тем же названием есть еще и в «Тяжелой лире») – у Сологуба и в бальмонтском «Будем как Солнце».

Довольно часто встречающееся «Поэту» – не только название одного из самых знаменитых стихотворений Брюсова, но так именуется и первое стихотворение в книге Мережковского «Стихотворения» (1888), есть это название и у Блока. «Дождь» – у того же Мережковского и в «Будем как Солнце». «Мыши» (название цикла) едва ли не впрямую заимствованы у Брюсова, а отдельные стихотворения цикла называются так же, как у Бальмонта («Ворожба»¹⁷) и сразу у многих («Молитва» есть и у Брюсова, и у Гиппиус, и у Бальмонта).

Несколько более подробного анализа заслуживают оставшиеся пять названий. «Возвращение Орфея» в точно таком виде нам не встретилось, однако по сути своей оно является конструкцией из брюсовских лексем, использованных в заглавиях: «Возвращение» – название первого раздела и первого стихотворения в «Tertia vigilia» и «сонаты» из книги «Все напевы», а Орфей – не только дважды упоминается в названиях стихотворений из книги «Stephanos» (причем оба раза в разделе «Правда вечная кумиров» – «Орфей и Эвридика» и «Орфей и аргонавты»), но еще и дал имя не опубликованному при жизни Брюсова стихотворению 1903 года, в котором сосредоточены те же ключевые слова, что и у Ходасевича (берег, пение, лира, горы, голоса, Эвридика, тигр, камни, песня, надежда, девы, победа, душа), равно как и их парафразы или развитие (лепечущие леса – немолчные воды, шум лесов – шумная буря, пленять зверей – смирать пантер), да и начала стихотворений явственно перекликаются: «Вакханки встретили Орфея (рифма: немая) / На берегу немолчных вод» у Брюсова и: «О, пожалейте бедного Орфея (рифма: слабя) / Как скучно петь на плоском берегу!» у Ходасевича. Кажется, не будет особой смелостью предположить, что это стихотворение Брюсова, по каким-то причинам оставшееся вне печати, Ходасевич мог слышать в чтении самого автора.

Стихотворение «К Музе» было написано в 1910 году и напечатано в 1911 в «Антологии» книгоиздательства «Мусaget» – а в 1912 году было написано точно так же названное прославленное стихотворение Бло-

ка, ставшее впоследствии открывать третий том его стихотворений. Естественно при этом, конечно, учитывать многочисленных заголовочных Муз более ранних авторов (особенно Пушкина), но и Блок в этом ряду не менее важен.

К типичности названия «В альбом» стоит сказать, что в планировавшейся, но не изданной при жизни книге Брюсова «Девятая Камена» предполагался специальный раздел «В альбомах», а в «Зеркале теней» (1912) было стихотворение, в точности соответствовавшее названию Ходасевича, а по соседству с ним – еще и «В альбом девушке» и «В альбом Н.», то есть Анны Ивановны Ходасевич (записано в реальном ее альбоме, хранящемся в РГАЛИ). Попутно стоит, видимо, сказать, что жанровое обозначение «Элегия» тоже активно использовалось Брюсовым, но в названиях отдельных стихотворений, а в именовании разделов: «Элегии» в «Urbi et Orbi» и «Элегии и буколики» во «Всех напевах».

Стихотворение «Милому другу» кажется обладающим уникальным для символизма заглавием, однако, судя по всему, оно названо по контрасту со знаменитым стихотворением Вл. Соловьева: «Милый друг, иль ты не видишь...», где обращение открывает каждую из трех строф, а «дружок сердечный» у Ходасевича окликает строки Соловьева: «...сердце к сердцу / Говорит в немом привете»¹⁸.

Таким образом, в первых двух разделах «Счастливого домика» есть лишь одно стихотворение, никоим образом не связанное с символистской системой номинации, – это «Сырнику» (цикл «Мыши»), которое подчинено индивидуальной мифологеме Ходасевича, не раз уже истолкованной как в бытовом плане¹⁹, так и в плане символическом²⁰. В орбиту этой же мифологемы попадут и другие названия: «Мышь», «Про мышей», «Из мышиных стихов».

Зато в третьем разделе таких названий почти половина. Два «Портрета», которые мог знать Ходасевич, есть у Брюсова (причем, конечно, Ходасевич прекрасно понимал, что в первом из них портретируется Нина Петровская); прославленная «Прогулка» – в «Пепле» Белого (вдобавок еще «Прогулка вдвоем» – у З. Гиппиус); «Досада» – у той же Гиппиус, только уже в поздних стихах; «Успокоение» – в «Пепле» и в «Будем как Солнце»; «Февраль» – у Брюсова²¹, «Вечер» (потом повторенный еще и в «Тяжелой лире») – у Брюсова, Бальмонта, Мережковского, Гиппиус, у Белого и в «Пепле» и в «Урне».

Однако «Завет», «Бегство», «Ситцевое царство», «Рай», «Новый год» в таком виде нам не встретились, если не считать остро памфлетного «Рая» Гиппиус, написанного в первые революционные годы. Похоже, что это обстоятельство не только подтверждает подчеркнутое Ходасевичем (не без лукавства, конечно) устремление во второй половине книги к воспеванию «простого и малого», но еще и обозначает точку его расхождения с ранним, «диаволическим», по определению А. Ханзен-Лёве, символизмом. Конечно, и определение это чрезвычайно однобоко, и Ходасевич отныне не отрекался от своего раннего мировоззрения, а сложно трансформировал его, – но на уровне деклараций все выглядело именно так.

И подчеркнуто это было названиями стихотворений в следующей

книге, «Путем зерна».

Прежде всего обращает на себя внимание, что в этой книге появляется значительное число стихотворений, заглавия которых представляют собой материализованные приметы частной жизни автора. Сюда мы относим географические названия, чем-то памятные даты и имена людей, не имеющие общественного или общеупотребительного значения. В отдельных изданиях книги таких названий сразу четыре: «В Петровском парке», «Смоленский рынок», «2-го ноября» и «Анюте». Первое название связано с частным времяпрепровождением: как сообщено в помете Ходасевича, «видел это весной 1914 г., на рассвете, возвращаясь с А<нной> И<вановной> и Игорем Терентьевым из ночного ресторана в Петр<овском> Парке», а второе – с его местом обитания: Смоленский рынок ему приходилось переходить всякий раз, когда он из своего 7-го Ростовского переулка шел на Арбат и во многие иные московские районы. С некоторой вероятностью сюда же можно отнести и название «По бульварам»: именно множественное число заставляет здесь видеть не абстрактные бульвары, а вполне конкретное московское Бульварное кольцо; впрочем, на этом объяснении мы не настаиваем. 2 ноября 1917 г. – первый день после московских боев, смертей и разрушений. Анюта – жена Ходасевича в то время, Анна Ивановна, не укрытая за каким-либо псевдонимом (чаще всего – Хлоя). В окончательном варианте сборника, опубликованном в составе «Собрания стихов» 1927 года, к названиям такого же рода относится «Брента» – впрочем, оно, равно как и содержание стихотворения, проецируется на поэзию XIX века²².

Нам уже приходилось писать, что стремление к топографической точности является характерной чертой поэзии Ходасевича, начиная именно с этой книги – и названия это только подчеркивают²³. Естественно, что названия такого рода являются сугубо индивидуальными, поскольку ориентированы почти всегда на собственную жизнь и воспоминания.

Что же касается остальных названий, то они делятся на две примерно равных группы: с одной стороны, это те, которые свободно употреблялись поэтами-символистами, на творчество которых Ходасевич ориентировался и ранее. К таким относятся: «У моря» (повторенное еще и к книге «Европейская ночь»), встречающееся также у Брюсова, Блока и Мережковского; это «Ручей» (Брюсов, Бальмонт и у Сологуба – «Ручью»); это «Сны» (Брюсов, Гиппиус, Блок, Вяч. Иванов); «Швея» (Гиппиус, Сологуб); «Встреча» (трижды Брюсов и Белый); «Эпизод» (Брюсов); «Золото» (также Брюсов). С небольшой вариацией – «Авиатору» (ср. «Авиатор» у Блока). Видимо, к тому же ряду можно причислить и стихотворение «Дом». У авторов, чья лексика расписана в словаре языка русской поэзии, это слово в качестве названия не встречается²⁴, однако у русских символистов оно (с определением) нередко: «Старый дом» К.Д. Бальмонта, «Заброшенный дом» в «Золоте в лазури» Белого и особенно – посвященный Ходасевичу «Старинный дом» у него же в «Пепле». Напомним, что и у Ходасевича речь идет о старом, заброшенном и наполовину разобранным на дрова доме.

Остальные названия, даже вполне обыденные, нам у поэтов-символистов первого ряда обнаружить не удалось: «Мельница», «Про

себя», «На ходу», «Полдень»²⁵, «Хлебы», «Уединение», «Рыбак», «Сердце», «Старуха». Тем более это относится к названиям более индивидуализированным, как «Путем зерна», «Слезы Рахили», «Акробат», «Ищи меня», «Обезьяна», «Без слов». А в некоторых наименованиях можно даже услышать отголоски или предчувствия постсимволистской поэзии, в том числе Ходасевичу и ненавистной. Так, в уже упоминавшемся названии «По бульварам» можно уловить тень юношеского Цветаевского «На бульваре» (1910), «Вариация» – при всей обычности самого слова все же вызывает в памяти Пастернака с «Темой и варьациями» как заглавием книги, «Темой и вариациями» как заглавием раздела и «Вариациями» как циклом и отдельными стихотворениями.

Наконец, отметим, что в «Словаре русской поэзии XX века» единственное словоупотребление «газетчики» находим у Маяковского в очень известном стихотворении 1914 года. У Ходасевича же так названо стихотворение, начинающееся «Вечерние известия!...», тогда как у Маяковского его «Война объявлена» начинается: «Вечернюю! Вечернюю! Вечернюю!...»²⁶

Последний случай объяснить, пожалуй, проще всего. Известно, что Ходасевич не выносил Маяковского ни как человека, ни как поэта²⁷. Тем сильнее должно было быть его желание вступить с ним в стихотворную полемику и выиграть поединок на чужом поле. Однако, судя по тому, что стихотворение это в окончательный вариант сборника не вошло, оно или было признано автором собственным поражением, или (менее вероятно) показалось неуместным в контексте литературной жизни 1927 года²⁸.

Что же касается Пастернака, то, видимо, наше наблюдение укладывается в уже вполне определенно представившиеся отношения об отношении двух поэтов²⁹: при часто возникавшем ощущении внутренней близости они все-таки были чрезвычайно различны, и различие это временами выливалось во враждебность.

Подводя итог, можно сказать, что «Путем зерна» с интересующей нас точки зрения представляет собою явление промежуточное: с одной стороны, Ходасевич по-прежнему свободно заимствует названия, употребляемые и символистами, но в то же время уходит от того почти рабского следования своим образцам, которое в большей или меньшей степени было характерно для первых двух книг. Как и вообще в своей поэтике, в области «номинации» Ходасевич, продолжая учитывать опыт символизма, все дальше и дальше уходит от него.

И потому на первый взгляд кажется особенно поразительным, что в следующей книге «Гяжелая лира» Ходасевич снова возвращается к прежним навыкам именования (если исключить приведенные ранее подсчеты стихов получивших название и оставленных без него: никогда ни раньше, ни позднее Ходасевич не оставлял безымянными половины стихов в книге). Итак, всего в книге 25 озаглавленных стихотворений. Из них точные соответствия находят себе следующие: «Музыка» (Бальмонт, Вяч. Иванов); «Искушение» (Брюсов, Мережковский); «Буря» («Урна» Белого); «День» (Брюсов, 1920); «Из окна» («Золото в лазури» Белого), «Из дневника» (Брюсов³⁰); «Ласточки» (Мережковский, Бальмонт³¹); «Сумерки» (Брюсов, Сологуб, Бальмонт – в «Будем как Солн-

це»³²); «Март» (Мережковский³³). О «Душе», «Элегии» и «Вечере» мы уже имели случай говорить ранее. К случаю жанровых определений относятся также «Баллада» (ср. раздел «Баллады» в книге Брюсова «Urbi et Orbi» и другие баллады – его же, Гиппиус, Анненского и др.) и «Стансы».

Достаточно близкие подобию мы находим в двух случаях: «К Психее» – ср. «Психея» в «Кормчих звездах» Вяч. Иванова; «Гостю» – ср. там же «Гость». «Вакх» замена синонимом имени бога Диониса, который неоднократно в названиях того же Вяч. Иванова («Дионису» – раздел «Кормчих звезд», стихотворения «Виноградник Диониса», «Тризна Диониса», «Сердце Диониса», а также «Вызывание Вакха» из «Эроса»³⁴). Вполне общая модель названия – «В заседании» (может быть, не лишне здесь будет вспомнить цитированное Ходасевичем в прозе Брюсовское стихотворение «В застенке»).

К случаям названий из частной жизни в «Тяжелой лире» следует отнести «Жизель» (стихотворение связано с конкретным балетным спектаклем), «Лида» (реальная девушка, в жизни, правда, носившая другое имя³⁵) и «Бельское Устье» (место в Псковской губернии, где Ходасевич отдыхал летом 1921 года).

Таким образом, лишь 5 названий являются в полном смысле оригинальным изобретением Ходасевича: явно пригодное для «символистской» поэтики «Порок и смерть», вполне банальная, но не встретившаяся нам ни разу «Невеста», и, пожалуй, самые интересные и оригинальные. Речь идет о названиях, связанных с еще не вошедшей в состав апробированного поэтического языка лексикой. Одно из таких слов – «Улика» (напомним, что Ходасевич учился на юридическом факультете, два его брата были юристами, да и сам он какое-то время служил по юридической части – как в до-, так и в пореволюционное время). Столь же неожиданно и название «Пробочка», где самый прозаический предмет еще и заземлен «крепким йодом» и тлением. Последнее же из названий относится к стихотворению, которое пронизательной Зинаидой Гиппиус, расценивалось как принципиально новое для русской поэзии³⁶. Это стихотворение – «Автомобиль». И хотя само это слово уже было достаточно давно введено в поэзию Блоком и футуристами (см., напр., «Автомобилью поступь» еще вполне футуристического Шершеневича), но для того классического извода ее, к которому принадлежал Ходасевич, слово было явно выпадавшим из обычного строя.

Тем самым «Тяжелая лира» создает систему номинации отдельных своих произведений, в которой наступает новая уравновешенность традиционного и решительно нового.

Сломана, причем очень решительно, она будет в «Европейской ночи», где к уже использованным символистами относятся «Петербург» (Брюсов, Гиппиус, Анненский), «Слепой» (Брюсов³⁷), «Окна во двор» (Блок) – вот и все. Может быть, как вариант символистского заглавия следует назвать еще «Перед зеркалом» (см. Брюсовское «У зеркала»). Про «У моря», «Из дневника» и «Балладу» мы уже говорили выше.

Однако «Берлинское», «An Mariechen», «Дачное», «Под землей», «Хранилище», «Соррентинские фотографии» (и «Соррентинские заметки» среди не вошедшего в книгу³⁸), «Бедные рифмы», «Джон Боттом»,

«Звезды» – вполне оригинальны. Пять заглавий против девяти, плюс одно «сомнительное» – соотношение вполне показательное. Ходасевич и в номинациях своих этого периода находит нечто новое, как во всем облике поэзии.

При этом, конечно, следует отметить, что «An Mariechen» – название использующее имя конкретного человека, упоминаемого не только у Ходасевича, но и у Андрея Белого; «Джон Боттом» – придуманное к случаю имя героя³⁹, «Берлинское» и «Соррентинские фотографии» связаны с реальным местопребыванием автора. Но это, как кажется, не уменьшает степени оригинальности «Европейской ночи».

Зато стихотворения, которые сам Ходасевич опубликовал после выхода в свет «Собрания стихов» 1927 года и традиционно считаемые ее если не вполне продолжением, то в значительной степени развитием традиций, с интересующей нас точки зрения представляют собой принципиально иное явление. Прежде всего, он все без исключения имеют названия, что для Ходасевича весьма необычно. В самой «Европейской ночи» на 16 стихотворений озаглавленных приходится 14 заглавий лишенных.

Всего этих стихотворений 8, и вот как раскладываются их названия. Безусловно, самое популярное среди них – «Ночь». Аналоги есть и у Брюсова (трижды), и у Гиппиус, и у Сологуба, и у Блока, и в «Урне» Белого (сразу 4), и у Мережковского, и у Бальмонта, и у Вяч. Иванова. Второе по степени неоригинальности – «Я»: знаменитое стихотворение Брюсова, менее знаменитое – у Белого в той же «Урне» и, наконец, целая книга Сологуба («Я: Книга совершенного самоутверждения») ⁴⁰. «Похороны» есть в «Пепле» Белого и в «Cor ardens» Иванова, «Веселье» – у Гиппиус. Ровно половина стихов носит «обкатанные», причем очень известные и популярные у символистов заглавия.

«К Лиле», как мы уже отмечали, построено по общеупотребительной в русской поэзии модели, а имя выбрано намеренно условное, заменяющее подлинное «Нина». Но сама «Лила» встречается в названиях стихотворений Пушкина и Фета, да и другим было отнюдь не чуждо (например, «Лила» есть у Пл. Ободовского).

Редкое в поэзии слово «граммофон» ⁴¹, ставшее названием, в таком виде нам не попало, однако у Анненского есть выразительный подзаголовок: «Пластинка для граммофона». Не удалось нам обнаружить никаких точных соответствий к двум названиям: «Скала» и «Дактили». Последнее, видимо, вступает в некие отношения с «Ямбами» Блока (а может быть – и Барбье), да и в кругу номинаций самого Ходасевича тоже находим аналогию: одна из переписанных им для Лавки писателей рукописных книжек называлась «Вечерние стихи (Хореи)».

Таким образом, общая картина складывается таким образом: ориентация на символистов старшего поколения («Молодость» и первые два раздела «Счастливого домика») сменяются весьма индивидуализированными и «непоэтическими» заглавиями третьего раздела «Счастливого домика» и всего «Путем зерна». Затем на смену им приходит новое равновесие «Тяжелой лиры», ломающееся в «Европейской ночи» и восстанавливающееся в опубликованных после нее стихах. Как кажется, эти наблюдения свидетельствуют о том, что и общая линия развития

поэзии Ходасевича находится в определенном и достаточно выявленном соотношении с заглавиями стихотворений, входящих в эти книги. Постоянно находясь в диалоге со своими непосредственными предшественниками, Ходасевич все время полемизирует с ними, и этот спор-согласие продолжается до самых последних его поэтических опытов.

ХОДАСЕВИЧ, БОБРОВ, ГЕРШЕНЗОН

Памяти Михаила Леоновича Гаспарова

В прекрасных воспоминаниях о С.П. Боброве М.Л. Гаспаров развешивает одну из легенд, тяготевших над памятью этого человека, – легенду о том, «что это он в последний приезд Блока в Москву крикнул ему с эстрады, что он – мертвец, и стихи у него – мертвецкие»¹. Другая легенда восходит к «Петербуржским зимам» Георгия Иванова: «Сергей Бобров, автор “Лиры лир”, редактор “Центрофуги” <так!>, сноб, футурист и кокаинист, близкий к ВЧК и вряд ли не чекист сам, встретив после расстрела Гумилева М.Л. Лозинского, дергаясь своей скверной мурдочкой эстета-преступника, сказал, между прочим, небрежно, точно о забавном пустяке: “Да... Этот ваш Гумилев... вам, большевикам, это смешно...”» и так далее². Кажется, этой легенде про Боброва-«получекиста» веры никогда не было, в отличие от еще одной, третьей.

Ее рассказал В.Ф. Ходасевич в воспоминаниях о М.О. Гершензоне: «Однажды некий Бобров прислал ему свою книжку: “Новое о стихосложении Пушкина”. Книжка, однако ж, была завернута в номер не то “Земщины”, не то “Русской Земли” – с погромной антисемитской статьей того же автора. Статья была тщательно обведена красным карандашом. Рассказывая об этом, Гершензон смеялся, а говоря о Боброве, всегда прибавлял: “А все-таки человек он умный”» (Ходасевич. Т. 4. С. 103). Комментируя в свое время этот пассаж, мы от незнания ограничились краткой фразой: «Статья Боброва в черносотенной газете не обнаружена» (Ходасевич. Т. 4. С. 559). Впрочем, в своем незнании в личных беседах признавались и специалисты, более нас занимавшиеся творчеством С.П. Боброва, материалами его архива и даже специально его псевдонимами³.

Нечто вроде того же Ходасевич утверждал и в частном письме: «...печатать сейчас мои стихи трудно: Бобровы, Асеевы, Брюсовы, Аксеновы и прочие бывшие члены Союза русского народа ведут против меня достаточно энергичную кампанию. Вообще для меня окончательно выяснилось, что бывшие черносотенцы перекрасились в коммунистов с двумя целями: 1) разлагать сов<етскую> власть и компрометировать ее, 2) мстить нам, “сгубившим Россию”, т.е. Романовых»⁴. И уже под конец возможностей переписки с советской Россией спрашивал оставленную там жену: «Не черкнете ли мне: в Москве ли и что делает, где служит, где пишет Сергей Павлович Бобров? Но ему не говорите, что я им инте-

ресуюсь»⁵.

Пристрастие Ходасевича к собиранию разнообразных, в том числе и сугубо личных сведений о писателях-современниках, иногда напоминавшее посвященным собрание досье, было довольно хорошо известно⁶. Но в подавляющем большинстве случаев оно выглядело как естественное стремление автора с историко-литературными наклонностями сохранить для потомков вполне достоверные известия, что и было зафиксировано по видимости мимолетным, но на деле замеченным большинством читателей предисловием к «Некрополю»: «Собранные в этой книге воспоминания <...> основаны только на том, чему я сам был свидетелем⁷, на прямых показаниях действующих лиц и на печатных и письменных документах. Сведения, которые мне случалось получать из вторых или третьих рук, мною отстранены. Два-три незначительных отступления от этого правила указаны в тексте» (Ходасевич. Т. 4. С. 6). С этим предисловием спорили, но для сегодняшних комментаторов его справедливость довольно очевидна: Ходасевич искренне старался не возводить на своих современников напраслины. Однако случай с Бобровым явно относится к разряду «отступлений».

В архиве М.О. Гершензона сохранилась открытка, позволяющая, как кажется, установить истину, как она виделась Гершензону:

Москва, 2 Сентября.

Многоуважаемый Сергей Павлович,

Искренне благодарю Вас за присылку Вашей ученой брошюры. Случилось так, что она оказалась завернутой в исправленную гранку, на обороте которой Вы и написали адрес. Гранка эта – из какой-то антисемитской книги. Вот строки оттуда: «Вредному размножению евреев с высшим образованием, особенно профессоров, врачей, издателей и сотрудников газет и др., сохраняющих порочные, племенные черты характера, коренное христианское население России обязано покровительственной по отношению к евреям политике правительства, которое» и т.д. Я переписал вполне точно. А я-то и сам еврей. Вот какие бывают совпадения. Это верно завернули так в типографии.

Уважающий Вас

М. Гершензон⁸.

Итак, не номер черносотенной газеты, а правленая гранка книги (книжник Гершензон ошибиться не мог); не псевдоним, по которому был опознан Бобров как автор, и тем более не его подлинное имя, а безымянное сочинение; ни о каком красном карандаше речи нет. Разноречие очевидно. Конечно, сторонники Ходасевича могли бы сослаться на «детское простодушие» Гершензона, не раз подчеркнутое в воспоминаниях, и утверждать, что проницательный мемуарист сразу понял истинную природу обертки и разоблачил Боброва в качестве антисемита, но, кажется, это уже будет насилием над текстом.

Едиственный аспект, нуждающийся в прояснении, – открытка не была отправлена (на ней нет никаких следов прохождения через почту) и сохранилась в архиве Гершензона, а не Боброва. Потому мы должны осознавать, что существовала и вторая открытка, отправленная в каче-

стве благодарности. Но что именно в ней было – нам остается только гадать.

Еще нескольких слов заслуживают причины, подвигнувшие Ходасевича на обвинение в адрес Боброва. Их, как кажется, было несколько.

Во-первых, Бобров принадлежал к весьма неприятному для Ходасевича лагерю футуристов, хотя и не самых радикальных. Обратим внимание, что в процитированном письме с именем Брюсова соседствуют имена сразу трех «центрифугистов» – Асеева, Боброва и И.А. Аксенова. К тому же все четверо были чрезвычайно активны на страницах «Печати и революции» – журнала, к Ходасевичу непримиримо враждебного. Из них всех Бобров чаще всего рецензировал сборники стихов, причем нередко делал это в тоне весьма обидном для авторов, в том числе и для тех, которые были Ходасевичу чем-либо приятны (назовем хотя бы П. Сухотина, заслужившего от Ходасевича лестное четверостишие⁹, или К. Липскерова, с которым Ходасевич просто был дружен¹⁰). В то же время своих соратников (в первую очередь Аксенова, Пастернака и К. Большакова) Бобров всячески выдвигал на передний план.

Нельзя не сказать, что Ходасевича, вне сомнения, должно было раздражать стремление Боброва отождествить себя с большевиками, проявившееся во многих рецензиях 1923-1924 годов, а также активно выражавшаяся неприязнь к писателям-эмигрантам. А если говорить о более раннем времени, то не могло быть для него безразличным и то, что Брюсов и Аксенов влияли на покупку рукописей Наркомпросом, Асеев – Госиздатом и, как можно предположить, Бобров также не остался в стороне от этой деятельности (хотя точных данным у нас об этом нет).

Видимо, безразличен для него был и разговор насчет псевдонимов. Трудно сказать, был ли Ходасевич в курсе распри между «Первым журналом русских футуристов» и «Центрифугой», но характерно, что в примирительном документе подчеркнута недобросовестность «ложного раскрытия псевдоним<ных> авторов»¹¹, сама «Центрифуга» была наполнена псевдонимами¹², а Бобров в неопубликованной автобиографии 1922 года жаловался на то, что из-за редакций, нещадно кромсающих его статьи, приходится регулярно пользоваться ими¹³. И в своей послеоктябрьской деятельности рецензента он регулярно пользовался несколькими псевдонимами, далеко не всегда однозначно опознаваемыми. Все это должно было создавать такой фон, на котором мемуаристу естественно было, чуть-чуть переиначив события, возвести на своего недруга напраслину.

Впрочем, мы не можем окончательно исключить, что у Ходасевича были и более веские причины для обвинений. Но при сегодняшнем состоянии изученности источников следует снять их с Боброва.

ХОДАСЕВИЧ И ПАСТЕРНАК: РАННИЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ

Об отношениях двух поэтов существует довольно большая литература¹, однако практически вся она посвящена или жизненным и творческим пересечениям в 1920-е годы, в период совместного берлинского пребывания и более позднего времени, или же общим проблемам совпадений и расхождений художественных миров, создаваемых поэтами. Нам же хотелось бы обратить внимание на три эпизода из сферы более ранних пересечений творческих интенций авторов, которые, как кажется, позволяют конкретизировать более общие соображения о подоснове того, что Пастернак описывал в письме к В.С. Познеру: «Вы думаете, не *обязывал* меня некогда Ходасевич, когда *уступал*, когда *допускал* меня, когда тема родства пробегала (творческая же любовь есть *ответная* любовь)»². Привычнее думать, что это относится к тому времени, о котором мы говорили несколькими строками выше. Однако попробуем представить, что речь идет о более раннем – и увидим, что там также есть на что обратить внимание.

Эпизод первый. В конце января 1918 года на квартире М.О. Цетлина состоялся вечер, не раз описанный в мемуарах и разного рода записях, в том числе и Ходасевичем, и Пастернаком³. Ретроспективно ему было даже присвоено название «Встреча двух поколений поэтов», хотя, кажется, эта встреча произошла до известной степени спонтанно. Нам известно о трех произведениях, прочитанных на вечере: «Человек» Маяковского, о котором чаще всего и сообщается как об абсолютной сенсации, посвященный Маяковскому импровизированный сонет Бальмонта и «Эпизод» Ходасевича.

Последнее стихотворение вписывается в довольно длинный ряд, выборки из которого при перепечатке в 1927 г. были озаглавлены «Белые стихи»⁴. Этот ряд как некое художественное единство заслуживает внимательного изучения⁵, неуместного здесь. Однако даже вырванный из контекста «Эпизод» напоминает нам о том, что именно в январе 1918 года Пастернак пишет длинное стихотворение, называющееся точно так же – «Белые стихи». Как пишут комментаторы, первоначальным его названием было «Странные мысли», окликающее блоковские «Вольные мысли». Казалось бы, генезис тем самым вырисовывается достаточно ясно, однако существует несколько обстоятельств, заставляющих задуматься о том, что не только на Блока ориентировался Пастернак, но и стихи Ходасевича держал в уме.

Прежде всего, это относится к структуре стиха. Пастернак ни разу не выходит за пределы точного пятистопного ямба, тогда как у Блока даже первое стихотворение цикла, эпиграф из которого взял Пастернак, уже полно ритмических отступлений. Там есть, помимо пятистопника (в том числе неожиданно оснащенного дактилическим окончанием – «К нему уже бежали люди. Издали»⁶), и традиционный цезурованный шестистопный ямб, что еще вполне объяснимо некоторым ритмическим сходством этих размеров⁷ («И одуванчики, раздутые весной, / В ласкающих лучах дремали. А вдали»; «И ногу подогнув. Так хорошо лежал»; «Цыплячю желтизну жокея. Человек»; «Дрова, кирпичики, бревешки. И тащили»), но уже шестистопный ямб без цезуры («Голпу зевак и модниц. Маленькие флаги»; «К нему уже бежали люди. Издали») – необъясним, равно как трехстопный («Так хорошо и вольно»; «В воде, да сколько выпил?»), четырехстопный («Копыт. Потом – внезапный крик»; «Тот – бревнышко, другой – кирпичик»; «Намокшей и прилежно слушал»; «Тупа, и мысли вялы... // Сердце!») и семистопный ямб («Поблескивая медленными спицами, ландо») ⁸. В этом ему следует и Ходасевич. В прежде всего интересующем нас стихотворении «Эпизод» находим цезурованный шестистопный ямб («Я в комнате своей сидел один. Во мне»; «Остановить его, сдержат в себе, – но воля / Меня покинула... Бессмысленно смотрел я»; «На маску Пушкина, закрывшую глаза»; «Так слышит боготню на палубе и крики»; «И вдруг – как бы толчок, – но мягкий, осторожный»; «И кучи дров на нем; но вот качнуло нас»; «За рощей встал дымок; а вот – поверх деревьев»; «Сидел, – не ощущал я вовсе. Но другому»; «Лицо разгладилось, и горькая улыбка»; «Так видел я себя недолго: вероятно»), бесцезурный шестистопный ямб («За окнами кричали дети. Громыхали»; «Смотреть немного сверху, слева. Я сидел»), а также выделенные неполные стихи – «...Это было», «Глубоких вод...», «С него сошла» (двустопный ямб), «Матросов» (одностопный ямб) ⁹. Процент «неправильных» строк у Блока и Ходасевича не совпадает ¹⁰, но и у того, и у другого более чем достаточен, чтобы создать нужный эффект. Отметим, что у Пастернака нет даже тех сравнительно скромных «минус-приемов», которыми пользовался еще Пушкин, – неполных стихов, неожиданных для XIX века графических членений, enjambements на границах «строф».

«Белые стихи» были первым из включенных автором в свой канон стихотворений, написанных белым пятистопным ямбом. Чуть позже, летом 1918 года, Пастернак еще раз обратится к белому пятистопнику, на этот раз прямо связав его с именем Пушкина («Тема» в цикле «Тема с вариациями»). В первом девятистишном фрагменте выдержаны те же основные особенности, что и в интересующем нас тексте ¹¹.

Как кажется, Пастернак обозначает структурой стиха свой ориентир – Пушкин, и даже несколько более ранние времена, чем Пушкин. Никаких ярких внешних примет, могущих связать «Белые стихи» с «Вольными мыслями» и «Эпизодом» мы не находим. Но на иных уровнях возникают достаточно заметные сближения и отталкивания. Оставляя в стороне общую ориентацию на просторечие (она восходит к Пушкину во всех случаях), обратим внимание, что стихотворение Пастернака отчетливо делится на две части: в первой дело происходит в марте,

там есть отчетливо выраженный и отделенный от автора герой – Бальзак, равно погруженный и в мир, приличествующий его жизни, и в мир иной – отчетливо русский и современный автору; во второй – на дворе август, никакого отделенного героя нет, зато все насыщено и даже перенасыщено теми же реалиями, что и стихи «Сестры моей жизни».

«О смерти» из «Вольных мыслей» также делится на две части, однако обе они построены как авторский монолог, сопоставляющий два случая одного порядка и описывающих их как максимально реальные, вплоть до «беспомощной желтой ноги в обтянутой рейтузе» и «сотки». «Эпизод» в этом отношении, при всей «реалистичности» (детали предметного мира буквально совпадают с тем, что мы знаем о домашней обстановке квартиры Ходасевича в 7-м Ростовском переулке) балансирует на грани между нею и сверхтелесной реальностью, описанной так явственно, что к автору потом, по его воспоминаниям «приставали антропософы». И членение на две части здесь скорее условное, они словно проникают друг в друга, как описанное переживание растет из повседневности.

Именно в описании этой повседневности Пастернак, как кажется, гораздо ближе к Ходасевичу, чем к Блоку. Напомним, что его стихотворение начинается: «Он встал. В столовой било час. Он знал...» У Ходасевича конкретные приметы дня другие, но сама конкретность делается намеренно заметной: «...Это было / <...> / В одно из утр пятнадцатого года. / <...> / Я в комнате своей сидел один...» И там, и там действие начинается в комнате, в поэтически точно определенный час. Потом у Пастернака оно переносится на улицу – но по-прежнему остается в городе. У Блока же – намеренно негородской пейзаж, без точных примет времени. И даже там, где Ходасевич и Пастернак выходят за пределы города, это подается не как видимое здесь и сейчас, а как возникающая в памяти картинка: «Из всех картин, что память сберегла, / Припомнилась одна...» (Пастернак); «И все опять мне прояснилось, только / В перемешанном виде...» (Ходасевич).

Второй фрагмент «Белых стихов» читается так:

Он мог сказать: «Я знаю, старый друг,
Как ты дошел до этого. Я знаю,
Каким ключом ты отпер эту дверь,
Как ту взломал, как глядывал сквозь эту
И подсмотрел все то, что увидал».

В известном смысле это парафраз всей ситуации центрального момента «Эпизода», когда «Самого себя / Увидел я в тот миг <...> / как если б / Смотреть немного сверху, слева», то есть «я» разделяется на того, кто «Казался мне простым, давнишним другом» и подсматривающего, видящего всю ситуацию со стороны.

И, наконец, отметим дважды повторяющееся у Пастернака: «На том конце, где громыхали дрожки, / Запел петух»; «В том конце, / Где громыхали дрожки, пробуждались». Это выглядит как цитата из «Эпизода», да еще из отмеченного сильным ритмическим перебоем места: «За окнами кричали дети. Громыхали / Салазки по горе».

Мы ни в коем случае не хотели бы сказать, что только стихотворе-

ние Ходасевича повлияло на «Белые стихи». Конечно, и «Вольные мысли» тут заслуживают пристального внимания¹², но и параллели с «Эпизодом» не выглядят случайными.

Эпизод второй. Одно из самых популярных стихотворений «Сестры моей – жизни» – «Из суеверья», начинающее строками: «Коробка с красным померанцем – / Моя каморка». Существуют свидетельства, что оно было известно в литературной Москве еще до появления в свет книги¹³. Реальную расшифровку образа находим в книге Е.Б. Пастернака об отце: «Вернувшись в Москву, Пастернак снял маленькую комнату у въезда в Лебяжий переулок (дом 1, кв. 7) <...> ”Коробка с красным померанцем – моя каморка” – писал он об этой комнате. Это значило – размером со спичечный коробок. Сравнение было понятно современникам: на этикетке спичек часто изображался яркий оранжево-красный померанец, горьковатый родственник апельсина»¹⁴.

В один день с ранее разбиравшимся «Эпизодом» Ходасевич написал стихотворение «Анютe», начинающееся:

На спичечной коробке –
Смотри-ка – славный вид:
Кораблик трехмачтовый
Не двигаясь бежит.

В заметках о своих стихах для Н.Н. Берберовой по этому поводу он пояснил: «Были такие коробки». Стихотворение Ходасевича было впервые напечатано в альманахе «Весенний салон поэтов» (М., 1918), который был связан с существованием салона Цетлиных и где участвовал Пастернак. В нем обращает на себя внимание не только выбор довольно редкостного для поэзии начала XX века предмета, становящегося у Ходасевича сперва объектом описания, а потом и пространством для уподобления, в то время как Пастернак его вводит метонимически¹⁵. Существенна и звуковая насыщенность пастернаковских строк, которая во внешне незатейливом и даже лишенном рифм в нечетных строках стихотворении Ходасевича также существует (ср. хотя бы почти прорифмованность разных строф между собой¹⁶: коробке – кораблик – корица – кормовая <каюта>; трюме – изюм – ром – матросик – мастер и т.д.). Пастернаковское сочетание четырех- и двухстопного ямба параллельно важному для Ходасевича эпохи книги «Путем зерна» точному воспроизведению той же метрической схемы («Утро», «У моря») и функционально схожему сочетанию пяти- и трехстопника («На ходу»), пяти- и двухстопника («Как выскажу моим косноязычьем...»)¹⁷.

Таким образом, почти что абсолютно семантически различные стихи структурно оказываются весьма схожими.

Эпизод третий. 11 февраля 1919 г. Ходасевич начал писать стихотворение, первая строфа которого сложилась почти сразу:

Ходим в куртках из скрипучей¹⁸ кожи,
Трубки держим уголками ртов.

Знаешь ли – мы стали все похожи
 На хороших, честных моряков.

Вторая строфа не вышла. Сперва он написал:

Говорим осталось чая

 Смелости своей не замечая
 пловем,

потом первую строку переделал: «Греем руки над горячим чаем», написал рифму к ней – «Не замечаем», но потом все же оставил. Дальше следует слово «Герои» (возможно – название будущего стихотворения), а потом новый вариант второй строфы:

Мнится – винт работает [размерно]
 К северу корабль еще идет, –
 Но его уж начинает прочно
 Затирать непроходимый лед...

Чтобы подобрать рифму, пришлось строфу переделать еще раз:

Рокоча машиною размерно
 К северу корабль еще идет
 [Уж его] медлительно, но верно
 Затирает непроходимый лед.

Еще по инерции Ходасевич набросал первые три строки следующего четверостишия, но, не закончив, бросил:

День за днем – тяжеле, многотрудней.
 [Все суровой <2 нрзб> мы]
 Вот он – ровный блеск полярных будней! ¹⁹

Некоторое время спустя, в том же году, он снова вернулся к стихотворению, на этот раз разработав тему подробнее:

Ходим в куртках из скрипучей кожи
 Курим трубки, мерзнем, ждем пайков...
 Знаешь ли? – давно мы все похожи
 На хороших, честных моряков.

К полюсу, скрипя под крепкой стужей,
 Наш корабль идет еще, идет, –
 А за ним смыкается все туже
 Полосой непроходимой лед.

День за днем – суровой, многотрудней

 Вот он, ровный свет полярных будней:
 Ни надежд, ни лишней суеты.

Скоро нас затрет. Тогда мы сядем
 В узенькие сани, как в гроба,
 На собаках ремешки приладим
 И поедем. Черная труба

Скроются оснеженные рей ²⁰

В конце января 1923 года Ходасевич попробовал переделать стихотворение, сменив тональность и предмет размышления: если в первых двух вариантах речь шла о голодных годах «военного коммунизма», то в третьем – о нэпе, когда все «...осволочились, / Нанялись работать на купца», забыв героическое время, когда «голодали, мерзли – а боролись» ²¹.

В общем, не так трудно догадаться, почему стихотворение в 1919 году осталось незавершенным. Кожаные куртки и пайки первых двух строк делали аллегоричность совершенно очевидной, и речь шла уже даже не о нецензурности, но скорее о слишком большой публицистической накаленности, а стало быть – о примитивности поэтической мысли. Но не очень понятно, почему в варианте 1923 года ушла выразительная картина полярной жизни, только и оживлявшая стихотворение. Нам кажется, что это могло быть вызвано то ли воспоминанием Ходасевича о прочитанном когда-то, то ли совсем свежее впечатление. В 1922 г. в альманахе «Современник» был напечатан, а в январе 1923 г. появился в книге «Темы и варьяции» цикл стихотворений Пастернака «Разрыв» (согласно авторской датировке – 1918, однако в рукописи – март 1919 ²²), где в седьмом стихотворении можно было прочитать строфу, слишком разительно напоминающую второй из приведенных нами вариантов:

Когда, как труп затертого до самых труб норвежца ²³,
 В видении зим, не движущих заиндевелых мачт,
 Ношусь в сполохах глаз твоих шутивым – спи, утешься,
 До свадьбы заживет, мой друг, угомонись, не плачь.

Затираемое судно, трубы, заиндевелые мачты (или, что то же самое – оснеженные рей), аллегорические у Ходасевича и разворачивающие метафору у Пастернака, слишком были близки, чтобы можно было оставить их на своем месте ²⁴. Опоздавший поэт (в данном случае Ходасевич) проигрывал и вынужден был уступить.

Итоги. Как нам представляется, «Белые стихи» несколько обязаны «Эпизоду» Ходасевича; «Анноте» и «Из суеверья» дают отличный пример типологического сближения, оставшегося незамеченным ни современниками ни (скорее всего) авторами; еще более разительное также типологическое совпадение фрагмента из «Разрыва» и писавшегося Ходасевичем стихотворения заставили последнего сперва радикально его переделать, а потом и вовсе не пустить в печать. Тем самым явственно чувствуемая, несмотря на подробно уже исследованные разногласия, «тема родства» Ходасевича и Пастернака в творчестве первых послеоктябрьских лет теперь приобретает несколько более ясные очертания.

ИЗ ЧЕРНОВИКОВ ХОДАСЕВИЧА

Черновые автографы В.Ф. Ходасевича довольно рано стали привлекать внимание читателей. Их пробовала расшифровать и распространить в списках Анна Ивановна Ходасевич, оставленная в России вторая жена поэта; в «Собрании стихов» 1961 года несколько черновики напечатала Н.Н. Берберова, однако всерьез их описание было начато Дж. Мальмстадом и Р. Хьюзом в редактировавшемся ими собрании сочинений. Постепенно осознание того, что Ходасевич становится неоспоримым классиком русской литературы, заставляет со все большим вниманием относиться к его работе над текстами. В данной работе мы предлагаем читателям несколько вариантов рассказов о том, как Ходасевич совершенствовал свои тексты, будь они хорошо известны, затеряны на страницах не слишком популярных изданий или вообще остались незавершенными. Нам представляется, что по этим рассказам хорошо видно, как поэт придавал словесную форму своим замыслам, как под влиянием записи «торопящихся мыслей» менялся сам замысел, почему некоторые произведения доходили до печати, а другие оставались в небрежении или становились материалом для каких-то других трудов.

1. ЕЛЕНА КУЗИНА

Стихотворение «Не матерью, но тульской крестьянкой...» относится к числу принципиальных не только для сборника «Тяжелая лира», но и для всей поэзии Владислава Ходасевича. От Андрея Белого и Тынянова до наших современников мало кто минует его при разговоре о поэтическом творчестве этого поэта. Юрий Иваск даже предположил, что «это стихотворение когда-нибудь будет выбито на памятнике Владиславу Ходасевичу»¹. Этого памятника пока нет, и, даст Бог, не будет, пока в Москве, где он, несомненно, должен стоять, будет продолжаться вакханалия новой «монументальной пропаганды», но стихотворение и действительно замечательное. Напомним его текст:

Не матерью, но тульскую крестьянкой
Еленой Кузиной я выкормлен. Она
Свивальники мне грела над лежанкой,
Крестила на ночь от дурного сна.

Она не знала сказок и не пела,
Зато всегда хранила для меня

В заветном сундуке, обитом жестью белой,
То пряник вяземский, то мятного коня.

Она меня молитвам не учила,
Но отдала мне безраздельно все:
И материнство горькое свое,
И просто все, что дорого ей было.

Лишь раз, когда упал я из окна,
Но встал живой (как помню этот день я!),
Грошовую свечу за чудное спасенье
У Иверской поставила она.

И вот, Россия, «громкая держава»,
Ее сосцы губами теребя,
Я высосал мучительное право
Тебя любить и проклинать тебя.

В том честном подвиге, в том счастье песнопений,
Которому служу я в каждый миг,
Учитель мой – твой чудотворный гений,
И поприще – волшебный твой язык.

И пред твоими слабыми сынами
Еще порой гордиться я могу,
Что сей язык, завещанный веками,
Любовней и ревнивей берегу...

Года бегут. Грядущего не надо,
Минувшее в душе пережжено,
Но тайная жива еще отрада,
Что есть и мне прибежище одно:

Там, где на сердце, съеденном червями,
Любовь ко мне нетленно затая,
Спит рядом с царскими, ходынскими гостями
Елена Кузина, кормилица моя.

1922²

На экземпляре «Собрания стихов» 1927 года, принадлежавшем Н.Н. Берберовой, Ходасевич к дате приписал: «2 марта – последние 5 строф. Первые 4 лежали с 1917. Кончал наспех, почти начисто, к 3 часам: должен был прийти за стихами Копельман. Деньги были очень нужны. После ухода Копельмана отправился на рынок, по оттепели. Купил калоши, которые оказались велики. Засунул в них черновик и поехал (впервые) к Н. В 1923 г., в Берлине, черновик нашел в носке калоши. Няня: Елена Александровна Кузина, по мужу Степанова, Тульской губ., Одоевского уезда, села Степанова. Ребенка (2-го) она отдала в Восп<итательный> Дом, где он и умер. Там детей морили. Своим существованием я ему обязан, ибо все кормилицы до этой отказывались меня кормить: я был слишком слаб. Няня умерла, когда было мне лет 14. Все-

гда жила у нас»³.

Рассказ этот много лет спустя продолжила сама Берберова: «В тот день у меня собралось несколько человек, вторую комнату, заледеневшую за зиму, отперли, истопили, прибрали. Там впервые (это был кабинет Глинки) он читал “Не матерью”, читал наизусть (черновик уже был в калоше) и по просьбе всех читал два раза. В этот день мы не читали “по кругу” – никому не хотелось читать свои стихи после его стихов»⁴.

А о кормилице своей Ходасевич рассказал еще раз, уже печатно: «Кормилицы, которых брали ко мне, уходили на другой день, говоря, что им невыгодно терять время, ибо я все равно “не жилец”. Наконец нашлась одна, которая согласилась остаться, сказав: “Бог милостив – я его выхожу”. <...> Осталась при мне и кормилица, Елена Александровна Кузина, крестьянка Тульской губернии, Одоевского уезда, Касимовской волости, села Касимова. Своего мальчика, ровесника моего, она отдала в Воспитательный дом, где он вскоре и умер. Таким образом, моя жизнь стоила жизни другому существу» (Ходасевич. Т. 4. С. 191). Там же, в очерке «Младенчество», рассказано и про молочную сестру будущего поэта, и про его падение из окна, и про поставленную у Иверской свечку.

Таковы житейские обстоятельства, связанные с описанными в стихотворении событиями и сопровождавшие его описание. В различных комментариях (Дж. Мальмстада и Р. Хьюза, в наших⁵) и статьях⁶ достаточно подробно описаны литературные реминисценции, «подсвечивающие» текст (Пушкин, Бодлер, Вяземский, Ростопчина), а также опубликованы некоторые варианты текста. Однако, как кажется, более подробное исследование истории текста, для которого дают основания три сохранившихся черновика, позволяет сделать ряд довольно существенных для изучения творчества поэта выводов.

Потому перейдем именно к этому исследованию.

Первый черновой автограф (карандашом), датированный 12-м февраля 1917 года, находим в рабочей тетради Ходасевича этого времени⁷. Первоначально поэт поставил специальный значок, которым он фиксирует начало строфы, но потом сверху написал заглавие – «Стансы». После этого было написано и зачеркнуто: «Ты мне не мать».

Но следом появились те две первые строки, которые остались до окончательного варианта без каких бы то ни было изменений:

Не матерью, но тульской крестьянкой
Еленой Кузиной я выкормлен. Она

Затем Ходасевич записал две рифмы к этим строкам: «лежанкой» и «полотна», и к последней приписал еще (оставив место для еще не подобранного слова): «Из русского». Вероятно, строка представилась ему как-то вроде «Из русского льняного полотна». Однако как рифма, так и незаконченная строка были отброшены, то есть зачеркнуты, и третья строка сперва предстала в таком виде: «Мне рубашонки грела над лежанкой». Потом вместо двух первых слов появилось одно, и строфа обрела свой окончательный вид:

Свивальники мне грела над лежанкой,
Крестила на ночь от дурного сна.

Следом была написана, но не доведена до конца еще одна строфа, которая потом, в сильно измененном виде, стала пятой:

И ты не мать мне, <нрзб.> Россия,
Но из сосков кормилицы моей
Я вы<сосал>

На этом поэт остановился, отдельными штрихами зачеркнул все три строки, а эпитет к названию «Россия» – особо, густо-густо, так что прочитать его без специальных криминалистических средств теперь невозможно.

Затем началась работа над строфой, ставшей в конце концов четвертой. Начало ее не придумалось, поэтому первая строка начиналась с завершения: «(то было в воскресенье)», после чего последовало слово «Когда», тут же было зачеркнуто, и в итоге выстроилась следующая строфа (без первых двух стоп):

(то было в воскресенье)
Нечаянно упал я из окна
И встал живым – за чудное спасенье
У Иверской свечу поставила она.

Но композиция четверостишия Ходасевича не устроила, он его зачеркнул и сразу, без поправок вписал окончательный вариант строфы:

Лишь раз, когда упал я из окна,
Но встал живой (как помню этот день я!),
Грошовую свечу за чудное спасенье
У Иверской поставила она.

Потом он перевернул густо исписанную страницу и начал снова работать над пятой строфой. Окончательный на тот момент ее вариант выглядел следующим образом:

Так! Из ее сосков, бескрайняя Россия,
Я высосал любовь к твоим сынам.
Твои поля – и мне они родные,
Твоей земле свой прах я передам.

Поиски были лишь в двух местах: вместе «бескрайняя» сперва писалось «великая», а рифмующееся слово второй строки поменялось несколько раз: «полям», «лесам», и только потом стало «сынам».

Шестая строфа окончательного текста стала писаться непосредственно за этой. Окончательный текст ее совпал с тем, что пошел в печать, но в нескольких местах Ходасевич немало потрудился над совершенствованием. Напомним последний вариант:

В том честном подвиге, в том счастье песнопений,
Которому служу я в каждый миг,

Учитель мой – твой чудотворный гений,
И поприще волшебный твой язык.

В первом стихе долго отыскивался эпитет к слову «подвиг»: «сладком», «трудном», «тяжком», и только потом он стал «честным» (видимо, по воспоминанию о том же словоупотреблении у Е.П. Ростопчиной). Исправление во втором стихе может быть объяснено двояко: то ли Ходасевич начал его не очень понятным сейчас ходом: «Которому душой», но потом отказался от «души» и пришел к окончательному варианту, то ли, воспользовавшись свободным сочетанием в стихотворении пяти- и шестистопного ямба, использовал шестистопный: «Которому душой служу я каждый миг», но потом решил прийти к более энергичному пятистопнику.

Третий стих открывался словом «Моим», но потом это слово было вычеркнуто; равно как начальный союз «А» и эпитет «великий» (обратим внимание, что поэт вычеркивает это слово уже второй раз).

После этого под строфой вновь была поставлена та же дата, что и ранее, и через какое-то время начался второй этап работы (о его датировке скажем позже).

На этот раз Ходасевич приступил ко второй строфе, и сразу она ему не удалась, хотя ходы оказались намечены:

Она не знала сказок и не пела,
Но рядом с кухней, в комнате ея
На сундуке, обитом жемчужной белой

Эти три строчки он зачеркнул и пришел к окончательному варианту практически тут же, исправив только первоначальный приступ к третьей строке, связанный с первым вариантом: «Но в сундуке ея».

Затем началась работа над третьей строфой, так и не доведенная до конца. Сперва написались неполные три строки:

Не о небесном, больше о земном
Была ее забота. Так служила
Простой любовью, трудом,

причем в первой строке был еще вариант: «...просто о земном», а во второй оказался отвергнут вариант, впоследствии ставший организующим. «Так служила» было написано вместо зачеркнутого «Так смиренно».

Зачеркнув всю строфу он перешел во второму варианту. Написав (ставшее окончательным вариантом) «Она меня молитвам не учила», он зачеркнул строчку и начал с предшествующего варианта: «Не о небесном – больше о земном», а далее последовало:

Была ее забота, и смиренно
Простой любовью, тягостным трудом
Лелеяла меня самозабвенно.

Но и в этих трех строчках почти все давалось не сразу. Первая строка сперва начиналась: «Она заботилась», потом два слова были за-

черкнуты и вместо них появилось: «Была ее забота, без почти без слов», и к этой несвязице в качестве незачеркнутого варианта добавилось: «и смиренно». Третья строка первоначально началась местоимением «она», которое не было зачеркнуто, но явно оставлено без внимания, и после слов «простой любовью» появилось возвышенное – «подвигом». Потом оно было зачеркнуто, но обертоны его смысла остались, потому что, зачеркнув этот вариант, Ходасевич уверенно вписал следующий:

Вся предана заботе о земном,
Она была подвижницей смиренной.
Простой любовью, тягостным трудом
Лелеяла меня самозабвенно.

При этом в первой строфе был первоначальный вариант: «Всегда заботясь только о земном».

Таким образом, были так или иначе завершены шесть первых строф из девяти окончательного текста. Но Ходасевич на этом не остановился и начал работу над седьмой и восьмой строфами. Он первой из них сохранилось рифмующееся слово второй строки «любя» и полностью последний стих: «И рабскую и вольную тебя». От восьмой строфы осталось больше: неоконченная первая строфа и две последних:

Ты вспрынула, Россия. Ты
.....
И честно, мозолистой рукой
Соотчичей моих раскрепостила.

Как кажется, эти две едва набросанные строфы могли появиться только после первой революции 1917 года, происшедшей, как хорошо известно, в самом конце февраля. «Ты вспрынула, Россия» – это реплика на пушкинское «Россия вспрынет ото сна».

Отметим еще, что Ходасевич попробовал соотнести свое время с прошлым. Возле первых строк черновика он в столбик, как прилежный гимназист, посчитал, какому году исполняется в 1918-м круглая дата: 25 лет назад – 1893-й, а 50 – 1868. Вероятно, он хотел предположить, нельзя ли стихотворение привязать к какому-либо юбилею будущего года, и убедился, что не получается.

Второй черновой набросок находим в следующей рабочей тетради, которая, как следует из дарственной надписи, была подарена Ходасевичу женой 12 января 1918 года⁸. Точнее это было бы назвать не наброском, а стадией перебеливания, т.к. четыре первые строфы стихотворения (его окончательного варианта) были переписаны уже чернилами и снабжены пометой: «См. стр. 7, 8 (Коричн<евая> тетр<адь>»)). При этом строфы 1–2 и 4 являются практически беловиком (только последняя строка первой строфы была зачеркнута), а вот над третьей Ходасевич довольно упорно работал.

Сводный вариант этой работы был сравнительно недавно опубликован С.В. Поляковой по неавторизованной машинописи, находившейся в ее распоряжении:

Она меня молитвам не учила:
 На сон грядущий осенев крестом,
 Благоговейным, чинным шепотком
 О домовых и ведьмах говорила⁹.

Отметим только, что вся эта строфа была зачеркнута, а работа над ней не ограничилась тем, что опубликовала исследовательница. Первая строка была написана сразу, вторая первоначально начиналась: «И на», но потом также обрела свой окончательный вид. Третья же строка сперва читалась: «И в тесной горенке, близ кухни, вечерком», потом этот вариант был зачеркнут, чтобы уступить место строке: «Благоговейным, чинным шепотком». Был вариант и в последней строке, где поэт сперва написал: «О домовых мне чаще говорила».

Это строфа объясняет и то, почему Ходасевич вычеркнул последнюю строчку первой строфы – «Крестила на ночь от дурного сна»: она почти повторила вторую строку разбираемого варианта и потому должна была быть заменена.

Напомним, что в окончательном, опубликованном варианте Ходасевич оставил первую строфу нетронутой, а третью решительно переделал:

Она меня молитвам не учила,
 Но отдала мне безраздельно все:
 И материнство горькое свое,
 И просто все, что дорого ей было.

Третий черновик (тот самый, который был засунут в калошу и вынут оттуда через год) хранится в библиотеке Байнеке Йельского университета, куда был передан Н.Н. Берберовой, и расшифрован Дж. Мальмстадом и Р. Хьюзом, почему мы не будем останавливаться на его анализе подробно, отметив лишь несколько важных, по нашему мнению, особенностей.

Этот черновик датирован: «2 марта <19>22. ПБург» и основательная работа в нем шла лишь над пятой и восьмой строфами. Напомним, что пятая уже была написана в 1917 году, и Ходасевич начал с ее перефразирования. Если в 1917 году она начиналась:

Так! Из ее сосков, бескрайняя Россия,
 Я высосал любовь к твоим сынам,

то здесь он переменял стилистический регистр одного из существительных – «соски» стали «сосцами», а Россия обрела эпитет «безумная». Но после слов «Я высосал» он оставил этот вариант и почти набело написал окончательный вариант.

Варианты же восьмой строфы были лишь мимолетными и не влияют, как кажется, на смысловую структуру замысла.

О чем же, с нашей точки зрения, свидетельствуют три полностью расшифрованных черновика?

Прежде всего, уточняется время работы над стихотворением: оно было написано не в два захода, как говорит сам Ходасевич, а по меньшей мере в четыре: 12 февраля 1917 г., когда работа была начата; потом

она продолжилась, по всей вероятности, в марте (или, во всяком случае, не ранее самого конца февраля), уже после первой революции 1917 года; в третий раз поэт вернулся к стихотворению, судя по всему, в январе 1918 г.; наконец, завершена была в марте 1922 г., продлившись чуть более пяти лет.

Во-вторых, Ходасевич в поздней записи несколько искажает не только время, но и сам ход работы. В 1922 году перед ним было не четыре строфы, как он писал, а шесть: четыре перебеленных и еще две – оставшихся в первом черновике. Но из этих шести строф он две (третью и пятую) радикально переработал.

И, наконец, они дают возможность поговорить о некоторых плохо слышных ныне смысловых обертонах, о которых имеет смысл поговорить подробнее. Прежде всего, отметим, что стихотворение начинало писаться в то время, когда у Ходасевича весьма актуализировались размышления о своем происхождении, о том, каким образом полуполяк-полуеврей, католик по вероисповеданию стал русским поэтом. Несомненно, катализатором здесь была война 1914 года. 9 ноября 1914 г. он писал: «...мы, поляки, кажется, уже немножко режем нас, евреев»¹⁰, а в конце 1914 или начале 1915 г. работал над стихотворением, которое не закончил, но выделил из него четверостишие и напечатал:

На новом, радостном пути,
Поляк, не унижай еврея!
Ты был, как он, ты стал сильнее –
Свое минувшее в нем чтит.

В августе 1915 года в частном письме: «Боже мой, я поляк, я жид, у меня ни рода, ни племени...» (Ходасевич. Т. 4. С. 396). В декабре 1914 г. в письме к Г.И. Чулкову он отказывается переводить польских поэтов, однако в конце 1915 и начале 1916 г. довольно регулярно переводит Мицкевича, тогда же составляет антологию его стихов в русских переводах¹¹, а в мае 1917 г. выполняет едва ли не лучший свой перевод из него – сонет «Буря». С октября 1916 г. он переводит еврейских поэтов, и большая часть переводов приходится именно на 1917 год. В 1917 же году (точная дата, к сожалению, неизвестна) он начинает писать стихотворение «Я родился в Москве. Я дыма...», так и оставшееся незаконченным, которое посвящено его «польской биографии». Этот фон, как кажется, во многом объясняет первоначальный вариант, над которым Ходасевич работал в январе 1917 года, где еще нет блестящий формулы: «...мучительное право / Тебя любить и проклинать тебя», нет иронического пушкинского «гордая держава» применительно к России, нет гордости перед «слабыми сынами», зато есть «любовь к твоим сынам», родные поля и прочая риторика.

Именно эта риторика позволила Ходасевичу сделать попытку перевести стихотворение в иной регистр, представить его откликом на события Февральской революции. Нам уже доводилось писать, что на революцию эту он попробовал откликнуться стихами, которые появились в той же тетради, где и первый черновик «Не матерью...», чуть позже, вслед за начавшим писаться стихотворением «Швея» (первые две стро-

фы которого были написаны 3 и 4 марта). Сперва появилось четверостишие:

Тает снег во чистом поле
 На Руси раздольной.
 Эх, пора нам в новой доле
 Жить на воле вольной¹²,

а потом еще наброски:

Не узнаю движений, лиц, речей!
 К<a>к сказочно ты, Русь, преобразилась!

и:

Земля моя! Люблю я в жгучий май
 Твое тугое, темное дыханье,
 И воздуха над степью колыханье,
 И¹³

Очень показательно, что они так и остались незавершенными. Гражданское чувство не могло найти своего сколько-нибудь адекватного поэтического воплощения. Но в конце концов то же случилось и с «Еленой Кузиной»: попытка перевести стихотворение в сферу «гражданской» лирики оказалась решительно неудачной.

Скорей всего, именно поэтому в начале 1918 г. Ходасевич перебивает первые четыре строфы, которые вполне вписываются в логику описания «частной жизни», собственного «младенчества», оставляя все остальное в старом черновике.

Существенны изменения словесной структуры стихотворения. С одной стороны, они оказываются направлены на постепенное создание особой атмосферы стихотворения, где конкретика видения соединяется с устранением «натуралистичности», бытовой повседневности. Рубашонки становятся свивальниками, соски – сосцами, оставляя Иверскую как символ Москвы, поэт устраняет протокольную подробность – «то было в воскресенье», беспощадно вычеркивает то и дело набегающее на бумагу слово «великий», убирает указание на то, где располагалась комната няни («близ кухни», «рядом с кухней»), уходят «домовые и ведьмы». Эпитеты становятся строже и неожиданней, подробности быта отбираются весьма тщательно, откровенность чувства уходит в подтекст (хороший пример здесь – первая строка пятой строфы, где была и «бескрайняя Россия», и «великая Россия», и – в черновике 1922 года – «безумная Россия», но на смену этому пришла многоплановая пушкинская формула).

Очень показательно также, на какие образцы собственной поэзии и поэзии предшественников Ходасевич ориентируется. Как нам уже доводилось замечать, явным претекстом его оказывается стихотворение П.А. Вяземского «Введенские горы», также написанное четверостишиями со свободным чередованием пяти- и шестистопного ямба. Но мало того: оно начинается с размышления о своих национальных корнях:

В моей груди есть с кровью славянина
Ирландской дочери наследственная кровь.
От двух племен идет мое рождение...¹⁴

От Вяземского идет так смутившее Тынянова выражение «сей язык», от него же – вынесение в рифму устаревшего «ея» (в черновике). Но вместо плача по матери – с первых же слов резкое отрицание: «Не матерью». И отсутствие наименования кладбища (тогда как у Вяземского их сразу два – Введенские Горы¹⁵ и Новодевичье) – это также работа на контрасте с предшественником. И, наконец, еще один контраст – вместо затянутой элегии (24 строфы!) у Ходасевича получается энергичное, с резкими поворотами только что наметившегося течения стихотворение.

На этом фоне восходящие к Пушкину вкрапления скорее были предназначены для прямого и недвусмысленного опознавания. Не случайно не раз уже упоминавшееся «громкая держава» отмечено кавычками, а другие пушкинские ассоциации вполне очевидны. В этом смысле гораздо интереснее автореминисценции стихотворения.

Та из них, которая осуществилась в окончательном тексте (и попала туда в 1922 году), уже отмечена комментаторами: «Года бегут. Грядущего не надо, / Минувшее в душе пережжено» восходит к чуть ранее написанному: «Пускай минувшего не жаль, / Пускай грядущего не надо»¹⁶. Следовало бы, видимо, еще отметить, что и «пережжено» – почти повторено в других стихотворения «Тяжелой лиры»: «перегори» в «Жизели» и перетлевающая пробочка в одноименном стихотворении. А в черновиках стихотворения словесные переключки совсем другие. Прежде всего это бросается в глаза в черновом четверостишии:

Вся предана заботе о земном,
Она была подвижницей смиренной.
Простой любовью, тягостным трудом
Лелеяла меня самозабвенно.

«Земля, любовь и труд» будут завершать стихотворение «Хлебы», а сама тема благословенности земного развивается в ряде стихотворений книги «Путем зерна». Это те же «Хлебы», это «О, если б в этот час желанного покоя...», это начальная строчка стихотворения: «В заботах каждого дня...». А среди вариантов этого четверостишия была невнятная строчка: «Была ее забота, без почти без слов», – а «Без слов» – название стихотворения из того же «Путем зерна».

Но замечательно, что и «Хлебы», и «Без слов» написаны позже первого и даже второго черновика интересующего нас стихотворения – в феврале-апреле 1918 года. Стало быть, даже незавершенное в то время «Не матерью...» дало достаточно ощутимый импульс для поэзии Ходасевича, но не столько для «Тяжелой лиры», сколько для предшествующего сборника.

Таким образом, история текста стихотворения позволяет несколько по-новому взглянуть на поэзию Ходасевича чрезвычайно важного пятилетия, с 1917 по 1922 год, от преддверия Февральской революции до преддверия эмиграции.

2. КАК ОТТАЧИВАЕТСЯ ЮМОР

В наши времена повального телеэкрannого смеха кажется, что только такой пещерный юмор и существовал всегда. Однако это далеко не так. Игра словами, острые формулы, апелляция к ассоциативному мышлению слушателя с давних пор были не чужды русской литературе. Едкие эпиграммы с разящим словесным уколом в конце, многослойные пародии, обнажение абсурда окружающей действительности, тонкая ирония, способность заметить смешное противоречие той или другой ситуации – все это присутствовало и в классической литературе, и в литературе XX века.

Владислав Ходасевич был далек от ремесла «сатириконца» в подлинном смысле этого слова – Аверченко, Бухова, Тэффи, Саши Черного, Горянского, Евгения Венского. Но его воспоминания, статьи и письма запоминаются не только потому, что они несут какую-то важную информацию, но еще и потому, что в них регулярно присутствует то легкая насмешка, то неожиданный каламбур, то моментально узнаваемая пародия. Конечно, он рассчитывает на сочувственного собеседника, понимающего если не все, то хотя бы основные ходы мысли, знающего тексты, которые обыгрываются, наделенного даром чувствовать остроумие.

Уже довольно много шуточных стихов Ходасевича опубликовано, и почти все – после смерти. Он предпочитал представлять себя читателю строгим и «всезнающим, как змея». Однако в домашней и полудомашней обстановке его перо свободно обретало вольность и в замысле, и в выражениях. Но тем любопытнее познакомиться с тем, что он считал возможным предать тиснению. В 1931 году, в шестнадцатом номере парижского журнала «Сатирикон» за полной подписью были опубликованы «Подслушанные разговоры». В годы стремительного открытия запасов прошлых лет три фрагмента этого текста из шести были перепечатаны Р.Д. Тименчиком¹⁷. Однако ни остальные три фрагмента этого текста не перепечатывались, ни другой текст, название которого мы и позаимствовали для публикации: под своим довольно обычным псевдонимом Ф. Маслов в газете «Дни»¹⁸ Ходасевич напечатал «маленький фельетон», состоявший из пяти фрагментов, один из которых, первый, он с небольшими разночтениями повторил потом и в сатириконских «Подслушанных разговорах». Неозаглавленное предисловие есть только в газете. Первый фрагмент, «Чистая абстракция», мы печатаем по тексту «Сатирикона». Хотя Ходасевич и утверждал, что его записи «сделаны без малейших прикрас, с почти стенографической точностью», на деле это не вполне так. Текст «Сатирикона» хотя формально и мало чем отличается от газетного, больше ориентирован на свободное воспроизведение разговорной речи, которая в газете выглядит чуть более скованной. Фрагменты 2-5 были напечатаны только в газете, 6–9 – только в «Сатириконе». Приводим получившийся в результате контаминации опубликованных отрывков текст.

ЧУЖИЕ СЛОВА

Я люблю наблюдать незнакомых людей и слушать их разговор, – в вагонах, на улицах, в ресторанах. Мне нравится – по отрывкам речей, по случайно донесшимся фразам восстанавливать целые человеческие образы, иногда угадывать сложные жизненные коллизии, маленькие комедии или драмы. То, что мне представляется более любопытным, я иногда записываю. Вот несколько таких записей. Они сделаны без малейших прикрас, с почти стенографической точностью, и не нуждаются в комментариях.

1. Чистая абстракция

Берлин. Таунтценштрассе, часов девять вечера. Два голоса у меня за спиной.

- Нет, брат, ты что там ни говори, а волос у тебя дрянь.
- А я тебе говорю, волос у меня даже очень хороший.
- Да как же хороший, коли ты лысый?
- Вот то-то и есть, что у меня только нет его. А кабы он был, так был бы очень хороший.
- Чудак человек! Какой же он у тебя хороший, коли его совсем нету!
- А вот такой, что кабы я его брыл, он был бы у меня хороший, а я его не брыл, вот его и нету. Мне так и доктор сказал: волос у вас хороший, да только его нету, потому что вы его не брыли. А кабы вы, говорит, его брыли, у вас, говорит, был бы замечательный волос.

2. Полнолуние

В Париже, в трамвае, двое элегантных мужчин, лет под 50.

– Нет, знаете, в русских женщинах я разочаровался. Вечные претензии, сцены, истерики. Каждая о себе Бог знает что воображает, все вывихи, достоевщина. А иностранка – другое дело. Она вам больше всего хочет создать уют, отдых, семейную обстановку. Вот я сейчас у одной бываю. Придешь к ней – рада, преданна. Так все тихо, хорошо, ласково. Просто – весь мир забываешь. Опрятно так, мягкий диван, ковер, пальма, луна светит...

– Позвольте, откуда ж луна?

– А в потолке. Это отдельно. Луну хозяйка устраивает.

3. Немного литературы

В Мариенбаде. Дама лет 35, отливая бриллиантами, рассказывает подруге:

– Вы представить себе не можете, как бедный мальчик наивен и как меня любит. Он мне Ромэна Роллана дает читать! Вы подумайте, как он меня высоко ставит, что он обо мне воображает, если дает мне – Ромэна Роллана. Я даже пробовала читать. Но не могу, скучно. А он на меня просто молится.

4. Политика

В Париже, в 12 часов ночи, в кафе ужинают в верхнем помещении. Внизу почти пусто. За столиком – трое русских. Двое – лет сорока, третий – старик, отец того, кого я буду называть «первым». Одеты очень хорошо, с виду похожи на петербургских чиновников, но может быть, и купцы. Все трое вполне трезвы.

Первый. Эх, Ваня, будет время – всех жидов на Руси перебьем – и в реку.

Второй. А мы с тобой промеж них плаваем, брат, на катере.

Первый. И песни поем. Ты что думаешь? Обязательно это будет.

Старик. Сначала надо большевиков убрать.

Второй. Большевиков – дело плевое. А вот жида! повозимся, – увертливые.

(Шум наверху. Доносится «Аллаверды» – очень нестройно).

Старик. Здесь этого ничего нельзя. Тут – свобода и равноправие.

Первый. Плевать я хочу на ихнюю свободу.

Старик. В участке не поплюешь.

Второй. Нет, брат, здесь все нации равны.

Первый. А жида не равны. Это не нация, а клопы.

(Шум).

Второй. Постой. К примеру, пришел ты в гости, а рядом с хозяйкой – жид с пейзами. Ты что же? Хозяйке к ручке, а жида в морду?

Первый (мнется).

Второй. Да. Ну, что ты сделаешь?

(Шум).

Второй. Ну, а Ротшильду ты тоже дашь в морду? А?

Первый. Эка, хватил! Ротшильд мне самому в морду даст. Сила, брат, солому ломит.

(Наверху поют «Боже, царя храни» – в разноречии. Ура – слабое. Не повторяют. Пенье вообще не ладится. Один джигит, знакомый компании, сидящей за столиком, сходит вниз. Его угощают портвейном. Он рассказывает о предстоящем турне. Говорит, что нынешний вечер был очень удачен, все работало хорошо. Ему говорят всевозможные комплименты. Он откланивается, идет наверх. Когда он скрывается, разговор начинается снова).

Второй (глядя вслед джигиту). Ну, если нынче они **особенно** хорошо работали, а такая дрянь, – так они – (крепкое слово).

Первый. А я что говорил? Конечно – (то же слово).

Старик. Я думаю, все мы – (то же слово).

(Шум)

Второй. Нет, позволь. Ты зачем же тогда к Скобелеву ходил? Зачем с большевиками заться хотел?

Первый. Ходил и не скрываю. Я им показал вот этот самый бумажник. Набейте, говорю, полный – стану на вас работать, а нет – ну вас к ... Так и разошлись. Мне хоть большевики, хоть возле Шан-де-Марс, после прощального представления джигитов. Джигиты, черти, хоть свя-

тые – давай деньги!

Старик. Так-то оно так...

Первый. Это, конечно, верно...

Сверху – Преображенский марш, окончательно не удающийся. Огни гасят. Я ухожу.

На улице, в соседнем кафе – три человека. Проходя мимо, вижу злобное, истощенное лицо одного из них и слышу его глухую речь, почти шепот:

– Чи в Poker, чи в другое – вы все равно сволочи.

Собеседники смотрят в сторону.

5. Песня без слов

На Плас Пигаль. Светает. Кое-где еще слышна музыка. На тротуарах – запоздалые проститутки. Несколько негров расходятся по домам. У подъездов стоят цинковые ящики с мусором. В одном, поверх всякой дряни, лежит вчерашний букет, не вполне увядший. Негр подходит, рвется, отрывает красную розу, продевает ее в петлицу и идет дальше.

6. В метро

Он. – Мне шестнадцать лет скоро. А сколько вам?

Она. – А мне четырнадцать.

Он. – Вы у папы с мамой одни?

Она. – Одна, но могло быть еще двое: мама два раза аборт делала.

7. День русской культуры

– Нет, что ни говорите, а великий был человек. Я «Полтаву» его, почитай, наизусть знал. Ну, теперь-то забыл, конечное дело. А то, бывало, как пойду чесать: трррр... И до чего же он остроумный был – удивительно. Раз это одевается он у себя, а тут входит одна курсисточка. А он, понимаете, в одной рубашонке. Так он что сделал? Взял конец рубашонки в зубы, да так перед ней и стоит. Да еще говорит: «Извиняюсь, – говорит, – я без галстучка...» Я много чего про него знаю, и всю его жизнь знаю очень хорошо. Выпивоха был, между прочим, отчаянный, – все с гусарами пил. День и ночь пьет, бывало. А только вот вы подумайте, до чего был скор на стихи, трезвый ли, пьяный ли – все одно. Ему нипочем. Вот один раз какой был достоверный факт. Напился это он и валяется на дороге. А Лермонтов-то идет. Увидел его да и говорит, стихами, само собой разумеется:

Чье это безжизненное тело

Лежит на моем пути?

А он, хоть и пьян, как колода, а враз ему прямо из лужи и отвечает:

А тебе какое дело?

Пока морда цела – проходи.

Ну, тут Лермонтов ему сразу первое место и уступил.

8. О театре

- Ну что, интересный вышел спектакль?
 – Ужасно интересный! Представьте себе, Иван Петрович очутился в одиннадцатом ряду рядом с Семеном Марковичем – и ничего, даже потом разговаривали!
 – А как вы нашли костюмы?
 – Вполне порядочные костюмы, мужчины многие были даже в смокингах.
 – Так что в общем – удачный вечер?
 – Очень! Как только вышли – прямо в автобус попали.
 – Ну а все-таки, как играли?
 – Вот играли неважно. Во-первых, уже поздно начали, а потом я сразу без двух на бескозырях осталась.

9. Девушка с приданным

На скамье в Люксембургском саду сидят: старик в высоком крахмальном воротнике и в потертом жакете с ленточкой в петлице; его дочь, лет под тридцать, некрасивая, с бледным лицом и красными руками; застенчивый молодой человек самого благонамеренного вида.

Молодой человек. – Ce qui m'ennuie, c'est que je manque un peu de cadavres...

Старик. – Oh, si ce n'est que cela, je peux toujours vous être utile.

Молодой человек. – Mille fois merci, seulement... je crains vraiment d'abuser...

Старик. – Voyons, ne vous gênez pas. Je ne suis pas tout-puissant en la matière, mais je suis toujours en mesure de vous offrir cinq ou six cadavres bien frais.

Молодой человек. – Encore une fois merci. Je suis tout confus de vous importuner... S'il n'y allait pas des intérêts de la science, vraiment, je n'oserais jamais...

Старик. – Mais non, je vous prie, c'est entendu. Un coup de téléphone, et une heure après vous avez les cadavres qu'il vous faut.

Молодой человек. – Oh, monsieur le professeur, que vous êtes aimable! Malgré tout je n'ose... (К барышне). Monsieur votre père me comble de ses bienfaits.. Ai-je le droit?.. Dois-je accepter?

Барышня. – Mais comment donc... (Вспыхнула). Croyez bien... Soyez sûr que pour vous... Nous sommes toujours prêts de vous servir... Comptez sur nous: nos cadavres sont vos cadavres! ¹⁹

Пожалуй, следуя принципу Ходасевича, можно было бы оставить эти «разговоры» без комментариев, пояснив только, что «К Скобелеву ходил» – означает «на митинг в 1917 году в Москве около памятника генералу Скобелеву» (находился примерно там, где сейчас памятник Юрию Долгорукому), а «Шан-де-Марс» – Марсово поле в Париже. Однако несколько замечаний, касающихся «почти стенографической точ-

ности» записей, пожалуй, все-таки стоит сделать.

Прежде всего это касается четвертого и пятого разговоров, «Политика» и «Песня без слов». В тетради, названной первыми исследователями архива американского архива Ходасевича Дж. Мальмстадом и Р. Хьюзом «коричневой»²⁰, сохранился черновой автограф этих текстов. Наибольшее количество значимых разночтений приходится на «Политику», что и неудивительно ввиду сравнительно большого объема текста, несмотря даже на то, что автограф сохранился не с самого начала.

Отметим в первую очередь, что Ходасевич членит текст строками точек вместо «ремарок». Затем бросаются в глаза проставленные ненормативные ударения: сначала, нации, Ротшильд. Казаки, собирающиеся в Америку, превратились в «джигитов» (в черновике «джигиты») появляются в самом конце, в карточной сценке). В напечатанном варианте ослабленной оказалась инвективная лексика: трижды в черновике читаем «говно», да и понятное ругательство было полнее: «К ... матери».

Но сильнее всего переделка коснулась реплик человека, обозначенного «Первый». Так, в окончательном варианте пропала реплика: «А я тебе говорю – жидов можно бить везде». Был и выразительный обмен мнениями:

2-й. А зачем же ты с ними торгуешь?

1-й. Я их надуваю. С тобой я честно, а жида обязательно надую.

Это, брат, патриотический долг – жида обобрать. Потому – надо их силы лишить.

3-й. Нет, уж если они поганые – так никаких дел с ними.

1-й. То-то ты, папаша, и нищий, а я тебя кормлю. А по мне – деньги так деньги, – были бы деньги. Я его оберу, да ему же в морду.

2-й. Неладно как-то... (Это очень робко).

1-й. Иначе нельзя. Если ты его по морде не будешь бить, он на тебя, как черт, верхом сядет. А надо его бить, морду ему квасить – тогда он тебя почитает, а ты ему карман потроши.

Реплика «Первого» про отношения с большевиками была несколько короче, зато после нее следовали еще реплики, в окончательный текст не попавшие:

2-й. А вот Высоцких за то, что им продали банк, единогласно из Торг<ово>-Пром<ышленного> Союза исключили.

3-й. Единогласно!

1-й. И хорошо сделали. Так им и надо.

2-й. А ты чем лучше? Тогда и тебя, выходит, по шеям надо из-за стола?

1-й. Высоцкие – жида, вот за что. Им позволять нельзя. А я – (крестится) – Вот что. Мне хоть больш<евики>, хоть черти, хоть святые – давай деньги. А жидам, Высоцким разным да Гоцам – нельзя. Их, братец, надобно резать. Эй ты, Гоц, подавай деньги! Он в карман, а я его в эту самую минуту в живот ножом.

«Песню без слов», пожалуй, можно воспроизвести в первом варианте целиком:

Недели две тому назад. Рассвет на Pigalle. На улице одни негры. Один из них подходит к жестяному баку, вынесенному из ворот; в баке, поверх мусора и всяких объедков лежит вчерашний букет, еще не вполне увядший. Негр отрывает красную розу, продевает ее в петлицу и, довольный собой, идет дальше.

Как хорошо видно, переделка чаще всего идет по одной линии: Ходасевич уходит от внешнего комикования и перенасыщенности тем, что уже и так ясно, к сжатости и выразительности. Речь персонажей, сами «разговоры» становятся гибче и свободнее, меньше ориентируются на книжный язык, убирается смешное внешне, но внутренне не оправданное, вроде неверных ударений, уходят забытые подробности (Высоцкие и их банк, Гоц, Торгово-Промышленная палата). Ну и, конечно, излишняя животного антисемита, правдоподобные сами по себе, как художественный факт оказываются лишними. Читателю и так все про него ясно, дальше можно не развивать. А в «Песне без слов» убираются авторские пометы («недели две тому назад») и собственные оценки («довольный собой»), зато проясняется ситуация для тех, кто не знает, что такое Place Pigalle, и возникает каламбур (в первом варианте слово «отрывает» однозначно понималось как производное от «рвать»; во втором же, соседствуя с «роется», оно становится двусмысленным).

Вероятно, следует добавить и пару рассуждений собственно литературных. В «Дне русской культуры» фраза: «А то, бывало, как пойду чesать: трррр...» – явно заимствована из «Ревизора»: «Я только на две минуты захожу в департамент с тем только, чтобы сказать: это вот так, это вот так! а там уж чиновник для письма, эдакая крыса, пером только: тр, тр... пошел писать» (Действие третье, явление VI). А «Песня без слов», возможно, оказала влияние на оценку, данную Ходасевичу «Распаду атома» Г. Иванова. Напомним, что в начале этого произведения сталкиваются помойное ведро (с подробным описанием его содержания), проститутки и «пожилой господин с розеткой». Ходасевич дал такую оценку этим описаниям: «Свои неизящные образы Георгий Иванов умеет располагать так изящно, до такой степени по всем правилам самой благонамеренной и общепринятой эстетики, что <...> все эти окурки, окровавленные ватки и дохлые крысы выходят у него как-то слишком ловко, прилизанно и в конечном счете почти красиво» (Ходасевич. Т. 2. С. 415). Так и кажется, что эта оценка дана с оглядкой на то, как сам Ходасевич, сжато и отстраненно писал о том же.

ПОДРАЖАНИЯ ДРЕВНИМ

Это эпиграмматический цикл, который остался в рукописи²¹, записанный на одном листе бумаги, по большей части карандашом, большинство стихотворений зачеркнуто. Частично и в разрозненном виде он был напечатан Дж. Мальмстадом и Р. Хьюзом в первом томе американ-

ского собрания сочинений²². Эти эпиграммы смешны и сами по себе, но события, которые имеются там в виду, уже основательно забыты. Поэтому развернутый комментарий тут представляется необходимым. Само название «Подражания древним» заимствовано Ходасевичем у Пушкина, однако у того были эпиграммы антологические, действительно подражающие античным. Для современного поэта «древностью» оказывается русская поэзия XVIII-XIX вв. (Ломоносов, Батюшков, Пушкин, Тютчев), а также Гете, но и сами эпиграммы понимаются так, как понимались в это время – острая и резко современная шутка, «окогченная легунья», по слову Баратынского. При этом Ходасевич использует дозволенную традицией вольность «ради красного словца не жалеть и родного отца»: в нескольких эпиграммах каламбурные ходы находятся на грани пристойности. Напомним, что именно поэтому и классические эпиграммы зачастую невозможно было напечатать в свое время. Классический пример – две эпиграммы Пушкина на перевод гомеровской «Илиады», выполненный Н.И. Гнедичем. Одна из них антологическая, в духе античной:

Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи,
Старца великого тень чую смущенной душой.

А рядом с ней появилась другая, обидная и несправедливая:

Крив был Гнедич поэт, преложитель слепого Гомера.
Боком одним с образцом схож и его перевод.

Пушкин густо замарал ее и никогда, естественно, не печатал, словно стараясь вычеркнуть из памяти недостойный поступок. Но ведь все же он ее написал. Что его вело? Логика жанра (эволюция эпиграммы от краткого, часто возвышенного сжатого изречения к столь же краткому комическому стихотворению, основанному на остроте), логика широкого поэтического взгляда, позволяющая увидеть разные стороны явления, логика «литературной шутки». Самые разные поэты создают такие тексты, где разностороннее явление повернуто только одной стороной, временами незаслуженно обидной. Но через десяток-другой лет, когда персонажи уходят из жизни, остроты утрачивают личную обидность, сохраняя всю прелесть каламбура, шутки, иронии.

Как кажется, именно таков случай Ходасевича, шедшего по стопам поэтов пушкинской поры не только в серьезных своих стихотворениях, но и в шуточных.

1

В Академии Наук
Заседает князь Дундук –
А у нас их <тридцать> шутку

Отчего же их в Европе
Стало столько заседать?
Оттого, что каждой ж - - е
Нужно было место дать.

2

Ты помнишь, что изрек,
Прощаясь с жизнью, седой Мельхиседек?
«Не довелось дожить, – промолвил он сурово, –
До новой свадьбы Милюкова».

3

Все изменилось под нашим зодиаком:
Уж Глебом стал Борис, а Вера стала раком.

4

С тех пор, к<a>к стал Антоний в моде,
Евлогий сумрачно глядел –
И никого во всем приходе
Благословить он не хотел.

5

Песчинка как в морских волнах –
Так он в Раисиных грудях.

<6>

Дарует небо человеку
Замену зол и частых бед.
Абрам Гукасов Казем-Беку
Дал <восемь> франков на обед.

<7>

Ива́нов! Если ты с Ириной
Был счастлив хоть бы миг единый, –
Скажи судьбе: «Не помню зла!»
За все благодарю я небо –
Она, как ветреная Геба,
[Кормя Зевесова орла,
И мне немножечко дала.

<8>.

Милюков: Gieb meine Jugend mir zurück!
Могилевский: Верни мне деньги, о Зелюк!

<1930-е гг.>

1.

Парафраз эпиграммы Пушкина, начинающейся теми же строками (1835). *Князь Дундук* – кн. Михаил Александрович Дондуков-Корсаков (1794–1869), вице-президент Российской Академии наук. В письме к

А.Л. Бему от 6 ноября 1935, рассказывая о деятельности парижского Пушкинского Комитета, Ходасевич писал: «...на заседаниях Комитета мне все хочется предложить, чтобы почтили вставанием память кн. М.А. Дондукова-Корсакова. Боюсь только, что не поймут, в чем дело, да и согласятся» (Янгиров Рашит. Пушкин и пушкинисты: По материалам из чешских архивов // Новое литературное обозрение. 1999. № 37. С. 195; Ливак Леонид. Критическое хозяйство Владислава Ходасевича // Диаспора: Новые материалы. Париж; СПб., 2002. [Т.] IV. С. 439). В примечании к своей публикации Р.М. Янгиров ссылается также на воспоминания подруги поэтессы А.С. Головиной И.Б. Соколовой: «Теперь о Ходасевиче. Он пестовал молодых поэтов, считался непререкаемым авторитетом. В беседе был весел, остроумен, любил посмеяться. “Возьми карандаш, пиши, а то забуду, и это нигде не напечатано”, – как-то сказала мне Алла во время разговора о Ходасевиче:

Все куплю! – сказало злато,
 Все возьму! – сказал булат.
 Уходи! – сказало злато,
 И уйду! – сказал булат.

А то вдруг:

В Академии наук
 Заседает князь Дундук.
 Почему такая честь?
 Потому что ж... есть!
 А в Париже тридцать шесть! –

Последняя строчка, приделанная Ходасевичем к эпиграмме Пушкина, требует пояснений. В Париже в 1937 году, к столетию гибели Пушкина был образован комитет по организации «Пушкинских дней», в него входил и Ходасевич. Потом он с ними разругался и ушел, их было 37, а осталось 36!

Или еще: была в Париже такая весьма наивно-сентиментальная поэтесса с громким псевдонимом Любовь Столица:

Знать, Столица та была
 Недалеко от села»

(Головина Алла. Вилла «Надежда»: Стихи.
 Рассказы. М., 1992. С. 357-358).

Нетрудно заметить, что младшая подруга Головиной (или она сама) делает ошибки: и деятельность Пушкинского Комитета относилась к более раннему времени (столетие гибели Пушкина отмечалось в январе 1937 года, а Комитет должен был, конечно, начать свою работу заранее), и Любовь Столица к Парижу не имела ровно никакого отношения, а жила в Софии (Ходасевич же знал ее еще с предреволюционной Москвы), и первый экспромт не принадлежит Ходасевичу (См.: Толстой А.К. Полн. собр. стих.: В 2 т. Л., 1984. Т. 1. С. 403). Однако совершенно очевидно, что именно деятельность этого Комитета и стала объектом издевки поэта.

2.

Ты помнишь, что изрек, Прощаясь с жизнью, седой Мельхиседек? – неточная цитата первых двух строк из стихотворения К.Н. Батюшкова «Ты знаешь, что изрек...» (1821), последнего стихотворения, написанного им до начала душевной болезни. Однако «метафизический намек» относится к тому, что в 1935 году один из наиболее известных политических деятелей эмиграции Павел Николаевич Милуков (1859–1943) овдовел и вскоре вновь женился.

3.

В автографе к слову «Вера» сделано примечание: «Вера Зайцева», впоследствии густо зачеркнутое. Парафраз двустипии, приписывавшего Пушкину: «Все изменяется под нашим зодиаком: / Лев Козерогом стал, а Дева стала Раком». Ходасевич относит стихотворение к Борису Константиновичу (1881–1972) и Vere Алексеевне (1879–1965) Зайцевым, которых знал еще с московских времен. Отметим, что в одном из «дон-жуанских списков» Ходасевича фигурирует «Вера (3.)»²³, которую, видимо, можно отождествить с В.А. Зайцевой. *Уж Глебом стал Борис* – намек на повесть Б. Зайцева «Путешествие Глеба. I. Заря» (Берлин, 1937).

4.

Антоний (Храповицкий, 1864–1934) – митрополит, глава Синода русской зарубежной церкви. *Евлогий* (Георгиевский, 1868–1946) – митрополит, глава западноевропейского экзархата, назначенный патриархом Тихоном. *И никого во всем приходе / Благословить он не хотел* – парафраз строк А.С. Пушкина: «И ничего во всей природе / Благословить он не хотел» («Демон», 1823). События, лежащие в основе стихотворения, связаны с кризисом в зарубежной русской православной церкви и борьбой за влияние двух ее предстоятелей на паству.

5.

Песчинка как в морских волнах – из стихотворения М.В. Ломоносова «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния» (1743). *Он в Раисиных грудях* – речь идет о поэтах (и историках) Михаиле Генриховиче Горлине (1909–1943) и Раисе Ноевне Блох (1899–1943), друзьях Ходасевича, к которым обращены многие его шуточные стихи.

<6>.

Ст. 3–4 первоначально читались: «Раз в Монте-Карло Казем Беку / Гукасов предложил обед. *Дарует небо человеку / Замену зол и частных бед* – из «Бахчисарайского фонтана» А.С. Пушкина. *Абрам Осипович Гукасов* (1872–1969) – предприниматель, финансист, владелец нефтяных приисков, издатель газеты «Возрождение» (1925–1940), в которой Ходасевич сотрудничал. *Казем-Бек* Александр Львович (1902–1977) – лидер правой партии «Союз младороссов»; в 1956 вернулся в СССР.

<7>.

Первоначальный вариант эпиграммы:

Сказал Иванов, глядя в небо:
Ирина, право же, мила:
Она, к<а>к ветреная Геба,
Кормя Зев<есова> орла,
Разок-другой и мне дала.

Во втором варианте ст. 1-3 читались:

Под шум грозы в начале мая
Иванов, <небо?> созерцая,
Сказал: Ирина так мила!

Иванов – поэт, прозаик, мемуарист Георгий Владимирович Иванов (1894–1958), отношения с которым для Ходасевича были весьма важны (подробнее см.: Богомолов Н.А. Русская литература первой трети XX века. Томск, 1999. С. 376–391; Арьев А. Ю. Ничья: Письмо и открытка Георгия Иванова Владиславу Ходасевичу // Зарубежная Россия. 1917–1939 гг.: Сб. статей. СПб., 2002. Кн. 2. С. 277–280). *Ирина* – его жена, поэтесса Ирина Владимировна Одоевцева (1895–1990). Ходасевич использует многие образы стихотворения Ф.И. Тютчева «Весенняя гроза» (1828, начало 1850-х).

<8>.

Первоначально планировались названия: «Ночь в редакции П<оследних> Н<овостей>», «Голоса в ночи». У ст. 2 существует равноправный вар.: «Где наши денежки, Зелюк?» (Ходасевич не зачеркнул ни тот, ни другой, объединил фигурной скобкой и поставил вопросительный знак). П.Н. *Милуков* был главным редактором парижской газеты «Последние новости». *Могилевский* Владимир Андреевич (1879–1974) – заведующий конторой и бухгалтер «Последних новостей». *Зелюк* Орест Григорьевич (1888–1950) – журналист и издатель, владелец типографии «Франко-русская печать», печатавшей «Последние новости». *Gieb meine Jugend mir zurück!* (Верни мне мою молодость! – нем.) – слова из «Фауста» Гёте, использованные Пушкиным как эпиграф к стихотворению «Таврида» (1822). Вероятно, в стихотворении идет речь о событиях, описанных Андреем Седых в письме декабря 1935 года: «Слухи о Зелюке в общем правильны. Он обанкротился. Пассив достигает 2 миллионов. Не имея денег, он слишком развернул дело, купил на 800 тысяч машин, дал большой кредит заказчикам и попал в руки ростовщиков. Подвел он не «П<оследние> Н<овости>», а нашего администратора В.А. Могилевского, который наивно выдавал ему дружеские векселя, не проставляя на них суммы. Проставлял Зелюк. Проставлял так хорошо, что Могилевскому представили к оплате на 140.000 франков опротестованных векселей. Бедняге пришлось заложить свою дачу, занимать направо и налево. <...> Словом, Могилевский вывернулся. А что будет с Зелюком – не могу сказать. Он очень запутан» (Письмо М.С. Мильруды, около 15 декабря 1935 // Абызов Юрий, Флейшман Лазарь, Равдин Бо-

рис. Русская печать в Риге: Из истории газеты *Сегодня* 1930-х годов. Stanford, 1997. Кн. IV: Между Гитлером и Сталиным. С. 188).

3. НЕОКОНЧЕННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ РАССКАЗ

Среди разнообразных материалов В.Ф. Ходасевича, хранящихся в Бахметевском архиве Колумбийского университета²⁴, есть несколько листов, складывающихся в конце концов при ближайшем рассмотрении во вполне осмысленное сочинение.

Это план и черновик текста рассказа, посвященного событиям в Петербурге конца 1825 года, увиденным глазами постороннего им человека, почти случайно попавшего в город в те самые дни. Судя по всему, Ходасевич готовился написать его то ли к столетию восстания (14 декабря старого стиля 1925 года), то ли к столетию казни осужденных декабристов (13 июля, тоже старого стиля, 1926 года). Об этом свидетельствует запись под планом: «{600} 1000 строк»²⁵. Она означает, что Ходасевич явно предполагал написать рассказ по заказу какой-то газеты, с которой постоянно сотрудничал (то ли «Последних новостей», если речь идет о 1925 году, то ли «Дней», если о следующем).

Собственно говоря, материалы таковы. Прежде всего – краткий план рассказа. Он довольно понятен:

- 1) Приезд. Письмо к матери.
- 2) Служба. « « «²⁶
- 3) Приятель « « «
- 4) Пирушка « « «
- 5) {Стихи П<ушкина> и Р<ылеева> « сестре}
- 6) Философия (любовь) « «
- 7) Стишки в альбом
- 8)
- 7) Смерть А<лександра> I « к матери
- 8) Стихи «П<ушкина>» и Р<ылеева> – к сестре
- 9) 14 дек<абря> — « « «
- 10) О женитьбе – матери
- 11) В альбом {стишки} проза
- 12) О невесте – к матери
- 13) Свадьба – к матери
- 14) Мечты об отст<авке> – «
- 15) 13 июля – «
- 16) Посещ<ение> Пушкина « «

Итак, перед нами преимущественно эпистолярный рассказ²⁷, причем письма делятся на два разряда: к матери (более официальные и сдержанные) и к сестре (более откровенные и касающиеся тем, которые с матерью обсуждать было бы щекотливо). В этих письмах два плана: с одной стороны – находящееся на поверхности: приезд провинциала в Петербург, устройство на службу, обзаведение знакомыми, знакомство

с потаенными стихами (то ли подлинного Пушкина и Рылеева, то ли Пушкина в кавычках, то есть дубиального или вообще мнимого), параллельно с этим начинающееся увлечение некоей девицей, события 14 декабря, описанные сторонним наблюдателем, сразу же после них – просьба о разрешении на женитьбу, свадьба, отставка... С другой стороны – то, что нам, глядящим из исторического далека, кажется в этом времени самым главным: распространение декабристских идей, само восстание, казнь приговоренных – и, конечно, Пушкин.

Далее следует план более разработанный. Ходасевич делит лист пополам, справа идут 13 пунктов развития повествования, а слева – их приблизительное содержание и (не всегда) хронологическое прикрепление к определенной исторической дате. Чтобы избежать типографских трудностей, мы воспроизводим пункты в виде отдельных абзацев, выделяя записи с левой стороны листа полужирным шрифтом. Время, к которому относится письмо, отделено от остального текста тире.

1. **Приезд в П<етер>б<ург>. Письмо к матери.** Пост<оялый> двор. Первое посещ<ение> покровителя. {Квартира}. 2-е <посещение покровителя>. Квартира. {Департ<амент> горн<ых> и сол<яных> дел. Жал<ованье> – 700 р. (540 ?)}. Обещание места. – Нач<ало> сентября.

2. **Служба. Письмо к матери.** – (начало октября). {{Серьезное}}

3. **Знакомства. Приятели. Z. Его сестра. (K сестре).** Театр? (Девица Z). {Морозов, III, 13. (7 ноября. Трилогия «Финн»)} {[Письмо 8-го нояб.]} [1 ноября].

4. **Пирушка: Открытие! (K сестре).** Пьян от заговора и от любви. Провожал. Вернувшись, начал дневник. [Было 7-го. Письмо 8-го]. Не пошел в деп<артамент>.

5. **Стихи в альбом девицы Z.** – [15 ноября].

6. **Смерть Ал<ексан>дра I (K матери).** Намеки о девице. [около 2 декабря]. (сверить).

7. **Стихи П<ушкина> и Р<ылеева> (K сестре).** Шумим. – [Около 22 дек<абря>....] (Сверить). Пушкин прискакал из Одессы.

8. **14 дек<абря>. Из дневника.** – [14 дек<абря>, веч<ером>].

9. **Просьба о женитьбе.** Также (кратко) о 14 дек<абря>. С наступ<ающим> Р<ожеством> X<ристовым> и Нов<ым> годом. – [19 декабря].

10. **Благодарн<ость> за разреш<ение>. Извещ<ение> о свадьбе. Приятные хлопоты. Приписка нев<есты>. [K сестре?].** Свадьба назнач<ена> на <не дописано>.

11. **Описание свадьбы. Приписки жены. Обещ<ание> приехать на рожд<ество> и Нов<ый> год. (K матери).**

12. **Молебен. Беременность (K матери).** – (13 июля 1819). А<лександр> I – Н<иколай> I.

13. **Пушкин. (Запись).**

Кажется, здесь пояснений нужно несколько больше.

В первом пункте следует отметить название департамента (как увидим далее, в сохранившемся фрагменте текста оно отсутствует): в департаменте горных и соляных дел должен был по первоначальному

замыслу Гоголя служить Акакий Акакиевич Башмачкин. Третий пункт отсылает к тексту, напечатанному в том самом собрании сочинений Пушкина, про которое Ходасевич сказал: «Но: восемь томиков, не больше, – И в них вся родина моя»: «Поэма Пушкина <”Руслан Людмила”> еще при жизни автора неоднократно служила материалом для театральных представлений. Так, кн. А. А. Шаховской обработал один ее эпизод – отношения Финна к Наине – в виде волшебной трилогии “Финн”, в стихах (представлена в Спб. 7 ноября 1824, в Москве – 26 июня 1831, см. Молву 1831, № 26); танцор и балетмейстер при московском театре Глушковой, ученик знаменитого Дидло, сделал из “Руслана” – “героико-трагическую пантомиму” (представлена в Москве 15 мая 1831, см. Молву, № 20), а Дидло – большой балет, представлен в Спб. 8 декабря 1824: “Руслан и Людмила, или низвержение Черномора, злого волшебника”»²⁸. Слово «Шумим» в пункте 7, скорее всего, намек на известную реплику Репетилова в «Горе от ума»: «Шумим, братец, шумим...». Однако фраза «Пушкин прискакал из Одессы» дешифровке не поддается: на самом деле Пушкин прибыл из Одессы в Михайловское 9 августа 1824 г.²⁹ Столь же загадочен и 12-й пункт: дата 13 июля, безусловно, указывает на день казни декабристов, однако год решительно неверен. Должно ли здесь подозревать опisku или же отсылку к какой-то дате, памятной герою, случившейся за 7 лет до казни? Столь же непонятно и сопоставление двух царей, содержащееся в нем. Единственное гипотетическое объяснение, которое могло прийти нам в голову, – 13 июля 1819 года герой или его родители каким-то образом столкнулись с покойным царем, а теперь он по совпадению дня сопоставляется с нынешним.

Впрочем, обратим внимание на то, что Ходасевич явно намеренно перемещает события, даты которых он заведомо знал. Скорее всего, он расчетливо собирался отказаться от хронологической дотошности ради каких-то художественных эффектов. Не исключено, однако, что это должно было свидетельствовать о фальсификации «документов» и каким-то образом послужить доказательством вымышленности всей истории. Сейчас это сказать уже вряд ли возможно.

Наконец, сохранились уже написанные тексты пунктов 1 и 5. Приводим их:

I

Санкт-Петербург, 6 Сентября 1825 года.

Бесценная Маменька и любезнейшая Сестрица! Прибыв вчерашнего числа в Санкт-Петербург, первейшим долгом считаю не медля уведомить Вас о том. Здоровье мое, слава Богу, в отменнейшем состоянии, хоть изрядно порастрясло и денег поиздержалось более противу расчета. Надеюсь, однако же, бережливостью наверстать утраченное. Заехал я покамест на постоялый двор купца Курдюкова, но сие лишь до времени. Нынче же поутру, побывав у обедни, отправился я, любезная Маменька! к Семену Андреевичу Лобачеву, коему вручил письмо Ваше, и был об-

ласкан как нельзя более. Живут они презрительно, однако ж Семен Андреевич страдает одышкой уже пятый год. Прочитав о кончине незабвенного Родителя, он был опечален даже до слез. Впрочем, тут же меня обнял, как и почтеннейшая Евдокия Карповна. Знакомство с ихним семейством отныне буду я почитать счастьем, коего не заслужил сам, но единственно приобрел добродетелями Родителей. После слез, пролитых с обеих сторон, усажен я был Евдокией Карповной за фрыштик и распрошен о Вас, дорогая Маменька! о сестрице и обо всем. При каковом случае Семен Андреевич не раз еще восклицал: «Ах, Фома Иванович, Фома Иванович! Жаль, не довелось нам больше увидеться! Ну, Царство ему Небесное!» Сведая, что мне уже двадцать третий год, спросил, служу ли. Тут я ему доложил с учтивостию, что прибыл в намерении принести пользу Отечеству в службе гражданской, но места еще не имею и в сей нужде прибегаю к его попечению. При сих словах Семен Андреевич отчасти нахмурился, изъяснив, что дело не легко найти службу и что в его Департаменте яблоку упасть негде от молодых чиновников. Взял, однако же, батюшкин послужной список и объявил, что *надо похлопотать для такой оказии* и чтоб я наведался чрез неделю. При прощании Евдокия Карповна успела, однако же, мне шепнуть, что *служба для меня сыщется*, и я уповаю, что с Божией помощью все будет к благополучному концу. Наказано кланяться Вам от обоих. Впрочем, о всем последующем <не> примину <так!> Вам отписать, с чем и остаюсь, прося Вашего родительского благословения и целую Ваши ручки,

ваш послушный сын

{Василий}

Иван Панышин.

Сестрицу Лизаньку целую бессчетно и прошу не забывать. О столице ей буду писать особо. Она еще не сделала на меня впечатления.

[На обороте]: Ея Высокоблагородию Милостивой государыни Варваре Петровне Панышиной. Смоленской губернии в гор<од> Дорогобуж. Для доставления в сельцо Панышино.

VI

(Из альбом Веры Александровны Семячкиной)

Когда б сама явилась Пери
В волшебном предо мною сне,
Остался б я при прежней вере,
Что *Vera* всех милее мне.

И<ван> П<аньшин>

Санкт-Петербург,
1825 года,
ноября 15 дня.

Судя по всему, больше ничего написано и не было. Кажется, у нас есть основания для того, чтобы строить догадки о причинах нереализа-

ции плана.

Вероятнее всего, уже проделав немаленькую работу, Ходасевич понял, что весь его рассказ полностью укладывается в схему, не раз опробованную русскими прозаиками уже в прошлом десятилетии. Известно, что он весьма дружил с Б.А. Садовским, не раз такую схему и отдельные ее элементы использовавшим. Так, наиболее сходный вариант – рассказ «Из бумаг князя Г.» (1909), состоящий из дневниковых записей, писем, наставлений (более всего напоминающих Прутков), «Листков из семейного альбома». Запись о Пушкине, у которой Ходасевича не дошли руки, вполне могла быть, скорее всего, напоминать «Три встречи с Пушкиным» (1914) Садовского. Ну и, наконец, судьба декабристов глазами рядового солдата, в бунте не замешанного, стала предметом рассказа «В двадцать пятом году» (1913)³⁰. Как бы ни относился Ходасевич к газетной поденщине, все-таки проза не могла не быть для него существенным литературным фактом, и об ее качестве стоило задуматься. Вторичность всей конструкции и заставила, скорее всего, отказаться от вполне тщательно продуманного замысла.

4. ДВА ПУШКИНСКИХ ЗАМЫСЛА

О том, какую роль играли исследования жизни и творчества Пушкина в жизни В.Ф. Ходасевича, известно давно и хорошо. Существует специальная небольшая книга об этом³¹, существует отличное издание этих работ (хотя последний том из трех предполагавшихся еще не вышел в свет)³², опубликован ряд писем, связанных с подобными занятиями поэта³³. И вместе с тем находки в данной сфере еще вполне возможны. Две из них мы предлагаем вниманию юбиляра и читателей. Оба черновых наброска хранятся: Columbia University Libraries. Bakhmetieff Archive Ms Coll M.M. Karpovich. Folder 2 (27) и занимают в этой единице хранения первые два листа. Довольно простые хронологические соображения заставляют нас отнести замыслы к 1937 году. Terminus ante quem первого замысла – гибель С.Я. Гессена 25 января 1937 г., однако вне юбилейного контекста начала этого года статья не имела бы смысла³⁴; второй же и вовсе связан с разбором газет начала февраля.

1

На первый взгляд, одна из статей должна была называться довольно эзотерически. Но для читателя тридцатых годов ассоциация была совсем ясной. Одним из самых громких археологических открытий XX века стало обнаружение захоронения фараона Тутанхамона в 1922–1923 гг. Экспедиция под руководством английского археолога Говарда Картера (1873–1939) после долгих поисков и раскопок нашла гробницу, не подвергшуюся ограблению и потому сохранившую все громадные богатства, полагавшиеся покойному императору, и вместе с этим – массу материалов, связанных с культурой древнего Египта. Однако в 1923 г.

после смерти финансировавшего экспедицию лорда Джорджа Карнавона стала возникать легенда о «проклятии гробницы» фараона. Она не подтверждена фактами (прежде всего сравнительно долгой жизнью самого Картера), но была широко распространена, в том числе и в прессе.

Совершенно очевидно, что Ходасевич хотел уподобить прикосновение к наследию Пушкина этому самому «проклятию гробницы». Начинает он со списка не доведенных до конца изданий, и нужно признать, что список этот выглядит достаточно внушительно. Но следует ли напоминать, что вообще обращение к творчеству Пушкина не располагало к торопливости, а тем более – когда речь шла о капитальных изданиях, претендовавших на то, чтобы остаться надолго. Самый недавний и самый наглядный пример – новейшее академическое издание, готовящееся Пушкинским Домом. Единственное фундаментальное издание, которое было доведено до относительного окончания, – т.н. «большое академическое» собрание сочинений, но об обстоятельствах его создания и о коренных недостатках, вызванных абсолютно неправомочными требованиями, а также фактическим приказом о прекращении работы, известно слишком хорошо, чтобы тут имело смысл повторяться³⁵.

Нам нелегко сказать, знал ли Ходасевич какие-либо интимные причины прекращения выхода примечаний В.И. Саитова к «Остафьевскому архиву», его же примечаний к «Переписке Пушкина», невыхода третьего издания «Трудов и дней» Н.О. Лернера, или вполне ограничивался общеизвестным. Так, в краткой предуведомительной заметке издателей и в предисловии «От редактора», т.е. П.Н. Шеффера к пятому тому «Остафьевского архива» было дано такое объяснение: «Переписку эту В.И. Саитов обставляет примечаниями, для которых им использован огромный материал и которые нередко разрастаются в самостоятельные биографии и целые разыскания по отдельным вопросам. Практика показала, однако, что даже для В.И. Саитова, с его знаниями и его опытом, нужно было *девять* лет, чтобы издать *такие* примечания ко II-му и III-му томам “Переписки кн. П.А. Вяземского с А.И. Тургеневым”³⁶. Ввиду этого пред издателями “Остафьевского Архива” неизбежно должен был возникнуть вопрос, следует ли примириться с тем, что обнародование Остафьевских материалов затягивается на очень продолжительное время, или же нужно несколько упростить комментарий к материалам, приблизив “Остафьевский Архив” к типу периодических изданий. Издатели считали более правильным принять последнее решение; редактор мог только всецело присоединиться к нему»³⁷. Судя по тому, что автор примечаний выражает благодарность Саитову, он особенно не кривил душой. Впрочем, мы не можем исключить у Ходасевича и знаний более глубоких.

Несколько более внимательно следует отнестись к списку людей, которые, занимаясь Пушкиным, слишком рано уходили из жизни. В какой-то степени это перечисление может быть признано параллельным известному списку, который Ходасевич положил в основу статьи «Кровавая пицца». Но если там у него была масса материала (и советская эпоха готовилась подбросить еще больше нового), то здесь список был весьма ограничен. Смерти членов редакции старого академического

собрания сочинений вряд ли можно назвать неожиданными, хотя некоторые из них и пришлось на голодные первые советские годы. Но и то – Д.Ф. Кобеко умер в 71 год, И.А. Шляпкин – в 60, С.А. Венгеров – в 65, П.О. Морозов – в 66, разве что смерть А.А. Шахматова в 56 лет можно признать явно преждевременной³⁸. Отмеченная Ходасевичем «не старость» В.Я. Брюсова в момент смерти (скончался в 51 год) была обусловлена не только болезнями, но и, о чем Ходасевич прекрасно знал, тяжелой наркоманией.

Почти так же обстоит дело с теми, кто был упомянут среди безвременно умерших в более позднее время. П.Е. Щеголев, человек далеко не здоровый, все-таки прожил до 54 лет, то есть на год больше чем проживет сам Ходасевич, Б.Л. Модзалевский – до того же возраста, Н.О. Лернер – до 57, Горький – до 68. Лишь смерти кн. Олега Константиновича, А.С. Полякова да С.Я. Гессена в полной степени являются безвременными. Не случайно поэтому Ходасевич вносит в свой список Н.А. Сияновского (о котором биографических данных не было ни у него, ни у позднейших исследователей) и даже А.С. Долинина, который спокойно здравствовал, а в 1938 году даже издал книгу «Русские писатели XIX века о Пушкине». Мало того. Практически все литературоведы, входившие в состав редакционной коллегии большого академического собрания сочинений и готовившие отдельные его тома, прожили довольно долгую жизнь. С.М. Бонди умер в 92 года, Д.Д. Благой – в 91 год, Л.Л. Домгер – в 90, М.П. Алексеев – в 85, Т.Г. Цявловская – в 81, Н.К. Гудзий и Н.В. Измайлов – в 78, Ю.Г. Оксман – в 75, Б.В. Томашевский – в 66, М.А. Цявловский – в 64. Вас.В. Гиппиус (52 года) и В.Л. Комарович (48 лет) погибли в блокаду, и только скончавшиеся в 51 год Г.О. Винокур, в 46 лет Л.Б. Модзалевский и в 43 – Д.П. Якубович по праву могли бы войти в список Ходасевича.

Другое дело, что он мог бы помянуть их в другом контексте, также зафиксированном «Кровавой пищей»: в 1924 году арестовывался Б.Л. Модзалевский, в начале 1930-х – Н.О. Лернер, к 10 годам лагерей был приговорен Ю.Г. Оксман (отсидел несколько меньше); 5 лет в тюрьме и лагере провел Н.В. Измайлов, был арестован и затем выслан В.Л. Комарович. Из других знакомых Ходасевичу пушкинистов к 10 годам концлагеря был приговорен М.Д. Беляев, высылались так или иначе сотрудничавшие с Пушкинским Домом (где Ходасевич занимался) П.Е. Рейнбот, В.А. Рышков, Б.И. Коплан, П.М. Устинович, Г.П. Блок. Н.О. Лернер в 1920 и начале 1930-х годов оказался в «материально и морально ужасном положении асоциального маргинала»³⁹. И хотя, по словам очевидца, «...расправы не коснулись, после искупительной жертвы Оксмана, пушкинистской семьи»⁴⁰, на деле это относилось скорее к периоду после 1936 года. Более ранние и более «вегетарианские» времена были к ним не столь снисходительны.

Хотя в плане впрямую об этом не говорится, мы можем также предположить, что Ходасевич мог бы осторожно затронуть еще одну деликатную тему, которой весьма интересовался. Личные взаимоотношения пушкинистов представлялись ему весьма важными, в особенности потому, что тогдашний характер состояния источников требовал хорошего знания частных коллекций и не формализованных знаний,

оставшихся достоянием ученых и собирателей. Картотеки Модзалевского и Сайтова, собрания Бухгейма и Рейнбота, возможность получить справки у Цявловского или Щеголева необходимо было учитывать сколько-нибудь серьезному ученому. В письмах и воспоминаниях Ходасевича мы находим не только добрые слова о Гершензоне или Беляеве, но и такие характеристики: «С Пушкинским Домом не ладится у меня. Уважаю, понимаю – но мертвечинкой пахнет. <...> Кроме того – Гофман уж очень пушкинист-налетчик, да Котляревский – ужасно видный мужчина, и все для него несомненно. А Модзалевский хворает. Лернер, простите, глуп. Самый тонкий человек здесь Щеголев (по этой части), да и в нем 7 пудов весу»⁴¹. Или в другом месте: «Передайте Мстиславчику <М.А. Цявловскому>, что Модест Гофман наделал по отношению к Онегину, *покойному*, таких же штук, за какие Боратынского исключили из учебного заведения. И еще бегает по городу и всем хвастается! Мне кажется, впрочем, что он не совсем нормален и все это кончится лечебницей»⁴². Эти примеры безо всякого труда могут быть преумножены. И при этом кажется несомненным, что Ходасевич в общем своем отношении к современной пушкинистике исходил из положения, позднее высказанного Л.Л. Домгером: «Здесь не мешает упомянуть о своеобразной традиции пушкинизма, завещанной дореволюционным пушкиноведением советскому. Традиция эта – взаимная вражда, начало которой положили ее первые ”пушкинисты” – П.И. Бартенов и П.В. Анненков, люто ненавидевшие друг друга. П.А. Ефремов враждовал с П.О. Морозовым, П.О. Морозов – с В.Е. Якушкиным, П.Е. Щеголев – со всеми ”писателями по пушкинским вопросам”. <...> Заметный антагонизм наблюдался между московскими и петроградскими пушкинистами, а последние, в свою очередь, враждовали между собой»⁴³. Об этом свидетельствует, в частности, то, что Ходасевич должен был быть одним из третейских судей в деле об инциденте между Н.О. Лернером и Б.Л. Модзалевским⁴⁴.

Но в общем понятно, что объективного материала для задуманной и отчасти продуманной статьи у Ходасевича не хватило, почему она так и не была написана.

Тутанкамон

Акад<емическое> изд<ание> – <Т.> I, II, III, XI – до революции. Умирали ред<акторы>ры и члены ред<акционной> коллегии: Л.Н. Майков, И.Н. Жданов, В.Е. Якушкин⁴⁵, Ф.Е. Корш, А.Н. Веселовский, А.Н. Пыпин, П.Я. Дашков, Д.Ф. Кобеко, И.А. Шляпкин, А.А. Шахматов – до революции⁴⁶.

Перепи́ска акад<емическая> под ред. В.И. Сайтова осталась без комментария. Отказ от работы до революции⁴⁷.

Остафьевский архив – отстранение Сайтова, изм<енен> план, оборвана работа⁴⁸.

Изд<ание> Венгерова. 6 томов, спешный 6-й – без ист<ории> текста, к<ото>рая вовсе не вышла – смерть Венгерова⁴⁹.

«Пушкинист» – 2 вып. – смерть Венгерова⁵⁰.

Брюсов – сов<етское> изд<ание> 1-й вып. 1-го тома⁵¹ – смерть⁵²

- («Мой Пуш<кин>» – посм<ертно>, приблизит<ельно>) ⁵³.
 <Скобка, написано: Молодые>
 Кн<язь> Олег Конст<антинович> ⁵⁴.
 А.С. Поляков ⁵⁵.
 Долинин (Искоз) ⁵⁶.
 С.Я. Гессен – за [неделю] 2 недели до юбилея (26 Янв<аря>) ⁵⁷.
 Достоевский – посл<еднее> общ<ение> с публ<икой> ⁵⁸.
 Блок – то же (Его стихи – П<ушкинско>му Дому) ⁵⁹.
 Б.Л. Модзалевский – во вр<емя> раб<оты> над 3<-м> т<омом> пи-
 сем (из 4-х) ⁶⁰.
 П.Е. Щеголев – [на 2 томе] выпустив 2-й т<ом> «Иссл<едований>»,
 статей и матер<иалов>» (Осталось много не конч<енного>) ⁶¹.
 Н.О. Лернер – на новом изд<ании> «Трудов и дней» ⁶².
 Горький – предс<едатель> комитета – за 8 мес<яцев> до юбилея ⁶³.
 Синяевский – где 2 ч<асть> «П<ушкина> в печати»? ⁶⁴

2

Мало какое событие в жизни русской эмиграции удостоилось тако- го внимания, как пушкинский юбилей 1937 года. Существует даже специа- льный двухтомник, посвященный деятельности его центрального органа – Пушкинского Комитета ⁶⁵. Правда, основан он исключительно на печатных материалах, тогда как по крайней мере часть бумаг Коми- тета отложилась в составе фонда его секретаря – Г.Л. Лозинского ⁶⁶. К тому же составитель, был убежден в том, что деятельность Комитета была исключительно зловердной. Об этом вполне явственно свидетель- ствует предварительная статья, основные тезисы которой или вовсе не вошли в предисловие к двухтомнику, или были представлены в неясном виде ⁶⁷. Позицию откровенную вполне адекватно сформулировал А.В. Василевский: «...подоплека, по мнению М. Филина, такая: либерально- масонский Центральный Пушкинский комитет в Париже под председа- тельством кадета В. А. Маклакова намеревался “продемонстрировать городу и миру мощь российского либерализма и масонства через все- мирное прославление ”своего” Пушкина – Пушкина-либерала и Пушки- на-масона”» ⁶⁸.

В упомянутом двухтомнике Ходасевич представлен обычным чле- ном Комитета, ничем не выделяющимся из ряда прочих. Это и понятно: в обыденном представлении Ходасевич, один из крупнейших пушкини- стов и поэтов русской эмиграции, всячески декларировавший свою при- верженность пушкинским идеалам, должен был активнейшим образом участвовать в деятельности Комитета. На первых порах так и было. 21 февраля 1935 года он писал М.Л. Гофману: «...нам бы, по-моему, нужно повидаться до вторника. <...> Если хотите, я, например, могу захватить к Вам во вторник часам к 7, чтобы вместе затем отправиться в это самое заседание» ⁶⁹. Публикатор письма справедливо предположил, что речь шла о первом заседании Пушкинского Комитета. Действительно, в «Камер-фурьерском журнале» Ходасевича под 26 февраля читаем: «К Гофману. С ним в Пушк.<инский> Комитет» (КФЖ. С. 251). 5 апреля он

был на втором заседании Комитета ⁷⁰, 18 апреля – на заседании редакционной комиссии Комитета у Г.Л. Лозинского (КФЖ, 254), 22 апреля – на таком же заседании у Н.К. Кульмана (Там же), 12 мая – снова у Г.Л. Лозинского (КФЖ, 255), 17 июня – на заседании всего Комитета (КФЖ, 257), 5 июля – редакционная комиссия у Лозинского (КФЖ, 258). Следующая запись, вероятно, имеющая отношение к деятельности редакционной комиссии, сделана 17 октября: «К Лозинскому (Гофман)» (КФЖ, 263). Кстати сказать, с этим заседанием связано письмо Ходасевича к Лозинскому и небольшой экспромт (впрочем, впоследствии дорабатывавшийся) ⁷¹. В январе-феврале 1936 г. Ходасевич еще несколько раз видится с М.Л. Гофманом, но после появления 2 апреля 1936 г. рецензии на книгу «Письма Пушкина к Н.Н.Гончаровой» и между ними отношения оказались прерваны. Более с деятельностью Пушкинского Комитета Ходасевич больше не имел, и даже в дни торжеств 1937 года был лишь на панихиде в Сергиевском Подворье (КФЖ, 292).

Причины этого уже вполне описаны и даже документированы. Первая известная нам размолвка была осмыслена вполне юмористически. 10 августа Ходасевич писал М.Л. Гофману: «Лозинский мне писал, что надо нашему Комитету в память А.П. Ганнибала "взять позицию" в абиссинском вопросе. Мысль блестящая. Пишу стихотворение "Клеветникам Абиссинии"» ⁷². Самому же Лозинскому Ходасевич отвечал 22 августа очень смешным письмом, стилизованным под XVIII век: «...мудрые мысли, кои набросать было Вам благоугодно в предыдущем Письме Вашем, проникли в самое мое сердце. Покойный генерал-аншеф Абрам Петрович Ганнибал родом был из той части Абиссинии, где эфиопы в глубокой древности смешались с иудеями. Многие родичи славного сего мужа и по сей день исповедуют веру иудейскую. Наивозможнейшим почитаю, что и сам генерал-аншеф оную исповедовал прежде крещения своего, в 1707 году в гор. Вильне воспоследовавшего. Опять же, нынешнее государство Абиссинское официально исповедует веру христианскую, близкую обрядами к православию. Следственно, Милостивый Государь! редакция почтенных "Последних Новостей" ничто другое собой не являет, как сию Абиссинию в приятном миниатюре. Сие-то нас и обязывает прямо взять позицию эфиополобивую! Ради снабжения сих храбрых воинов всем потребным для ведения войны оружием полагаю желательным устроить и второй концерт, с участием славной чернокожей курвы, Жозефины Беккер и какого-либо из доблестных наших хоров балалаечных. Признаюсь, для сего концерта я и сам разбудил дремлющую свою Музу и заказал ей Оду, коей первые стихи уже и готовы:

О чем шумите вы, фашисты, по Европам?
Зачем анафемой грозите эфиопам?» ⁷³

6 ноября в письме к А.Л. Бему он рассказывал: «Дело в том, что в комитете сидит человек сорок, из которых читали Пушкина четверо: Гофман, Лозинский, Кульман и Ваш покорный слуга. Читали его, впрочем, еще двое: Бурцев и Тыркова, – но от этого у них в головах произошел только совершенный кавардак. <...> В общем, на заседаниях Комитета мне все хочется предложить, чтобы почтили вставанием память кн.

М.А. Дондукова-Корсакова. Боюсь только, что не поймут в чем дело, да и согласятся»⁷⁴. И за несколько дней до юбилея ему же: «Из Пушкинского Комитета, пропитанного пошлостью, невежеством и мошенничеством я давно уже вышел. Никакого участия в коллективных затеях не принимаю. <...> Ни в каких заседаниях, собраниях, концертах, ни в каких “пушкинских” номерах газет и журналов не участвую, ибо нет моих сил преодолеть отвращение к эмигрантской пошлятине, разведенной вокруг Пушкина»⁷⁵.

Тем не менее, конечно, этот протест остался никем не замеченным, все катилось по накатанным рельсам⁷⁶. Юбилейные номера газет вышли и, естественно, содержали изрядное число недосмотров и прямых ошибок, что не могло не задевать Ходасевича. Именно на материале юбилейных и предъюбилейных номеров двух крупнейших газет русской эмиграции – «Последних новостей» и «Возрождения» – он составил заметки, оставшиеся в архиве. Мы не можем с полной уверенностью утверждать, что они должны были послужить основой для планировавшейся статьи. Да и где такую статью можно было напечатать? Отнюдь не исключено, что Ходасевич просто-напросто сделал выписки, чтобы использовать что-либо в будущем, вне контекста специального обсуждения. Но, кажется, его положение профессионального журналиста вряд ли оставляло место для таких запасов впрок.

День смерти. «П<оследние> Н<овости>» – спец<иальный> № 10-го⁷⁷ (Панихиды – 11-го)⁷⁸.

9 числа в «Посл<едних> Нов<остях>» в 2-х заметках – разное: 10 и 11⁷⁹.

Панихиды лицеистов: «7-го, сегодня» (См. «Возр<ождение>» № от 6-го)⁸⁰.

Мережк<овский> – ссылки на Смирнову⁸¹.

«Возр<ождение>»: Сев<ерные> цв<еты> 1832 – изд<ание> Дельвига⁸².

«Посл<едние> Нов<ости>»: П<ушкин> читает стихи Д<ержавина>на⁸³.

Зайцев и Тхорж<евский> NB. / Шмелев – декламация⁸⁴.

Осоргин: все важно (в начале статьи) – неважные люб<овные> истории (в конце)⁸⁵.

Адам<ович>. Презрит<ельно> о пушкинистах. Но весь № набит [работами] пересказами работ п<ушкин>истов. Сам А. пользуется (проверить) ими же, не замечая того. *Свинья под дубом*⁸⁶.

Алданов!⁸⁷

КАК ХОДАСЕВИЧ СТАНОВИЛСЯ ЭМИГРАНТОМ

Среди материалов архива В.Ф. Ходасевича в РГАЛИ есть две единицы хранения, обозначенные в описи и на обложке довольно загадочно: «Письма Медведева В. Ходасевич Анне Ивановне»¹ и «Письма Медведева В. неустановленному лицу с обращением "Милая Соня"»²

Кто такой В. Медведев – догадаться нетрудно: почти каллиграфический почерк В.Ф. Ходасевича настолько узнаваем, что не нужно быть экспертом, дабы определить его авторство. Но с какой стати ему понадобилось скрываться под чужой фамилией, да еще не значащейся в списке его традиционных многочисленных псевдонимов, и кто является «Соней» двух вторых писем, – не вполне ясно с первого взгляда.

Однако разговор об этих четырех письмах необходимо начать издалека.

Ныне существует довольно много работ, описывающих эволюцию отношений Ходасевича к революции и устанавливавшей советской власти. И практически никто не может обойтись без цитаты из очерка «Законодатель», напечатанного в 1936 году: «К концу 1917 года мной овладела мысль, от которой я впоследствии отказался, но которая теперь вновь мне кажется правильной. Первоначальный инстинкт меня не обманул: я был вполне убежден, что при большевиках литературная деятельность невозможна. Решив перестать печататься и писать разве лишь *для себя*, я вознамерился поступить на советскую службу» (Ходасевич. Т. 4. С. 214). Однако ранний вариант этого очерка, называвшийся «Новый Ликург», начинался совсем иначе: «По целому ряду причин, о которых когда-нибудь расскажу отдельно, в январе 1918 года я решил поступить на советскую службу»³. Различие в тональности выступлений объяснимо без труда.

Первый вариант создавался в те дни, когда еще слишком многие помнили, что совсем недавно Ходасевич был вполне лоялен к советской власти и даже в Берлине не позволял себе открыто становиться на сторону ее противников.

В пасквильной статье к 25-летию его литературной деятельности об этом напомнил Георгий Иванов: «Более заметной становится деятельность Ходасевича только со времени большевистского переворота. Писатель становится близок к некоторым культурно-просветительным кругам (О. Каменевой и др.), занимает пост заведующего московским отделением издательства "Всемирная литература", Госиздат издает его книги и проч.»⁴. И нельзя сказать, чтобы в этих обвинениях была осо-

бенная неправда: и у сестры Троцкого, она же жена Каменева, Ходасевич бывал в «Белом коридоре», и во «Всемирной литературе» на довольно ответственном посту работал, и в Госиздате, пройдя политредактора, вышла «Тяжелая лира».

В ситуации 1936 года, когда близко было двадцатилетие революции, различие в начальных взглядах на события уже было нерелевантным и подробности мало кого интересовали.

Между тем, в том самом конце 1917 года, о котором говорено выше, Ходасевич писал в сугубо частном и потому вряд ли намеренно провокационном или игровом письме Б.А. Садовскому, только что издавшему книжку с характерным названием «Обитель смерти»: «Верю и *знаю*, что нынешняя лихорадка России на пользу. Но не России Рябушинских и Гучковых, а России Садовского и... того Сидора, который является обладателем легендарной козы. Будет у нас честная *трудовая* страна, страна умных людей, ибо умен только тот, кто трудится. И в конце концов монархист Садовской споется с двухнедельным большевиком Сидором, ибо оба они сидели на *земле*, – а Рябушинские в кафельном нужнике. <...> Очень хорошо, если к идолу Садовского будут ходить пешком, усталыми ногами. Не беда, ежели и полущат у подножия сего истукана семечки. Но не хочу, чтобы вокруг него был разбит “сквер” с фешенебельным бардаком под названием “Паризьен” (Вход только во фраках, презервативы бесплатно)» (Ходасевич. Т. 4. С. 409–410).

И уехав за границу, вполне официально, летом 1922 года он на протяжении довольно долгого времени сохраняет возможности возвращения и публикации на родине. Мотивы этого были им самим определены с достаточной ясностью. Одному из самых близких людей, М.О. Гершензону он пишет в ноябре 1922 года: «Мы все здесь как-то несвойственно нам, неправильно, не по-нашему дышим, – и от этого не умрем, конечно, но – что-то в себе испортим, наживем расширение легких. <...> Я здесь не равен себе, а я здесь я минус что-то, оставленное в России, при том болящее и зудящее, как отрезанная нога, которую чувствую нестерпимо отчетливо, а возместить не могу ничем. И в той или иной степени, с разными изменениями, это есть или будет у всех. И у Вас. Я купил себе очень хорошую пробковую ногу, как у Вашего Кривцова, танцую на ней (т.е. пишу стихи), так что как будто и незаметно, – а знаю, что на своей я *бы* танцевал иначе, может быть, даже хуже, но по-своему, как мне полагается при *моем* сложении, а не при пробковом» (Ходасевич. Т. 4. С. 454).

Жизнь в Германии им воспринимается как временная, отчасти обьясняемая личными обстоятельствами, отчасти враждой тех, кто почему-либо видит в нем литературного врага. В июле 1923 года он сообщает М.М. Шкапской: «...в продажу моих стихов на петербургской и московской территории мало верю. Дорогие соотечественники пишут на меня доносы. Особенно стараются *бывшие члены Союза русского народа и Освага*. (Данные – у А.М.)» (Ходасевич. Т. 4. С. 462), а чуть раньше в письме к оставленной в Петрограде жене конкретизировал: «...печатать сейчас мои стихи трудно: Бобровы, Асеевы, Брюсовы, Аксеновы и прочие бывшие члены Союза русского народа ведут против меня достаточ-

но энергичную кампанию. Вообще для меня окончательно выяснилось, что бывшие черносотенцы перекрасились в коммунистов с двумя целями: 1) разлагать сов<етскую> власть изнутри и компрометировать ее, 2) мстить нам, “сгубившим Россию”, т.е. Романовых» (Ходасевич. Т. 4. С. 665, в комментарии И.П. Андреевой). И как ни утешал он себя и других, что «никаких грехов за мной, кроме нескольких стихотворений, напечатанных в эмигрантской прессе, нет. Самые же стихи вполне лояльны и благополучно (те же самые) печатаются в советских изданиях. <...> В Кремле знают, что я не враг»⁵, – однако в последнюю фразу верить было все труднее.

В июне 1923 года Ходасевич уговаривал Горького, на силу которого пока еще надеялся: «Что Вы пишете о невозможности писать о российских порядках – верно. Сейчас нельзя ничего – но рано или поздно Вам придется рывкнуть, да так, чтобы слышали. Мне все еще думается, что их можно хоть сколько-нибудь образумить. Будет плохо, если Вы промолчите до тех пор, когда уже и Ваши слова будут бесполезны» (Ходасевич. Т. 4. С. 458), а через несколько дней описывает ему же то представление о советских вождях и их делах, которое у него сложилось в данный момент: «Надо быть Троцким, надо быть Зиновьевым, надо быть последним мещанином, а не революционером, – чтобы не брезгать такими людьми (т.е. провокаторского склада – *Н.Б.*), а желать их “использовать”. Впрочем, чего и ждать от людей, желающих сделать политическую и социальную революцию – без революции духа. Я некогда ждал – по глупости» (Ходасевич. Т. 4. С. 461).

Еще под новый 1924 год он пишет Анне Ивановне: «А вернуться мне хочется» (Ходасевич. Т. 4. С. 469), но – незадолго до этого рассорился с Белым (что рассказано в воспоминаниях, вошедших в «Некрополь»), и поводом было опять-таки подозрение в неизбежном для любого возвращающегося в Россию двоемыслии. Конечно, оно накладывалось на уже сложившееся представление Ходасевича о Белом, с предельной резкостью выразившееся в письме к Б.А. Диатропову от 15 ноября 1925 года: «...знаю цену его вечной лжи, его притворству, его последнему пошлейшему ничтожеству – и тому чудесному в нем, за что, конечно, давно простил ему все» (Ходасевич. Т. 4. С. 492), но все-таки были тут и обертоны, которые Ходасевич тщательно маскировал в письмах, идущих в Россию.

Наоборот, до последних пределов он старался найти повод подчеркнуть свои несогласия с эмиграцией в самом широком смысле слова и конкретными ее представителями. В последнем письме к М.О. Гершензону (декабрь 1924 года) он рассказывает: «Я бы остался <в Сорренто> и дольше, но боюсь, что наступит безденежье и погонит в Париж, о котором думаю с ужасом. Разумею “русский” Париж, который все безнадежнее погрязает в чистейшем черносотенстве. Уже весной я пришелся там не весьма ко двору. Что же будет теперь, когда Н.А. Бердяев официально объединился с Коковцовым и они вместе строят “Сергиевское подворье”? (Сие следует понимать вполне буквально, отнюдь не метафорически)» (Ходасевич. Т. 4. С. 480–481). Некий перелом происходит в первой половине 1925 года, причем перелом не только в отношении самого Ходасевича к возвращению (что после прекращения

«Беседы», разгрома в Ленинграде «Русского современника» и постепенного расхождения с Горьким, на которого он надеялся как на страховку, было очевидно), но и в отношении властей к нему.

Мы не можем похвастать какими бы то ни было новыми документами, относящимися к этому процессу, однако некоторые наблюдения, вероятно, стоит сделать. И прежде всего стоит отвергнуть зафиксированную самим Ходасевичем в 1936 году версию своего отъезда: «Июнь 1922. Уехал легально, получив разрешение в Москве. В августе того же года, находясь в Берлине, был “выслан” за границу по распоряжению Петербургской Ч.К.»⁶. В настоящее время имена и судьбы пассажиров философского парохода, а точнее – высланных летом и осенью 1922 года за границу, известны достаточно определенно, но Ходасевич ни в одном из обнародованных документов не упоминается⁷.

Сам Ходасевич по крайней мере дважды синхронно объяснял ситуацию 1925 года в письмах к людям, находившимся вне пределов досягаемости ЧК. 5 марта он писал М.В. Вишняку: «...мои “отношения” с Кремлем испортились вдребезги. Я уже получаю из России шифрованные просьбы не подписывать на конвертах своего имени, писать письма под псевдонимом и проч. Статья о Родове в “Днях” подлила много масла в огонь, статья о Брюсове в “Совзапах”, как Вы изволите выразаться, подольет еще. Есть и ошутимые признаки: некто по моему поручению должен был продлить мой паспорт в Риме; ему отказали, сказав, что по настоящему должны бы мне предписать ехать в Россию. Все это *пока между нами* – но из этого возникает реальная просьба. Я в Россию не собираюсь, но собираюсь в Париж. Узнайте, пожалуйста, не будет ли тут препятствий. Дело в том, что теперь у меня паспорта нет...»⁸. И три месяца спустя, 3 июня, – М.М. Карповичу: «Вернуться в Россию я некогда собирался, ибо выехал отсюда легально. Но постепенно большевики стали мне до того мерзки, что я, тоже постепенно, но окончательно сжег все корабли. <...> Советские паспорта надо пролонгировать каждые полгода. Последний раз, в марте, римское посольство (т.е. советское в Риме) отказало мне в этом. Мотивы: 1) статья о С. Родове в “Днях”; 2) о Брюсове – в “Соврем<енных> Записках”; 3) дурное влияние на Горького. – Мне предложили немедленно ехать в Россию, т.е. в Ч.-К. Я перешел на “нелегальное” положение»⁹.

Простое сопоставление дат показывает, что Ходасевич не является пунктуально точным в своих указаниях. Статья «Господин Родов» появилась 22 февраля и, теоретически говоря, могла стать известна в советском посольстве в Италии в самом начале марта (хотя вероятность этого не слишком велика: нужно было получить номер газеты, рассмотреть его и отправить в Италию указание об отказе в пролонгации паспорта всего за 10 дней), но уж воспоминания о Брюсове, как показывает письмо к Вишняку, к моменту запроса в посольстве не были еще напечатаны¹⁰. Отметим, кстати, что в посмертно опубликованных воспоминаниях о Горьком, где Ходасевич называет того человека, который просил о пролонгации его паспорта (Андрей Соболев) речь идет только о последнем пункте, сообщенном Карповичу. Таким образом, Ходасевич сам определяет, почему он становится неприемлем для советских властей, и, как кажется, не очень трудно догадаться, на чем именно основано его

убеждение.

Очерк «Господин Родов» посвящен разоблачению переметничества, и не только крупнейшего представителя той ветви пролетарской литературы, которую Ходасевич считал (в отличие от других) бездарной и бессмысленной. В формулировочной части его читаем: «...Семен Родов, сделавший в последние два года головокружительную карьеру <...> сейчас диктаторствует над советской литературой. Вот об этом сановнике я и хочу рассказать»¹¹. Мало того, значительная часть советской литературы предстает так: «И вот печатными и словесными доносами занялись молодые и пожилые люди, за которыми в прошлом числились такие вещи, как служба в жандармах, участие в организации патриотических шествий с портретом Николая II, писание погромных статей в “Земщине” (или в “Вече”, не помню), работа в денкинском Осваге, работа у Колчака и т.д., и т.д.». Очерк о Брюсове во многом посвящен тому же самому – обнажению его позиции: «Ему ничего не стоило объявить себя и марксистом – ибо не все ли равно, во имя чего, – была бы власть» (Ходасевич. Т. 4. С. 38). Наконец, третья причина, – «дурное влияние на Горького» – тоже вполне сводится к тому, что было чуть позже описано тому же Карповичу так: «Я устал от его двуличности и лжи (политической!), устал его изобличать. А делать вид, будто не замечаю, – не могу. Это значило бы – лгать самому, двуличничать самому»¹².

Как мы полагаем, именно стремление наконец-то решительно отказаться от собственной двуличности и побудило Ходасевича расставить точки над *i*. Вернемся несколько назад и вспомним его рассказ о том, как он, только что приехав летом 1922 г. в Берлин, сперва получил от Горького письмо, предостерегающее от сотрудничества в «Накануне», а потом «под прямым воздействием Горького началось мое, сперва тайное, под псевдонимом, участие в эмигрантской печати» (Ходасевич. Т. 4. С. 359). На первых порах такое двойственное положение могло занимать Ходасевича, не лишённого склонности к различным литературным играм и мистификациям, однако, судя по всему, к середине двадцатых годов оно откровенно стало его тяготить.

Очевидным сигналом начала новой линии послужило письмо к жене, где он говорил: «Пожалуйста, подай куда следует заявление о расторжении нашего *гражданского* брака. Это необходимо *для тебя*. Церковного не трогай. Фамилию Х<одасевич> оставь за собой. <...> Надо, чтобы *ты* отмежевалась от меня в гражданском смысле, надо для *тебя*»¹³. Письмо это не датировано, но по архивной раскладке и по содержанию явно относится к весне 1924 года, то есть еще за год до окончательного перехода на положение эмигранта Ходасевич начинает освобождаться от связей, которые могли бы компрометировать оставшихся на родине. Уже 3 июня 1925 г. он писал Карповичу: «Кроме А<нны> И<вановны> мне из России почти никто не пишет: одни – по лености, другие – потому что переписываться со мною – неохвально и может повредить, третьим я перестал отвечать сам, ибо у них вывихнуты мозги: не споемся. Россия сейчас очень портит людей»¹⁴.

Третьим этапом этого расставания стали лето и осень 1925 года, когда после появления известной резолюции ЦК ВКП(б) «О политике

партии в области художественной литературы» многие в СССР и некоторые за его пределами попытались поверить, что большевики расписались в несостоятельности своей литературной политики и стали терпимыми к «литературному нэпу». Среди поверивших оказались Ю.И. Айхенвальд, высказавшийся печатно, и Горький. Не столько о судьбе «Беседы» и «Русского современника», как это принято считать, идет речь в последнем письме Ходасевича к Горькому, сколько именно о резолюции и ее последствиях: «Полная отмена предварительной цензуры – вот minimum, при осуществлении которого можно было бы говорить, что большевики начинают одумываться. Но, конечно, на такое требование в Москве только улыбнутся» (Ходасевич. Т. 4. С. 487). Это написано в августе, а чуть позже, в сентябре – в письме вполне далекому к тому времени Б.К. Зайцеву Ходасевич говорит: «В СССР, как Вы знаете, провозглашен “литературный нэп”. Юлий Исаевич, не тем будь помянут, взял да и “клонул”, написал статью, довольно сдержанную, но все же приветствующую большевицкое “оздоровление”. Теперь меня из Сорренто корят, ставя Айхенвальда в пример» (Ходасевич. Т. 4. С. 490–491). И в этой ситуации добросовестно заблуждающийся Айхенвальд противопоставлен двурушничавшему Горькому.

Еще через пару месяцев Ходасевич начинает эпистолярные расставания. 15 ноября 1925 года он пишет последнее письмо Б.А. Диатроптову, 18 ноября – Анне Ивановне, 16 декабря – М.М. Шкапской, в апреле 1926 года – чисто литературное письмо М.А. Фроману, – и, кажется, на этом его переписка с людьми в СССР иссякает. По спискам «Европейской ночи», которые перепечатывала на машинке и раздавала знакомым Анна Ивановна, можно судить, что «Собрания стихов» 1927 года она не видела, а расставляла по собственному разумению стихи, которые так или иначе до нее доходили в рукописном виде.

Но представляемые сегодня письма заставляют еще на некоторое время отодвинуть момент окончательного прощания. Последнее письмо от Ходасевича к А.И. Ходасевич было отправлено, напомним, 18 ноября 1925 года. Видимо, конспирацию Ходасевич решил начать с года нового не только по уже названным причинам, но и в предчувствии каких-то новых неприятностей. 7 апреля, за 3 дня до письма к А.И., он сообщил Карповичу: «С Сов<етской> Россией у меня все кончено. Я там весьма одиозен. Даже писать мне оттуда, по-видимому, нельзя. Пишут мало и не на мое имя»¹⁵, а 11 июня, т.е. менее чем через месяц после последнего письма к ней, написал тому же Карповичу одно из самых блестящих своих писем, где описывал, что должно произойти с человеком, вернувшимся после десятилетнего отсутствия (а Карпович уехал в США в 1917 году), в таких выражениях: «Вы говорите: я бы вернулся, “если бы была хоть малейшая возможность жить там, не ставши подлецом”. В этом “если бы” – самая святая простота, ибо ни малейшей, ни самомаleastей, никакой, никакейшей такой возможности не имеется. Подлецом Вы станете в тот день, когда пойдете в сов<етское> консульство и заполните ихнюю анкету, в которой отречетесь от всего, от себя самого. (Не отречетесь, так и ходить не стоит)»¹⁶.

Именно этим временем следует датировать окончательный отказ Ходасевича от какой бы то ни было мысли о возвращении на родину,

завершивший период достаточно тяжелых раздумий, и в этом отношении письма, подписанные именем В. Медведев, оказываются весьма важными.

Остается сказать, почему Ходасевич подписывался «В. Медведев», а к Анне Ивановне обращался «Соня». Хорошо известно, что в домашнем обиходе В.Ф. и А.И. существовала игра в мышей, и составной ее частью, особенно в 1915-1916 гг. оказывалась подпись в письмах: «Медведь». Совершенно очевидно, что именно от этого и была произведена фамилия.

Обращение же «Соня» возникло из псевдонима, которым А.И. подписывала свои редкие публикации – София Бекетова. 12 апреля Ходасевич встревоженно писал М.М. Шапской: «По понятным причинам я очень бы не хотел, чтобы статья о модах была подписана фамилией Ходасевич. Я почти уверен, что А.И. и сама этого не сделает. Свои стихи и переводы она подписывала: София Бекетова, *зная*, что подпись Ходасевича была бы мне неприятна. <...> Скажите А.И., что, должно быть, я стану рассматривать такой поступок как желание сделать мне неприятность. <...> P.S. Пожалуйста, черкните два слова о злосчастной подписи. Это меня волнует. Не хочу чепухи возле моих стихов»¹⁷. Из этого видно, что Ходасевич отлично помнил ее псевдоним и считал его законной литературной подписью бывшей жены.

1

Париж, 17 января 1926 года

Многоуважаемая Анна Ивановна,

простите, что так давно не писал вам. Позвольте поздравить с Новым Годом и пожелать всего лучшего. Живу по-прежнему, много работаю, но, к несчастью, денежные дела мои находятся в большом упадке. Однако, если разрешите и не примете за дерзость, хотел бы послать вам что-нибудь в подарок. Не напишете ли мне сами, что вам было бы желательнее. Я думаю – не из обуви ли? Однако укажите в этом случае, какие вы хотели бы получить туфли (высоких ботинок здесь не достать иначе как на заказ), а именно: закрытые или открытые, черные или желтые, шевровые или лаковые. Также пришлите рисунок ноги, *потому что* замечено, что здешние №№ не совпадают с нашими. А если не туфли, то что?

Не так давно видел вашего бывшего супруга. Он мне рассказывал о вашей неудаче насчет получения денег из Союза (он еще в начале декабря писал Разумовскому, чтобы вам выдали сто рублей). Супруг ваш относится к этому делу с возмутительным легкомыслием. Я же, по старой дружбе, решаюсь вам посоветовать вот что: пойдите к Разумовскому и поговорите с ним лично (непременно с ним самим), передайте ему мой сердечный привет и поступите так, как он посоветует. Он человек очень хороший. Если он велит вам идти еще к кому-нибудь, то пойдите и откровенно скажите, что деньги вам нужны до зарезу, а за подлости вашего мужа вы не ответственны. Да и с мужем давно в разводе, а если претендуете на деньги, то потому, что не на что жить, а бывший супруг вам ни-

чего не высылают, а только предоставляет получать за него из союза. Я думаю, это удастся, и вы впредь будете получать все то, что ему причитается¹⁸.

Пока – желаю вам доброго здоровья, целую руку.

Преданный вам

В. Медведев.

2

Париж, 10 апреля <1>926

Милая Анна Ивановна, от Вас так давно не было вестей, что я очень тревожился, но нарочно не писал, думал, что, пожалуй, Вас потревожу не вовремя.

Очень рад, что Вы уладили дело с деньгами; авось кое-что получите, а там, будем надеяться, наступят лучшие времена, когда я вновь смогу вам что-нибудь послать. Сейчас дела мои в исключительно тяжелом положении. Главная беда – так набавили на квартиру (50%), что пришлось экстренно перебраться в город; за городом нет ничего подходящего, да и летний сезон. И вот я, увы, опять в городе, и адрес мой прежний: 280, Bd. Raspail, V. Medvedeff, chez S. Posener (Paris 14-e)¹⁹.

Хотел бы я послать вам что-нибудь; спрашивал, какие ботинки Вы хотите, но Вы не ответили, а теперь у Вас такие пошрины, что послать невозможно. Это меня ужасно огорчило.

Супруг Ваш тоже переменял адрес. На всякий случай сообщаю: 14, rue Lamblardie, Paris (12-e). Но, по-моему, Вам не стоит к нему ни с чем обращаться. Это, извините за откровенность, тип отпетый. Если что нужно, пишите *мне* по вышеуказанному адресу.

Живу по-прежнему тихо. В последнее время чаще других вижу Зину и Диму. Она в особенности со мной мила и хвалит мои работы устно и письменно²⁰.

Через несколько времени пришлю Вам кое-какие свои безделушки. Есть и одна вещь довольно длинная, да как-то не хочется посылать. Опять Вы ее покажете Митьке, а он станет критиковать и придирается; это не в его духе вещь²¹.

Не черкнете ли мне: в Москве ли и что делает, где служит, где пишет Сергей Павлович Бобров? Но ему не говорите, что я им интересуюсь²².

Кроме того: вышла ли книга о Пушкине в 1825 году – или заглохла?²³

Передайте Мстиславчику, что Модест Гофман наделал по отношению к Онегину, *покойному*, таких же штук, за какие Боратынского исключили из учебного заведения. И еще бегает по городу и всем хвастается! Мне кажется, впрочем, что он не совсем нормален и все это кончится лечебницей. Сообщаю это только для Мст., которому низко кланяюсь²⁴.

Вы мне не пишете, служите ли где-нибудь, есть ли у Вас постоянная работа? Черкните, пожалуйста.

Затем целую Вашу ручку и прошу верить, что всегда помню Вас и

много о Вас думаю.

Ваш В. Медведев.

3

<Апрель 1926>

Милая Соня, Ваше последнее письмо помечено 9 апр<еля>, а я Вам писал 10-го. Наши письма, следственно, разошлись. Меня очень печалит, что Вы, по-видимому, опять плохо себя чувствуете, физически и морально. Надеюсь, Вам удастся повидать Гаррика, и это Вас несколько развлечет²⁵.

О себе ничего примечательного сообщить не могу. Разве только то, что последние два месяца снова хвораю фурункулезом, и это меня очень изводит.

У меня к Вам просьба, вернее – несколько просьб. Будьте добры, не забудьте их.

1) Если будете у Гаррика, заберите оттуда мои рукописи, газетные вырезки и т.д., чтобы Гаррик их не выбросил (если он этого еще не сделал).

2) Пришлите мне, в 2-3 приема: а) письма покойного Гершензона, которые лежат в регистраторе, взятом Вами у Наташи Хр. б) письма Мунни, они в отдельном пакете с) письмецо Нади Львовой и, в особенности, листок с черновиком ее стихотворения (там еще нарисован женский профиль); д) письмо Валерия ко мне и черновик его письма, начинающийся словами: «Дорогая Зинаида Николаевна»²⁶.

Я Вам писал об этом уже раза два, но Вы все забываете, а мне письма всех умерших *очень нужны* для одной работы²⁷. Пожалуйста, прилагайте по 2-3 письма к каждому своему письму. Все это доходит очень хорошо.

В.Ф., как я уже писал, переехал: 14, rue Lamblardie Paris (XII-е). Поцелуйте от меня Борю и Шуру и попросите их написать мне²⁸. Это не хорошо с их стороны – не отвечать на письма.

Целую Вашу руку.

В. Медведев.

4

280, Bd.Raspail, chez S.Posener
Paris (14-е)

Милая Соня, Ваше письмо меня очень удивило. В каком моем письме Вы увидели желчь (и даже истерику)? И по отношению к кому желчь? К Вам? Не помню и думаю, что Вам это показалось. По отношению к другим людям? Да я, кажется, ничего и не писал ни о ком. Именно желчи в себе не ощущаю. Есть люди, которых люблю. Других не люблю – и Вы знаете, что это редко бывает на *личной* почве. Не люблю злых,

дурных, вредных *вообще*. В частности, простите, не люблю Ваших родственников, Митьку, например. Но я с ними и не встречаюсь. Вообще говоря, уж если говорить о «внутреннем», то если я в чем и изменился, так именно в том, что стал как-то много спокойнее. А то – я все тот же.

Мне кажется, Вас очень неверно информируют обо мне, и вообще, и в частности. Верьте, пожалуйста, *только* тому, что я сам пишу Вам. А то все какие-то вздоры Вам сообщают: то я выпустил книгу, то развелся. Если бы это хоть была *злая* ложь – так и того нет: не позорно выпустить книгу или развестись. Так что врут ради бескорыстной радости соврать. И кому это надобно? Просто ради забавы, сообщите, от кого Вы это слышали? ²⁹

Фурункулез мой кончился, но я пролежал, с небольшим антрактом, полтора месяца. Вылечился в пастёровском институте вакциной. Было нарывов штук за пятьдесят, некоторые с температурой.

Так что сейчас живу спокойно и благополучно. Хуже всего – дежневая сторона, но и она не трагична.

Я еще раз повторяю свою просьбу относительно присылки писем Валерия, Нади Львовой (черновик стих<о>тв<орения>), Муни, Викт. Гофмана ³⁰ и т.д. Разве трудно Вам вкладывать по листику – по два в конверт? Или Вы не хотите этого делать? Тогда – почему? Все же ведь это *мои* вещи, и я прошу послать их не кому-нибудь, а мне. Пожалуйста, милая Соня, исполните эту просьбу, в основе которой лежит *не прихоть*, а *нужда*.

Главное – почему Вы об этом ничего и не пишете, точно просто забываете. Вероятно, это так и есть, но я Вас еще раз прошу.

Желаю Вам всего самого хорошего, особенно здоровья.

Целую Вашу руку.

Ваш В. Медведев.

15 июня 1926

Борису и Шуре – привет. Хоть бы они словечко написали. Как не стыдно?

ИЗ ИСТОРИИ ОДНОГО КУЛЬТУРНОГО УРОЧИЩА РУССКОГО ПАРИЖА

Памяти Владимира Николаевича Топорова

Прогулки по парижским улицам – занятие чрезвычайно увлекательное. Особенно если смотреть на стены, где прицеплены небольшие мемориальные доски, и держать в памяти какие-то волнующие в данный момент обстоятельства. Тут-то появляются отдельные размышления, часть из которых хочется поделиться с читателями.

Истории Монпарнаса посвящено множество книг, и общепризнано, что это – один из самых знаменитых в истории не только Парижа, но и всего мира городских районов. Знаменитых не столько своей архитектурой, сколько своей культурной памятью. Это в полном смысле слова одно из самых знаменитых парижских литературных урочищ в том смысле, какой в это слово вкладывает В.Н. Топоров¹. Конечно, полная его история не может быть написана здесь, равно как и история русских писателей, художников, артистов живших или регулярно бывавших там, – для этого как пространства сравнительно небольшой статьи, так и наших знаний будет явно недостаточно. Но один любопытный литературный узел распутать, кажется, будет небесполезно.

Около 19 октября (1 ноября по новому стилю) 1902 года, М.А. Волошин поселяется в ателье Н.В. Досекина по адресу: 9 rue Cambragne Première и записывает: «Проснувшись, я вижу облака, которые сквозь стекла текут над моей головой. Сквозь стеклянную стену – мокрые глыбы растрепанных деревьев и громады домов – не рядами, а как-то разбросаннее в беспорядке. И куда ни глянешь, всюду только стекла мастерских»². Впоследствии время от времени Волошин снова возвращается в ту же мастерскую.

В 1910 г. французский врач выдает справку 20-летнему Илье Эренбургу, «живущему в Париже, улица первой Кампаний»³. Уже первое его жилище находилось на Монпарнасе (площадь Денфер-Рошро). И с тех пор до середины двадцатых годов он редко выбирал себе место жительства в другом районе. Мы знаем не все, но вот то, что знаем. С ноября 1911 по начало 1912 он живет в мастерской на той же rue Cambragne-Première, в том же доме 9, что когда-то Волошин⁴. После пребывания в Италии и Германии осенью 1912 г. он передвигается чуть ближе к центру, на площадь Сорбонны, но с начала 1913 г. снова живет в том

по мере сил не таскаться»¹³.

Сейчас на стене дома, где гостиница расположена (29, rue Champagne-Première), висит мемориальная доска:

Dans l'effervescence créatrice des années 1920
L'HOTEL ISTRIA
accueillit entre autres artistes
Francis PICABIA, Marcel DUCHAMP, Moïse Kisling, peintres
Man RAY, photographe
KIKI de Montparnasse, modèle et égérie
Rainer Maria RILKE, Tristan TZARA, Vladimir MAÏAKOVSKY, poètes
et Louis Aragon qui y s'rejoignait Elsa Triolet

“Ne s'éteint qui brille...
Lorsque tu descendais de l'hôtel Istria
Tout était différent rue Champagne Première,
En mil neuf cent vingt neuf, vers l'heure de midi”
Louis Aragon (Il ne m'est Paris que d'Elsa).

В настоящее время нас интересует один из знаменитых обитателей «Истрии», Маяковский.

Всего он побывал в Париже 6 раз, и вот краткая хроника этих пребывания. 1922: 18 ноября уехал из Берлина в Париж, 25 ноября отправился обратно. 1924: 2 ноября приехал в Париж, около 20 декабря уехал в Берлин. 1925: приехал в Париж 28 мая, 20 июня выехал в Сен-Назер, отправляясь в Америку; 5 ноября прибыл из Америки в Гавр, из Гавра поездом отправился в Париж, а 14 ноября приехал оттуда в Берлин. 1927: приехал в Париж 29 апреля и 9 мая уехал в Берлин. 1928: приехал в Париж 15 октября, 20 октября в письме из Парижа к Л.Ю. Брик сообщал: «<...> Сегодня еду на пару дней в Ниццу <...>», 3 декабря уехал из Парижа. 1929: 22 февраля выехал из Берлина в Париж, в последних числах марта съездил в Ниццу и Монте-Карло, 2 мая вернулся в Москву¹⁴.

Таким образом, в общей сложности он пробыл в Париже, прожив если не исключительно, то преимущественно (начиная с 1924 года) на rue Champagne-Première больше полугода. И, следовательно, чуть не каждый день он должен был проходить мимо дома, расположенного по адресу 207, Bd. Raspail. Сейчас в нем – hôtel Mercure, а на стене висит мемориальная дощечка, что в 1918-1923 жил писатель Пьер Бенуа. Но нам значительно интереснее, что этот же адрес фигурирует в записи В.Ф. Ходасевича. На полях подаренного Н.Н. Берберовой экземпляра «Собрания стихов» 1927 года возле стихотворения «Окна во двор», после даты «16-21 мая 1924» он написал: «Мы жили на Boulevard Raspail, 207, на 5 этаже, ужасно. Писал по утрам в Ротонде»¹⁵. Несколько более подробные воспоминания об этом доме находим у Н. Берберовой: «А на третий день я нашла квартиру, вернее – комнату с крошечной кухней, на бульваре Распай, почти наискось от “Ротонды”. Там, в этой квартире, мы прожили четыре месяца. Ходасевич целыми днями лежал на кровати, а я сидела в кухне у стола и смотрела в окно. Вечером мы оба шли в “Ротонду”. И “Ротонда” была тогда еще чужая, и кухня, где я иногда

писала стихи, и все вообще кругом. Денег не было вовсе»¹⁶.

Конечно, проходя мимо этого дома, Маяковский уже не мог застать там Ходасевича: 31 августа 1924 г. тот уехал в Белфаст, с 28 сентября по 4 октября провел в Париже несколько дней, после чего отправился в Италию, откуда возвратился в Париж лишь 22 апреля 1925 г., когда Маяковского там еще не было, и жил уже в других местах. Но сам-то Ходасевич, внимательно читавший своего врага, знал, что Маяковский жил и довольно регулярно живет в памятных для него местах. Да и Маяковскому Ходасевич не был безразличен: в уже процитированном выше письме к Л.Ю. Брик он говорил: «Сегодня идем обедать с Эльзой Тамарой и Ходасевичами. Не с поэтом конечно!»¹⁷

Ни Ходасевич, ни Берберова о встречах с Маяковским в Париже не упоминают, молчит и «противоположная сторона». Но вряд ли можно предположить, что они не сталкивались хотя бы случайно, хотя бы издали не видели друг друга. Напомним, что в 1925 году Маяковский был в Париже с 28 мая по 20 июня: в тот приезд его обокрали (в той же самой гостинице «Истрия»¹⁸), и он вынужден был ждать, пока придет перевод из Москвы, одновременно занимая денег, у кого только можно. Естественно, что в скитаниях по Парижу (как с Триоле, так и без нее), он регулярно оказывался в монпарнасских кафе, – и Ходасевич тоже.

Без разговора о кафе здесь уже не обойтись.

Обыкновенно
мы говорим:
все дороги
приводят в Рим.
Не так
у монпарнасца.
Готов поклясться.
И Рем,
и Ромул,
и Ремул и Ром
в «Ротонду» придут
или в «Дом»¹⁹,

или в другом стихотворении, уже цитированном:

Париж,
фиолетовый,
Париж в анилине,
вставал
за окном «Ротонды»²⁰.

Вот адреса самых известных кафе того времени: 105, Bd. de Montparnasse – café de la Rotonde; 108, Bd. de Montparnasse – café Le Dôme; 102, Bd. de Montparnasse – café La Coupole; 171, Bd. de Montparnasse – café Closerie de Lilas; 146, Bd. de Montparnasse (угол rue Campagne Première) – café Caméléon. «Ротонда» – ближайшее к местам обитания Маяковского и Ходасевича. При этом следует отметить, что оно было

чрезвычайно существенным для всего бытия русской эмиграции в Париже. Не случайно газета «Последние новости» именно со статьи о «Ротонде» начала обозрение важных для русских мест современного Парижа: «В самом центре Монпарнасского квартала на оживленной площадке, образуемой пересечением двух крупных артерий левобережного Парижа, бульваров Монпарнасса и Распайль, у самых углов, которые вдаются на эту площадку от выхода сюда же еще трех улиц, весело сверкает по вечерам своими разноцветными огнями Café de la Rotonde, в местном просторечии попросту – “Ротонда”. <...> Создала это кафе не та шаблонная в современном городе потребность, которая наполнила скукой и тоской сотни и тысячи кафе Парижа – провести вечер вне дома, за кружкой пива, за партией бриджа или иной карточной игрой. Это кафе создал тот инстинкт, который из человека создал *зоон политикон*, по Аристотелю, та душевная черта человеческая, которая заставила Достоевского сказать: “Каждый человек должен иметь куда пойти”. И вот сюда пришли, я бы сказал, международные аспиранты слова: поэты, художники, певцы и музыканты, критики и философы, а также те, кому фортуна не улыбнулась, кому изменила мечта о славе, как в место, где молчаливое жюри еще причисляет человека к подающим надежды, еще не окончательно отвергнутым от права на признание. <...> Уже издавна этот уголок облюбовала себе и русская эмиграция, и не так давно стены этого кафе видели у себя виднейших деятелей того погрома, который учинен над рвавшейся к новой жизни Россией. Тут вы найдете и ветеранов эмиграции, обрывки “Народной Воли”, солидно перечитывающих утром за чашкой черного кофе десятки газет всего мира, тут и представители более поздней волны эмиграции 1905 года, бывшие президентами разных республик, начиная от Конотопской, а также волны совсем новой, со всеми ее оттенками от белой с георгиевскими ленточками до обывательской, по существу, совершенно аполитичной, до большевиков по духу, но не могущих приять большевистской материализации. <...> Меньше всего вы найдете здесь французов. Это не то, что, например, вторичные собрания в соседнем *Closerie de Lilas*, где заседал когда-то еще Верлен и где еще до сих пор собираются французские критики, поэты, журналисты, модернисты стиля и поэзии, новаторы и истолкователи искусства и творчества. Среди завсегдаев “Ротонды” трудно сказать, какая нация доминирует. <...> Не меньше превращений с дамами “Ротонды”... <...> Я имею в виду завсегдаек, тех, что можно видеть не раз в день, а и два и три раза в день, забегających проводить, посидеть и поболтать по делу и без всякого дела. Старый тип гризетки исчез, умер и здесь, как и в кафейнях на “Буль-Мише”. Послевенный всеевропейский экономический кризис добил его окончательно... <...> На ваших глазах замухрышка с какой-нибудь *rue de la Gaité*, выгнанная из дому матерью, впитывая в себя разлитую кругом эстетическую и духовную культуру, которой пропитаны, кажется, камни мостовой столицы мира, становится *habituée* скромных столиков своих компаньонов и компаньонек по борьбе за тяжелое существование и пробивая себе тяжкий жизненный путь, на полюсах которого либо *Saint Lazare*, либо место консьержки, т.е. обеспеченное буржуазное существование. Времяпровождение... Боже мой, самое милое, простое, непринужденное, на

все вкусы и настроения. Одни играют в шахматы, другие показывают свои офорты, третьи читают свои записки – философские трактаты. Пришел человек в веселое настроение и начал петь, без аккомпанемента, просто... <...> Недавно “Ротонда” расширена, перестроена. Зачем-то прибавлен почти всегда пустующий Grill Room. Исчезла прелесть старой, тесной, уютной “Ротонды”. Но сохранилось главное: ядро завсегда-таев. Оно закурит, задымит, задышит своими вздохами и скрытыми страданиями новые стены “Ротонды”, как украсили их продуктами кисти своего “гения”²¹.

Эту перемену в строю «Ротонды» зафиксировал и Эренбург, вспоминая свой приезд в Париж 1921 года: «...старая “Ротонда” исчезла; я это понял через два или три дня после приезда. Дело было не только в том, что сменился владелец кафе. Сменилась эпоха. Художников или поэтов вытесняли иностранные туристы. Бестолковая жизнь былых лет стала модным стилем людей, игравших в богему»²².

Однако для Ходасевича, как и для Маяковского, «Ротонда» была неизменным символом Монпарнаса. Скажем, когда Ходасевич уже не жил рядом, он все равно туда приходил. Так, в «камер-фурьерском журнале» посещения «Ротонды» в 1925 году помечены 31 мая, 1, 5, 7, 10 и 12 июня, причем 7 июля среди встреченных там значатся Э. Триоле и В. Познер²³. А незадолго до приезда Маяковского, 22 апреля в Ротонде он встречается с Триоле и Эренбургом, 23 апреля – с Эренбургом, 28 – снова с Триоле и Эренбургом, 29 – с Триоле, 14 мая – еще раз с Триоле и Эренбургом. Кроме того, 24 и 26 апреля – просто встречи с Триоле... При такой густоте общения практически невероятно, чтобы два давным-давно знакомых поэта, к тому же далеко друг другу не безразличных, не знали о своем соседстве во времени и пространстве²⁴.

И в 1927 г. во время пребывания Маяковского Ходасевич находится в Париже, хотя на этот раз каких-либо связующих звеньев найти не удастся. Робкое воспоминание Триоле: «В этот приезд, да, кажется, именно в этот, выплывает из тумана памяти Валентина Михайловна Ходасевич»²⁵, не очень похоже на правду. Во всяком случае, сама художница описывает 1927 год как проведенный в СССР²⁶. Но вряд ли Ходасевич не заметил визита Маяковского: 9 мая «Последние новости» опубликовали вполне обширный отчет о вечере Маяковского в кафе «Вольтер»²⁷, в пятом номере «Нового Лефа» (вышел в июле) появился очерк «Ездил я сам», где этот же вечер описал сам Маяковский. Ходасевич следил и за тем, и за другим изданием.

Кажется, все это выводит нас на разговор об отношениях Маяковского и Ходасевича, который в той или иной форме уже начинался, но так, кажется, нигде и не был проведен сколько-нибудь полно, с привлечением всех известных материалов 1913-1930 годов²⁸.

Если верить указателю имен к полному собранию сочинений Маяковского, о Ходасевиче он писал единожды: в 1914 г., разбирая сборник «Война в русской лирике», Ходасевичем составленный, он подверг книгу резкой критике, не сказав, впрочем, ни единого слова о вине составителя, а, скорее, наоборот, полагаясь на его добросовестность в деле представления русских стихов о войне. Единственное упоминание имени в бытовом контексте было приведено выше (в цитате из письма к

Л.Ю. Брик).

Ходасевич писал о Маяковском значительно чаще, как в литературно-критических текстах, так и в письмах, и в записях разного рода. Если составить хронику прижизненных откликов, с прибавлением первого посмертного, то в статьях, помимо двух наиболее знаменитых («Декольтированная лошадь» и «О Маяковском»²⁹) он пишет о Маяковском сколько-нибудь подробно в обзоре «Русская поэзия» («Недурные строчки встречаются у В. Хлебникова, В. Маяковского, Д. Бурлюка» [Ходасевич. Т. 1. С. 422]), в еще одном обзоре – «По советским журналам»³⁰, в статье «Парижский альбом. IV»³¹, в начале статьи «О формализме и формалистах» (Ходасевич. Т. 2. С. 212). Отзывы эти неизменно отрицательны, хотя в них есть одна любопытная особенность: Ходасевич постоянно говорит о массовых подражаниях Маяковскому. Конечно, и они не устаиваются сколько-нибудь добрых слов, но сам феномен, видимо, его занимал. Основывалось это, конечно, на осознании принципиальных различий между двумя поэтиками, свидетельством чего является фраза из записной книжки: «Мои стихи станут общим достоянием все равно только тогда, когда весь наш нынешний язык глубоко устареет и разница между мной и Маяковским будет видна лишь тончайшему филологу» (Ходасевич. Т. 2. С. 12; запись от 25 июня 1921).

Но не только о поэтике должна, как кажется, идти речь.

Маяковский для Ходасевича был символом всего гибельного, что несла русской культуре советская власть. В черновом наброске, который не мог быть написан позже первой половины 1920-х годов, читаем:

«Борьба же ведется планомерно.

I. 1) Книги запрещаются “по спирали”. 2) Университеты закрываются и сокращаются. 3) Средняя и низшая школа – тоже. // Конец традиции.

II. Писатели и ученые – убиваются, гноятся в тюрьмах, высылаются. Смирные, приспособленцы – разворачиваются системой взаимных доносов, сыска, грубой конкуренции и т.д. // Типография, книги, издания за границей, учебники.

Официальная поддержка футуристов [и формалистов] – с той же целью. Отлично знают, что... Но Маяковский и Асеев дурачат юные головы, доводят литературу до тупика – этого и надо. Мейерхольд, Пильняк, Эрнбург...

Пролетарская культура? Под тем же прессом. Одни (дураки) обмануты, другие – знают, да помалкивают, боятся, ибо Родовы, Лелевичи, Маяковские и Бр.³² доносят и на них. Миссия...³³.

Миссия Маяковского как государственного поэта, на которой он сам так настаивал, принималась Ходасевичем совершенно всерьез.

Но и личные отношения двух поэтов на протяжении всего времени их знакомства и соседства оставались чрезвычайно напряженными. В черновом автографе статьи «О Маяковском» Ходасевич упорно настаивает: «Восемнадцать лет, с первого дня его появления, Маяковский был моим литературным врагом», «Восемнадцать лет, с первого дня его

появления, длилась моя литературная (отнюдь не личная) вражда с Маяковским», «Восемнадцать лет, со дня его появления, длилась моя лит<ературная> (отнюдь не личная) вражда с Маяк<овским>»³⁴. Подчеркивание длительности срока общения и вражды заставляет нас для начала создать хронологическую канву жизненных пересечений двух поэтов.

В «Декольтированной лошади» Ходасевич относит первую встречу к осени 1912 года в Обществе Свободной эстетики (Ходасевич. Т. 2. С. 159)³⁵. Очевидно, что в годе он не ошибся, так как 25 мая 1913 г. писал Б.А. Садовскому о новом явлении: «Декольте-Маяковский (какая отличная фамилия для шулера!), пожалуй, не хулиган, а просто кабафут. Они теперь ходят табунком: Ал. Брюсов, Ал. Койранский, еще какая-то тля газетная и он. Говорят, рубаха-парень, выпить не дурак, человек компанейский и “без претензий”»³⁶. И далее в том же письме: «Великий Маг (Брюсов. – Н.Б.) со мной чрезвычайно мил, особенно после разных Маяковских и Бернеров»³⁷.

В начале мая 1914 г. происходит описанная Б.Л. Пастернаком игра Ходасевича с Маяковским в орлянку: «Я увидел Маяковского издали и показал его Локсу. Он играл с Ходасевичем в орел и решку. В это время Ходасевич встал и, заплатив проигрыш, ушел из-под навеса по направлению к Страстному»³⁸.

9 февраля 1915 г. Ходасевич писал Садовскому: «Только что послал с Рубановичем и Липскеровым коллективное заявление в Эстетику. Нас обидели, заставив читать в прошлый четверг стихи, а после нас выпустив Маяковского и Зданевича. Будут большие бои»³⁹. Как результат этого столкновения и «больших боев» после него, через полтора месяца он в письме к тому же корреспонденту мимоходом бросает: «Нельзя же ходить разговаривать с Архиповым и Маяковским?»⁴⁰

В начале 1918 г. на квартире поэта и мецената М.О. Цетлина состоялся литературный вечер, на котором Ходасевич и Маяковский оказались уже в роли равноправных выступающих. Вечер этот запомнился многим, но вполне своеобразно. Сам Ходасевич вспоминал о нем в помете под стихотворением «Эпизод» на уже упоминавшемся экземпляре «Собрания стихов» 1927 года, принадлежавшем Н.Н. Берберовой: «25-28 янв. Впервые читал на вечере у Цетлиных под «бурные» восторги Вяч. Иванова (с воздеванием рук)». Более ничего о его выступлении неизвестно. Так, в газетной хронике сообщалось: «В квартире поэта А. недавно имел место интересный поэтический вечер, на котором присутствовали как представители состарившихся уже течений – Бальмонт, Иванов, Белый и др., так и “дерзатели”, срывающие покров с будущего, – футуристы Маяковский и др. Следует отметить, что столкновение двух указанных крайностей привело к неожиданным результатам – к признанию “стариками” футуриста Маяковского крупным талантом»⁴¹. И самые знаменитые мемуаристы – Пастернак и Эренбург, писавшие о вечере, – говорили только о Маяковском и о восторге Белого по поводу прочитанной поэмы «Человек». То же (плюс рассказ о сонете Бальмонта) находим в раннем, еще 1919 года, интервью Д. Бурлюка⁴². Единственным мемуаристом, заметившим Ходасевича, оказался П.Г. Антокольский. «В тот зимний вечер, в начале 1918 года, гостями их оказа-

лись чуть ли не все наличествующие в Москве поэты: тот же Бальмонт, Вячеслав Иванов, Андрей Белый, Пастернак, Цветаева, Эренбург, Инбер, Алексей Толстой, Крандиевская, Ходасевич⁴³. Брюсова почему-то не было. Ближе к полночи, когда уже было прочитано изрядное количество стихов, с опозданием явились трое: Маяковский, Каменский, Бурлюк. <...> Все слушали Маяковского затаив дыхание, а многие – затаив свое отношение к нему. Но слушали одинаково все – и старики и молодые. Алексей Толстой бросился обнимать Маяковского, как только тот кончил. Ходасевич был зол. Маленькое, кошачье лицо его шершлось в гримасу и подергивалось. Но особенно заметным было восторженное внимание Андрея Белого. Он буквально впился в чтеца. Синие, сапфировые глаза Белого сияли. <...> После первой же стопки поднялся Бальмонт. Он очень легко пьянел. В руке у него была маленькая книжка. Он прочитал только что, тут же за столом написанный посвященный Маяковскому сонет <...> С приветом, со словами дружбы и признания обратился Маяковский к Пастернаку, обменивался шутливо незначущими репликами с Цветаевой. <...> Это было торжество жизни, молодости, удачи и силы»⁴⁴.

Конечно, как и к любым мемуарам, к названным рассказам следует относиться с осторожностью. Бурлюк был явно ангажирован; трое остальных также сочувствовали скорее Маяковскому, чем Ходасевичу, а Антокольский к тому же писал свои воспоминания в 1953 году, что не могло не наложить определенного отпечатка на их строй. Но характерно, что не вспоминали об этом вечере другие поэты, на нем присутствовавшие и оставившие письма или мемуары: ни Цветаева в письмах к Ходасевичу⁴⁵, ни Белый в статье, где противопоставлял Ходасевича Маяковскому⁴⁶, ни восторгавшийся «Эпизодом» Вяч. Иванов в разговоре с М.С. Альтманом⁴⁷.

Почти через три года, 4 декабря 1920 Маяковский читал в петроградском Доме искусств поэму «150.000.000», читал при обилии народа. К.И. Чуковский записывал: «Потом Ходынка⁴⁸. Дм. Цензор, Замятин, Зин. Венгерова, Серафима Павловна Ремизова, Гумилев, Жоржик Иванов, Киселева, Конухес, Викт. Ховин, Гребенщиков, Пунин, Мандельштам, худ. Лебедев и проч., и проч., и проч. <...> Третья часть утомила, но аплодисменты были сумасшедшие»⁴⁹. Трудно сказать, был ли на чтении Ходасевич, с 17 ноября живший в Петрограде (как он писал М.О. Гершензону, «весь декабрь искал квартиру»⁵⁰), но трудно предположить, что известия об этом чтении и окружавшем его ажиотаже до него не дошли.

На страницах «Камер-фурьерского журнала» Ходасевича Маяковский появляется лишь однажды – 18 октября 1922 года⁵¹. Заведомо пересеклись они с Ходасевичем еще дважды – 27 октября на докладе В. Шкловского и 3 ноября на докладе И. Пуни в берлинском «Доме искусств»⁵². О парижских встречах и невстречах говорилось ранее.

Вот, кажется, вся известная ныне хронологическая канва встреч Маяковского с Ходасевичем (или Ходасевича с Маяковским – все равно), зафиксированных или документами, что для нас сейчас менее интересно, или современниками, эти встречи фиксировавшими, в том числе самим Ходасевичем. Обращает на себя внимание прежде всего то, что

во всех описанных сторонними мемуаристами или документами ситуациях Ходасевич оказывается в положении проигравшего. В ситуации весны 1914 года – проигравшего в прямом смысле этого слова⁵³, при скандале в «Эстетике» – сперва несправедливо уязвленного, а потом не восстановленного в правах; в 1918 году – оставшегося в тени блестящего выступления Маяковского; в 1920 – свидетелем триумфа соперника при собственных малолюдных и не всегда успешных выступлениях⁵⁴.

Ходасевичу было бы логично рассчитывать, что отъезд за границу избавит его от неприятного соседства и постоянных проигрышей. Однако Маяковский оказывается и в Берлине, и, наконец, в Париже снова совсем рядом. Мало того, он еще делает свое пребывание в тех же местах, где жил Ходасевич, фактом поэзии, и поэзии чрезвычайно талантливой. Это должно было еще более обострить чувство литературного (а отчасти и личного) соперничества.

Обратимся к двум статьям Ходасевича, подробнее других анализирующим творчество Маяковского. Существенно, что и «Декольтированная лошадь» и «О Маяковском» пишутся в те моменты, когда Ходасевич до некоторой степени подводил итоги своего творчества. «Декольтированная лошадь» появилась в «Возрождении» 1 сентября 1927 года, а всего через три месяца выходит (и, следовательно, в сентябре уже находилось в типографии) «Собрание стихов» Ходасевича, получившее редкостное по нравам эмиграции признание⁵⁵. Открытую полемике со своим противником Ходасевич начинает, ощущая себя в полной силе таланта, как бы отвечая на откровенно неудачный с его точки зрения пятый том «Собрания сочинений» Маяковского⁵⁶ своим «Собранием», долженствующим продемонстрировать читающей публике победу в принципиальном противостоянии.

Еще более характерно в этом отношении появление статьи «О Маяковском». 4 апреля Ходасевич заносит в «Камер-фурьерский журнал»: «Юбилей (2 Пэти, 2 Вейдле, Алдановы, Цетлины, Аминады, Зайцевы, Нидермиллеры, Маковский, Демидов, Поляков, Каплуны, С. Яблоновский, Винаверы, Мережковский, Бунины, Кузнецова, Зуров, Раевский, Кнут, М. Струве, Голенищев-Кутузов, Вишняки, Руднев, Вольфсоны, Зензинов, Полонские, Коварские, Ася, Волконский, Бахрах, г<оспо>жа Апостол, Феничка, Тэффи, Осоргина, Маклаков, Кульман)»⁵⁷. За день до этого о предстоящем юбилее – 25-летию литературной деятельности – написали В. Вейдле в «Возрождении» и М. Цетлин в «Последних новостях», уже после празднования – П. Пильский в рижском «Сегодня»⁵⁸, отчеты о чествовании дали «Последние новости», «Возрождение» и «Руль». Тем самым ко дню самоубийства Маяковского Ходасевич снова имел все основания чувствовать себя одним из ведущих поэтов эмиграции. Произнося эти слова, мы тем самым определяем свою точку зрения на события, разнствующую с позицией Дж. Мальмстада, также связавшего эти события, но видевшего в вечере «некий траурный подтекст» и полагавшего, что «собравшиеся отмечали, по существу, конец поэтического пути Ходасевича»⁵⁹. Безусловно, с нашей теперешней точки зрения траурные обертоны легко могут быть восприняты, однако мы не взяли бы утверждать, что они были таковыми для современников. В 1927-1929 гг. Ходасевич вполне продолжал писать

стихи и публиковать их. В списке стихотворений, хранящемся в Бахметевском архиве, после завершения работы над книгой отмечены 4 стихотворения в 1927 году, 6 – в 1928, 2 – в 1929-м. Помимо них, работа над неизвестными нам стихами трижды отмечена в не попадавшем ранее в поле зрения исследователей списке «Работа» в мае 1929 г., а также в сентябре 1930-г⁶⁰. На фоне предшествующих лет – это не так уж и мало. Для сравнения: в 1924 г. Ходасевич написал 9 стихотворений, в 1925-м – 6, в 1926-м – 3⁶¹. Как кажется, современникам, да и самому поэту в начале 1930 года еще не было никаких объективных оснований опасаться иссякания поэтического творчества, тем более, что было очевидно: начатая 29 января 1929 г. и продолжавшаяся до 6 часов 50 минут вечера 6 января 1931 года практически двухлетняя работа над «Державиным» (с мая 1931 года заменившаяся работой над «Пушкиным») вполне объясняла некоторое уменьшение поэтической активности.

Мало того, в этих же записях «Работа» содержится еще одно весьма существенное хронологическое показание. До сих пор никем не подвергалось сомнению, что стихотворение «Не ямбом ли четырехстопным...», принципиальное для всего творчества поэта⁶², было написано в 1938 г., как его датировала при первой публикации Н.Н. Берберова⁶³. Однако сам Ходасевич фиксирует в январе 1930 года: «1, среда. О молодых поэтах⁶⁴; 2, четв<ерг>. О Брюсове⁶⁵; 5, воскр<есенье>. О Брюсове. – Стихи о ямбе; 6, понед<ельник>. О Брюсове; 7, вторн<ик>. “О Брюсове” (“Книга о Брюсове”)⁶⁶; 8, среда. Стихи о ямбе». И несколько далее: «Апрель. 1, вторн<ик>. “К 4-стопному ямбу”».

Нам кажется, что «Стихи о ямбе» или «К 4-стопному ямбу» задумывались Ходасевичем как стихотворение к собственному юбилейному вечеру, приобретая тем самым особо декларативный и особо принципиальный характер⁶⁷. Если наше предположение верно⁶⁸, то в стихотворении Ходасевича актуализируются «антифутуристические» подтексты, совершенно неактуальные в 1938 году. Оно встраивается в ряд, начинающийся стихотворением 1923 года «Жив Бог! Умен, а не заумен...»⁶⁹, продолжающийся выше упомянутыми статьями о Маяковском⁷⁰, «О формализме и формалистах» (1927)⁷¹, возможно – репликой в «Балладе» 1925 года об «идиотствах Шарло», т.е. восторженно воспринимавшего Шкловским и Лефом Чарли Чаплине, возможно – односложными сонетами Ходасевича⁷². В таком контексте признание в любви и верности четырехстопному ямбу воспринимается как едва ли не открытая полемика с «Вам теперь пришлось бы бросить ямб картавый» или «Я б даже ямбом подсюсюкнул». Весьма показательно также, как в одном из черновиков трансформируется одно и то же сравнение четырехстопного ямба: сперва оно оказывается безусловно «высоким»: «Воистину – в потоке нашем / Он уцелел, как древний Ной», потом появляется и зачеркивается сомневающееся: «Как ной <так!> – могучий, плодливый и хмельной?», чтобы закончиться начинающимся с середины стиха: «и над ним / Смеется сын смешком плохим»⁷³. Этот «плохой смешок» (конечно, не без оборотов лермонтовской «Думы»), как представляется, вполне может относиться к футуристическому презрению всех и всяческих традиций.

В связи с нашими рассуждениями следует отметить, что вообще

апрель 1930 года в некотором отношении представляется совершенно необычным для Ходасевича. Поэт подсчитал, что в январе он не работал 4 дня, в феврале – 2, в марте – 3, в мае работал все дни, в июне – «бездельничал» четыре. В апреле же нерабочих было 24 дня. Первого он, как мы уже говорили выше, работал над стихами, 12 и 13-го написал статью «Пожар Москвы», 21-го – «О Маяковском», и, наконец, 25 и 26 апреля – снова взялся за отложенного на месяц «Державина». При этом весь месяц он был вполне здоров. Были, конечно, праздники, но и они не могли занимать все время: собственный юбилей (4 апреля), ужин газеты «Возрождение» (10 апреля), вечер И.А. Бунина с последующим застольем (13 апреля), Пасха 20-го числа, банкет по поводу десятилетия «Последних новостей» 27-го – вот и все. Как кажется, за затрудненной апрельской работой должна стоять какая-то психологическая причина, и мы предполагаем, что самоубийство Маяковского неким образом вмешалось в собственные переживания поэта, заставив после довольно долгого, недельного размышления написать некролог, сделав это весьма нетрадиционным образом.

И в день гибели Маяковского, и на следующий Ходасевич был в редакции «Возрождения». 15 апреля газета откликнулась на самоубийство неподписанной передовой, – было бы логично, чтобы ее написал Ходасевич, но он не стал этого делать (в составленном им еще одном списке своих произведений, где фиксируются не только подписные, но также анонимные и псевдонимные статьи, упоминания об этой передовой нет). Только через неделю, и очень быстро, Ходасевич пишет «некролог» Маяковского, причем работа не заняла много времени: он фиксирует, что писал «О Маяковском» один лишь день, на который еще пришлось завтрак с А.В. Бахрахом, визит в «Современные записки» и обычное вечернее времяпрепровождение в кафе. На следующий день с утра он был в «Возрождении» – явно для того, чтобы отдать текст. Что значит это недельное раздумье?

Кажется, о творческих причинах тут речи быть не может. Исследователями и комментаторами давно отмечено, что значительная часть «О Маяковском» является повторением текста «Декольтированной лошади». Практически дословно повторить недавнюю, напечатанную всего два с половиной года назад в той же самой газете статью – ход достаточно ответственный. Как нам представляется (со всеми естественными оговорками о том, что доподлинно понять психологию человека бывает достаточно сложно), Ходасевича одолевали сомнения, будет ли верно воспринята подобная статья. С одной стороны, он вряд ли мог сомневаться, что значительная часть эмиграции, для которой Маяковский был исключительно политической фигурой, его поддержит. С другой – слишком велика была опасность выйти за пределы чисто литературных отношений. Видимо, Ходасевичу нужно было убедить самого себя, что в случае с Маяковским он предельно объективен, не выходит в сферу личного.

Однако удалось ему это лишь отчасти. В развернувшейся полемике по крайней мере один критик, из числа Ходасевичу симпатизировавших и высоко ценивших его критическую деятельность, произнес сакраментальную фразу: «Она <статья «О Маяковском»> отражала не столько

его литературные взгляды, сколько его личное отталкивание от Маяковского, всем своим поэтическим обликом ему чуждого»⁷⁴. Мы также склонны считать, что при всей своей тонкости и щепетильности в литературных отношениях в данном случае Ходасевич не сумел избежать той опасности, которую сам же видел: даже его репутации едва ли не первого поэта русской эмиграции оказалось недостаточно, чтобы отделить полемику о природе поэтического творчества и о свойствах «специфически русского мифа о поэте»⁷⁵ от сугубо личного переживания.

Закончив рассуждения о связях Маяковского и Ходасевича, вернемся к интересующему нас фрагменту русского Монпарнаса, который далеко не ограничивается названным треугольником.

В конце сентября 1905 года по старому стилю и в начале октября по новому М. Волошин, словно обживавший этот уголок Парижа, поселяется в доме № 16 по Boulevard E. Quinet⁷⁶, метрах в двухстах от бульвара Распай в сторону вокзала Монпарнас. А ближе к вокзалу находится улица с русским названием – rue d'Odessa. Трудно сказать, по какой именно причине, но среди бумаг Ходасевича в Бахметевском архиве Колумбийского университета сохранился купон: «Galeries d'Odessa (17, rue d'Odessa) Soldes fin de saison» (V. Khodasevich Papers. Related Materials. Folder 1). А еще на этой улице находится дешевый hôtel Celtique, заставляющий вспомнить роман Н. Берберовой «Последние и первые» и эпиграмму Ходасевича «Ночь в отеле Сельтик»:

Илье Горбатову не спится,
(Какой тут сон!)
«Садиться или не садиться?»
Все шепчет он.

В досаде Ньюша суетится
(Она же блядь)
«Садиться мне или ложиться –
Прошу сказать!»

И Шайбин (Алексей Иваныч)
Уж тут как тут:
«Ишь, подняли вопросы на ночь,
Спать не дают!»⁷⁷

Правда, в романе этому отелю дан иной адрес (14, rue Gannegon), но все же совпадение стоит отметить.

Однако значительно более значимой для русских парижан была другая близлежащая улица, расположенная между бульваром Э. Кине и avenue du Maine. Осенью 1906 года там, на rue de la Gaité, поселяется Н. Гумилев (после недолгого житья на бульваре Сен-Жермен: видно, дороговато показалось), и 30 октября по новому стилю пишет Брюсову: «...я был бы в восторге увидеть Вячеслава Иванова и Макса Волошина»⁷⁸. Вопреки утверждению комментаторов, знакомство Волошина с Гумилевым состоялось значительно позже: в это время Волошин жил в Петербурге⁷⁹, но rue de la Gaité из поля нашего зрения не пропадает.

До сих пор эта небольшая улочка сосредоточивает множество театров⁸⁰ и иных увеселительных заведений. Именно с театрально-развлекательной традицией были связаны и русские воспоминания. Так, один из мемуаристов начала века писал: «Rue Gaité даже в Париже в своем роде единственная улочка. Крошечная, узкая, грязная, расположенная почти на окраине, в квартале, заселенном рабочими, ремесленниками, мелкими чиновниками, она живет циклически: утром, когда армия служащих, подённых, мидинеток устремляется по ней на работу, на правый берег; часам к пяти, когда <эта> армия, потрепанная, усталая, возвращается домой и с 7-8 час<ов> вечера, когда она становится олицетворением бесшабашного веселья. На этой улочке имелось четыре театра, не более как на 500 зрителей, столько же кино, бесчисленное количество кафе, баров, рестораничек, закусовых. Часов в 10-12 ночи здесь светло, как днем. Шумливая толпа, то истекающая сентиментальностью в приятельских и любовных встречах, то вскипающая ссорами и драками, — бурлит по мостовой и тротуарам и стихийной неужержимостью увлекает всякого, кто попадает в нее. Улочка Gaité лечила от любого сплина. За франк можно было пойти в театр (с бесплатной консомацией в виде кофе, миниатюрного стаканчика пива или вишень <так!> в спирте), прослушать, посмотреть ораву эстрадных исполнителей — певцов, певиц, куплетистов, декламаторов, танцовщиков, эксцентриков. Оркестрик маленький, но смелый, артисты — то уже сложившиеся, безызывные и на правом берегу, то дебютанты, с робкой неуклюжестью вступающие впервые в добродушной, но чуткой аудитории, и сама аудитория, преимущественно рабочая, модистки, шляпницы, богема, душившие без удержу, — создавали настроение, незнакомое другим театрам. Вся публика была одной компанией. Такой элементарной, почти животной радости я не испытывал нигде. Своеобразие этой обстановки привлекало в театры Gaité нередко и артистов с громкими именами. В одной мимодраме в Théâtre Gaité Montparnasse, помню, выступала уже прославленная тогда писательница — Colette Willy. Я, вообще никогда не унывавший, на улочке Gaité окончательно освобождался от всего, что накаплило в жизни, и веселился, как умел»⁸¹.

А. Боровой был далеко не единственным, развлекавшимся там. В октябре 1909 года Брюсов писал жене в Москву: «Милая девочка! Помнишь ли Ты, шесть лет назад, когда мы в первый раз были в Париже, Яценко водил нас в одно кабаре на левом берегу? Было оно устроено как большой театр, и пели в нем, на сцене, довольно фривольные песенки. В прошлом году я не мог его разыскать, а в этом, в своих ночных скитаниях, нашел. Это — Gaité, на rue de la Gaité, на Монпарнасе. За шесть лет мало что изменилось в Gaité, но сам Монпарнас с его многочисленными и низкопробными увеселениями показался мне интересным. К тому же вчера было воскресенье и все учреждения были переполнены, — истинно парижской публикой (*не иностранцами*). Присутствовал я даже при нескольких скандалах, где дамы били друг друга бинками, и это было забавно. В этом прошел мой вчерашний вечер»⁸².

А в воспоминаниях более позднего времени художница Маревна (сама жившая в этом районе) так описывала Волошина и Эренбурга:

«Когда они вместе шествовали вниз по улице де ла Гаэт <так!>, одной из наиболее людных на Монпарнасе, где прохожие и дети шумели, играли и шумели, кто-нибудь, посмотрев на них, говорил: "Эй, взгляни-ка на этих двух больших обезьян!"»⁸³.

Внимательные читатели Ходасевича также знают эту улочку по примечаниям в берберовском экземпляре «Собрания стихов»: «23 сент. <1925> Париж <...> Был с Бахрахом в театрике на rue de la Gaitée <sic!>». Совершенно очевидно, что в описаниях первого пребывания в Париже Н.Н. Берберова опиралась именно на эту помету, когда писала: «Мы ходим по узким и дурно пахнущим переулкам Монмартра, сидим в кафе Монпарнаса, мы идем в публичный дом на улицу Блондель, в танцуюлку на улицу де Лапп, мы проводим полночи где-то за путями железной дороги, где китайцы ловят нас за руки и зовут куда-то в подвал, дыша на нас странным незнакомым запахом. Мы ходим в маленькие театрики "варьете", где картонные декорации были бы смешны, если бы не были так грустны, на ярмарки, где показывают гермафродита, сидим в кабачке, где подают голые, жирные женщины и где, опять же за пятак, можно получить чистое полотенце, если клиент решает пойти с одной из них "наверх". "Румяный хахаль в шапокляке" и "тонколягая комета" – все это было увидено тогда на улице Гетэ»⁸⁴. Не исключено, что посещение «театрика» состоялось 9 или 29 мая 1924 г.⁸⁵

Обратим внимание, что из всего богатства парижских зрелищ и развлечений у Берберовой старательно выбраны находящиеся на грани пристойности: публичный дом, опиекурильня, демонстрация гермафродита, кабачок с обнаженными официантками... Между тем «Камер-фурьерский журнал» фиксирует, среди прочего, bal Tabarin, пасхальную службу в русской церкви, концерт (видимо, в пользу Политического Красного Креста), русский театр, прогулки по центру Парижа, пушкинский вечер в Сорбонне, дягилевский балет, студенческий вечер, концерт РДО, фейерверк 14 июля и т.д. Однако ничего этого ни в стихотворениях, но в мемуарах нет. Нечто подобное в истории русской литературы уже отмечалось: упомянутое выше пребывание в Париже Брюсова (по знаменательному совпадению – с Н.И. Петровской, так много значившей и в жизни Ходасевича) было связано с замыслом романа «Семь смертных грехов» (или «Семь земных соблазнов») и включало наблюдения за бытом наркоманов, гомосексуалистов, изучение литературной и художественной эротики на грани или даже за гранью порнографии и пр.⁸⁶ Не исключено, кстати сказать, что Ходасевич знал подробности этого пребывания: с мая 1909 г. его ближайший друг С.В. Киссин (Муни) был женат на сестре Брюсова, а, сколько мы можем судить, И.М. Брюсова была склонна обсуждать поведение мужа с его сестрами. Тогда не исключено, что монпарнасские месяцы 1924 года имели вольный или невольный образец в жизненном поведении поэта, волновавшего Ходасевича еще очень долго.

Но для нас гораздо существеннее, что тот колорит, который Берберова создает для описания первого пребывания Ходасевича в Париже, без особой натяжки можно назвать «бодлеровским». С одной стороны, он вызван в памяти самими стихами, а с другой – природой «урочища». Напомним, что с бульвара Э. Кине, почти напротив того дома, где жил

Волошин, и метрах в трехстах от первого парижского обиталища Ходасевича, можно войти на кладбище Монпарнас, где похоронен Ш. Бодлер. Будущий переводчик «Парижского сплина»⁸⁷, вряд ли мог миновать его могилу уже в первое свое пребывание, и уж, во всяком случае, при том серьезнейшем интересе к жизни и творчеству Бодлера, который испытывала вся литература русского модернизма, Ходасевич не мог не знать, что оказался с нею совсем рядом.

Напомним, что имя Бодлера «значительно и крупно», по выражению С.Г. Бочарова (Ходасевич. Т. 1. С. 9) в рассмотрение и оценку творчества Ходасевича (причем, что немаловажно, еще периода «Тяжелой лиры») ввел Вячеслав Иванов, когда писал: «Синтез de l'Ange et de la charogne как изображение человека – вот Ваше паскалевское задание...»⁸⁸. Конечно, для самого Иванова, посвятившего немало строк своих статей разбору стихотворений Бодлера именно как образцов поэтического «дуализма», эта оценка приобретала особый смысл, ставя творчество Ходасевича в контекст исканий всего русского символизма, но, как кажется, для адресата письма она имела особое значение, введя имя французского предшественника «в светлое поле сознания». Написанные в парижское пребывание 1924 года «Окна во двор», «Перед зеркалом» и «Хранилище» (причем два последних закончены в один день, 23 июля, а «Хранилище» имплицитно связано с именем Вяч. Иванова⁸⁹) тем самым, задним числом, переосмыслились как особо «бодлеровские», и заданный таким контекстом уровень заставил Ходасевича по-иному смотреть на свои стихи. Из шести стихотворений, законченных в годичном интервале между концом июля 1924 и августом 1925 года⁹⁰, он включил в итоговый сборник только одно – «антиэстетическое» и остро эротическое «Дачное», хотя среди отброшенных было, скажем, замечательное и аналитически-пророческое «Пока душа в порыве юном...» Но в них отсутствовало (в отличие от «Дачного») то, что могло бы позволить стихам называться «бодлеровскими». Зато по возвращении в Париж в стихах 1925-1926 гг. именно это начало начинает торжествовать, причем очень часто именно в том или почти в том столкновении и синтезе, как в ивановской формулировке. В «Балладе» это ангелы и ад; в «Из дневника» – строка «между купелию и моргом»; в «Петербурге» – гробовая тьма и зловонная треска в противопоставлении музыкальному ладу⁹¹; в «Соррентинских фотографиях» – резкие контрасты между мертвецом и «золотокрытым ангелом», «низким и плюгавым» домиком и роскошной итальянской природой, разрешающиеся в описании Пасхальной ночи (также данной через контрасты: с одной стороны – реальные плетя, «терновый скорченный веноч, / Гвоздей заржавленных пучок», с другой – «сладчайшие людские слезы»); в «Джоне Боттоме» – изувеченный и давно истлевший мертвец, общающийся с апостолом Петром.

Таким образом, выяснение хотя бы некоторых пересечений довольно ограниченного городского пространства с теми фактами культуры, которые с ним связаны, позволяет нам приоткрыть достаточно существенные (хотя, конечно, и не могущие быть досконально верифицируемыми) особенности творчества, так или иначе с этим пространством связанного.

ПОЭЗИЯ И НАУКА, ИЛИ ПОЧЕМУ ХОДАСЕВИЧ НЕ НАПИСАЛ УЧЕБНИКА ПОЭТИКИ

В воспоминаниях Ходасевич выразительно характеризовал стиховедческий переворот, произведенный Андреем Белым: «...это было открытием, действительно простым и внезапным, как Архимедово. Закону несовпадения метра и ритма должно быть в поэтике присвоено имя Андрея Белого» (Ходасевич. Т. 4. С. 53). Герои его воспоминаний то и дело ведут речь о разных аспектах механизма русского стиха. Брюсов – о пэоне первом и рифме к «смерть», Гумилев – о поэтике Сергея Нельдишена, в том числе и о ее стихотворной составляющей, Гершензон – о книжке С. Боброва «Новое о стихосложении Пушкина». В воспоминаниях о Сологубе значительная часть отведена разговору о технических особенностях его поэзии. Еще больше подобного в литературно-критических статьях Ходасевича, где вершинами в этом отношении являются рецензия на «Теорию и практику поэтического творчества» Н.Н. Шульговского, статья «Стихи на сцене» и специальная работа «Стихотворная техника М. Герасимова»¹.

Мало того, в его стихах нередко связанные со стиховедением термины, названия, образы. Самые знаменитые примеры, конечно, – «Дактили» и «Не ямбом ли четырехстопным...», но есть еще «Пэон и цезура» – стихотворение, вызвавшее в начале 1990-х годов специальные стиховедческие разыскания, есть определение пролетарского поэта: «Учителями твоими – Шульговский, Брюсов и Белый», что явно имеет в виду не поэтику, а статьи и книги о технике стиха².

При этом стоит отметить, что те поэты-символисты, чей опыт был Ходасевичем особенно ценим, очень часто выступали не только как поэты, но и как теоретики стиха: о Белом мы уже говорили, Брюсов оставил несколько «стихологических» работ, ныне основательно забытых, но в свое время популярных, Вяч. Иванов читал известные лекции о стихе в «Поэтической академии», которых Ходасевич не слушал, но о которых не знать не мог.

Казалось бы, все должно было побуждать его к созданию собственного учебника поэтики, особенно в эмигрантский период, когда ничего подобного современники не могли предоставить потенциальной аудитории. И потому было не удивительно среди его бумаг, хранящихся в Бахметевском архиве Колумбийского университета обнаружить 4 листа, явно относящихся к такому замыслу³. Текст черновой, но, как часто

бывает у Ходасевича, достаточно подробный, что не только дает возможность реконструировать задуманное, но одновременно и порассуждать о том, почему оно так и оказалось не доведенным хотя бы до степени законченного черновика, а оборвалось на середине.

Вступительная часть вообще прописана так, что при всей краткости изложения она вполне понятна: «Цель и смысл. Можно ли научиться быть поэтом? Нет. Но можно научиться читать стихи, понимая их внутр<еннюю> жизнь (ед<инственный> способ вообще понимать стихи) и можно научиться [правилам] навыкам ремесла.

Ремесл<енная> сторона искусства (всякого). Она тесно связана со смыслом, ибо неизбежно сказыв<ается> в выражении того внутреннего мира, кот<орый> и есть поэзия. Поэтика (овлад<ение> ремеслом) необходима для того, чтобы научиться наилучшему, вернейш<ему> способу этого в <?> мире понимать у других и выражать у себя.

Общее и личное. Закон и свобода. Одно в другом. Поэтика учит «правилам». Не стесняет ли? Нет, – как гражд<анскую> жизнь не стесняет «общ<ественный> договор» (разумный, демокр<атический> строй), к<а>к догмат не стесняет разв<ития> лич<ной> рел<игиозной> жизни. «Лит<ература> – республика» (монархист Державин).

Поэтика [дает] очерчивает границы и учит избегать основ<ных> ошибок. Она – результат коллект<ивного> опыта. Однако – оставляет простор. Ее законы *ненарушаемы* – к<а>к Сувор<овское> взятие Измаила: «Побед<ителей> не судят». Но чтобы победить дерзко, парадоксально – надо знать военн<ую> науку, – хотя бы для того, чтобы *застарелые ошибки* не применять в качестве личных попыток новшества.

<На полях:> Культура стиха. Дорев<олюционная>, эмигр<антская>. Mr Jourdain навыворот (думают, что стихи). Слух. У лучших здеш<них> – однообразие. Сов<етские> – разнообразие: там есть студии).

Отметим в этом вступлении, во-первых, политические обертоны: «разумный, демократический строй», конечно, является вызовом консервативным тенденциям, формулировавшимся многими и многими, в том числе и газетой «Возрождение», где Ходасевич сотрудничал с начала 1927 года, после ухода из демократических «Последних новостей». Во-вторых, слова «закон и свобода» – то ли прообраз, то ли отражение последней из сохранившихся строф стихотворения «Не ямбом ли четырехстопным...»:

Таинственна его природа,
В нем спит спондей, поет эпон,
Ему один закон – свобода.
В его свободе есть закон...

Традиционно считается, что это стихотворение написано в 1938 г., однако документами зафиксировано, что работа над ним была начата еще в январе 1930 года и продолжена в апреле, то есть непосредственно перед юбилейным вечером Ходасевича, отмечающим двадцатипятилетие его литературной деятельности⁴. Отнюдь не настаивая на своей правоте, скажем все-таки, что план интересующей нас работы кажется нам

относящимся к самому концу 1920-х или самому началу 1930-х годов, когда Ходасевич пишет книгу «Державин» (основания для такого допущения – настоятельные отсылки к именам Державина и Суворова) и начинает работать над биографией Пушкина, т.е. стихотворчество уступает место крупным прозаическим, но не беллетристическим работам, которые в конце концов по большей части оказались неосуществленными. Именно к таким замыслам, судя по всему, и должен был относиться интересующий нас черновик. Повторим однако еще раз, что это допущение чисто гипотетическое и вполне может оказаться неверным.

Далее Ходасевич переходит к описанию того, что он понимает под поэтикой вообще и задачами собственной работы в частности: «Поэтика дел<ится> на неск<олько> разделов: просодия, эйдолология и т.д. Большинство их восх<одит> к [общей] риторике и общей эстетике. Они сложны, спорны – я не решился бы предложить их по разным (...) причинам. Ограничусь просодией – [чистой] первой основой поэтич<еского> ремесла».

Отметим здесь характерно гумилевское словечко «эйдолология». Хотя оно, по наблюдению Р.Д. Тименчика, возникло в кругу первого Цеха поэтов и еще в 1912 г. было растолковано читающей публике С. Городецким⁵, все же широко известным термин стал со времени появления статьи Гумилева «Анатомия стихотворения» (1921), а Ходасевичу он должен был запомниться еще и по статье Блока «Без божества, без вдохновенья», которую он читал в невышедшем номере «Литературной газеты» того же 1921 года: «Последнее слово <т.е. именно «эйдолология»> для меня непонятно, как название четвертого кушанья для Труффальдино в комедии Гольдони "Слуга двух господ"»⁶. Отметим, что далее, там где Ходасевич переходит к просодии, он объединяет ее с фонетикой, то есть до известной степени идет по стопам того же Гумилева, который писал: «Теория поэзии может быть разделена на четыре отдела: фонетику, стилистику, композицию и эйдолологию»⁷, при этом фонетика занимается не только тем, что буквально этим словом обозначается. По Гумилеву, «фонетика исследует звуковую сторону стиха, ритмы <...> и науку о рифме с ее звуковой стороны»⁸, и Ходасевич отчасти соглашается с ним, уравнивая просодию и фонетику, ритм и звук.

Однако мы несколько забежали вперед. Далее Ходасевич переходит к замечаниям об общих законах ритма, а от этого – к краткой характеристике исторически сменявших друг друга систем русского стиха:

«Ритм к<а>к основа поэтич<еской> речи. Всякая речь ритмична. Поэзия имеет дело с повторными ритм<ическими> фигурами. Осложнение: Связь поэтич<еского> ритма со стр<оением> языка. Стихосложение тонич<еское>, силлаб<ическое>, силлабо-тонич<еское>. [Тонич<еское> – тайна утрачена]. Тонич<еское> – на долготе и крат<кости> слогов. Силл<абическое> – на числе их. Силлаб<о>-тон<ическое> – на сочетании обоих принципов. Причины. Утраченная тайна долготы и краткости. Осталось – понятие стопы (pulsanda tellus). Силлаб<ика> – не нашему уху, сомнит<ельна>. Однако – до Ломонос<ова> поэзия и проч. Наше стихосложение».

Затем начинается та часть, которую мы уже упоминали выше, – «I. Просодия и фонетика (инстр<ументовка> стиха)».

И здесь заметно, что Ходасевич уже начинает путаться, постоянно перебивает сам себя, то вставляет, то вычеркивает поправки, вводит понятия прежде того, как дает объяснения и т.д. Методика изложения начинает ощутимо давать сбои. Вот этот черновик до конца:

«Ритм и звук. Метр и ритм – объясню позже.

Начнем с [ритма] метра. Формы стоп: замена долготы и краткости ударяемостью и неударяемостью.

3-сложные: дактиль (палец), амфибр<ахий>, анапест, - - -

2-сложные: спондей, хорей, ямб.

(у нас редок и в чистом виде не встречается)

4-сложная: пэон: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й. Ею займемся позже.

[Дактиль. Гексаметр. Его правила.]

Ряды повтор<яющихся> стоп образуют *стих*.

Стих простой (единообр<азной> стопы) и сложный (сочетание, повторяющееся). Назв<ания> стихов: [2-сл<ожный> ямб, 3-слож<ный>

Строение стиха]. 2-х, 3, 4-сложный ямб, хор<ей>, амф<ибрахий>.

[хорей 5-стоп<ный>]. Закон уха: нет стиха длиннее шестистопного.

Гексаметр. Александр<ийский> стих.

Учение о цезуре.

III. Трехдольные размеры.

Гексаметр (арсис и тезис). Замена спондеем (у нас ⁹ – и хореем [чаще] ¹⁰. 5-я стопа. 6-я стопа. Цезура (ошибки Дельвига и Жук<овского> ¹¹).

Амф<ибрахий> и анапест. 2-слож<ное> слово в 1-й стопе. Анакруса и проч. Цезура –

- - - Случ<аи?> у Цвет<аевой>. У меня.

IV. Хорей [и ямб]

[Их замена. Полуударения (Пэоны)]

2-х, 3 и т.д. стопный. – Цезура.

V. Ямб. 2, 3, 4 ... стопный. Цезура.

VI. Полуударения. Пэоны. Метр и ритм (Белый).

VII. Строфа. (Рифма). Обозн<ачается>: а, b, с, А, В, С. 2-стишие (дистих). Терцины. Сонеты, триолет, рондо.

Астрофич<еское> строение. Черед<ование> рифм (окончаний).

VIII. [Рифмы] Фонетика. Рифма. Ее законы и отступл<ения>. Диссонанс. Ассонанс (Их неприменимость в сон<ете>, рондо, триолете...).

И заканчивается сохранившийся черновик пометой сверху в углу: «Enjambem<ent>? Где?»

На первый взгляд, отказ Ходасевича от работы можно объяснить достаточно легко: прекрасно владея практическими навыками стихосложения и отчетливо понимая общие законы соотношения ремесла и вдохновения, изложенные во вступлении, он не был готов к систематическому и внутренне последовательному изложению даже вполне начальных сведений по теории стиха. Об этом свидетельствует не только последняя фраза про enjambements, но и другие фрагменты: объяснение тонического стихосложения долготой и краткостью слогов и потому его непригодность для русской просодии, хотя далее силлабо-тоника с лег-

костью объясняется через замену долготы и краткости ударностью и безударностью; упразднение силлабики объясняется тем, что она «не нашему уху»; построение гексаметра описывается ранее, чем построение обыкновенных трехсложников; «закон Андрея Белого» разрабатывается уже после описания основных метров и размеров, и так далее.

Однако нам представляется, что дело обстояло значительно сложнее, и причины неудачи коренились именно в закономерностях устройства пограничной территории на стыке поэзии и стиховедения, куда Ходасевич охотно совершал успешные набег, но где разбить долговременный стан ему не удавалось.

Выше мы уже говорили, что на уровне теории Ходасевич охотно изучал понятия стихотворной техники, однако сами стихотворные изыски в его лирике оказываются чужды если не вовсе, то почти. Обратимся хотя бы к репертуару традиционных строф и твердых строфических форм, так подробно практически обследовавшихся поэтами-символистами и многими их последователями. В первой книге Ходасевича находим 3 триолета и сонет, еще два сонета – в третьей («Путем зерна»), среди опубликованных стихотворений – рондо и односложный сонет, еще один односложный сонет и несколько законченных и незаконченных сонетов обыкновенных – среди шуточных стихов и черновиков. Вот, кажется, и все. На фоне других поэтов того же времени – ничтожно мало. Достаточно вспомнить книгу триолетов у Сологуба или танок у С. Вермеля, раздел «Сонеты и терцины» у Брюсова, разнообразные венки сонетов и французские баллады, октавы и секстины, спенсеровы строфы и сонеты с кодой, логаядические подражания сложным античным размерам и пантумы, газеллы и ронсаровы строфы, чтобы понять, насколько поэзия конца XIX и особенно первых двух десятилетий века двадцатого была наполнена практическими исканиями в сфере твердых поэтических форм.

Мало того. Высоко ценя теоретические искания и знания, Ходасевич, как правило, решительно негативно относится к их практической реализации в творчестве. Так, непосредственно вслед за цитированным выше пассажем о «законе Андрея Белого» он говорит: «...у меня с Белым тотчас начались препирательства по конкретному поводу. Как раз в то время он готовил к печати "Пепел" и "Урну" – и вдруг принялся коренным образом перерабатывать многие стихотворения, подгоняя их ритм к недавно открытым формулам. Разумеется, их ритмический узор, взятый в отвлечении, стал весьма замечателен. Но в целом стихи сплошь и рядом оказывались испорчены» (Ходасевич. Т. 4. С. 53). Книгу Брюсова «Опыты» он, не обинуясь, назвал «ужасной», «собранием бездушных образчиков всех метров и строф» (Ходасевич. Т. 4. С. 31). Высоко ценя эстетические открытия и эстетическое чутье Вяч. Иванова, что явно связывалось с практическими, ремесленными навыками в сфере стиха, он резко отрицательно относился к его поэзии как к художественному явлению.

Называя выше в определенном контексте поэтов-символистов, которых Ходасевич высоко ценил, мы не упомянули среди них Блока и Бальмонта. О Блоке речь шла выше, а ситуацию с Бальмонтом разъясняет сравнительно мало известная рецензия Ходасевича на его книгу

«Поэзия как волшебство». Цитируя (не называя имени автора) «Зеленую улицу» В. Шершеневича: «...требование инструментальной звучности стиха противоречит принципам дифференциации искусства... но это мнение есть результат смешения звука словесного и звука музыкального»¹², Ходасевич восклицает: «...это скучно до ужаса, – и на каком чудовищном языке это написано!», тогда как про наивную с нашей теперешней точки зрения книжку Бальмонта говорится: «...как во всем творчестве Бальмонта, лирический ключ бьет в ней с силой неудержимой, часто пленительной. Многие страницы в ней блестящи. Другие поражают сочетанием глубины и меткости с простотой, почти детской. <...> хорошо, что есть еще у нас истинные, Божиею милостью поэты, – что есть Бальмонт»¹³.

В искусственно выстроенном диалоге двух поэтов, представленном как спор, верх одерживает не тот, кто более «научен», а тот, кто наделен «Божиею милостью», пусть даже она и выражается в «простоте, почти детской».

Но и в реальном, не искусственном диалоге, по Ходасевичу, побеждает поэзия. Отчетливее всего это проявилось в его собственном диалоге с формальной школой. В свое время Дж. Мальмстад уже напоминал, что статьи «Колелемый треножник» и «Об Анненском» заслужили резкую отповедь от Б.М. Эйхенбаума: «Ходасевич – очень хороший поэт. <...> Но ему, как и Чуковскому, не дает покоя наука. Он, как и Чуковский, играет на невежестве толпы, чтобы создать себе определенное лицо. Чуковский сердился на ученых, которые изучают одну форму. Ходасевич поступает так же, преподнося толпе неверную, вульгаризованную формулировку теорий, с которыми он, очевидно, мало знаком <...> Из цивилизованного Ходасевича вдруг выглянул обыватель, который в целом научном направлении увидел только одно – "воскресшее отсечение". Да, цивилизация – еще не культура»¹⁴.

Дело не в том, чтобы стать на чью-либо сторону в данном споре, который продолжался долго и хорошо прослежен тем же Дж. Мальмстадом, а важные уточнения были внесены И. и О. Роненами¹⁵. Для нас существенно, что для Ходасевича между поэзией и поэтикой существовал серьезный разрыв. Напомним, что он отказался заниматься гумилевской эйдологией и другими аспектами поэтики, оставив единственный – просодию. Кажется, следует предположить, что сложность и спорность их, констатируемая без расшифровки, состоит в принципиальной для Ходасевича невозможности научными методами описать природу творческого акта, превращение мира реального в мир художественный. Это возможно только для стихов, да и то не очень часто (наиболее отчетливый пример – «Баллада», завершающая «Тяжелую лиру»). Можно описать только приемы, необходимые для ремесленной выделки стихотворения, да и то самые элементарные: вряд ли можно предположить, что в рамках такого учебника Ходасевич мог бы адекватно характеризовать, скажем, просодическую структуру своих «белых стихов», где внешне графоманское неразличение пяти- и шестистопного ямба или появление бесцезурного шестистопника становится внутренне оправданным. Только в одном случае он рискнул добавить ссылку на современную поэзию. Разбирая трехсложные размеры, он пишет:

«Амф<ибрахий> и анапест. 2-слож<ное> слово в 1-й стопе. Анакруса и проч. Цезура →», а после этого с новой строки и начинаясь тремя черточками следует отдельный пункт: «- - - Случ<аи?> у Цвет<аевой>. У меня». Если здесь действительно имеется в виду появление сильного сверхсхемного ударения в первой стопе, то у Ходасевича подобные случаи находим в исключенном из окончательной композиции книги «Путем зерна» «Авиаторе»: «Выше, выше спирали очерчивай» и в «Бедных рифмах»: «Ехать в поезде, плед разложить». Впрочем, на исключено, что здесь он имел в виду поговорить про нечто иное, нам неизвестное.

Но даже претендуя только на одно – изложение технических начал построения стиха, – Ходасевич в какой-то момент начинает чувствовать, что без научного арсенала и здесь невозможно обойтись, причем в эпоху после Томашевского и Жирмунского этот научный арсенал уже не может быть прежним. Пограничная территория стремительно утрачивает свой статус, отходя к науке, и проницательный Ходасевич не мог не видеть, что для создания систематического пособия, которое могло бы конкурировать с книгами авторов, входящих в формальную школу или близких к ней, его практического и очень тонкого владения стихом, редких по внятности и убедительности объяснительных способностей – и не только в сфере литературы – оказывалось очевидно недостаточно. Неудача Ходасевича оказалась знаменательной для всего состояния русского стиховедения в двадцатом веке, когда первенство от поэтов первого ряда, занимающихся проблемами теории стиха, переходило к второстепенным, для которых новые теории были оправданием собственных поисков в поэзии, как у Шенгели или Квятковского, а потом и совсем к не-поэтам, то есть или к дилетантам, практически, а то и вовсе не выходившим в печать, как Томашевский, Жирмунский, Тынянов, или же к тем, кто если и писал стихи, то всячески это маскировал (Тимофеев, Бонди, и так далее, вплоть до Гаспарова).

ИЗ ПЕРЕПИСКИ ХОДАСЕВИЧА С МЕРЕЖКОВСКИМИ

Этих корреспондентов сегодняшнему читателю представлять было бы смешно. И Владислав Ходасевич, и Д.С. Мережковский, и З.Н. Гиппиус относятся к числу тех, кто постоянно оказывается в поле зрения сегодняшнего литературоведения, независимо даже от того, идет ли речь об их жизни и творчестве в России до 1919 (или 1922) года, или же об эмигрантском периоде, к которому и относятся публикуемые письма. Более того: хорошо известны письма Гиппиус к Ходасевичу, давно опубликованные, хотя и без должных комментариев¹.

Однако что случилось с большинством ответных писем, мы не знаем. Мало того, в архиве Н.Н. Берберовой сохранился сделанный ее рукою перечень писем Ходасевича к Гиппиус, в котором перечислено 43 письма², – но сами эти письма почти совсем неизвестны. Нет у нас сведений и об остальной переписке Ходасевича с Мережковскими. Об этом, конечно, остается лишь горько пожалеть.

Но вместе с тем и публикуемые письма дают возможность проникнуть на те уровни литературы и эмигрантской журналистики, которые до сих пор были от нас закрыты или полузакрыты и потому требуют тщательного восстановления контекста.

По большей части это сделано в комментариях, однако представляется резонным все же сказать несколько слов о тех темах, которые в них поднимаются.

Первая тема возникает в конце лета 1926 года, но касается ситуации несколько более ранней. В различных центрах русского рассеяния по крайней мере с 1922 г. существовали «союзы возвращения на родину». Однако в солидной печати (прежде всего в газете «Последние новости») довольно широкая кампания, получившая название «возвращенчества», дала о себе знать осенью 1925 года. Ходасевич связывал ее с провокацией ГПУ, которое, пользуясь истекавшим как раз тогда трехлетним сроком со времени так называемого «философского парохода», решило выманить из-за границы в Россию как можно большее количество эмигрантов. Еще весной он писал М.М. Карповичу: «Эта штука для меня глубоко неприемлема. <...> Помочь русскому народу, работая с большевиками, нельзя, ибо они сами “работают” ему во вред. Всякое сотрудничество с советской властью – по существу, направлено *против* русского народа» (Ходасевич. Т. 4. С. 498). Но в то время он не решался выступить против возвращенцев печатно: «Бурцевские лавры меня не манят, да у меня для этого нет ни знаний, ни умения, ни охоты. Но “про

себя” знаю – и соответственным образом все возвращенческое отвергаю» (Ходасевич. Т. 4. С. 499). Последней каплей оказалось опубликованное в августе 1926 г. скорбное письмо Горького о смерти Дзержинского. После этого Ходасевич счел себя вправе огласить известные ему факты о причастности ближайшего горьковского окружения к провокации. Он написал статью «К истории возвращенчества», и решал, что с нею делать. Об этом – первое письмо к Гиппиус, слегка затрагивается тема и в первом письме Мережковского к Ходасевичу. Отметим, что позиция Гиппиус очень резко выразилась в ее письме к И.А. Бунину от 10 июля 1926: «...неужели вы, единственный среди нас, обладающий свободным голосом в газете <”Последние новости”> (сами утвердили), – не возвысите этого голоса против *Верст*? Это уж не *Благонамеренный!* Не в том главное дело, что они там Зайцева ногтем прищелкнули, Вишняку за пазуху наложили, вас высекли, приговаривая: пиши как Алешка <А.Н. Толстой>! ДС-ча совсем растерли, а много как старой туфлей, отхлестали по щекам Ходасевича, не в том, но ведь все это, достаточно на аршин приблизиться, – неслыханное смерденье! И они знают, что безнаказанны. Мне – запрещено в *П.Н.*, а Ходасевич, в *Днях*... да нет, это надо его подлинное письмо прочесть, *c'est imprayable!* Я вам его прочту и послушаю, как вы ”выразитесь”! Ходасевич в полном отчаянии, ибо ”сексуальный” вопрос замешался, и М. Ал-ча <Алданова> приходится называть, как Марину <Цветаяву>, – ”задери подол” – ”Марк, держи свечку”...»³.

Остальные 5 писем Мережковского написаны осенью 1927 года. Общественную ситуацию того времени определяло несколько важнейших событий, сейчас потерявших остроту, а тогда весьма живых. С одной стороны, это ряд широко прозвучавших попыток диверсиями и террором вмешаться в жизнь Советского Союза: 3 июня была предпринята попытка взорвать общежитие ОГПУ в Москве; 7 июня на Главном вокзале в Варшаве был убит полпред СССР в Польше Войков, в тот же день в СССР было совершено еще два крупных теракта. В ответ на это 10 июня было объявлено о расстреле давно уже задержанного при переходе границы кн. П.Д. Долгорукова и его группы. Совокупность этих событий подтолкнула газеты к обсуждению вопроса о том, есть ли в России дееспособная вооруженная оппозиция. Приходилось признать, что – нет. Окончательное публичное разоблачение «Греста» пришлось как раз на осень 1927 года⁴.

На это накладывалось появление декларации местоблюстителя патриаршего престола митрополита Сергия (будущего патриарха) и обостренное ожидание реакции зарубежных иерархов на нее (подробнее см. в комментариях к письмам). А для людей, причастных к литературе, очень важна была решительная перемена в руководстве газетой «Возрождение» – в августе от поста редактора оказался П.Б. Струве⁵, и наиболее активные люди среди претендовавших на роль идеологических лидеров, стали питать надежды на то, чтобы, не возглавляя газету формально, стать ее идейными вдохновителями. А Мережковские находились в постоянном поиске издания, где они могли бы, не оглядываясь на редакторов, вести свою собственную публицистическую линию, прежде всего в сфере политической и религиозной.

Необходимо признать, что все попытки такого рода были обречены на провал. При всем своем полемическом темпераменте, систематически работать в качестве редакторов толстого журнала или тем более газеты Мережковские не были в состоянии. Множество мелкой работы, требующейся в регулярной журналистской деятельности, они выполнять не хотели, да и, судя по всему, не могли. Не случайно самый долговечный из их журналов, «Новый путь», продержался два неполных года, – и это при том, что им удалось привлечь некоторое количество профессионалов. Все остальные планы или не осуществлялись (журнал «Меч», руководство журналом «Образование» и газетой «Утро»), или вскорости обрывались (журнал «Голос жизни», руководство литературным отделом «Русской мысли»). То же самое было и в годы эмиграции. Сотрудничество с варшавской газетой «Свобода» (впоследствии переименованной в «За свободу!»), которой фактически руководил Д.В. Философов, толком не состоялось; охотно печатая художественные произведения и время от времени даже публицистику Мережковских, журналы и газеты подчиняли их деятельность редакционной политике («Последние новости», «Звено», «Общее дело», «Современные записки» и пр.). Даже не слишком регулярные и малотиражные журналы, вроде обсуждающихся в письмах «Нового дома» и «Нового корабля», не выдерживали полного доминирования Мережковских и не собирали читателей.

После ухода Струве с поста редактора «Возрождения» им (прежде всего Мережковскому) показалось, что появляется возможность сделаться определяющими фигурами в этой газете. О расстановке сил в газете с августа и до декабря 1927 г. дает представление хроникальная заметка: «Мы уже сообщали, что Н.Н. Львов согласился выставить свою кандидатуру на пост председателя Совета РЦО. Предполагалось, что после его выбора в председатели Совета Н.Н. Львов войдет в состав редакции «Возрождения». Теперь нам сообщают, что вступление Н.Н. Львова в состав редакции «Возрождения» состоится до общего собрания РЦО, а именно в ближайшие дни, причем Н.Н. Львов возьмет в свои руки общее политическое руководство газетой, а Ю.Ф. Семенов перейдет на свое прежнее амплу технического редактора. Что же касается г. Маковского, фактически руководившего газетой после ухода П.Б. Струве, то он, оставаясь членом редакционной коллегии, будет заведовать литературным отделом»⁶.

С.К. Маковский не выглядит здесь фигурой безразличной. Напомним, что он был видным искусствоведам, поэтом средних достоинств и издателем «эстетических» журналов, среди которых был выдающийся по своему значению для русской журналистики «Аполлон». Мережковские в свое время «Аполлоном» брезговали, однако теперь особенно выбирать не приходилось. Даже если учитывать, что единоличным руководителем Маковский в газете не был (Ю. Семенов имел несколько не меньшее влияние, а официально даже значился редактором), его роль была весьма значительна. И то, что именно он стоял у истоков идеи о приглашении Мережковских в газету, весьма показательно.

Показательно и то, что посредником он выбрал Ходасевича. Именно на 1926-1927 г. приходится наибольшее сближение его с Мережков-

скими. Еще в апреле 1926 г. он писал М.М. Карповичу: «Литературно у меня сейчас “флирт” с Гиппиус: за что-то она меня полюбила» (Ходасевич. Т. 4. С. 398). И не случайно именно Ходасевичу была доверена первая речь на собрании общества «Зеленая лампа», созданного по инициативе Мережковских. В декабре 1927 г. Гиппиус пишет восторженную рецензию о «Собрании стихов» Ходасевича⁷. Но долгим такой альянс быть не мог. Слишком уж различны были интересы писателей, слишком по-разному они относились к текущей литературе, слишком разными виделись им литературные и общественные интересы эмиграции⁸.

Об этом наглядно свидетельствуют письма Ходасевича к Гиппиус 1928 и 1929 гг., особенно если их читать в соотношении с тем, что пишет ему в то же время Гиппиус. Ходасевич все время говорит о литературе – она все время стремится за ее пределы. Ее волнуют общие судьбы значимых для нее начинаний – его конкретное положение дел в них. Если использовать терминологию самой Гиппиус, для нее важна стратегия (причем очень часто фантастическая), для Ходасевича же – тактика литературной борьбы и поведения в литературной жизни. Именно это привело в конце концов к расхождению и практическому расставанию. Если не считать двух писем 1939 года, последнее письмо Гиппиус относится к сентябрю 1931 г., и черновик ответа Ходасевича на него печатается сейчас.

Внешне речь идет о несоблюдении (с точки зрения Гиппиус) литературной этики: Ходасевич написал о том, что псевдоним Антон Крайний принадлежит ей, а также процитировал ее частные письма. При этом он, конечно, был прав и в том, и в другом случае. Гиппиус сама этот псевдоним раскрыла на титульном листе своей книги, а фрагменты из писем дважды задолго до этого были напечатаны в «Последних новостях», не вызвав никакой обиженной реакции. Но, конечно, не в этом было дело. Гиппиус во что бы то ни стало нужно было «обидеться» на Ходасевича, который не поддержал ее в печати, а, наоборот, с присущей ему едкой язвительностью, скрытой за внешним почтением, высмеял. Позиция, занятая Гиппиус (да и Мережковским тоже) с очевидным уничижением паче гордости, была ему самому, вынужденному постоянно приспособливаться к газетным требованиям, потому что иначе он оказывался не в состоянии просто прокормить себя, глубоко чужда и не могла не казаться искусственной. Не случайно Гиппиус отказалась от его предложения напечатать в «Возрождении» письмо с протестом против «кражи литературной собственности».

Письма Ходасевича к Гиппиус хранятся: Beineke Rare Books and Manuscript Library. Gen MSS 182. Box 57. Folder 1290. Письма Мережковского к Ходасевичу – там же, folder 1304. О месте публикаций еще двух известных писем Ходасевича к Гиппиус см. в прим. 8.

В.Ф. ХОДАСЕВИЧ – З.Н. ГИППИУС

1

14, rue Lamblardie
Paris (12e)

Милая Зинаида Николаевна, я себя так дурно чувствую (опять фурункулы), что ответ на Ваше письмо о Мельгунове третий день лежит на столе не конченный⁹. Не сердитесь, если это письмо выйдет несурозно: если б Вы знали, в какое состояние я прихожу, когда нарывает: ведь это, на моем веку, уже третья сотня фурункулов¹⁰. Я имею право на «нервы».

Так вот, Ваше предложение для меня не совсем ново¹¹. Я сам подумывал, с Вашей помощью, просто напечатать статью, возвращенную «Днями», – в «Свободе»¹². Но, собрав все силы для спокойного обсуждения, решил этого не делать, – по следующим причинам:

1) Эмигрантская «масса» не читает «Свободу», след<овательно>, с моей статьей в этом случае ознакомится только в интерпретации «Дней» и «Посл<едних> Нов<остей>». А интерпретация будет сами знаете какая: с передержками и клеветами, ибо будут бить и по мне, и по «Свободе», на которую даже у Милукова «зуб» за давнюю статью Арцыбашева¹³. Мое «разоблачение» утопят именно в *глазах массы*, – а деятели и деяние выйдут невинными героями: вместо подсиживания – получится реклама.

2) Если я, ближайший сотрудник «Дней», появлюсь с этим делом в «Свободе», – то это опять же козырь для Кусковой и К^о: вот видите, это такой вздор, что собственная газета от него отказалась – и он побегал в чужую, которая неразборчива.

3) У меня есть еще отдаленная надежда несколько времени спустя (почему спустя – долго и скучно объяснять) распропагандировать «папашу», т.е. в этом вопросе приобрести политически сильного союзника, а *главное* – завладеть газетой, в кот<орой> доньне действовали Осоргин и Кускова¹⁴. Если не спугнуть папашу «Свободой» – это все же возможно. *После* «Свободы» он станет на сторону возвращенцев.

4) О моих разговорах, конечно, полетели уже реляции в Прагу (Зензинов¹⁵) и к Осоргину (Макеев¹⁶ поехал туда, где жена Осоргина¹⁷, и уже рассказал, при Алданове). Так вот, я хочу посмотреть, какова будет «химическая реакция».

Таковы были мои основные соображения. Что же было бы, если б сделать так, как Вы предлагаете?

Во-первых, – останутся в силе три первых пункта из того, что сказано выше. Во-вторых: допустим, Вы делаете это вовсе анонимно: результат: все будет объявлено просто ложью и безответственной болтовней; допустим, Вы подписываетесь, не называя меня: объявят: Гиппиус лжет, ибо она в Сорр<енто> не была¹⁸; или: лжет ее *анонимный* источник; допустим – Вы меня назвали: ага, сам не посмел, потому что *лжет*. Словом, мы попадаем в категорию просто лгунов – и Кускосоргины с нова герои, жертвы, а дело их – великое дело.

Милая Зинаида Николаевна, Вы правы: и я не «обуреваем самоотверженной любовью ко всем несчастным малым сим, в первую голо-

ву»¹⁹. Но я обуреваем вполне самоотверженной ненавистью к делу б<ольшеви>ков и их приверженцев. Именно это заставляет меня *пока* «смириться» и не лить воду на *их* мельницу. Я не хочу, чтоб мне раньше времени заткнули глотку, которая еще может пригодиться. А при данном соотношении сил и при нынешнем моем состоянии это кончилось бы именно так. Я как раз *не хочу, чтоб меня смирили до полного бездействия*.

Вы меня, кажется, обидели словами о случаях, когда приходится «рисковать *даже* личными интересами». На своем веку я ими рисковал довольно – и всегда проигрывал их, и привык к этому. Но я не хочу, не могу, чтоб мой проигрыш стал прямым выигрышем возвращенцев, чтоб дело Кусковых «окрепло в бореньях»²⁰ с клеветой Ходасевича: да, этого, прямо говорю, – не вынесу. Какой ужас – *помочь* им!

Нет, ничего в «Свободу» не пишите. Я буду ждать и брать измором, тут время работает на меня. Месяц тому назад мне никто не верил, что Пешкова близка к Дзержинскому²¹. А теперь и Миноры²² с этим согласны. Подожду, когда поверят и о Кр<асном> Кресте²³, – точнее: когда решатся поверить.

Если, скажу по совести, мое поведение кажется Вам просто трусостью и вилянием – что ж делать. Но мне это было бы очень тяжело.

Я написал нескладно и многого не написал вовсе. Сил нет рассказывать еще разные разности и сложности, а их очень много. Мне очень хочется думать, что Вы поймете меня в полную меру. Надоело же, в самом деле, что никто никогда не понимает.

Какое нескладное письмо! Вот P.S., в котором придется чуть ли не все начинать сначала. Когда я писал Вам, что не могу иметь против себя «Дни», «Совр<ременные> Зап<иски>» и «Посл<едние> Нов<ости>» – я именно думал о напечатании статьи в «За Свободу». Но это не важно. Вот что важнее. Я сейчас всерьез обсуждал вполне «академический» вопрос, что было бы, если б Вы написали, не помяная меня... Да разве это возможно? Неужели Вы в самом деле думаете, что я просто *хочу остаться в стороне*? Поджечь хвост? Поймите же, Бога ради, что я не себя боюсь проиграть, а дело. – Ведь, в довершение всего, это было бы самозатыканием собственного рта: ведь я знаю еще тысячу вещей, которая необходима была бы для возражения на «их» неперменные возражения. И я, спрятавшись за Вас, лишился бы даже возможности спорить, когда все дело объявят клеветой? Да и можно ли спорить, когда я здесь, Кускова в Праге, а «Сегодня» – в Варшаве? Подумайте: по две недели проходило бы от реплики до реплики. Нет, сколько ни думаю, – нельзя. Надо ждать.

Будьте здоровы. Целую Вашу руку.

В. Ходасевич.

30 авг<уста> <1>926

Париж

Мельгунов показал статью Мякотину. Мякотин размяк. Сделали купюры. Увидели, что и так – неприятно для... Мяк<отин> сказал: всю статью вон. Мельгунов ответил: и рад бы, да поздно, я связан словом. Мякотин «вышел» из редакции, а Мельгунов не восстановил купюр, чтоб Мякотину, через 2 месяца, было удобнее «вернуться». Так, по-

моему, было. О, люди, как говорится в подобных случаях ²⁴.

2

10-bis, rue des 4 Cheminées, Boulogne s/Seine

Потеряли мы друг друга, точно в лесу – и оказывается, даже сау-каться не так просто! Третьего дня мне сказали в «Возрождении», что «только что» переправили мне (или Берберовой?) Ваше письмо. Ну – вот уже двое суток, а письма нет: значит, перепутали адрес. Письмо или пропадет, или вернется к Вам. Это горько ²⁵.

Милая Зинаида Николаевна! Мы молчали, ибо сперва Вы были в Сербии ²⁶. А потом мы судорожно переезжали и устраивались на новой квартире ²⁷. А потом, числа 2-3, я заболел, потом на два дня встал, а третьего дня, побывав в «Возр<ождении>», – снова слег ²⁸. У меня подагра, смешанная с ревматизмом, это совсем мучительно. Берберова снова в роли сестры милосердия и снова сбилась с ног. Опять же плохо.

Впрочем – что бы я мог написать Вам? Здесь так тихо, что слышно, как муха жужжит. Да нет, не жужжит и муха. Кажется, все всё высказали и всем смертельно надоело высказываться. «Живем – хлеб жуем». Кажется, после нового года надо будет обменивать старые cartes d'identité ²⁹ на новые. Можно думать, что это вызовет некоторое общественное оживление. А пока – тихо.

Выходят книги. Из них только о «Современниках» Алданова можно говорить (что я, кажется, и сделаю в «Возр<ождении>») ³⁰. Прочее – было бы позорно, если б не было так ничтожно. Стишки Дона-Аминадо ³¹, мочеполовой роман Одоевцевой ³², творения Осоргина ³³... Перед СССР стыдно. Знаете ли, что такой обывательщины там не издают?

Впрочем, все это Вы знаете без меня. Я же ничего не могу сказать нового. Просьба: если не лень – напишите еще раз то, что писали в письме, до меня не дошедшем ³⁴. Еще просьба – передайте поклон Дм<итрию> Серг<еевичу> – и выражения лучших моих чувств. Последние относятся и к Вам, а вместо поклона целую руку.

Ваш В. Ходасевич.

14.XI.<1928>

3

5 декабря 929.

Я очень обрадовался Вашему письму, дорогая Зинаида Николаевна, п<отому> ч<то> никак не мог понять – чем провинился пред Вами так сильно? Еще очень рад, что Вы стали есть: припомните, сколько раз я Вам это советовал, не только устно, но и письменно. Уязвлен, разумеется, что кулинарные влияния оказались сильнее дружеских, – да что поделаешь, и то хорошо. Не забудьте позвать меня обедать. Должна же быть хоть какая-нибудь справедливость ³⁵. Ведь вот – по вопросу о данном и должном Вы тоже довольно несправедливо валите с больной головы на здоровую: я не отказался говорить (писать) о должном, а только

отложил сие до личной нашей беседы. А вот Ваши поиски должного внутри данного («на скотном дворе») по существу являются капитуляцией перед данным ³⁶.

Зато Вы могли бы торжествовать надо мной вот по какому поводу: не успел я провозгласить принцип деликатного отношения к Бунину во имя «литературной аристократии», – как он сам весьма не аристократически вскинулся на символистов ³⁷. Кажется, тут моя деликатность оказалась *не в коня корм*. Запомним.

Молодого человека, приехавшего из Риги, фамилия Зуров. О нем см. 2 № «Нового Корабля», статью Ходасевича, примечание. Он написал книгу «Кадет» – под Бунина. Говорят, он влюблен в Галину (или она в него – не помню) ³⁸.

Сегодня я увидел Ваши стихи в «Возр<ождении>» ³⁹ – и признаюсь, мне стало за Вас... ну, скажем, досадно. Муратову не возбраняется думать о Савинкове и Керенском что угодно; высказывать глупости по поводу Вашей книги он тоже вправе; все это – свобода мнений ⁴⁰. Но после того, каким тоном говорит он лично о Вас, – странно видеть Ваши стихи в «Возр<ождении>». Вы сами можете обижаться или не обижаться: дело *Ваше*. Но дело *редакции* не печатать такого о своем сотруднике. Это в смысле общественном непристойность, в личном – предательство.

В «Возр<ождении>» все по-прежнему. Я очень удивился Вашему замечанию о том, что Мак<овский> «ничего там не значит» ⁴¹. Действительно, дня 2-3 после его приезда так было, Семенов ⁴² даже воспретил сдавать рукописи Маковскому. Но затем он быстро отвоевал решительно все позиции. Мне, впрочем, до всего этого нет дела.

Что «игры» моей нет в моих фельетонах – изволили сказать сущую правду. «Играть» мне не хочется, да и некогда. Не то, чтобы вся *игра* уходила в Державина, но, во всяком случае, – весь труд. Для «Возр<ождения>» я выбираю самые безобидные темы, потому что во-первых они отнимают меньше труда, а во-вторых не грозят мне досада-ми, когда я увижу, что рядом печатается нечто противоположное ⁴³.

Все это, разумеется, я мог бы сказать Вам при свидании, но пишу, чтобы показать, из какого нежного материала сделана душа моя. А вот «вестей» – извините – никаких не могу Вам сообщить: нет их ⁴⁴. Сам мало ими интересуюсь, это правда. Все они на один лад: либо глупость, либо мерзость.

Приезжайте скорее. Целую Вашу руку. Привет Д.С. и В.А. ⁴⁵

Ваш В.Ходасевич.

Ну, что же можно сказать на десяти строчках? Пожалуй, лучше написать длинное письмо. А как писать длинное письмо, когда Вы через неделю будете здесь? Тогда уж лучше подождать и просто прийти к Вам в гости... Это я и сделаю. А пока, дорогая Зинаида Николаевна, крепко Вас целую и благодарю за письмо. Очень рада буду повидать Вас.

Н. ⁴⁶

Сент. 1931

Дорогая Зинаида Николаевна,

Я сравнительно редко бываю в «Возр<ождении>» и потому получил Ваше письмо только вчера.

Относительно псевдонима Антона Крайнего Вы решительно ошибаетесь. Он раскрыт, даже много раз, – особенно в разных энциклопедических словарях, справочных изданиях и т.д. Наконец, сколько я помню, на обложке Вашего «Лит<ературного> дневника» прямо сказано: З.Н. Гиппиус (Антон Крайний)⁴⁷.

Другое дело Ваши письма. Конечно, меня очень огорчает, что я [невольнo] причинил Вам неприятность. [Говорю *невольнo* – потому что искренно был уверен, что их появление в печати Вам безразлично. Уверенность же эта возникла у меня потому, что Вы, конечно, имели возможность] [Вы пишете, будто я «прекрасно знаю», что Вы нигде не могли напечатать протеста по этому поводу. Напротив, я совершенно уверен, что Вы могли напечатать письмо в редакцию. Это письмо, разум<еется>, напечатали бы и «Возр<ождение>», и «Числа» и «За Свободу», и даже «Посл<едние> Нов<ости>». Но Вы его не напечатали – и тем дали мне все основания считать, что к делу Вы относитесь безразлично. Потому-то я и говорю о *невольной* своей вине. Тем не менее мне хотелось бы хоть отчасти ее загладить.]

Но я сделал это *невольнo* – и отчасти по Вашей вине. Книги [Чеш<ихина>-Ветр<инского>] Евгеньева-Максимова, в кот<орой> В<аши> письма были впервые помещены, я не видел⁴⁸, а если б и видел, то ни в коем случае не счел бы возможным заимств<овать> из нее цитаты без Вашего разрешения [потому что, как и Вы, считаю [первонач<альное> опубликование этих писем] [подобную публикацию грабежом], что письма краденые]. Но в № 3473 «Посл<едних> Нов<остей>» (25 сент. 1930) была помещена статья Н. К-га⁴⁹, кот<орая> так прямо и называлась: «Из переписки З.Н.Г. и П.П.П.»⁵⁰ Во второй раз Ваше письмо цитировано в той же газете В. Мякотиним, в статье «Из прошлого нашей журналистики» (30 июня 1931). То обст<оятельство>, что Вы не протестовали против перепеч<атки> этого мат<ериала> в эмигр<антской> газете, дало мне все осн<ования> думать, что Вы к этому делу относитесь безразлично, и только потому я счел возм<ожным> цитировать В<аши> письма по К-гу и Мякотину (отнюдь не по Евг<еньеву>-Максимову). Вы пишете, будто я «прекр<асно> знаю», что Вы нигде не могли напечатать подобного протеста, – и Вы тут не правы⁵¹. За год, протекавший с того дня, к<a>к появилась статья К-га, Вы, конечно, могли написать письмо в ред<акцию>. Я думаю, что его поместили бы и сами «П<оследние> Н<овости>», и «Числа». *Уверен*, что его поместило бы «Возр<ождение>» Нак<онец>, неужели Вы можете предполагать, что его не напечатал бы Философов⁵²? Меж тем, после такого письма в ред<акцию> я бы уже не стал цитировать Ваших писем к Перц<ову> (что и оговорено в моей статье в примечании).

Однако мне хотелось бы загладить по возможности мою неволь-

ную вину перед Вами. Без официальной повода я этого сделать не могу, ибо не могу сослаться на Ваше частное письмо ко мне. Поэтому – не хотите ли прислать письмо в редакцию «Возрождения» с протестом против факта перепечатки Ваших писем – но, разумеется, не в моей статье, а в «Последних Новостях», откуда я их заимствовал. Однако же я в кусты не спрячусь, а сделаю от себя приписку, в которой принесу Вам свои извинения. Я уже говорил с редакцией «Возрождения» и никаких препятствий к напечатанию такого Вашего письма не встретил⁵³.

Все-таки мне кажется, что Вы чрезвычайно преувеличиваете свою невозможность печататься и слишком много жалуетесь на нее в печати. Кстати сказать, дураки будут большевики, если не воспользуются Вашими жалобами для доказательства свирепств «буржуазной цензуры». Ведь вот и «Парижанин» напечатал же в «За Свободу» прекрасную статью об «Утверждениях» (которую я, вероятно, не только обворую в одной из будущих статей). И – не понимаю, почему он счел нужным ее подписать псевдонимом⁵⁴.

А затем – целую Вашу руку. Я слышал, что Вы уезжаете (а может быть, уже уехали?) Надеюсь – это не надолго? Когда вернетесь, буду очень рад Вас увидеть. Ваш В.Х.

Д.С. МЕРЕЖКОВСКИЙ – В.Ф. ХОДАСЕВИЧУ

1

Villa Alba
29/VIII <19>26

Дорогой Владислав Фелицианович, очень благодарю Вас и «Дни» за прекрасную статью М.О. Цетлина о «Верстах», где они меня защитили от Святополка Окаянного⁵⁵. Я хотел бы поблагодарить самого Цетлина, да не знаю, где он сейчас, а на переписку летних писем не очень надеюсь.

Жду главы из «Мессии» в «Днях»⁵⁶. Очень прошу Вас и Алданова, когда появится в «Днях» отзыв о новой книжке «Современных» Записок, то сделать так, чтобы не замалчивали «Мессию», как это делали до сей поры под благовидным, но недостаточным предлогом, что о романе-де «нельзя судить, пока он не кончен»⁵⁷. Алданову я об этом тоже напишу.

Посылаю Вам отзыв Томаса Манна обо мне из «Свободы»⁵⁸. Отзыв этот в искаженном виде и на спине у Шмелева появился в «Возрождении»⁵⁹. Может быть, найдете возможным напечатать его в «Днях»⁶⁰. Мне дорого то, что там упоминается о «Тайне Трех», которую русские читатели так мало знают.

Очень хотелось бы что-нибудь послать для первого номера «Нового Дома»⁶¹. Думал было послать перевод IV (мессианской) Эклоги Вирги-

лия⁶². Но сейчас просмотрел и вижу, что без комментариев будет непонятно, а они были бы слишком громоздки, да и нет сейчас под рукой нужных материалов. Много у меня мыслей и о современной литературе; и все это легко бы сказал на словах, а писать разучился. И главное горюемое, что надо начинать Наполеона: со страшным трудом я уже передвинул «машину времени» на 3.000 лет от Ахенатона – 1350 г. до Р.Х. к 1800 по Р.Х., а еще передвигать на сто лет до наших дней почти невозможно⁶³. Пусть же на меня не очень сетует милая Нина Николаевна, если не соберусь ничего дать для первой книжки. Ах, если бы говорить, а не писать, сколько бы я сказал! Надо бы изобрести особый род *неписанной литературы*, – а написать умнее отчет о литературных беседах, что ли?⁶⁴

С надеждой жду Вашей статьи о «Верстах», но боюсь, как бы «Современные Записки» опять не испугались⁶⁵.

Не забываете нас. Целую руки Нины Николаевны.

Сердечно Ваш

Д. Мережковский.

2

Villa Tranquille
5/X <19>27

Дорогой Владислав Фелицианович,
мне давно хотелось Вам написать, но я обезумел – «осатанел» от моей антисоглашательской, антимилюковской лекции, которую сейчас готовлю, чтобы прочесть ее как можно скорее, по приезду в Париж, и этим сразу выяснить все наши стратегические позиции⁶⁶.

Я очень склоняюсь к возможности нашего с З.Н. переселения в «Возрождение». Вы пишете, что Маковскому хотелось бы иметь нас обоих. Я очень убеждаю З.Н. решить этот вопрос в положительном смысле. Что касается до меня, то вот какое я имею сделать предложение. Я мог бы дать «Жизнь Наполеона». Это вторая часть моей книги о Наполеоне. Первая – «Наполеон Человек» будет, увы, растерзана: отдельные главы берут «Современные Записки»⁶⁷, другие – возьмет, м^ожет б^ыть, «За Свободу»⁶⁸. Но вторую часть мне не хотелось бы растерзывать, и я дал бы ее целиком в «Возрождение»⁶⁹. Очень прошу Вас, переговорите с Маковским, согласится ли он ее взять.

В «Жизни Наполеона», по точному подсчету В^ладимира А^наньевича⁷⁰, 16.000 строк «Возрождения». Сможет ли оно их вместить и в какой срок?

«Жизнь» написана, хотя, конечно, не в беллетристической форме, но по впечатленью З.Н., – а Вы знаете, что она ко мне довольно беспристрастна и взыскательна (как Антон Крайний, а не З.Н.), – читается с таким же интересом, как «роман с приключениями» – ну, словом, пожалуй, не уступит по интересу для пубрики самой «Деревянной Ноге», на которой «Последние Новости» так далеко ушли⁷¹.

Но, разумеется, «Жизнь Наполеона» для меня не только «роман с

приключениями», но и нечто большее. Смысл ее очень современный, даже злободневный для русской эмиграции и, я полагаю, сочувственный «Возрождению», судя по последним замечательным статьям А. Салтыкова и Муратова: *идея имперская*, не императорская, а именно имперская⁷². Никакого «бонапартизма» и «имперьялизма» у меня, конечно, нет, и в этом смысле страхи Вишняка и Милюкова напрасные и просто глупые. Но идея имперская, сверхнациональная, включающая в себя и национальную, мне кажется, очень живая для России и для русской эмиграции. Вот почему появление «Наполеона» в «Возрождении» будет иметь некоторый политический смысл и резонанс, особенно в связи с моей лекцией о «непримиримости» и «соглашательстве» против «П<оследних> Н<овостей>» и Милюкова. Кстати, эту лекцию я тоже мог бы отдать в «Возрождение», если бы мы сошлись. Думаю, что и З.Н. все это помогло бы войти деятельной сотрудницей⁷³.

Я бы просил Вас переговорить об этом деле с Маковским *теперь же* и дать мне, по возможности, определенный ответ, так как у меня есть некоторые другие предложения, которые я бы не хотел терять.

Что «Мессия»? Как отнесся к нему Маковский? Или Вы еще не говорили ему об этом?⁷⁴

Лекцию я прочту под знаком «Зеленой Лампы», но, конечно, совсем открыто и публично. Хотелось бы включить ее в серию других лекций. Очень надеюсь, что и Вы будете читать. Прочтет также З.Н. и др.

Гальперин-Каминский очень ждет Вашей статьи для «*Avénir*»⁷⁵. Я просил его снести с Вами непосредственно и дал ему Ваш парижский адрес. Написал ли он Вам? Не могли ли бы Вы переделать и приспособить для французов Ваше «Письмо» из «Возрождения»⁷⁶. Никакой резкости не бойтесь. Мое письмо, кажется, будет напечатано целиком, а ведь оно очень резкое.

Нам здесь очень недостает Вас обоих. Сидя за столиком в «*Café des Allées*»⁷⁷, вспоминаем Вас и пародии Нины Николаевны; глядя на невероятные закаты тоже вспоминаем: «Все, садящиеся в трамвай, садятся в кукушку...» и «Ходасевич имеет сказать две гадости» и проч. и проч. Зелинский все еще ходит с фунтиками⁷⁸. Дни стояли волшебные; Володя все время купался. Только сегодня посерело и похолодело.

Выйдет ли «Н<овый> К<орабль>» к 15-ому⁷⁹? Надеюсь, что гонорары, наконец, уплачены?

Сейчас опять «сатанею» – погружаюсь в лекцию. Первую часть, о политике, я уже кончил; принимаюсь за вторую – самую ответственную и трудную – о церкви.

Не забывайте нас и будьте уверены, что мы Вас помним. Целую руку милой Нины Николаевны или, как говорят французы, «*mettez moi aux pieds de Madame*»⁸⁰.

Искренне Ваш

Д. Мережковский.

P.S. Если сочтете нужным, то прочтите выдержки из этого письма насчет «Наполеона» Маковскому.

Villa Tranquille
21/X <19>27

Дорогой Владислав Фелицианович,
не сетуйте на меня за долгое молчание, не думайте, что я человек неблагодарный, не грешите в сердце своем против брата [своего]. Я хорошо помню изречение Наполеона Страшного (для Вишняков⁸¹ и проч.): «Неблагодарность самый гнусный изо всех человеческих пороков»⁸². Но поймите и простите: я все еще сижу по уши в моей лекции и, как выражается З.Н., «шепчу», т.е. в полусознании обдумываю то, что надо писать, боясь упустить мысль; Вы ведь сами знаете, как это мучительно и как в таком состоянии трудно писать письма. Все уже было готово, но м<итрополит> Евлогий вильнул к соглашательству⁸³, и опять все рушилось, и приходится все перестраивать, передвигать...

Вы уже, конечно, знаете наш ответ Семенову⁸⁴ – принципиальное согласие и просьбу отложить подробности до личного сговора. Что нам написал *не Маковский, а Семенов*, не имеет, конечно, особенного значения, но все же тон получился более официальный, менее литературный. В письмах, впрочем, все равно настоящего тона не найдешь. Главное вот что, и Вы, надеюсь, это понимаете. Мы не такие люди, чтобы войти в газету внешне, *только* для заработка; нам бы хотелось и, кажется, мы могли бы войти в нее и *внутренне*. Я говорю: «могли бы», п<отому> ч<то> направление газеты нам все более кажется верным. В частности, последние статьи Семенова (против Кусковой, по поводу «ответственности за террор»⁸⁵) умны, благородны и, в смысле политическом, очень талантливы. Да и вообще тон газеты сейчас верный, вернее, чем при «Вожде» и Струве⁸⁶.

И.И. Фундаминский⁸⁷ пугает нас, что тираж «Возр<ождения>» «катастрофически падает». Но мы не пугаемся, ибо не одним тиражом жив человек, да и тираж дело наживное.

Вот эту-то возможность не официального, а более глубокого внутреннего участия нам бы и хотелось выяснить в личном сговоре. И мы надеемся, что Вы нам в этом поможете, несмотря на мои «гаффы» или «прорухи» (появление «Commediante» в газете Комедианта – а он-то, А. Керенский, этого и не понял!⁸⁸). М<ожет> б<ыть>, это вовсе и не такая проруха, как Вам кажется. Я ведь все-таки по рождению своему, по крови *левый*, а не *правый* (в смысле политичес<ком>, конечно, а не социалистическом) и от этой *кровной левизны* своей никогда не отрекусь. И З.Н. тоже. Да ведь и Вы тоже?⁸⁹ Вот почему, несмотря на бесконечные преступления левых (соглашательство) и бесконечные достоинства правых (непримиримость) нам все-таки не не <так!> нужно порывать какой-то внутренней метафизической связи с левыми. И вот почему мое появление в «Днях», мне лично довольно отвратительное (соседство с Кусковой и еще черт знает с кем), имело и свой положительный смысл...⁹⁰

Теперь насчет «Жизни Н<аполеона>». Я не мог его отдать в «Возрожд<ение>» на условиях «переводного романа»⁹¹, как это предложил

мне Семенов, не только потому что эти условия для меня материально слишком тягостны, но и потому – и это главное – что я считаю мою работу внутренне и даже внешне, романно, более ценной, чем «переводной роман». Поймите, тут нет с моей стороны ни малейшей обиды, а просто «констатирование факта». Я мог пошутить с Вами, что «Ж<изнь> Н<аполеона>» интересна как «бульварный роман». Но ведь это, разумеется, Вы и приняли как шутку. Все это не мешает мне дать в «Возр<ождение>» отдельные главы, если это покажется интересным для газеты. Но об этом успеем переговорить при личном свидании...

Вот пишу Вам и «шепчу»; в голове так и стучит: «м<итрополит> Евлогий – м<итрополит> Сергей»... А сколько бы еще нужно сказать насчет погибающего «Н<ового> К<орабля>» и проч. и проч. Одно скажу, если мы будем вести себя как следует, то «Н<овый> К<орабль>» не погибнет и все будет...⁹²

Вернемся мы в начале Ноября, около 5-10. Здесь погода упоительная – рай земной. Но не завидуйте – внутренние коршуны терзают нас: лучше спокойная совесть под дождем, чем змея угрызений под райским солнцем. Целую ручки милой Нине Николаевне. Еще раз простите и верьте в нашу верную дружбу.

Д. Мережковский.

P.S. Не можете ли прислать 2-3 экземпляра «De profundis»⁹³. Но если это хлопотно, то не надо – по приезду сам попрошу.

4

Villa Tranquille
Le Cannet (A.M.)
4/XI <19>27

Дорогой Владислав Фелицианович, мы бы, вероятно, уже были в Париже, если бы З.Н. не простудилась. Вот уж 15-17 дней, как у нее нет, нет и делается в середине дня легкий жар, и какая-то точка в спине побаливает – под лопаткой, где – плевра, а с этим шутить нельзя. Ей теперь, – кабы не сглазить – полегче, и – опять как бы не сглазить, – надеюсь, около 10-11-го мы двинемся в Париж.

Вы сами понимаете, как мне важно сейчас быть в Париже и читать лекцию: ведь все каждый день с Евлогием-Сергием меняется, а я больше перестраивать фронта не в силах; и без того у меня Евлогий весь движется, как на шарнирах, ввиду его возможных соглашательских сюрпризов⁹⁴.

Вы очень верно угадали, что сейчас церковная тема многое выясняет и в политике – потому-то я и тороплюсь с лекцией. Прочту только половину – и то будет 1 ½ часа – больше нельзя. А вся лекция – 3-4 фельетона (в 400 строк), которые я и отдам в «Возрождение». Так как тема самая жгучая, газетная, то, полагаю, эти статьи будут моим хорошим и решительным вступлением в «Возрожд<ение>» Но раньше, конечно, нужно обо всем переговорить и условиться лучше с Семеновым.

Мне представляется, что наши *совместные* действия – Ваше, З.Н. и мое – в «Возрожд<ение>» могли бы иметь очень значительные последствия как для самой газеты, так и для всей стратегии «непримиримости». После моей статьи-лекции мне придется отстреливаться, главным образом, по той линии: что я-де «ренегат», «перешел к правым» и проч., и вот тут очень важно чувствовать опору в газете как в целом. «Правое-левое», т.е. *центральное*, конечно, самое сейчас верное и нужное, и если нам удастся в этом смысле склонить «Возрожд<ение>», то недаром «Ходасевич получил сумму от большевиков»! А я убежден, что Ваше предчувствие этих возможностей Вас не обманывает. Больше, чем на себя, я во всем этом рассчитываю на З.Н. – она ведь, по природе, больше «журналист», чем я, и заряд у нее сейчас очень сильный. Но все зависит, конечно, от предварительного *принципиального* сговора.

Кстати, статья об «атеистах в церкви» очень хороша. Кто ее писал? ⁹⁵

Ваш P.S. потрясающий ⁹⁶. Чем больше думаю, тем больше чувствую, что так оно и есть, или очень скоро будет.

Насчет моего «бездействия», я очень тронут Вашими добрыми и глубокими словами. Но, во-первых, бодливой корове Бог рог не дает; а во-вторых, ведь это не шутки, я в самом деле, в «пробковой камере» от всеобщего «захолустья» (не только русского, но и европейского, всемирного), от нежеланья («злонравного») заглянуть в *метафизику* того, что сейчас происходит. Я математически верно и точно рассчитал, что если стрелку не передвинуть, то поезд сойдет с рельс, но *я не стрелочник*. Ведь быть Кассандрою тоже «действие», хотя ужасное. Видит Бог, надежда меня не покидает, что мне когда-нибудь удастся перейти и к другому, более утешительному, «общественному» действию, но ведь это зависит не только от меня, и даже не только от помощи «свыше», но и от помощи человеческой. Не забывайте, что я движусь *по линии наибольшего сопротивления*. Когда я ухожу в «глубины Востока», я это делаю не от «кабинетной отвлеченности» и «не-общественности» («индивидуализма», как воображает И.И. Фондаминский), а *п<отому> ч<то>* сейчас самая живая, жизненная, волевая, современная, жгущая общественная тема: «быть или не быть христианству?» (т.е. «быть или не быть человечеству?»). Ведь это же большевики отлично поняли – они в этом единственно современные, жизненные люди. О, конечно, они и *только они* лучше бы всего поняли или, вернее, учуяли бы (чутьем насекомых) убийственную для них силу и нужность, насущность моей темы. «Пусть я бездарен, но тема моя гениальна», как верно говорил Розанов, единственный человек, кроме большевиков, понявший ту же тему – «Апокалипсис наших дней» ⁹⁷. Но как это растолковать Семенову-Маковскому и даже Муратову-Салтыкову? Помогите, если можете. Я уверен, что если захотите (т.е. заинтересуетесь), то сможете. Да и вообще «не так страшен черт, как его *малютки*» (это у Лескова одна дама говорила о толстовцах, первых примиренцах и пораженцах ⁹⁸). И у всего этого есть сторона *детски-простая* (как бы даже *уличная* – *демагогическая*), Семенову-Маковскому доступная, только надо им растолковать смиренно, терпеливо, спокойно и любовно....

Ох, никогда так не кончу – вот уже на 5-ую страницу перешел, и

две кляксы поставил, и совестно затруднять Вас чтением этих иероглифов!

А еще не сказал о «Н<овом> К<орабле>». Нет, я не верю в его «*ко-неу*». Если можно, – подождите, до нашего скорого приезда, разрушать набор, вынимать статьи. У нас есть в виду одна комбинация, о которой надо бы писать еще целое письмо (и опять сглазить боюсь!). О ней, если позволите, переговорим при свидании. *Contra spem spero*⁹⁹ – м<ожет> б<ыть>, «Н<овый> К<орабль>» еще и не пойдет ко дну¹⁰⁰. А если бы даже пошел, то все равно ведь будет сейчас же строить новый «Н<овый> К<орабль>» – без него не проживем никак¹⁰¹. Не сгуйте на мой «трагический оптимизм»: я вижу яснее, чем Терапьяно¹⁰², всю трудность – *почти* безвыходность положения, но ведь «почти». И все до ужаса верно (в тот же день я то же говорил) заметили, что тут действует хорошо мне знакомый «черт»¹⁰³. Я его давно чувствовал по запаху. Но если черта не пугаться, то он рассыплется. Ну, право же так – потерпите еще немного (только до нашего приезда), и черт рассыплется. По его или их присутствию (оба довольно мелкие, «с насморком»), видно, что «Н<овый> К<орабль>» очень нужен и важен. А значит, *и будет*, если сумеем хотеть (в этом смысле меня кое-чему научил Наполеон: не иметь – значит не очень хотеть = «просите, и дастся вам»¹⁰⁴).

Ну, надо и честь знать, «довольно», как сказал Тургенев¹⁰⁵.

Здесь такие дни стоят, что даже совестно: «не по чину берешь»¹⁰⁶. Если бы коршуны не истерзали печень Прометея, никогда бы отсюда не уехал. «А он, мятежный, ищет бури...»¹⁰⁷

«Зелинский с фунтиками» так же таинственно исчез, как появился. Мы часто повторяли: «Мне этот вечер слишком ясен, мне этот ветер слишком тих»¹⁰⁸, вспоминали милую Нину Николаевну – ей наш сердечный поклон и верная дружба.

Преданный Вам

Д. Мережковский.

5

Villa Tranquille
Le Cannet (A.M.)
12/XI <19>27

Дорогой Владислав Фелицианович,
мы возвращаемся 16-го, в Среду. Не зайдете ли к нам, разумеется, с Ниной Николаевной, в Четверг, **17-го, в 4 ч. дня**, для свидания *начерно*, п<отому> ч<то> в 5 ч. мы пригласили еще двух устроителей «Зел<еной> Ламп<ы>» – Адамовича и Цетлина¹⁰⁹, чтобы решить устройство моей лекции под фирмой «З<еленой>Л<ампы>» – Мишенька Цетлин, по всей вероятности, откажется, чтобы не ссориться с «Посл<едними> Нов<остями>», но так как у нас большинство голосов (Алданов¹¹⁰, надеюсь, не будет протестовать), то дело все же устроится¹¹¹. Я тороплюсь, п<отому> ч<то> нужно нанимать залу, печатать афиши, билеты, а времени и без того ужасно много пропущено, и лекция может потерять всякую свежесть.

Сердечно Ваш

Д. Мережковский

6

Записка пневматической почтой
11-bis, av. Colonel Bonnet
Paris (XVIe)
20/XI <19>27

Дорогой

Владислав Фелицианович,

у З.Н. сделался довольно сильный грипп с жаром и кашлем, и она лежит. Это нам ужасно досадно, но делать нечего, завтрашнее наше свидание приходится отменить, а также свидание с Маковским.

З.Н. чувствует себя сегодня немного лучше и просит меня пригласить Вас обоих в Среду, 23-го, вечером, в 9 ч. Тогда же мы условимся о новом дне свидания с Маковским. *Черкните два слова в ответ* и, если Среда Вам почему-либо неудобна, то назначьте сами другой день. Нам нужно видаться поскорее, и эта задержка нам крайне досадна.

Сердечно Ваш

Д. Мережковский.

ПРИЛОЖЕНИЕ

*Письма В.Ф. Ходасевича и Д.С. Мережковского
к И.Д. Гальперину-Каминскому*

1

14, rue Lamblardie
Paris (12e)

Многоуважаемый

Илья Данилович,

прежде всего приношу самые искренние извинения: в моей записной книжке Вы значитесь рядом с Наумом Давыдовичем Лифшицем. Когда я диктовал (в редакционной сутолоке) свое письмо машинистке – какой-то бесенок подтолкнул мой палец – и в результате мой промах. (Забавно, однако, что тот же, очевидно, бес, попутал и Вас: в письме ко мне Вы неоднократно именуете Дмитрия Сергеевича Мережковского – Сергеем Дмитриевичем!)

Но перейдем к делу. «Возрождение» потому хотело бы напечатать письмо Д.С. в один день с «Avenir», что на другой день его может перепечатать всякая другая газета. Поэтому – не будете ли добры спросить у

г. Бюре: не согласится ли он, чтобы письмо появилось по-русски в тот же день. Я думаю, это было бы приятно и Д.С. Но, разумеется, если это невозможно, – приходится подчиниться. Во всяком случае – не откажите известить, когда именно письмо будет напечатано. Текст (русский) у нас имеется.

Со своей стороны я с удовольствием пришлю Вам небольшую статью на ту же тему. Опять же – не откажите сообщить, к какому времени она должна быть у Вас. Статья моя будет без особых сентиментальностей, деловая, нужная *. Также пришлю Вам необходимые краткие сведения о себе.

Примите уверение в совершенном уважении и преданности.

Владислав Ходасевич.

8 окт<ября> <1>927

*В ней будут неприятные для советов цитаты из писем Горького ко мне и др. вещи того же порядка.

2

10 bis, rue des 4 Cheminées, Boulogne s/Seine

Многоуважаемый Илья Данилович,
только сегодня получил Ваш подарок. Очень благодарю за книгу и память.

Разрешите когда-нибудь посетить Вас. Наши недолгие встречи оставили во мне самые лучшие воспоминания. Всего хорошего.

Крепко жму Вашу руку.

Сердечно Ваш

Владислав Ходасевич.

6 марта

<1>929

Открытка

3

16-VIII-27

Villa Tranquille
Le Cannet (A.M.).

Глубокоуважаемый

Илья Данилович,

надеюсь, Вы получили мое первое письмо.

Завтра-послезавтра вышлю Вам статью для Бюре, в виде открытого к нему письма. Статья большая, около 350-400 строк – но не сокращайте – пусть сам Бюре сократит, если захочет. Я написал очень резко, иначе не мог. Очень прошу, в переводе не смягчайте. Если найдете возможным прислать перевод на просмотр (ведь сотрудничество автора всегда полезно для переводчика), буду Вам благодарен, но, конечно, *не настаиваю*, тем более, что, м<ожет> б<ыть>, нужно торопиться.

Отчего не написали насчет Ходасевича? Он уезжает отсюда в Па-

риж во Вторник 20-го или в Среду – 21-го. Если получу от Вас приглашение, передам ему. З.Н. Гиппиус, вероятно, тоже напишет. Сообщите о получении моей рукописи.

Искренне преданный Вам

Д. Мережковский.

P.S. Да какого времени Вы остаетесь в *Evian*'e?

4

18-VIII-27 – Villa Tranquille.

Глубокоуважаемый

Илья Данилович,

перечитывая, я нашел, что на *стр. 3* слишком резки слова: «как будто не вашими руками, без вашей дружной помощи...» Замените их: «без вашего ведома» – «à votre insu»

Искренне преданный Вам

Д. Мережковский.

5

19-VIII-27

Villa Tranquille

Le Cannet (A.M.).

Глубокоуважаемый

Илья Данилович,

вчера я отправил Вам заказным пакетом статью для «Avenir». Пожалуйста, известите о получении. Когда она будет напечатана (если будет, в чем я вовсе не уверен), пришлите мне 5-6 экземпляров – попросив об этом контору, а не самого Бюре (он все забывает). Прошу Вас об этом, потому что Вы находитесь с ними в постоянных сношениях и Вам это легче сделать. Мне нужны эти экземпляры, чтобы разослать кое-кому из французов: может быть, перепечатают в других газетах. Если бы Вы с Вашей стороны имели ход в «Фигаро», или *Liberté*, или *Intransigeant* уверен, что там не отказались бы перепечатать. Если Вам трудно достать экземпляры, сообщите, в каком номере будет напечатана статья, – я сам постараюсь достать, хотя здесь это и не так легко – «Avenir»'а никто, разумеется, не получает. Я согласен, чтобы Бюре сократил статью (хотя жаль), но пошлите ему полный текст. Итак, жду скорого ответа. Долго ли Вы в Eviane?

С искренним уважением

Д. Мережковский.

Печатается по оригиналам: Amherst Center for Russian Culture. I. Halperine-Kaminsky and his contemporaries Collection. Box 1, folder 19 (письма Ходасевича; второе письмо – открытка) и box 1, folder 25 (письма Мережковского; письмо 4 – открытка). Приносим сердечную благодарность проф. С. Рабиновичу за содействие.

ГУЛЛИВЕР И ВАЗИР-МУХТАР

Литературно-критическая деятельность В.Ф. Ходасевича еще не сделалась предметом углубленного научного изучения. Даже материалы для него еще далеко не полностью введены в научный оборот. Четырехтомное собрание сочинений, изданное в Москве, представляет эту деятельность далеко не полно; второй том неоконченного американского собрания сочинений включил материалы лишь до 1926 года, да и то некоторые статьи по различным причинам туда не попали. Тем более это касается такого явления, как регулярные публикации в газете «Возрождение» «Литературной летописи». Она начала печататься с 11 февраля 1927 года, сначала без подписи, а потом, с 5 января 1928 года, за подписью «Гулливвер». В своих мемуарах Н.Н. Берберова писала: «Об Олеше (и я этим горжусь) я написала в эмигрантской печати первая. Это было летом 1927 года, когда “Зависть” печаталась в “Красной нови”, а я писала для парижской газеты хронику советской литературы. Считалось, что ее пишет Ходасевич, но на самом деле писала ее я, подписывала “Гулливвер” (по четвергам в “Возрождении”) и таким образом тайно сотрудничала в обеих газетах, что, разумеется, открыто делать было совершенно невозможно. Я делала это для Ходасевича, который говорил, что неспособен читать советские журналы, следить за новинками. Это оставалось тайной ото всех, вплоть до 1962 года, когда аспирант Харварда, Филипп Радли, писавший диссертацию о Ходасевиче, сказал мне, что недавно узнал от кого-то, что Ходасевич под псевдонимом Гулливвер регулярно давал в газету “Возрождение” отчеты о советской литературе. Мне пришлось признаться ему, что Гулливвер была я, но что Ходасевич, конечно, редактировал мою хронику, прежде чем печатать ее как свою, иногда добавляя что-нибудь и от себя»¹. Казалось бы, объяснение исчерпывающее. Однако на деле все обстояло гораздо сложнее, и Берберова знала это лучше чем кто бы то ни было. В 1969 году, составляя библиографию газетных и журнальных статей Ходасевича с 1922 по 1939 год, она писала: «Пятая колонна <так!>² – номер тетрадей вырезок за 18 лет. Я привезла их с собой из Европы в 1950 г.; в 1942 году они были мною выкрадены из опечатанной немцами квартиры. В 1951 г., нуждаясь в деньгах, я продала их вместе с другими ценными бумагами Б. Николаевскому за 50 долларов (спросив 100, но он не дал). Они находятся теперь в Хуверовской библиотеке»³. На одной из этих тетрадок, содержащей вырезки «Литературной летописи» Ходасевич написал: «Гулливвер», а рядом с этим Берберова приписала: «(Ходасевич)»⁴.

Проблема авторства «Литературной хроники» лишь в последнее

время приобрела статус научной⁵, и здесь мы отнюдь не претендуем на ее всестороннее исследование. Но один ее аспект, как кажется, может быть интересен сразу в нескольких отношениях. О соотношении позиции Ходасевича с творчеством (как литературоведческим и критическим, так и художественным) авторов формальной школы существует ряд работ⁶, но, как кажется, в число фактов следует добавить еще один, и чрезвычайно значительный, связанный с выступлениями Гулливера в «Возрождении».

В своей статье Ирена Ронен писала: «Оставаясь принципиальным оппонентом формалистов, Ходасевич неизменно отрицательно отзывался о Тынянове-писателе, настаивая на том, что Тынянов лишен природного дарования»⁷, однако с завидной тонкостью замечала далее: «Статья Ходасевича “Слово о полку Игореве” написана примерно за две недели до статьи о “Грибоедове”, которая начинается эпитафией — риторическим прощанием (плачем) вдовы поэта. Не упоминая “Смерти Вазир-Мухтара”, Ходасевич восстанавливает грибоедовское сравнение Нины Чавчавадзе с мадонной Мурильо, тогда как у Тынянова этот образ соотнесен с Леной Булгариной <...>. Как и Тынянов <...>, но более сжато, в размерах газетной статьи Ходасевич придерживается “синхронного среза”, концентрируя внимание на последних месяцах жизни Грибоедова. <...> Подлинную трагедию Грибоедова Ходасевич видит в его творческом бессилии <...>. Таким образом, и самого Грибоедова, и автора романа о нем Ходасевич помещает в категорию писателей, лишенных, в случае Грибоедова — лирического, а в случае Тынянова — прозаического, дарования. При однозначно отрицательном подходе Ходасевича к романам Тынянова (хотя за “Кюхлей” он признавал некоторые достоинства) неожиданными представляются переключки между писателями»⁸ — и далее сопоставляется фрагмент из статьи «О символизме» с пассажем из «Смерти Вазир-Мухтара».

Кстати сказать, безоговорочно все художественные произведения Тынянова Ходасевич не отвергал. В письме к М.М. Карповичу от 19 марта 1932 г. среди произведений советской литературы, выделяющихся «по художественной ценности», названы «Кюхля» и «Восковая персона», хотя за год до этого «Восковая персона» и заслужила нелестный отзыв⁹. Но мы постараемся показать, что творческий опыт «Смерти Вазир-Мухтара» был чрезвычайно важен для творчества Ходасевича, и обзоры «Гулливера» свидетельствуют об этом с очевидностью.

17 марта 1927 года в совсем недавно начавшейся и еще не подписанной «Литературной летописи» читаем при обзоре первого номера «Звезды» за этот год: «Далее находим начало нового романа Ю. Тынянова “Смерть Вазир Мухтара” (о жизни и смерти Грибоедова), написанного бесцеремонно “под Андрея Белого”»¹⁰. 21 апреля того же года обнаруживаем следующие оценки: «Вышел номер 2-й журнала “Звезда”. Продолжение романа Ю. Тынянова “Смерть Вазир-Мухтара” (о Грибоедове) утомляет своим недорогим остроумием. Как ни жаль, Тынянов становится наследником Шкловского в склонности к парадоксам и дешевому блеску. От А. Белого заимствует он кое-какие слова и словечки. Тынянов постепенно делается настоящим имитатором, чего отнюдь не было в первом его романе “Кюхля”. По той же дороге, прото-

ренной Шкловским, идет и В. Каверин, поместивший в “Звезде” очень слабый рассказ “Друг Микадо”»; почти сразу же после этого, 5 мая, при разговоре о третьем номере журнала: «Совершенно отрицательное впечатление производит продолжение романа Ю. Тынянова “Смерть Вазир Мухтара” – нечто до того бездушное, вычурное, лживое, что трудно одолеть к нему отвращение. Такие образцы стиля, как напр<имер>: “У Грибоедова было тонкое белье и была родина”, – достойны Эренбурга». И, наконец, 21 июля следует почти безразличное подведение итогов печатания первой порции романа Тынянова: «Вышел № 4 литературно-художественного журнала “Звезда”. В нем продолжается печатанием роман К. Федина “Братья” и роман Ю. Тынянова “Смерть Вазир Мухтара”». Шестой номер «Звезды», где роман продолжился печатанием, внимания обозревателя не привлек.

Итак, первые отзывы о романе Тынянова безоговорочно отрицательны и вполне соответствуют общей позиции Ходасевича, сформулированной им в статье о «Восковой персоне» и почти процитированные Иреной Ронен в приведенном выше фрагменте: «...дарования художественного у него нет» (Ходасевич. Т. 2. С. 203). Однако продолжение романа, которое стало печататься с одиннадцатого номера, привлекало значительно меньше внимания. Гулливер продолжал внимательно следить за Тыняновым и тем, что так или иначе было с ним связано, однако «Смерть Вазир-Мухтара» только фиксируется. Лишь первая после перерыва часть была оценена более или менее внятно, хотя и очень недоброжелательно: «Продолжение романа Ю. Тынянова “Смерть Вазир-Мухтара” утомляет своими вывертами и парадоксами, состряпанными по рецепту Шкловского. Грибоедов – герой романа – кукла, переживающая угодные автору явления, наспех эффектно приподнесенные <так!> читателю» (28 января 1928). «Вышел номер 12 “Звезды”. <...> Продолжение романа Ю. Тынянова – “Смерть Вазир-Мухтара” – довольно однообразно (8 марта 1928); «Продолжение романа Ю. Тынянова “Смерть Вазир Мухтара”, хоть и искаженно, но доносит до нас частицы той эпохи, когда жил Грибоедов. Тынянов выдумал и Грибоедова, и Ермолова, и Паскевича, и всех их наделил чертами Шкловского» (22 марта); «В России вышел ном. 4 журнала “Звезда”. <...> Романы Тынянова и Каверина еще не закончены и поэтому суждения о них мы отложим до другого раза (10 мая); «В номере 5-м “Звезды”, кроме рассказа Мандельштама, напечатано продолжение романа В. Каверина “Скандалист”, продолжение романа Ю. Тынянова “Смерть Вазир-Мухтара”» (6 июля); «В России вышел ном. 6 литературного журнала “Звезда”. <...> В отделе прозы – окончание романа Ю. Тынянова “Смерть Вазир Мухтара” (из жизни Грибоедова), продолжение романа В. Каверина “Скандалист”» (16 августа).

К этому добавляется известие о планах на публикацию следующего произведения Тынянова («На 1928 год “Звезда” объявляет следующих авторов: <...> Ю. Тынянов “Поручик Иже” [28 января 1928]») и краткий отзыв о нем: «Рассказ Ю. Тынянова “Поручик Кижэ” – из времен Павла 1 – мало серьезен и внешне довольно неприятно изощрен» (1 марта 1928). Небезынтересно в контексте суждений Ходасевича о формальной школе и ее месте в современном литературоведении прочитать неболь-

шой обзор в номере от 16 февраля 1928: «Не так давно В. Вересаев посвятил представителям формального метода в литературе ядовитую статью. Ныне о “кризисе формализма” пишет и некий М. Григорьев. Б. Эйхенбаумом и Ю. Тыняновым (двумя формалистами) помещены статьи в ном. 9 и 10 журнала “На литературном посту” – “Литература и литературный быт” и “Вопросы литературной эволюции”. В обеих статьях оба теоретика признают, что они “кое-каких фактов недосмотрели” и “кое в чем склонны пересмотреть свою теорию”. Причина этому в самой современной советской литературе, которая, якобы, уже не укладывается в рамки формализма (тогда как прежняя литература вся укладывалась!!) и для которой нужен иной “подход”. И Эйхенбаум, и Тынянов говорят о том, что “литературные факты” ныне обусловлены не только “соотнесенностью к другим литературным фактам, но и к *внелитературному* ряду”. Это нечто совершенно новое для формализма – до сих пор он говорил исключительно о “чистой литературе” и отрицал ее внутреннюю связь с жизнью. Несомненно, эти заявления сделаны формалистами под давлением марксистской критики, которая все собиралась “выбросить формальный метод за борт революции” за отрицание классового и политического смысла литературных произведений».

Все эти отзывы более или менее укладываются в уже сложившуюся концепцию Ходасевича, даже независимо от того, кто конкретно писал эти отзывы, он сам или Берберова. Вписывается в нее и первый содержательный отклик на роман Каверина, поминаемый рядом с «Вазир-Мухтаром»: «Шкловского вообще в последнее время вспомнили: молодой писатель Вениамин Каверин поместил в ном. 2 “Звезды” начало своего романа “Скандалист или Вечера на Васильевском Острове”. Эти “Вечера”, увы, не ведут свою родословную от “Вечеров на хуторе” – они прямым путем восходят к литературным фельетонам В. Шкловского. “Спина жены, – пишет Каверин, – лежала рядом с ним, большая и грозная, устроенная им так, чтобы лежать рядом с ним”. “Это была сама судьба, слепая и увядшая, с которой сползло одеяло”. Вряд ли кому-нибудь захочется читать дальше. Эпиграф к этому произведению взят из Пастернака:

Я не рожден, чтоб три раза (!!)
Смотреть по-разному в глаза» (22 марта 1928¹¹).

Однако 6 сентября 1928 г. вдруг происходит некий перелом. Гулливер пишет: «Последний номер “Звезды” (седьмой) принес окончание романа молодого писателя В. Каверина, одного из “Серапионовых братьев”, писавшего до сих пор лишь небольшие вещи, отчасти под Т.А. Гофмана, отчасти подражая стилю Шкловского, весьма сейчас распространенному в России (см. два романа Ю. Тынянова из жизни Кюхельбекера и Грибоедова, прозу “Лефа” и мн. др.). Роман Каверина “Скандалист, или Вечера на Васильевском острове” печатался в пяти книжках, но мы судили о нем, ожидая конца. Начало производило скорее неблагоприятное впечатление. Манерность письма и некоторая фельетонность скорее могли отшатнуть читателя, чем расположить его в пользу романа. Надуманным казался и эпиграф из Пастернака, и само название.

Но теперь ясно, что и манерность, и надуманность молодого автора стоит преодолеть, ибо "Скандалист" – произведение в современной советской литературе редкое, оно изобличает в авторе несомненный талант, а некоторые страницы его написаны, можно сказать, даже отлично.

Прежде всего, интересна обстановка: Петербург, Петербургский университет, профессора, лингвисты и филологи, послереволюционного времени. В центре всего стоит почтенный профессор Ложкин, человек фантастический, но вместе с тем и реальный, сбегающий из дому от всего уклада многолетней семьи и от скучной жены. Попутно развертывается еще несколько необычайных, но правдивых историй. Люди романа – живые, немного "странные", но Каверин придает им какой-то едва уловимый внутренний смысл, который делает их для нас одушевленными тенями, блуждающими среди полуразрушенного "Ленинграда", среди наводнений и подозрительных пивных Васильевского острова, этой "несостоявшейся петербургской Венеции".

Тот, кто привык искать один лишь голый "быт" в произведениях советских писателей, пожалуй, мало что найдет "этнографического" в романе Каверина, но те, что следят за тамошней литературой, за писаниями молодых прозаиков, за ходом и развитием их работы, конечно, обратят внимание на "Скандалиста".

Внезапно оказывается, что тот роман, который воспринимался как явное выражение идей формальной школы, вовсе не так уж и плох. И за фельетонностью, и за остранением, и за манерностью вдруг оказалось возможно увидеть не только литературную игру (которая должна была легко разгадываться Ходасевичем, вполне вписавшимся в свое время в круг петроградских пушкинистов), но и достаточно серьезное внутреннее содержание.

И на этом фоне последнее в интересующей нас ситуации суждение о «Смерти Вазир-Мухтара» воспринимается как существенное и ответственное. 21 февраля 1929 г. Гулливер пишет: «Роман Тынянова "Смерть Вазир Мухтара", неожиданно нашедший в эмиграции горячих поклонников, рассматривается в России как некоторое падение писателя после непосредственной и увлекательной первой повести его "Кюхля". Впрочем, Тынянова хвалят как раз за то, за что его в эмиграции бранят, и бранят за то, что здесь хвалят. Его Грибоедов "неканоничен", "выводы мемуаристов для него не обязательны", – казалось бы, у нас это может почтяться недостатком явным и непростительным; вряд ли можно мириться с биографическим "романом-фантазией", где по-настоящему от героя не осталось ничего. В России это-то именно и ставится автору в заслугу. По мнению тамошних критиков Тынянов отлично сделал, что презрел историко-литературные материалы и написал "от себя". Как раз поэтому роман Тынянова мало приемлем для нас.

Наоборот: все то относительно удачное, что находим мы в этом романе: некоторую увлекательность, изощренность (порой преувеличенную) письма, – все это ставится Тынянову в России в упрек. В одном мы можем согласиться с сов<етскими> критиками: первая книга Тынянова "Кюхля" обещала больше, и несомненно, что круг осведомленных читателей этого автора после "Вазир-Мухтара" сузится».

Обратим внимание на то, что в заметке не упоминаются ни совет-

ские, ни эмигрантские критики, писавшие о романе Тынянова. Конечно, можно было бы попробовать догадаться, кто здесь имеется в виду¹², но, пожалуй, без этого можно и обойтись, ибо для автора отзыва было важно не столько устроить полемику с критиками, сколько сформулировать свои мысли относительно самого принципа организации биографического романа. В нем должны сочетаться увлекательность и изоциренность письма с верностью историко-литературным данным¹³.

И эта позиция была самым непосредственным образом связана с литературной деятельностью Ходасевича. В им самим для себя составленном списке под названием «Работа»¹⁴ в январе 1929 года отмечено писание статьи «Грибоедов» (начата 19 января, работа продолжена 21 января и 8 февраля, а 11 января закончена), 24, 28 и 29 января писалась статья «Слово о Полку Игореве» (напомним, что Ирена Ронен поставила их в связь с впечатлением от «Смерти Вазир-Мухтара»). Но самое главное – 21 января появляется запись: «Державин. Грибоедов», 28 января – «Державин. Слово о Полку» и, наконец, 30 января: «Державин (начал писать)».

Таким образом, самое развернутое биографическое сочинение Ходасевича, ставшее событием в жизни русской эмиграции и не раз уже осмыслявшееся исследователями последующего времени, задумывалось и начинало писаться как раз в то время, когда его автор как хроникер систематически следил за появлением сериализованной «Смерти Вазир-Мухтара», а потом имел возможность перечитать роман уже полностью и познакомиться с реакцией на него эмигрантской критики.

У нас нет положительных данных о том, кто писал именно данные хроники Гулливера¹⁵. Изящнее всего выглядела бы версия о том, что в 1927 г. именно он из номера в номер негативно оценивал тыняновский роман; в 1928 году он его перестал интересоваться, но зато Берберова, оценив «Скандалиста», заставила и Ходасевича по-новому взглянуть на романы Каверина и Тынянова¹⁶. А тут еще подоспело берлинское издание «Смерти Вазир-Мухтара», газетные статьи о нем – и как результат именно Ходасевич сформулировал свою новую, гораздо более толерантную точку зрения.

Но, повторимся, никаких точных сведений у нас нет, за исключением того, что Ходасевич бесспорно знал (а возможно – и регулировал) всю линию хроники, относящуюся к «Смерти Вазир-Мухтара», и начало работы над «Державиным» оказалось тесно связано с оценкой тыняновского романа.

I. ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ

ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ ТЕКСТА КАК СПОСОБ ЧТЕНИЯ ТРУДНЫХ МЕСТ

Впервые – Новое литературное обозрение. 2007. № 85. С. 207–218. Первоначальный вариант под заглавием «Об одном теоретическом аспекте текстологии и его практических следствиях» – Русская литература XX–XXI веков: Проблемы теории и методологии изучения. Материалы Второй Межд. конференции 16–17 ноября 2007 года. Изд. Московского университета, 2006. С. 20–25.

¹ Бонди С. Черновики Пушкина: Статьи 1930–1970 гг. М., 1971. С. 145.

² Гришунин А.Л. Исследовательские аспекты текстологии. М., 1998. С. 87.

³ Винокур Г. Критика поэтического текста. М., 1927. С. 24.

⁴ Там же. С. 25. Отметим, что совпадающая по интенции с нашей статья Р.Д. Тименчика (Вопросы к тексту // Тыняновский сборник: Шестые–седьмые–восьмые Тыняновские чтения. М., 1998. Вып. 10. С. 415–427) посвящена проблемам комментария, а не текстологии.

⁵ Волошин Максимилиан. Собрание сочинений. М., 2006. Т. 7, кн. 1. С. 286.

⁶ Волошина Маргарита (Сабашникова М.В.). Зеленая Змея: История одной жизни. М., 1993. С. 175; речь идет о лете 1908 года.

⁷ См. также записи в дневнике В.К. Шварсалон за этот день: Богомолов Н.А. Русская литература начала XX века и оккультизм. М., 1999. С. 324.

⁸ Возможно, латинское e. Логичнее, однако, видеть обычное школьное обозначение длины.

⁹ См.: Анненский И.Ф. Письма к С.К. Маковскому / Публ. А.В. Лаврова и Р.Д. Тименчика // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1976 год. Л., 1978. С. 227.

¹⁰ Купченко В.П. Труды и дни Максимилиана Волошина: Летопись жизни и творчества 1877–1916. СПб., 2002. С. 226.

¹¹ Краткая биографическая справка Е.О. Путиловой о ней – Русская поэзия детям. Л., 1989. С. 708–709. Последнее достоверное свидетельство о ней находим в письме к Вячеславу Иванову от 12 июля 1922 г., когда она служила библиотекарем в библиотеке Мурманской железной дороги (Римский архив Вяч. Иванова. Оп. 3. Ед. хр. 18).

¹² См., напр., хронологическую последнюю работу: Лекманов О.А., Глухова Е.В. Осип Мандельштам и Вячеслав Иванов // Башня Вячеслава Иванова и культура серебряного века. СПб., 2006. С. 174.

¹³ Мандельштам Осип. Камень. Л., 1990. С. 344.

¹⁴ Нерлер Павел. Осип Мандельштам в Гейдельберге. М., 1994. С. 44.

¹⁵ О журнале подробно см.: Лавров А.В. Русские символисты: Этюды и разыскания. М., 2007. С. 486–498; Соболев А.Л. «Перевал: Журнал свободной мысли» 1906–1907 / Аннотированный указатель содержания. М., 1997.

¹⁶ Его имя время от времени мелькает в переписке, дневниках и воспоминаниях современников – Н.И. Петровской (Минувшее: Исторический альманах. [Paris, 1989]. [Т.] 8; Там же. [Т.] 14. По указателям), Л.Д. Рындиной (Лица: Биографический альманах. СПб., 2004. [Т.] 10. С. 194, 224), В.Ф. Ходасевича (Т. 4. С. 328, 585) и нек. др. Однако даже в фундаментальной мемуарной трилогии вкупе с более ранними воспоминаниями Андрея Белого, достаточно близко стоявшего к «Перевалу», о Линденбауме ничего не говорится. Выказанное при первой публикации статьи предположение, что «коллекта» может пониматься как сбор на похороны, судя по всему, неосновательны (мы были введены в заблуждение воспоминаниями Л.Д. Рындиной о ранней его смерти). Ходасевич рассказывал (не называя имени), что получил от Линденбаума письмо в 1922 г.

¹⁷ А вовсе не «туда», как в опубликованном тексте.

¹⁸ Анненский И.Ф. Письма. СПб., 2009. Т. II. 1906–1909. С. 271–272.

¹⁹ РГБ. Ф. 109. Карг. 43. Ед. хр. 7. Л. 144об.

²⁰ См.: Гаспаров М.Л. Лекции Вяч. Иванова о стихе в Поэтической Академии 1909 г. // Новое литературное обозрение. 1994. № 10. С. 89–105. Отметим, что в протоколах этих

заседаний, которые вела Замятнина, 23 и 29 апреля, а также 8 мая 1909 г. Мендельштам фигурирует как Мендельсон, и только 16 мая фамилия записана правильно. Видимо, это позволяет датировать дату записи в книжке: логично предположить, что сперва Замятнина позвала со слуха (и, возможно, по памяти), а на каком-то из майских заседаний попросила продиктовать фамилию и адрес.

²¹ РГБ. Ф. 109. Карт. 43. Ед. хр. 7. Л. 145.

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ МЕЖДУ РИМОМ И ГРЕЦИЕЙ

Впервые – Античность и русская культура Серебряного века. К 85-летию А.А. Тахо-Годи. Предварительные материалы. М.: Фаир, 2008. С. 57–66.

¹ Wachtel M. Вячеслав Иванов – студент Берлинского университета // *Cahiers du monde russe*. 1994. Vol. XXXV. No 1–2. [Un maître de sagesse au XX siècle: Vjačeslav Ivanov et son temps]. P. 353–376

² История и поэзия: Переписка И.М. Гревса и Вяч. Иванова / Изд. текстов, исследование и комментарии Г.М. Бонгард-Левина, Н.В. Котрелева, Е.В. Ляпустиной. М., 2006; ср. также: Бонгард-Левин Г.М. Вяч. Иванов: «Я пошел к немцам за настоящей наукой» // *Вестник древней истории*. 2001. № 3. С. 150–184.

³ См.: Эсхил. Трагедии / В пер. Вячеслава Иванова. М., 1989. С. 307–350 (ср. также текстологическую преембулу Н.В. Котрелева: Там же. С. 556–557).

⁴ ИРЛИ. Ф. 697. Ед. хр. 153.

⁵ Одному из аспектов этого посвящена статья: Вахтель Майкл. Рождение русского авангарда из духа немецкого антиковедения: Вильгельм Дерпфельд и Вячеслав Иванов // *Античность и русская культура Серебряного века: Предварительные материалы*. М., 2008. С. 48–56. К сожалению, мы еще не имели возможности ознакомиться с работой: Westbrook Philip. Дионис и дионисийская трагедия. Вячеслав Иванов: филологические и философские идеи о дионисийстве. Амстердам, 2007.

⁶ Бонгард-Левин Г.М., Котрелев Н.В., Ляпустина Е.В. Предисловие // *История и поэзия*. С. 4.

⁷ *История и поэзия*. С. 83.

⁸ Письмо к С.А. Венгерову от 14/27 декабря 1904 // Переписка Вяч. Иванова с С.А. Венгеровым / Публ. О.А. Кузнецовой // *Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1990 год*. СПб., 1993. С. 83–84.

⁹ Вопреки многим утверждениям, Иванов и Зиновьева-Аннибал встретились летом 1894 года, систематически стали общаться в октябре, а уже летом 1895 года Д.М. Иванова показала Соловьеву тетрадь стихов своего мужа. Почти невероятно, чтобы там был значительный пласт стихотворений, обращенных к новой возлюбленной. Сводку указаний см.: *Переписка*. Т. 1. С. 309–310.

¹⁰ Хронологическая канва жизни Ивановых 1899–начала 1901 гг., составленная Г.М. Кружковым (Кружков Григорий. Ностальгия обелисков: Литературные мечтания. [М., 2001]. С. 377–379; первоначально: *Новое литературное обозрение*. 2000. № 43. С. 259–260), весьма неточна.

¹¹ Котрелев Н.В. Неизданная автобиографическая справка Вячеслава Иванова // *Сестры Аделаида и Евгения Герцкы и их окружение*. М.; Судак, 1997. С. 190.

¹² Подробнее см. в предисловии Н.В. Котрелева к публикации записей Иванова под условным названием «Волшебная страна ITALIA» (*История и поэзия*. С. 399–407; ср. также более ранний вариант части этого текста: Вячеслав Иванов на пороге Рима: 1892 год / Публ. Н.В. Котрелева и Л.Н. Ивановой // *Archivio Italo-Russo III. Vjačeslav Ivanov – testi inediti / A cura di Daniela Rizzi e Andrej Shishkin*. Salerno, 2001. P. 7–24).

¹³ Подробное изложение всех этих перипетий (вплоть до публикации незащищенной диссертации в 1910 году) см.: *История и поэзия*. С. 350–367.

¹⁴ В Римском архиве Иванова сохранился дневник Зиновьевой-Аннибал времен Аренцано – единственный, кажется, документ, относящийся к этому времени. Однако он до сих пор

не только не опубликован, но даже не дешифрован.

¹⁵ РГБ. Ф. 109. Карт. 23. Ед. хр. 10. Л. 58об.

¹⁶ РГБ. Ф. 109. Карт. 9. Ед. хр. 31. Л. 9 и об.

¹⁷ РГБ. Ф. 109. Карт. 23. Ед. хр. 6. Л. 24об.

¹⁸ РГБ. Ф. 109. Карт. 9. Ед. хр. 32. Л. 5–6об. Фрагменты этого и следующего писем цитируются (в разбивку) в названной выше работе Г.М. Кружкова, однако не полностью и с неточностями.

¹⁹ Там же. Л. 12об–15об.

²⁰ Там же. Л. 17 и об.

²¹ Неоконченная трагедия Вячеслава Иванова «Ниобея» / Публ. Ю.К. Герасимова // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1980 год. Л., 1984. С. 186. Из приводимых нами писем ясно, что датировка публикатора должна быть скорректирована.

²² РГБ. Ф. 109. Карт. 23. Ед. хр. 8. Л. 5.

²³ Письмо от 19 ноября / 2 декабря 1901 // История и поэзия. С. 235.

²⁴ Сестры Аделаида и Евгения Герцык и их окружение. С. 190.

К ИЗУЧЕНИЮ КРУГА ЧТЕНИЯ ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВА

Впервые – Вяч. Иванов: Исследования и материалы. СПб., 2010. С. 448–461.

¹ Одна из наиболее убедительных в силу своей многосторонности характеристик, безоговорочно фиксирующих это качество, принадлежит М.А. Кузмину, писавшему после более чем двадцатилетней разлуки с Ивановым: «Он был попович и классик, Вольтер и Иоанн Златоуст – оригинальнейший поэт в стиле Мюнхенской школы (Ст<ефан> Георге, Клинер, Ницше), немецкий порыв вагнеровского пошиба с немецким безвкусием, тяжеловатостью и глубиной, с эрудицией, блеском петраркизма и чуть-чуть славянской кислогадостью и ваточностью всего этого эллинизма» (Кузмин М. Дневник 1934 года. СПб., 2007. С. 66).

² Обатнин Г.В. Материалы к описанию библиотеки Вяч. Иванова // Europa Orientalis. 2002. XXI: 2 (Вячеслав Иванов между Святым Писанием и поэзией. II). С. 261–343.

³ См. в данной книге ниже, с. 50.

⁴ Письмо от 2/15 января 1902 // РГБ. Ф. 109. Карт. 19. Ед. хр. 49. Л. 1; фамилия Мольера при втором упоминании подчеркнута красным карандашом.

⁵ Письмо от 8–9/21–22 января 1902. Цитируется (как и все дальнейшие фрагменты этих писем) по кн.: Переписка. Т. 2. С. 161. У г-жи Э. Левенхайм Иванов жил в Берлине.

⁶ Заметки о дальнейшей судьбе домашней библиотеки Иванова см. в предисловии Г.В. Обатнина к публикации ее каталогов (см. прим. 2).

⁷ Недатированное письмо осени 1899 года // РГБ. Ф. 109. Карт. 9. Ед. хр. 31. Л. 9 об. Напомним, что М.М. Замятнина служила в библиотеке Высших женских курсов, почему Иванов и обращается к ней как к профессионалу библиотечного дела.

⁸ Письмо от 28/15 марта 1900 // РГБ. Ф. 109. Карт. 9. Ед. хр. 32. Л. 5–6.

⁹ Публикацию сохранившихся отрывков см.: Неоконченная трагедия Вячеслава Иванова «Ниобея» / Публ. Ю.К. Герасимова // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1980 год. Л., 1984. С. 178–203. Вводимое нами в научный оборот письмо отодвигает сроки начала работы над трагедией на три с половиной года. Отметим попутно, что активная работа над «Ниобеей» зафиксирована дневниковыми записями М.М. Замятниной лета 1902 года; 16/3 июля 1902 она записала: «Вчера Вяч<еслав> задумал сделать вместо «Ниобеи» одной – Трилогию, т.к. иначе тесно было бы, развить все нельзя было бы» (РГБ. Ф. 109. Карт. 43. Ед. хр. 6. Л. 47).

¹⁰ РГБ. Ф. 109. Карт. 23. Ед. хр. 9. Л. 16 и об.

¹¹ См. об этом письма Зиновьевой-Аннибал к Замятниной начала 1903 г.: РГБ. Ф. 109. Карт. 23. Ед. хр. 11. Отчасти они опубликованы: Хроники. С. 13, 27, 63, 66. Об отношении Иванова и Соссюра см.: Ziffer Giorgio. Il poeta e il grammatico: Un biglietto inedito di Ferdinand de Saussure fra la carte du Vjačeslav Ivanov // Russica Romana. 1994. № 1. P. 189–191. Ср. также обобщающую статью: Бонгард-Левин Г.М. Индия и индологи в жизни и

творчестве Вяч. Иванова // Вестник истории, литературы, искусства. М., 2008. Вып. V. С. 201–218. Покойный автор успел учесть ряд материалов из первоначального варианта ныне публикуемой нашей статьи.

¹² Переводчик, как дает его имя каталог парижской Национальной библиотеки, – граф Marie-Louis-Jean-André-Charles Marcellus Demartin du Tyrac (1795-1865).

¹³ Каталог парижской Национальной библиотеки указывает, что перевод на латынь выполнил Lukas Holste (1596-1661), а редактором книги был профессор университета в Утрехте Rijklof Michael van Goens.

¹⁴ См.: Обатнин Г.В. Цит. соч. С. 308 (№ 595).

¹⁵ Впоследствии эта книга появилась в личной библиотеке Иванова. См.: Обатнин Г.В. Цит. соч. С. 291 (№ 569), 311 (№ 1094).

¹⁶ Какое-то издание «Золотой легенды» на французском языке было в библиотеке Иванова. См.: Обатнин Г.В. Цит. Соч. С. 290, 311 (№ 532, 1095).

¹⁷ В списках библиотеки Иванова значатся также первый и восьмой тома неопознанного собрания сочинений Ницше (в другом месте оно обозначено: L., 1903-1904). См.: Обатнин Г.В. Цит. соч. С. 307, 328 (№ 959, 1588).

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ И ИСКУССТВО РЕНЕССАНСА: МАТЕРИАЛЫ, ЗАМЕЧАНИЯ И НАБЛЮДЕНИЯ
Впервые – *La Renaissance en Russie: modèle, utopie, style*. Lyon, 2010.

¹ Вполне основательные статьи об этом проблеме см.: Bowlt John E. *The World of Art // The Silver Age of Russian Culture: An Anthology*. Ann Arbor, 1975. P. 397–432; West James. *The Poetic Landscape of the Russian Symbolists // Studies in Twentieth Century Russian Literature: Five Essays*. Edinburgh; Lnd., 1976. P. 1–16; Rannit Aleksis. *Vyacheslav Ivanov's Reflective Comprehension of Art: The Poet and Thinker as Critic of Somov, Bakst and Čiurlionis // Vyacheslav Ivanov: Poet, Critic and Philosopher*. New Haven, 1976. P. 253–272; Bryś Grażyna. *Wizerunek mistrza: Michał Anioł Buonarroti a «relifowe» postrzeganie świata w twórczości Wiaczesława Iwanowa // Problemy psychologizmu w literaturach wschodniosłowiańskich*. Zielona Góra, 1991. S. 113–125; Jackson Elizabeth Gillette. *Ivanov's «Čiurlionis and the Problem of the Synthesis of the Arts» // Vjačeslav Ivanov: Russischer Dichter – europäischer Kulturphilosoph*. Heidelberg, 1993. S. 210–222; Bobilewicz Grażyna. *Wyobraźnia poetyka – Wiaczesław Iwanow w kręgu sztuki*. Warszawa, 1995; Иванникова Н.В. А. Блок и Вяч. Иванов о живописи итальянского Ренессанса // Вестник Московского университета. Серия 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2003. № 1. С. 158–169. Назовем также две работы, посвященные общим проблемам синтеза и диалога (полилога) искусств: Мазеев А. Проблема синтеза искусств в эстетике русского символизма. М., 1992; Корецкая И. Литература в кругу искусств: Полилог в начале XX века. М., 2001.

² См., напр.: Раннит Алексис. О Вячеславе Иванове и его «Свете Вечернем»: Заметки из критического дневника // Новый журнал. 1964. Кн. 77. С. 74–94, особ. с. 81–87.

³ Bobilewicz-Bryś G. Живопись мастеров итальянского Возрождения в творчестве Вячеслава Иванова // *Cahiers du monde russe*. 1994. Vol. XXXV (1–2). P. 209–224. См. также упомянутую выше, в прим. 1 итоговую книгу этого автора.

⁴ При этом, как пишет сам Иванов в примечании, «последний терцет намекает на “Поклонение Пастырей” Лондонской Национальной Галереи. Все в этой, едва ли не последней, картине Боттичелли – и, ясное всего, сделанная на ней самим художником надпись – свидетельствует о мистическом омрачении его души в последние годы жизни, обусловленном трагическим концом Савонаролы» (Иванов, I, 616). Впрочем, у современного читателя и зрителя это разъяснение может вызвать недоумение: в лондонской Национальной галерее есть два «Поклонения волхвов» работы Боттичелли, однако Иванов имеет в виду не их, а картину, ныне именуемую «Мистическое Рождество», о которой компетентный автор пишет: «1501. Январь. Он заканчивает “Мистическое Рождество”, единственную известную картину, которая датирована и подписана» (Tout l'œuvre peint de Botticelli / Introduction par André Chastel; Documentation par Gabriele Mandel. [P., 1968]. P. 84). Г. Бобилевич вполне резонно отмечает и отразившиеся в сонете впечатления от «Весны» из

Уффици.

⁵ «И в плоть стремится жизнь чрез огнеструйный перст». Образ внушен «Сотворением Адама» Микель-Анджело» (Иванов, I, 859).

Котрелев Н.В. Вяч. Иванов и Вл. Соловьев: Заметки к проблеме понимания мистического дискурса // На рубеже двух столетий: Сборник в честь 60-летия Александра Васильевича Лаврова. М., 2009. С. 331–344.

⁷ См. материалы, собранные в кн.: История и поэзия, особ. с. 25–30 и 399–413.

⁸ История и поэзия. С. 73. Комментаторы письма справедливо указывают: «Знаменательно, что Иванов, исповедующийся в любви к флорентийскому художнику, спешит прежде всего к его произведениям, оставляя на потом сокровищницу живописи» (Там же. С. 75).

⁹ Их переписка 1894 года и некоторые документы того же времени опубликованы: Вячеслав Иванов и Лидия Шварсалон: первые письма / Вст. ст. Н.А. Богомолова, подг. текста Д.О. Солодкой и Н.А. Богомолова, прим. Н.А. Богомолова, М. Вахтеля и Д.О. Солодкой // Новое литературное обозрение. 2008. № 88. С. 117–153. Далее мы цитируем все письма из данной переписки по полному ее изданию: Переписка. Т. I.

¹⁰ РГБ. Ф. 109. Карт. 24. Ед.хр. 33. Л. 5 и об.

¹¹ См., напр.: Мартынов И.Ф. Два акмеизма: К истории поэтической дискуссии о творчестве Фра Беато Анджелико // Вестник русского христианского движения. 1986. № 148. С. 108–122; Мурашов А.Н. Фра Беато Анджелико в русском символизме (Бальмонт) и неоклассицизме // Традиции русской классики XX века и современность: Материалы науч. конф. М., 2002. С. 116–119.

¹² Мы не исключаем, что составитель описи ошибся, назвав не слишком известную и не слишком многофигурную фреску «Олимп» вместо знаменитой фрески «Парнас», также из Ватикана.

¹³ Приносим сердечную благодарность Ю.Е. Галаниной, сообщившей нам содержание этой описи репродукций, находящихся (или находившихся) в частном собрании. Не поддаются отождествлению еще три пункта: «Рафаэль. Фрагмент картины (?). Мозаика и фреска», «Рафаэль. Мадонна с младенцами» и «Неизвестный художник. Три фигуры на фоне пейзажа (одна играет на лютне, две фигуры сидящие)». Было бы соблазнительно посчитать, что «Мадонна с младенцами» – на самом деле «Мадонна Диоталлеви» из Берлинского государственного музея, до начала 1910-х годов приписывавшаяся кисти Перуджино; тем самым мы получили бы возможность отождествить сразу две картины. Однако безоговорочно сделать это, по-видимому, невозможно, так как в основательном каталоге (Tout l'œuvre peint de Raphaël / Introduction par Henri Zerner; Documentation par Pierluigi de Vecchi. [P., 1969]) Мадонна с несколькими младенцами представлена по крайней мере пятнадцатью изображениями.

¹⁴ См. в нашей книге далее, с. 86–87.

¹⁵ Несомненно, имеется в виду Давид Тенирс младший.

¹⁶ Имеется в виду диптих, изображающий св. Екатерину и Мадонну с Младенцем.

¹⁷ Весы. 1905. № 12. С. 64–66. В ней наряду с Боттичелли речь идет о Рогиере ван дер Вейдене и Матиасе Грюневальде. Ср. также стихотворение Иванова «Примитив» из сборника «Нежная тайна» (III, 30–32).

¹⁸ См. выше, в работе «К изучению круга чтения Вяч. Иванова».

¹⁹ Имеется в виду книга: Du Jardin Jules. L'école de Bruges: Hans Memling; son temps, sa vie et son œuvre. Anvers: Hermans, 1897. 149 p., 49 il. – Все требования, на которые мы опираемся ниже, хранятся: РГБ. Ф. 109. Карт. 44. Ед. хр. 14. Поиски велись с помощью интернет-каталогов крупнейших европейских и американских библиотек, de visu книги не проверялись.

²⁰ О каком именно издании этой довольно известной книги идет речь, догадаться трудно. Возможно, о недавно появившихся двух томах: Crowe J.A., Cavalcaselle G.B. A History of Painting in Italy. Lnd.: J. Murray, 1903. Vol. I. Early Christian Art. XXIII, 205 p.; Vol. II. Giotto and the Giottesques. IX, 317 p.

²¹ Crowe J.A., Cavalcaselle G.B. A New History of Painting in Italy, from the Second to the Sixteenth Century. Lnd.: J. Murray, 1864, 1866. 3 Vol.

- ²² Crowe J.A., Cavalcaselle G.B. A History of Painting in North Italy: Venice, Padua, Vicenza, Verona, Ferrara, Milan, Friuli, Brescia. Lnd.: J. Murray, 1871. 2 Vol.
- ²³ См.: Wauters A.J. La peinture flamande. P.: A. Quantin, 1883. 399 p. Второе издание вышло, по всей видимости, вскоре после первого, третье – в 1890.
- ²⁴ Имеется в виду книга: Müntz Eugène. Histoire de l'art pendant la Renaissance. P.: Hachette, 1889-1895. 3 vol.
- ²⁵ Вероятно, речь идет о кн: Les chefs-d'oeuvre de la peinture italienne / par Paul Mantz ; ouvrage contenant vingt planches chromolithographiques exécutées par F. Kellerhoven. P.: Firmin Didot, 1870. VIII, 268 p., 50 pl.
- ²⁶ Видимо, имеется в виду издание: Michiels A. Histoire de la peinture flamande. 2^e édition. I-X. Histoire de la peinture flamande. Paris, 1865-1874. Благодарим за помощь в розыске Н. Гамалову.
- ²⁷ Речь идет о кн.: Descamps J.-B. La vie des peintres flamands, allemands et hollandais, avec des portraits gravés en taille-douce, une indication de leurs principaux ouvrages, et des réflexions sur leur différentes manières. P., 1753-1764. 4 vol.
- ²⁸ Les anciens peintres flamands: leur vie et leurs oeuvres / par J.A. Crowe et G.B. Cavalcaselle; traduit de l'anglais par O. Delepierre; annoté et augmenté de documents inédits par Alex. Pinchart et Ch. Ruelens. Bruxelles: F. Heussner, 1862-1863. 2 vol.
- ²⁹ Нам удалось отыскать только датский вариант этой книги: Knudtson F.G. Masaccio: og den florentinske malerkonst paa hans tid. Kjøbenhavn: J. Lund, 1875. 246 p.
- ³⁰ РГБ. Ф. 109. Карг. 42. Ед. хр. 8. Л. 83–99, 102–113.

Вячеслав Иванов об университетском образовании

Впервые – Филологические науки. 2007. № 3. С. 28–35.

- ¹ Наиболее подробно вопрос об университетском образовании Иванова и его исследовательских планах рассмотрен в двух работах: Wachtel M. Вячеслав Иванов – студент Берлинского университета // Cahiers du monde russe. 1994. Vol. XXXV. № 1-2 [Un maître de sagesse au XX siècle: Vjačeslav Ivanov et son temps]. P. 353–376; История и поэзия (к интересующей нас теме относятся не только сами письма, но также статьи и комментарии Г.М. Бонгард-Левина, Н.В. Котрелева и Е.В. Ляпустиной).
- ² Дата устанавливается на основании телеграммы его отца тестю (уже в те годы постоянно жившему в Женеве) от этого числа (РГБ. Ф. 109. Карг. 38. Ед. хр. 47). Подтверждается дата письмом С.К. к Иванову от 2 октября 1915 г. (РГБ. Ф. 109. Карг. 39. Ед. хр. 1. Л. 55).
- ³ В той же единице хранения, что и публикуемые далее нами письма, находится письмо Иванова к пасынку, написанное на смеси немецкого, французского и русского языков (этот макаронизм отчетливо заметен уже в обращении: «Mon liebbling Сережа!») и с адресом: Monsieur Serge Schwarzsalon. *Tour de Babel*.
- ⁴ Мы знаем по крайней мере о двух таких осложнениях: он влюбился в проститутку и едва не бросил вследствие этого университет, а также растратил деньги, предназначенные на пребывание в Дерпте.
- ⁵ См. его заметку: Раненый офицер русской армии прапорщик С.К.Ш. Открытое письмо господину S. из «Речи» // Вечернее время. 1915, 13 сентября).
- ⁶ См.: Азадовский Константин. Эпизоды // Новое литературное обозрение. 1994. № 10. С. 134; Пяст Вл. Встречи. М. 1997. С. 328 (комментарий Р. Д. Тименчика).
- ⁷ Сталин и Каганович. Переписка. 1931-1936 гг. М., 2001. С. 286, 287-288, 290-291.
- ⁸ Из бездны небытия: Книга памяти репрессированных калужан / Сост. Ю.И. Калининко, В.Ю. Лисянский, Н.П. Мониковская. <Калуга. 1994>. Т. 3. П – Я. С. 388. Сведения извлечены нами из записей пользователей Живого журнала lucas-v-leyden, aonidy и amgrig: <http://lucas-v-leyden.livejournal.com/115869.html>; <http://aonidy.livejournal.com/18937.html?view=30713#t30713>. См. также сведения, содержащиеся в ст.: Гнетнев Константин. Достоинство правды // Север. 2007. № 11-12.
- ⁹ Альтман М.С. Разговоры с Вячеславом Ивановым. СПб., [1995]. С. 30-31.
- ¹⁰ Письмо неизвестно.

¹¹ Вероятно, Иванов неточно цитирует начало 44-й главы «По ту сторону добра и зла»: «Brauche ich nach alledem noch eigens zu sagen, dass auch sie freie, *sehr* freie Geister sein werden, diese Philosophen der Zukunft, – so gewiss sie auch nicht bloss freie Geister sein werden, sondern etwas Mehreres, Höheres, Grösseres und Gründlich-Anderes, das nicht verkannt und verwechselt werden will?» (Нужно ли мне добавлять еще после всего этого, что и они будут свободными, *очень* свободными умами, эти философы будущего, – несомненно, кроме того, и то, что это будут не только свободные умы, а нечто большее, высшее и иное в основе, чего нельзя будет не узнать и смешать с другим. – Пер. Н. Полилова).

¹² Социально-экономическое направление в Англии XIX века, выступавшее против вмешательства государства в экономическую жизнь и против всякого рабочего законодательства.

¹³ Ин. 3: 8.

¹⁴ Ин. 4: 24.

¹⁵ Ин. 16: 13.

¹⁶ По всей видимости, парафраз Ин. 6: 35.

¹⁷ Видимо, отсылка к чаадаевскому названию «Философические письма».

¹⁸ Женевская приятельница семейства – А. Нуссбойм.

¹⁹ Имеется в виду «Учебная книга русской истории» С.М. Соловьева-старшего (с 1859 по 1905 г. выдержала 12 изданий).

²⁰ Речь идет о популярном пособии: Janet Paul, Séailles Gabriel. Histoire de la philosophie. P., 1899 и др. издания.

²¹ Весьма популярная книга Фридриха Паульсена (1846–1908) «Введение в философию» с 1892 г. выдержала множество изданий.

²² Первые три тома «Римской истории» одного из учителей Иванова Теодора Моммзена (1817–1903) впервые вышли в 1854–1856 гг., потом появился еще пятый том; четвертый не выходил.

КОРМЧИЕ ЗВЕЗДЫ НАД ГОРНОЙ ТРОПОЙ

Впервые – Sankirtos: Studies in Russian and Eastern European Literature, Society and Culture In Honor of Tomas Venclova / Ed. By Robert Bird, Lazar Fleishman and Fedor Poljakov. Frankfurt am Main e.a.: Peter Lang, 2008. – С. 186-194.

¹ Примечательно, что Брюсов в одних и тех же статьях рецензировал первый том «Сог арденс» и «Земные ступени», а потом второй том «Сог арденс» и «Горную тропу». См.: Русская мысль. 1911. № 7; Русская мысль. 1912. № 7. Перепеч.: Брюсов Валерий. Среди стихов: Манифесты, статьи, рецензии 1894–1924. М., 1990. С. 341–345, 362–364. Общая характеристика «Сог арденс» совмещена с отзывом о «Горных ступенях» в обзоре Вл. Ходасевича «Русская поэзия» (Альциона. М., 1914; перепеч.: Ходасевич. Т. 1. С. 407–413).

² Брюсов называл даже 1900 год (Среди стихов. С. 344), однако, судя по всему, ошибался: в то время объявлялась книга «Остров: Очерки и рассказы» (см.: Каталог книгоиздательства «Скорпион» к началу 1902 года. М., [1902]. С. 47).

³ Балтрушайтис Юргис. Дерево в огне. Вильнюс, 1969. С. 484

⁴ Дауётите Виктория. Юргис Балтрушайтис: Монографический очерк / Пер. Б. Балашавичуса. Вильнюс, 1983. С. 156.

⁵ Такое соображение было высказано Н.В. Котрелевым на Балтрушайтисовских чтениях 2006 года.

⁶ Дауётите Виктория. Юргис Балтрушайтис. С. 125

⁷ Дерево в огне. С. 485 (комм. Ю. Тумялиса).

⁸ Там же. С. 486. Отметим, что в самой книге «Дерево в огне» эта строгая композиция была разрушена. В дальнейшем мы пользуемся факсимильным переизданием первых двух книг Балтрушайтиса, выполненным в 2005 г. усилиями издательств «Baltrus» и «Новое издательство».

⁹ Труды и дни. 1912. № 1. С. 3–10.

¹⁰ Ср. две первые строчки «Альпийского пастуха»: «По всям снегами / Увенчанных гор».

¹¹ Дерево в огне. С. 422.

¹² Отметим, что терцины эти своеобразны, поскольку слишком коротки, чтобы читатель успел явственно ощутить природу цепных строф.

¹³ У Иванова чуть иначе – «И высей тихий блеск, и тень долин глубоких».

¹⁴ Иванов Вячеслав. Юргис Балтрушайтис как лирический поэт // Юргис Балтрушайтис. Ступени и тропа. М., 2005. С. 91; запятая в заглавии статьи, покорно сохраненная издателями вслед за автором, нами убрана согласно правилам современной пунктуации.

¹⁵ Любопытно отметить, что Иванов повторил тут ставшее широко известным название книги скандального А. Бурнакина – «Трагические антитезы» (М., 1910).

¹⁶ Иванов Вячеслав. Юргис Балтрушайтис как лирический поэт. С. 78.

К ИСТОРИИ РУССКОЙ ГАЗЕЛЛЫ

Впервые – Филологическому семинару – 40 лет: Сб. трудов научной конференции «Современные пути исследования литературы». Смоленск, 2008. Т. 1. С. 56–65.

¹ Название этой строфической формы на русский язык передается различно. «Краткая литературная энциклопедия» в качестве нормативной дает форму «газель» с пояснением «(от араб. газаль)». В разных источниках мы находим также варианты «газэла» (Вяч. Иванов и Кузмин), «газелла» (Брюсов и П.Потемкин). В собственной речи мы будем в дальнейшем употреблять последний вариант, в цитируемых текстах – тот, который там используется.

² Stacy Robert H. The Russian Ghazal // Symposium: A Quarterly Journal in Modern Literatures. 1964. Vol. 18. № 4. P. 342–351; Федотов Олег И. Немецкий фермент в становлении и развитии русской газеллы // Deutsch-russischer Dialog in der Philologie / Hrsg. v. Herbert Jelitte u. Maria Horkavtshuk. F.a.M. u.a., [2001]. С. 609–613. Отметим ряд неточностей второго автора: ссылаясь на публикацию в журнале «Весь», он цитирует газеллу Вяч. Иванова по более позднему и весьма отличному текстуально варианту, включенному в книгу «Cor ardens»; В.Ф. Эрну посвящены не «Газэлы о розе», но весь раздел «Газэлы», куда, помимо названного, входят также циклы «Tutris eburnea» и «Новые газэлы о розе»; Кузмин не создавал цикла из 12 газелл, потом расширяя его до 30, а выбрал из уже имеющихся, о чем прямо свидетельствует подзаголовок: «12 газэл из “Книги газэл”» (Золотое руно. 1908. № 7/9. С. 67); нет никаких фактов, свидетельствующих о том, что этот цикл Кузмин хотел «приурочить к мнимому 30-летию», помимо осторожного предположения М.Л. Гаспарова.

³ См.: Эберман В. Арабы и персы в русской поэзии // Восток. 1923. № 3. С. 108–125; Чалисова Н., Смирнов А. Подражания восточным стихотворцам: встреча русской поэзии и арабо-персидской поэтики // Сравнительная философия. М., 2000. С. 270–271.

⁴ РГАЛИ. Ф. 232. Оп. 1. Ед. хр. 43.

⁵ Письмо от 21 августа 1901 // РГБ. Ф. 109. Карт. 23. Ед. хр. 9. Л. 43 об–44. Из дальнейших писем следует, что книга была получена.

⁶ Guenther Johannes von. Ein Leben im Ostwind: Zwischen Petersburg und München. Erinnerungen. Mn., [1969]. S. 207.

⁷ Полное собрание сочинений Генриха Гейне / Изд. 2-е / Под ред. и с биограф. очерком Петра Вейнберга. СПб., 1904. Т. 1. С. 377.

⁸ Кузмин М. Дневник 1905–1907. СПб., 2000. С. 392.

⁹ Там же. С. 389–390.

¹⁰ Гиппиус З.Н. Братская могила // Весь. 1907. № 7. С. 61.

¹¹ Кузмин М. Дневник 1905–1907. С. 322.

¹² Кузмин М. Дневник 1934 года. СПб., 1998. С. 92.

¹³ См., напр.: Там же. С. 89.

¹⁴ Кузмин М. Дневник 1905–1907. С. 319.

¹⁵ Белый Андрей. Художник оскорбителям // Весь. 1907. № 1. С. 54, 56.

¹⁶ Полное собрание сочинений Генриха Гейне. С. 388.

¹⁷ См.: Богомолов Н.А. Михаил Кузмин: статьи и материалы. М., 1995. С. 86–87. Относительно возможности перевода Платена на русский см. в статье Иванова «Спорады» (раз-

дел («О лирике»): «...неизлишне обратить внимание поэтов на одно полузабытое стихотворение Платена, которое пусть переведет, кто сумеет. <...> Мы слишком знаем в лирике позу ораторскую: у Платена, перевоплотившегося в Гафиза, – каждая строка газеллы ваяет скульптурную позу», и далее следует газелла Платена «Wenn ich hoch den Becher schenke süßberauscht...» (Иванов, III, 122). Отметим, что в первопечатном тексте (Весы. 1908, № 8. С. 85–88) по каким-то неизвестным нам причинам имя Платена и цитата из его газеллы были исключены Брюсовым, который писал Иванову: «Из “Спорад” я беру три статьи: о гении, о художнике и о лирике», сделав к последнему слову примечание: «Кроме § со стихами Платена» (Литературное наследство. М., 1976. Т. 85. С. 510 / Публ. С.С. Гречишкина, Н.В. Котрелева, А.В. Лаврова).

¹⁸ Жуковская Т.Н., Снежкова Е.В. Майя Кювилье: образ, возникший из писем // «Серебряный век» в Крыму: Взгляд из XXI столетия. М.; Симферополь; Судак, 2007. С. 80.

¹⁹ См.: Брюсов Валерий. Собр. соч.: В 7 т. М., 1973. Т. 1. С. 642.

²⁰ См.: Валерий Брюсов, Нина Петровская. Переписка 1904–1913. М., 2004. С. 65–143.

²¹ Иванов, II, 698–701.

²² Брюсов Валерий. Собр. соч. Т. 3. С. 543.

²³ Межа. 1908. 3 (16) ноября, № 3.

²⁴ Потемкин П. Герань. СПб., 1912. С. 97–99. Перепеч.: Поэты «Сатирикона». М.; Л., 1966. С. 112–113.

²⁵ Иванов Вяч. Вс. Избранные труды по семиотике и истории культуры. М., 2004. Т. III. С. 197.

²⁶ Ахматова Анна. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 242. Впервые: Русская мысль. 1914. № 1. Затеявшийся в последнее время спор об авторстве этой статьи (В.А. Черных предположил, что она написана Н.С. Гумилевым; см.: Черных В.А. Ахматова или Гумилев? Кто автор рецензии «О стихах Н. Львовой»? // Новое литературное обозрение. 1995. № 14. С. 151–153; Темненко Г.М. Критическая статья Ахматовой: обмен мистификациями или скрытая полемика? // Анна Ахматова: эпоха, судьба, творчество. Крымский Ахматовский научный сборник. Симферополь, 2006. Вып. 4. С. 17–37) для нас в данном случае не существуют.

Из Башенной жизни 1908–1910 годов

Работа составлена из двух разновременных публикаций в книгах: Башня Вячеслава Иванова и культура серебряного века. СПб., 2006. С. 35–52; Литература как миропонимание. Literature as a World View. Festschrift in honour of Magnus Ljunggren / Ed. By Irina Karlsohn, Morgan Nilsson & Nadezhda Zorikhina Nilsson. Univesity of Gothenburg, [2009]. С. 59–68.

¹ Подробнее об этом периоде см.: Хроники. С. 115–198.

² Герцык Евгения. Воспоминания. М., 1996. С. 124.

³ Ее переживания выразительно описаны в названных в предыдущей сноске воспоминаниях, а также в дневнике, фрагменты которого напечатаны в той же книге.

⁴ См.: Богомолов Н.А. Русская литература начала XX века и оккультизм. М., 1999. С. 56–57.

⁵ Речь идет о Лидии Вячеславовне Ивановой (1896–1985), которая до конца мая оставалась в Петербурге, после чего отправилась в деревню. Прочитируем два ее письма к В.К. из числа имеющихся здесь в виду. 10 мая: «Аббат <М.А. Кузмин> приходил, злой и нехороший Аббат. Я его позвала и композицию свою ему показала, а он хоть бы что; подцапал на рояле, переврал все, не докончил 4 строчки, и мне ничего не сказав, с умирающим писком своим побегал к Гюнтеру, писча <так!>: "Не покидайте меня, Гюнтер!". Ага! Свинка! доказал, что ему не интересно! Никогда ему больше ничего не покажу! хладнокровцу противному! Ненавижу я этого Аббата! противный. Фу! ничего ему не покажу! Кто не интересно? Нет? Так и мне не интересно. Возись со своим Поздняковым, мне наплювать <так!>. Дрянь хладнокровная, больше ничего! Прямо бы и сказал: "Мне не интересно!" или "Я хочу с Гюнтером идти". А не увилвал бы, как змея, да удирал, как трес! Ничего открыто не может сделать. Ничего в нем хорошего нету» (РГБ. Ф. 109. Карт. 26. Ед. хр. 6. Л. 7 и об). 11 мая: «Дорогая моя Верушечка, Как поживаешь? Ну Бог с ним, с Аббатом

нашим. Знаешь ли ты, что он вчера был в ужаснейшем настроении. Сидел не Аббат вчера за столом, а "cadavre" какой-то. Он сидел с полу раскрытым ртом и глядел мертвыми глазами рассеянно повсюду» (Там же. Л. 9).

⁶ См. недатированное письмо В.К. Шварсалон к Замятниной, где подробно рассказывается об этих тревогах Минцловой: Богомолов Н.А. Цит. соч. С. 55–56.

⁷ Первый сборник критических статей Иванова (СПб., 1909).

⁸ Статья, составленная из ряда отдельных сравнительно небольших фрагментов, часть которых ранее публиковалась отдельно (Иванов Вячеслав. По звездам. СПб., 1909. С. 338–376).

⁹ Книга отправлена в типографию не была, о чем см. ниже.

¹⁰ Имеющееся в виду письмо нам неизвестно. Над. Григ. – Надежда Григорьевна Чулкова (урожд. Степанова, 1874–1961), жена писателя Г.И. Чулкова. Входила в число близких друзей Иванова; в частности, специально приехала, чтобы быть с ними во время последней болезни Л.Д. Зиновьевой-Аннибал.

¹¹ Иоганнес фон Гюнтер (1886–1973), часто в кругу друзей именовавшийся также «Гюгос», – немецкий поэт и драматург, переводчик русских писателей на немецкий язык. Фрагменты его мемуарной книги «Жизнь на восточном ветру» (немецкое издание – München, 1969) в переводе К.М. Азадовского опубликованы: Наше наследие. 1990. № 6. О вечере издательства «Шиповник» см.: Кузмин М. Дневник 1908–1915. СПб., 2005. С. 596. Далее ссылки на это издание даются сокращенно: Кузмин (с указанием страницы).

¹² См.: «Отец был в высшей степени музыкален. Композитор, который связан со всей его жизнью, это Бетховен <...> В первый год после смерти мамы <1907–1908> он каждый вечер выслушивал по сонате Бетховена, которая исполнялась Анной Минцловой, прекрасной пианисткой-дилетанткой» (Иванова Лидия. Воспоминания: Книга об отце. [Paris, 1990]. С. 33–34). В отсутствие Минцловой играл М.А. Кузмин.

¹³ Речь идет о драме Гюнтера «Очаровательная змея». Она была издана по-немецки, русский же перевод, сделанный Кузминым, погиб в Мюнхене во время бомбежек 1944 года. См. обмен шуточными письмами между Кузминым и Ивановым в приложении. О визите к К.С. Станиславскому Гюнтер рассказал в воспоминаниях (Наше наследие. 1990. № 6. С. 65). Аббат – прозвище Кузмина на Башне.

¹⁴ Речь идет о приговоре по делу о публикации книги «Три пьесы», арестованной по ст. 1001 Уложения о наказаниях. В дневниковой записи, датированной 29 апреля – 1 мая Кузмин зафиксировал: «Меня присудили к 200 р. или месяцу сиденья» (Кузмин, 34). По всей видимости, деньги для уплаты штрафа были собраны среди знакомых Ивановых.

¹⁵ Речь идет о супругах В.С. и П.И. Гриневич, близких друзьях семейства Герцых, знакомых Иванова и Кузмина. Подробнее о них см. в главе «Вера» воспоминаний Е.К. Герцых.

¹⁶ Евгения Антоновна Лубны-Герцых (1855–1930), мачеха сестер Герцых.

¹⁷ «Новый Ролла» – неоконченный стихотворный «роман в отрывках» Кузмина (1908–1910), в окончательном виде опубликованный в его книге «Глиняные голубки» (Пг., 1914). Написание имени героя латиницей должно напоминать о связанности поэмы Кузмина с поэмой А. де Мюссе «Ролла».

¹⁸ Сэр Бернард Пэрс (1867–1949), известный английский славист. О Nagpeг'e сведениями мы не обладаем.

¹⁹ Александра Николаевна Чеботаревская (1869–1925), именовавшаяся в домашнем кругу Иванова также Кассандрой, – переводчица и журналистка, близкий друг Ивановых. Подробнее см.: Письма Вячеслава Иванова к Александре Чеботаревской / Публ. А.В. Лаврова // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1997 год. СПб., 2002. С. 238–295.

²⁰ Копорье – имение родных Л.Д. Зиновьевой-Аннибал под Петербургом, выразительно описанное Л.В. Ивановой (Иванова Лидия. Цит. соч. С. 26–28). Тетя Лиза – жена А.Д. Зиновьева, брата Л.Д. Зиновьевой-Аннибал.

²¹ Константин Константинович Шварсалон (1892 – ок. 1918) – брат В.К., пасынок Иванова.

²² О «тушении» (с некторой гомозротической подоплекой) К.К. Шварсалона Кузмин не раз пишет в дневнике.

²³ Речь идет о наиболее представительном двухтомном сборнике стихов Иванова, издание которого планировалось очень давно, но не исполнилось и в это время: он был издан лишь в 1911–1912 гг.

²⁴ План осуществлен не был.

²⁵ Речь идет о рукописях Л.Д. Зиновьевой-Аннибал.

²⁶ Домашнее имя А.К. Герцык.

²⁷ Речь идет о первой главе упоминавшейся поэмы «Новый Ролла» (действительно состоящей из 8 стихотворений). Какой рассказ имеется в виду – неясно, нет у нас сведений и о произведении под названием «Эхо».

²⁸ Вероятно, речь идет о музыке к стихотворению «Breve aevum separatum...», о котором О.А. Шор рассказывала, явно со слов Иванова: «Вдруг он услышал голос, медленно и внятно произносивший какие-то латинские слова. Он, не пытаясь понимать, стал их записывать. <...> Перечитал. Стихи небезупречные. Есть ошибки. Исправить? Не решился. <...> Потом напечатал в “Сог ardens” в виде вступления к разделу “Любовь и Смерть”. Но всегда предупреждал читателей, что он не знает, его ли это стихи или не его...» (Дешарт О. Введение // Иванов, I, 130–131). Ноты музыки Кузмина опубликованы как приложение к «Сог ardens».

²⁹ Недалеко от ст. Окуловка Новгородской губ. в поселке у бумажной фабрики жила семья сестры Кузмина, с которой он проводил иногда по нескольку месяцев. В 1908 г. он уехал в Окуловку в начале июля.

³⁰ Визит В.Э. Мейерхольда состоялся 30 мая. Приход Вальтера Федоровича Нувеля (1871–1949), композитора-дилетанта, активного участника петербургской культурной жизни 1900-х годов, близкого приятеля как Кузмина, так и Иванова, в дневнике Кузмина не отмечен.

³¹ Речь идет о статье Иванова «Б.Н. Бугаев и “Realiora”» (Весы. 1908. № 7. С. 73–77), являющейся ответом на статью Андрея Белого (подписано: Борис Бугаев) «На перевале. XII. “Realiora”» (Весы. 1908. № 5. С. 59–62).

³² 6 стихотворений под общим названием «Gastschenke», обращенных к И. фон Гюнтеру, вошли в книгу «Сог ardens». В примечаниях к этому циклу О.А. Дешарт писала: «В свой второй приезд в СПб. в 1908 г. он <Гюнтер> по приглашению В.И. поселился на “башне”. Как-то раз Гюнтер подсунил им написанные стихи под дверь спальни В.И., который в тот же день подбросил в комнату своего гостя стихотворный ответ по-немецки. На следующее утро Г. опять подсунил в спальню стихи, и опять ему тем же ответил В.И. Так в течение некоторого времени они играли в “подарки” стихами» (Иванов, II, 737). Стефан Георге (1868–1933) – немецкий поэт-символист. Ср. в воспоминаниях И. фон Гюнтера: «Бывая у Иванова, я часто думал о Стефане Георге. Ибо Иванов отчасти воплощал для меня представление о поэте» (Наше наследие. 1990. № 6. С. 61). См. также: Азадовский К.М. Две башни – два мифа (Стефан Георге и Вячеслав Иванов) // Башня Вячеслава Иванова и культура Серебряного века. СПб., 2006. С. 53–73.

³³ См. также: Кузмин, 37–38.

³⁴ О какой рукописи идет речь – неясно.

³⁵ Ф. 109. Карт. 47. Ед. хр. 19.

³⁶ Вопросительный знак в скобках принадлежит Шварсалон.

³⁷ Слова в скобках, вероятно, написаны самим Ремизовым.

³⁸ Далее записано карандашом.

³⁹ Renouveau – прозвище В.Ф. Нувеля в среде «гафизитов», откуда оно распространилось и шире. Несколько подробнее см.: Богомолов Н.А. Русская литература первой трети XX века. Томск, 1999. С. 461–462.

⁴⁰ Блок А. Письма к родным. Л., 1927. Т. 1. С. 236. Письмо от 30 ноября 1908.

⁴¹ Неточность автора: в 1908 г. женой Иванова Шварсалон еще не была.

⁴² Жизнь Николая Гумилева: Воспоминания современников. Л., 1991. С. 41–42.

⁴³ Отметим, что в русской «Википедии» он совершенно бесосновательно объявлен разведчиком. Шпиономания, особенно в отношении подданных английской короны, снова становится характерной чертой времени.

⁴⁴ Мы пользовались информацией из писем Смирнова к Соне Терк-Делоне, приготовленных к печати Дж. Мальмстадом и Ж.-К. Маркаде.

⁴⁵ См.: Сестры Герцык. Письма. СПб.; М., 2002. С. 140–142.

⁴⁶ Об отношении В.К. к Кузмину и к приезду Сабашниковой наиболее откровенно свидетельствует ее дневник 1909 года, опубликованный в кн.: Богомолов Н.А. Русская литература начала XX века и оккультизм. С. 319–334. Неоднократно цитируемый далее дневник В.И. Иванова сверен с оригиналом, хранящимся в Римском архиве поэта, и неточности исправлены без оговорок.

⁴⁷ Подробнее см.: Wachtel Michael. Russian Symbolism and Literary Tradition: Goethe, Novalis, and the Poetics of Vyacheslav Ivanov. [Madison, 1994].

⁴⁸ В.К. уехала в Меррекюль к Ф. Сологубу и Ан.Н. Чеботаревской 25 июня (Иванов, II, 773), обратно ее Иванов вызвал 28 июня (Иванов, II, 777).

⁴⁹ Речь идет о не осуществившихся в то время планах издания книги «Эллинская религия страдающего бога». См. в дневнике Иванова 1 августа: «Работаю у окна над примечаниями к Дионису» (Иванов, II, 780).

⁵⁰ См. в дневнике Иванова 25 июня: «В постели ночью прикасаюсь там и здесь к стихам Новалиса, которые хотел бы перевести» (Иванов, II, 773).

⁵¹ Савитри – псевдоним польской писательницы Хелены Загорской. Ее присутствие и темы болтовни зафиксированы Кузминым 23 июля: «Обедала у нас Савитри, болтая à tout et à travers» (Кузмин, 154); потом 27 июля: «Пришла Савитри, чирикая о милитаризме, Аримане etc.» (Там же, 155) и, наконец, 29 июля: «За обедом была Савитри, болтавшая à tout et à travers о католицизме» (Там же, 156).

⁵² Речь идет о романе «Нежный Иосиф» (Золотое руно. 1909. № 1–10), над которым Кузмин работал в это время. Подробнее всего работа описана в дневнике Вяч. Иванова. Музыка, согласно дневнику Кузмина, – квартет Cis-moll Бетховена, который он играл.

⁵³ См. выше, прим. 17.

⁵⁴ Письмо С.М. Городецкого сохранилось:

27-VII-09

Дорогой Вячеслав.

Невероятно счастливая встреча – и вот я пишу Тебе – угадай, у кого, с кем и чью ручку держу? Ни за что не угадаешь!

М-а-р-г-а-р-и-т-ы!

Я приехал сегодня утром в Москву и уезжаю вечером. Идя по улице, остолбенел и расплеснул руки, увидя ее.

Твоя книга здесь производит сенсацию. Тастевен прыгает и говорит: за десять лет не было ничего подобного. Потом прыгает еще выше и восклицает: нет! за двадцать пять. Пришли ее мне: <Рукой Сабашниковой> и мне. Мой адрес: Василь-Сурск, мне <Рукой Сабашниковой> а мой: Брестская Ж.Д. ст. Издешково. Имение Богдановщина (РГБ. Ф. 109. Карт. 16. Ед. хр. 53. Л. 115).

⁵⁵ Письма А.Р. Минцловой к Иванову хранятся: РГБ. Ф. 109. Карт. 30. Ед. хр. 1–10; карт. 31. Ед. хр. 1–6. Письмо от 23 июля 1909 опубликовано: Богомолов Н.А. Русская литература начала XX века и оккультизм. С. 76–77 (там же использованы и многие другие письма, в том числе и этого времени).

⁵⁶ Кузмин играл «Дон-Жуана» Моцарта и адажио из пятой симфонии Бетховена (Иванов, II, 781).

⁵⁷ См. в дневнике Иванова: «Приехал из лагеря стройный Костя, скучающий и недовольный тем, что Зиновьевы его не зовут на остаток летней вакации в Копорье» (Иванов, II, 781).

⁵⁸ Павла Афанасьевна Замятнина (ум. 1915).

⁵⁹ Получение письма от Минцловой отмечено Ивановым в дневнике на следующий день. Она уезжала в Германию и Швейцарию.

⁶⁰ Сергей Константинович Маковский (1877–1962), поэт и искусствовед, редактор журнала «Аполлон», над первым номером которого шла работа. О редакционном собрании «Аполлона» действительно состоявшемся 5 августа, см. в дневнике Иванова (II, 783).

⁶¹ Модест Людвигович Гофман (1887–1959) – в то время молодой поэт и автор трактата «Соборный индивидуализм» (СПб., 1907). Входил в ближайший к Ивановым круг. Впоследствии известный литературовед.

⁶² Имеется в виду статья Гофмана «Поэтическая академия» (Известия книжных магазинов т-ва М.О. Вольф. 1909. № 8). Речь в ней шла о собраниях на «башне» весной 1909 г., когда Иванов читал молодым поэтам лекции о русском стихе.

⁶³ О визите Сергея Платоновича Каблукова (1881–1919) к Иванову см. записи в дневниках Иванова (Иванов, II, 783–784) и самого Каблукова (процитировано: Кузмин, 633).

⁶⁴ Письмо от 6 августа отправлено не было; 23 августа Замятина написала и отправила данное письмо, после чего, найдя неотправленное письмо, начала на нем писать 25 августа. В нашей публикации эти письма соединены воедино в хронологическом порядке.

⁶⁵ См. в дневнике Иванова за этот день: «Новалис в сущности окончен (остается только любимое стихотворение: “Надпись на воротах кладбища”»)» (Иванов, II, 794).

⁶⁶ Видимо, этот пассаж связан с дневниковой записью Иванова: «Открытие Валерия <Брюсова> из Бриенца была радостью дня. Он требует “Сог Ardens”, говорит, что книга “всем нужна”» (Иванов, II, 794).

⁶⁷ См. в дневнике Иванова за этот день: «Судейкин, Гумилев, С. Маковский. Первый прочит перевод жены; второй зовет в Ц<арское> Село в воскресенье; последний – все об Аполлоне, аполлинистиве и аполлинистах журнала. <...> “Показывал” Кузмина» (Иванов, II, 795). Кузмин же записал следующее: «Сергей Ю<рьевич Судейкин> заехал к нам, где был уже Гумилев, потом приехал Маковский. Беседовали, играли, читали стихи. “Ролла”, кажется, имел успех» (Кузмин, 161).

⁶⁸ См. в дневнике Кузмина 14 июля: «Провожая Гумил<ева>, встретил С. Маковского, пригласившего меня в “Аполлон”» (Кузмин, 152). 8 августа он отнес Маковскому стихи для нового журнала (Кузмин, 158).

⁶⁹ Кузмин написал всего 4 главы «Нового Ролла», остановившись буквально на полуслове. Несколько подробнее см.: Кузмин М. Стихотворения. СПб., 2000. С. 730–731.

⁷⁰ Вероятно, имеется в виду открытие на шведском языке, отправленная из Гельсингфорса 12 августа (РГБ. Ф. 109. Карт. 16. Ед. хр. 61. Л. 16).

⁷¹ Владимир Николаевич Ивойлов (псевд. Княжнин, 1883–1942) – поэт и критик, получивший в дневниках Иванова (Иванов, II, 785) и Кузмина (158) одинаковую оценку «нудный», был у Ивановых 8 августа.

⁷² Визиты поэта Петра Петровича Потемкина (1886–1926), обычно в компании его тогдашнего любовника В.Ф. Нувеля, в дневнике Иванова зафиксированы 7, 11, 15 и 25 августа.

⁷³ Имеется в виду визит К.А. Сомова 14 августа (Иванов, II, 789).

⁷⁴ Замятина вспоминает о визите В.Э. Мейерхольда 7 августа (Иванов, II, 784). Ольга Михайловна Мейерхольд (урожд. Мунт, 1874–1940) – актриса, первая жена В.Э. Мейерхольда.

⁷⁵ Ее путевой дневник этой поездки см.: РГБ. Ф. 109. Карт. 47. Ед.хр. 30. Некоторые материалы к истории «Башенного театра» см. ниже.

⁷⁶ Об этом также см. ниже.

⁷⁷ См.: Богомолов Н.А. Русская литература начала XX века и оккультизм. С. 103–110. Неизвестное нам в то время важное письмо Минцловой опубликовано: Серков А.И. Предисловие // Киселев Н.П. Из истории русского розенкрейцтерства. СПб., 2005. С. 31–33.

⁷⁸ Минцлова сообщала, что по вызову своих оккультных руководителей отправилась в Чердынь (под Пермь), но на вокзале в Вологде ее встретил один из тех, к кому она ехала в Чердынь, и направил в Архангельск, а потом на Соловки. Вернулась из этого путешествия она 22 июня.

⁷⁹ Вопреки этим словам, вследствие задержки издания книги все газеллы (написание слова в то время не установилось, мы сохраняем варианты тех текстов, где оно встречается) успели попасть в «Сог ardens», открывая пятую книгу этого сборника – «Rosarium» (циклы «Газеллы о розе» и «Turris eburnea»). См. также в нашей книге с. 57–63.

⁸⁰ Юрий Никандрович Верховский (1878–1956), далее называемый также «Юраша», поэт,

историк литературы, друг Иванова. Подробнее см.: Лавров А.В. Дружеские послания Вячеслава Иванова и Юрия Верховского // Вячеслав Иванов – Петербург – мировая культура. Томск; М., 2003. С. 194–226.

⁸¹ Имеется в виду, что Верховский, подобно Иванову, вел ночной образ жизни и потому очень поздно просыпался.

⁸² От франц. *torticolis*, ревматические боли в шее.

⁸³ Армении посвящена газелла «Роза преображения», в окончательном варианте цикла ставшая второй. О ком из членов семьи Тамамшевых идет речь, не очень понятно. Наиболее известен из них поэт Александр Артемьевич (1888–1940), среди знакомых Иванова были также его сестры Нина и Софья Артемьевны.

⁸⁴ Речь идет о Н.С. Гумилеве и А.А. Горенко (Ахматовой), вернувшихся из свадебного путешествия в Париж в начале июня.

⁸⁵ О дебюте А. Ахматовой на Башне см. обзор различных свидетельств: Кузмин, 671–672.

⁸⁶ Наиболее подробные сведения о литераторе и режиссере Борисе Сергеевиче Мосолове (1888–1941), поэте Владимире Алексеевиче Пясте (Пестовском, 1886–1940) и актере Владимире Павловиче Лачинове (1866? – после 1929) и об их ролях в спектакле «Поклонение кресту» см. в мемуарах Пяста и комментариях Р.Д. Тименчика к ним (Пяст Вл. Встречи. М., 1997).

⁸⁷ Евгений Александрович Зноско-Боровский (1884–1954), секретарь журнала «Аполлон».

⁸⁸ Сергей Абрамович Ауслендер (1886–1937) – писатель, племянник М.А. Кузмина; актриса Надежда Александровна Зноско-Боровская (ум. 1954), сестра Е.А. Зноско-Боровского – его невеста (свадьба состоялась в августе 1910).

⁸⁹ На деле 20 июля приходилось на вторник.

⁹⁰ См. в дневнике Кузмина за предыдущий день: «Играл “Joseph’a” <опера Э. Меюля> и читали “1001 ночь”» (Кузмин, 226).

⁹¹ Вероятно, «повесть в стихах» «Феofil и Мария», вошедшая в «Cor ardens».

⁹² Повесть Дж. Боккаччо, переведенная Кузминым. Планировалась к печати в издательстве «Лантеон», но план не осуществился и она была напечатана лишь в 1913 г.

⁹³ Видимо, речь идет об оркестровке оперетты «Забава дев», поставленной в 1911 г.

⁹⁴ Вячеслав Гаврилович Каратыгин (1875–1925) – музыкальный критик, родственник Верховского.

⁹⁵ Прозвище Ал. Н. Чеботаревской. Она была у Ивановых 16–17 июля.

⁹⁶ Ф. Сологуб и его жена Анастасия Николаевна Чеботаревская (1876–1921), сестра Ал. Н., действительно проводили лето в Меррекуле, однако как раз в это время Ал. Н. путешествовала по Финляндии (см.: Неизданный Федор Сологуб. М., 1997. С. 316).

⁹⁷ Минцлова уехала из Петербурга 26 июня, 30 июня была в Судаке.

⁹⁸ Валентин Александрович Тернавцев (1866–1940) – чиновник особых поручений при обер-прокуроре Священного Синода; Александр Викторович Ельчанинов (1881–1934) – публицист, с 1926 – священник. У Тернавцева была яхта «Мцъири», на которой Вяч. Иванов катался в 1906 г.

⁹⁹ Отождествление упоминаемой здесь Персиц с известной по литературе Тamarой Михайловной Персиц (Кобеко; ?–1955), в 1920-е гг. владевшей издательством «Странствующий энтузиаст», сделанное нами в первой публикации, не имеет под собою должных оснований.

¹⁰⁰ Фаддей Францевич Зелинский (1859–1944), знаменитый филолог-классик, руководил экскурсией, в которой участвовала В.К.

¹⁰¹ В первую очередь об этом рассказывают ее собственные дневниковые записи 1908–1910 годов (см.: Богомолов Н.А. Михаил Кузмин: статьи и материалы. М., 1995. С. 310–337).

¹⁰² Ср. одну из «Александрийских песен», начинающуюся: «Если б я был древним полководцем...» Отметим, что впоследствии на нее ориентировалась и Ахматова в стихотворении «Если б все, кто помощи душевной...» (1961), где содержится прямая отсылка к прецедентному тексту: «Как говаривал Кузмин покойный».

¹⁰³ В полной мере нам не удалось этого передать при публикации, поскольку явная агра-

фия Шварсалон и ограниченный формат записной книжки не позволяли ей расположить строки так, как она бы хотела, ей приходилось произвольно разрывать их.

¹⁰⁴ Примечательной в этом отношении кажется нам возможность услышать близкие словесные и стихотворные интонации в дилетантской поэзии Л.Д. Блок. См. ее тексты, приведенные в кн.: Галанина Ю.Е. Любовь Дмитриевна Блок: Судьба и сцена. М., 2009. С. 46, 70–73.

¹⁰⁵ Л. 63 об. Записано чернилами.

¹⁰⁶ Л. 67. Записано чернилами; черновик (также написанный чернилами) – л. 66.

¹⁰⁷ Л. 67 об. Записано чернилами.

¹⁰⁸ Л. 64. Записано карандашом.

¹⁰⁹ Л. 65 об. Записано карандашом.

¹¹⁰ Л. 66. Записано карандашом; зачеркнутый черновик – л. 65. Кроме этого, еще одно стихотворение, датированное декабрем (л. 64 об) нам разобрать не удалось.

¹¹¹ ИРЛИ. Ф. 607. № 255.

¹¹² РГБ. Ф. 109. Карт. 10. Ед. хр. 49.

ИЗ ИТАЛЬЯНСКИХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВА

Впервые – *Europa orientalis*. 2002. 2. С. 105–114.

¹ Приводим ранний итинерарий, насколько он восстанавливается по доступным ныне материалам. Весной 1892 г. Иванов с первой семьей через юг Франции прибывает в Италию, где проезжает Геную и Рим, потом направляется в Неаполь, на Сицилию, а к концу сентября возвращается в Рим. Там Ивановы (с кратковременными выездами в недалекие города) живут до лета 1894 г., когда через Ассизи, Перуджу, Сиену и Пизу перебираются во Флоренцию. В самом начале 1895, оставив во Флоренции семью, Иванов до начала апреля живет в Риме, потом ненадолго возвращается во Флоренцию, объясняется с женой относительно романа с Л.Д. Зиновьевой-Аннибал и вместе с семьей в начале мая 1895 г. на полтора года расстается с Италией. Возвращается он туда вместе с новой семьей в октябре 1897 г. и поселяется в Аренцано, недалеко от Генуи, где проводит больше года (с довольно длительным выездом летом 1898 г. в Россию). В самом конце 1898 или самом начале 1899 г. перебирается в Неаполь, но вскоре (в марте 1899) едет оттуда в Россию. В июле 1899 через Венецию и Ливорно Иванов с Зиновьевой-Аннибал (обвенчавшись в Ливорно) ненадолго возвращается в Неаполь, ликвидируют там хозяйство и едут в Англию, потом в Швейцарию. В марте 1901 г. проезжают на поезде всю страну (с краткой остановкой в Риме), направляясь из Женевы в Бриндизи, а оттуда в Грецию. В следующий раз он оказывается в Италии уже в 1910 г., о чем и пойдет речь далее.

² См. об этом: Шишкин А.Б. Вячеслав Иванов в Италии // *Archivio italo-russo / Русско-итальянский архив*. Trento, 1997. P. 505.

³ Отчасти это сделано в двух недавних работах: Вячеслав Иванов на пороге Рима: 1892 год / Публ. Н.В. Котрелева и Л.Н. Ивановой // *Archivio russo-italiano. Vjačeslav Ivanov: Testi inediti / A cura di Daniela Rizzi e Andrej Shishkin*. Русско-итальянский архив. Salerno, 2001. Vol. III. С. 7–24; Иванов Вячеслав. <Волшебная страна ITALIA> / [Пред. и публ. Н.В. Котрелева] // *История и поэзия*. С. 399–426. Обширные материалы к подобным анализам подобраны также во многих примечаниях к самим письмам Иванова к Гревусу.

⁴ См.: Carlson Maria. Ivanov – Belyj – Minclova: The Mystical Triangle // *Cultura e memoria: Atti del terzo Simposio Internazionale dedicato a Vjačeslav Ivanov. Testi in italiano, francese, inglese*. [Firenze, 1988]. Vol. I. P. 63–80; Богомолов Н.А. Русская литература начала XX века и оккультизм. М., 1999. С. 91–110.

⁵ РГБ. Ф. 109. Карт. 31. Ед. хр. 5. Л. 5 и об. Как кажется, это письмо, равно как и дальнейшие, опровергают утверждение О. Дешарт (сделанное, видимо, со слов самого Иванова) о том, что Минцлова попыталась требовать от Иванова обета безбрачия (Иванов, I, 140). Впоследствии, в августе, она сама собиралась в Италию, чтобы встретиться там с Ивановым и ввести его в круг «посвященных». Ср. в ее письме от 29 июля / 11 августа: «В начале сентября (русского) я Вам телеграфирую в Рим, *poste restante* – из Ассизи и попро-

шу Вас приехать в Ассизи, чтобы присутствовать *вместе* со мной в это время – вероятно, это возьмет 3-4 дня, не больше. А дальше – Вы уже сделайте все, как Вам будет <1 слово неразб.>. <...> В Соборе, в Ассизи, *не* будет теперь бывать *никто* из Них, т.к. я это сказала (кроме Вас) *А.Белому* и еще *кому-то*, очевидно.... *потому что об этом говорят* в Москве, и за это я должна буду очень много ответить» (Там же. Ед. хр. 6. Л. 33 об, 34 об).

⁶ Аполлон. 1910. № 8. С. 5–20 первой пагинации. О различиях доклада и статьи см.: Пяст Вл. Нечто о каноне // Труды и дни. 1912. № 1. С. 25–35.

⁷ РГБ. Ф. 25. Карт. 19. Ед.хр. 17. Л. 8 об.

⁸ Шишкин А.Б. Цит. соч. С. 504–505.

⁹ С полным доверием эти слова цитировал С. Гардзонио, однако он пронциательно писал: «Хочется даже прочесть в сонете намек на возможное посещение Фьезоле вместе с Верой, и даже отнести к нему влюбленность поэта» (Гардзонио С. По поводу «фьезуланского сонета» Вячеслава Иванова // Вячеслав Иванов – Петербург – мировая культура: Материалы международной научной конференции 9-11 сентября 2002 г. Томск; М., 2003. С. 299; см. также: Гардзонио Стефано. Статьи о русской поэзии и культуре XX века. М., 2006. С. 9–15). Публикуемое письмо его предположение подтверждает.

¹⁰ Дата отъезда названа в дневнике М.А. Кузмина, жившего в это время с Ивановыми (Кузмин М. Дневник 1908–1915. СПб., 2005. С. 214).

¹¹ РГБ. Ф. 109. Карт. 10. Ед. хр. 41. Л. 3–4 об. *А.Р.* – А.Р. Минцлова; *Валерий* – В.Я. Брюсов (имеющееся здесь в виду письмо касалось инцидента со статьей Г.И. Чулкова «Весы: Некролог», о чем подробнее см.: Литературное наследство. М., 1976. Т. 85. С. 526-530); *Иван Странник* – псевдоним жены Е.В. Аничкова; *Серезжа* и *Костя* – братья В.К.; *рехидор* – В.Э. Мейерхольд, также участвовавший в экскурсии; *Копорье* – имение родных Л.Д. Зиновьевой-Аннибал; *Кассандра* – Ал. Н. Чеботаревская.

¹² Кузмин М. Цит. соч. С. 229.

¹³ Обзорение театров. 1910. 6 августа. № 1136. С. 8.

¹⁴ В более ранней переписке такие и даже еще более резкие попреки отнюдь не редкость. См., напр.: Хроники. С. 39–42.

¹⁵ Михаил Иванович (1870–1952) и Софья Михайловна (урожд. Кульчицкая, 1880–1962) Ростовцевы, давние друзья Иванова. Об их отношениях см.: Бонгард-Левин Г.М., Вахтель М., Зуев В.Ю. М.И. Ростовцев и Вяч. И. Иванов // Скифский роман / Под общ. ред. академика РАН Г.М. Бонгард-Левина. М., 1997. С. 248-258.

¹⁶ Ю.Н. Верховский (1878-1956), поэт и филолог, многолетний друг Иванова. Подробнее об их отношениях см.: Лавров А.В. Дружеские послания Вячеслава Иванова и Юрия Верховского // Вячеслав Иванов – Петербург – мировая культура: Материалы международной научной конференции 9–11 сентября 2002 г. Томск; М., 2003. С. 194–204. Упоминание о «фьезуланских нимфах» связано с тем, что Верховский перевел поэму Дж. Боккаччо «Фьезуланские нимфы»..

¹⁷ 15 июля С.М. Ростовцева писала В.К. Шварсалон во Флоренцию (видимо, откликаясь на неизвестные нам ее открытки, посланные из Греции): «Если Вы одна, то можно было бы устроить Вас в тех же комнатах, где живем и мы, на Капитолии, франка за два в день. Михаил Иванович все время занят в Институте или на руинах <...> Напишите, когда приедете, как только получите мое письмо на Poste restante. Если выедете сами немедленно, то найдете нас на Via del Campidoglio, 5, верхний этаж, можно проехать прямо с вокзала. Как-нибудь устроим, если у Вас нет иных планов и спутников» (Скифский роман. С. 253–254). 20 июля приглашение было повторено.

¹⁸ См. в «Автобиографическом письме» Иванова при описании первого путешествия в Италию: «Я посещал германский Археологический институт, участвовал вместе с его питомцами («ragazzi Caritolini») в обходах древностей, думал только о филологии и археологии и медленно перерабатывал заново, углублял и расширял свою диссертацию <...> Жизнь в Риме привела с собою немало новых знакомств с учеными (вспоминаю, какими они были в ту пору, профессоров Айналова, Крашенинникова, М.Н. Сперанского, М.И. Ростовцева, покойных Кирпичникова, Модестова, Редина, Крумбахеера, славного Дж. Б. де-Росси)...» (Иванов, II, 19). О круге людей, поименованных здесь, см. также в не раз уже

помянутой публикации в «Скифском романе», а также: История и поэзия. С. 341–342.

¹⁹ Иванов стал преподавателем Высших женских курсов Н.П. Раева в мае того же 1910 года, заместив скончавшегося в ноябре 1909 г. И.Ф. Анненского.

²⁰ Имеется в виду М.А. Кузмин, живший на «башне» с лета 1909 г.

²¹ Первое из известных нам достоверных известий о возвращении Иванова находим в дневнике М.А. Кузмина 1 ноября 1910 г. (Цит. соч. С. 244). Ср. также в письме Е.В. Аничкова к В.Я. Брюсову от 3 ноября <1910>: «Сегодня был у меня Вячеслав. Вернулся на этих днях из Италии, прочел с большим успехом свою первую лекцию на Высших Курсах Раева. Настроен миролюбиво и благодушно. Весь полон филологии, до того, что вот, вот прольется» (РГБ. Ф. 386. Карт. 74. Ед. хр. 38. Л. 11об).

²² РГБ. Ф. 109. Карт. 37. Ед. хр. 17. Л. 33об – 38об. Опубликовано: Кобринский Александр. Дуэльные истории Серебряного века: Поединки поэтов как факт литературной жизни. СПб., 2007. С. 339–340.

ПИСЬМО – ДНЕВНИК – УСТНАЯ НОВЕЛЛА – ПРОЗА

Впервые – Revue des études slaves. 2008. Т. 79, fasc. 3. Entre les genres: l'écriture de l'intime dans la littérature russe, XIX-XX siècles. P. 349–360.

¹ Следует отметить, что письма дневникового характера могут быть литературными, т.е. художественно (хотя и не всегда осознанно) построенными, или же представлять собой серию примитивных посланий, незатейливо описывающих происшествия протекшего дня.

² См.: Переписка.

³ Ее фрагменты печатались: Литературное наследство. Москва: Наука, 1982. Т. 92, кн. 3; Богомолов Н.А. Михаил Кузмин: статьи и материалы. М., 1995; Шишкин А.Б. История Башни Вяч. Иванова. Рим, 1996; Кружков Г. «Мы – двух теней скорбящая чета» // Новое литературное обозрение. 2000, № 43; Галанина Ю.Е. В.Э. Мейерхольд на Башне Вяч. Иванова // Башня Вячеслава Иванова и культура серебряного века. Санкт-Петербург, 2006; Хроники.

⁴ Опубликованы (со значительным неточностями) в комментариях к кн.: Иванов, П, 744–754, 771–807; III, 850–853. В настоящее время исправленный текст дневников приготовлен нами к изданию.

⁵ Логично предположить, что это делалось тогда, когда письма хранились отдельно, т.е. совместная жизнь будущих супругов еще не началась – скорее всего, в 1895 году.

⁶ РГБ. Ф. 109. Карт. 41. Ед. хр. 4. Л. 64–65. Приносим благодарность Ю.Р. Клочковой, обратившей наше внимание на этот документ. Фрагменты этого дневника опубликованы: Переписка. Т. 1. С. 93–113.

⁷ В Римском архиве Вячеслава Иванова сохранилось еще одно письмо к детям, уже как отдельный документ, также недописанное, но уже строго выдержанное в эпистолярной форме. Его текст см. ниже, с. 100–103.

⁸ РГБ. Ф. 109. Карт. 1. Ед. хр. Л. 3об. Ныне опубликовано: Переписка. Т. 1. С. 624–630.

⁹ Не исключено, что это связано с ориентированностью ее творчества прежде всего на прозу, тогда как Иванов осознает себя в первую очередь как поэта.

¹⁰ РГБ. Ф. 109. Карт. 41. Ед. хр. 4. Л. 86 и об. Ныне эти фрагменты дневника опубликованы: Переписка. Т. 1. С. 102–104.

¹¹ В семье Зиновьевых умирало много детей; мы достоверно знаем, в августе 1888 г. умерла сестра Зиновьевой-Аннибал Ольга (РГБ. Ф. 109. Карт. 21. Ед. хр. 29), а также – что весной 1885 года умер ее брат, но не знаем, как его звали, – Андреем или нет.

¹² Нам неизвестно, возможно ли отождествить его с первоначальным замыслом долго писавшегося романа «Пламенники», или речь идет о каком-то ином плане.

¹³ Переписка. Т. 1. С. 269.

¹⁴ Переписка. Т. 1. С. 248–240; РГБ. Ф. 109. Карт. 41. Ед. хр. 9. Л. 9–10.

¹⁵ Описание этого вечера см. также в воспоминаниях Н.И. Петровской: Жизнь и смерть Нины Петровской / Публ. Э. Гарэтто // Минувшее: Исторический альманах. [Paris]: Atheneum, [1989]. [Т.] 8. С. 52–53.

¹⁶ РГБ. Ф. 109. Карт. 23. Ед. хр. 12. Л. 13-21. Ныне включено в кн.: Хроники. С. 97–99.

¹⁷ Там же. Л. 33.

¹⁸ Т. е. Вяч. Иванов.

¹⁹ РГБ. Ф. 109. Карт. 41. Ед. хр. 7.

ИСТОРИЯ ОДНОГО НЕСОСТОЯВШЕГОСЯ БРАКА

Часть работы впервые – *Memento vivere*: Сборник памяти Ларисы Ивановой. СПб., 1910. Л.Н. Иванова – сотрудница Рукописного отдела Пушкинского Дома, в последние годы жизни занимавшаяся описанием Римского архива Вяч. Иванова и подготовившая несколько публикаций по его материалам.

¹ См., напр.: Баркер Екатерина. Творчество Лидии Зиновьевой-Аннибал. СПб., 2003; Михайлова М.В. Страсти по Лидии // Зиновьева-Аннибал Лидия. Тридцать три уroda. М., 1999.

² Письмо хранится в Римском архиве Вячеслава Иванова, для упорядочивания которого так много сделала Л. Иванова.

³ РГБ. Ф. 109. Карт. 41. Ед. хр. 4.

⁴ На этом текст практически заканчивается. Последняя сохранившаяся фраза неинформативна.

⁵ РГБ. Ф. 109. Карт. 25. Ед. хр. 29. Л. 47.

⁶ Типичный образец – оценка «Задача этики» в работах В.К. Кантора ([Предисловие] // *Кавелин К.Д.* Наш умственный строй: Статьи по философии русской истории и культуры. М., 1989. С. 8; «Личность... – есть необходимое условие всякого духовного развития народа» (Судьба идей К.Д. Кавелина в контексте общественно-литературных споров в России XIX века) // *Вопросы литературы.* 1990. Август. С. 64).

⁷ Кузмин М. Дневник 1934 года. СПб., 2007. С. 68.

⁸ Там же. С. 70.

⁹ Письмо хранится: РГБ. Ф. 109. Карт. 27. Ед. хр. 2. Сохранены некоторые особенности правописания автора.

¹⁰ РГБ. Ф. 109. Карт. 24. Ед. хр. 37. Л. 1–9. Написано карандашом. Нами сохранен разбой форм «Вы» и «вы». К письму приложена записка: «Благодарю Вас, Татьяна Ивановна, за сегодняшнее великодушное прощение – теперь моя жизнь будет легче. Мы невольно доставили друг другу много горя, но в прощении нуждалась одна я. Клянусь Вам в том, что я никогда более не стану на Вашей дороге. После этой клятвы, может быть, Вы согласитесь передать мужу, что я верю в него несмотря на все клеветы, и что, если мы когда-либо встретимся, он всегда может рассчитывать с моей стороны на искреннюю дружбу, а Вы, Татьяна Ивановна, с сегодняшнего дня на глубокое, искреннее уважение и благодарность. Лидия Зиновьева» (Там же. Л. 11). Судя по всему, это то самое письмо, которое упоминается выше в тексте.

¹¹ Пасха в тот год приходилась на 22 марта, стало быть, начало масленицы – на 26 января.

¹² Датируем по записям в дневнике, помеченным: «Петербург. Итальянская 1885. В мае после бессонной ночи проведенной у умирающего брата»; «Это написано весною 1885 года в Копорье неделю после смерти брата, месяц по возвращению из Крыма. Я была с мамой, с Блоками, с Ал<ександрой> Мат<еевной> Розановой» и совершенно одна, брошенная друзьями, презираема родными. Какая странная покорность!» (РГБ. Ф. 109. Карт. 41. Ед. хр. 4. Л. 20, 22об).

¹³ РГБ. Ф. 109. Карт. 22. Ед. хр. 14.

ИСТОРИЯ ОДНОГО РАЗВОДА

Впервые – *Звезда.* 2010. № 1. С. 180–199.

¹ См.: «Но на испытание мне никогда не суждено было предстать: ревностное изучение специальных исследований и толстых книг, в роде “Государственного Права” Моммзена, не обеспечивало меня от возможности промахов в ответе на какие-нибудь вопросы поряд-

ка элементарного, а мое самолюбие с этой возможностью не мирилось» (Иванов, II, 21).

² Прибавим к этому еще дневниковую запись о двадцатилетии, сделанную 6 октября 1885 (РГБ. Ф. 109. Карт. 41. Ед. хр. 4. Л. 27–29).

³ Из письма Иванова к первой жене, Д.М. Ивановой, от 12 июля 1894 (Вячеслав Иванов и Лидия Шварсалон: первые письма / Вст. ст. Н.А. Богомолова, подг. текста Д.О. Солодкой и Н.А. Богомолова, прим. Н.А. Богомолова, М. Вахтеля и Д.О. Солодкой // Новое литературное обозрение. 2008. № 88. С. 124; Переписка. Т. 1. С. 68).

⁴ То есть в 1882 или самое позднее в 1883 году.

⁵ См. его письма к ней: РГБ. Ф. 109. Карт. 38. Ед. хр. 45. У нас нет решительно никаких сведений о том, что он был губернатором кого-то из братьев, как утверждал со слов Ивановых М. Кузмин (Кузмин М. Дневник 1934 года / Изд. 2-е, доп. СПб., 2007. С. 66). После скандальной истории с фиктивным браком Лидии такого губернатора не могли бы держать дома и тем более выдать за него дочь.

⁶ РГБ. Ф. 109. Карт. 38. Ед. хр. 46. Л. 1об–2.

⁷ РГБ. Ф. 109. Карт. 38. Ед. хр. 46. Л. 9 и об. Софья Александровна – мать Л.Д. Отец Алексей Колоколов был в 1880-х-1890-х гг. весьма популярен среди петербургской интеллигентной публики. Отметим, что в словаре «Русские писатели 1800-1917» (Т. II. С. 342; статья О.Б. Кушлиной) замужество Лидии Зиновьевой отнесено (вероятно, на основании сведений Шор) к 1884 году; отсюда эта версия распространилась довольно широко, попав, к примеру, в комментарии к дневнику М.А. Кузмина 1934 года.

⁸ По сведениям, собранным «компетентными органами» о его старшем сыне, Шварсалоны были обрусевшими французами.

⁹ Добавим, что уже после свадьбы он недолгое время был вольнослушателем юридического факультета.

¹⁰ Там у него учился В.А. Каверин. См.: Каверин В.А. Освещенные окна. М., 2002. С. 80.

¹¹ Сведения основаны на данных сайтов www.schwarzaloon.narod.ru и <http://ksschwarzaloon.narod.ru>. Сведения из университетского дела Шварсалона (ЦГИА СПб ф.14, оп. 13, Ед. хр. 204) сообщены нам Ю.Е. Галаниной, которой приносим искреннюю благодарность.

¹² См.: Шварсалон К.С. Восточный вопрос в новом сочинении по истории папства // Журнал Министерства народного просвещения. ССLXXI. 1890. Сентябрь. С. 205-232. Он же. Итальянские исторические документы о России // Русская старина. 1894. Т. 81. № 1. С. 197-203.

¹³ Иванова Лидия. Воспоминания: Книга об отце. [Paris, 1990]. С. 16.

¹⁴ Письмо к Д.В. Зиновьеву от 10/22 марта 1893 // РГБ. Ф. 109. Карт. 38. Ед. хр. 47. Л. 14-15. Домашний адрес Шварсалонов в это время: Петербург, Тверская 4. И очень похоже на то, что именно там, совсем недалеко от центра города, они и держали свое немалое хозяйство.

¹⁵ Слова о «поприще эсерского революционерства» (видимо, на основании тех же пассажей из сочинения Шор) были произнесены С.С. Аверинцевым («Скворещниц вольных граждан...»: Вячеслав Иванов: Путь поэта между мирами. СПб., 2001. С. 42). О.Б. Кушлина на основании неизвестных нам данных пишет о том, что «ненадолго вернувшись <в 1893> в Петербург, З<иновьева>-А<ннибал> порывает с социал-демократами...» (Цит. соч.). Несколько осторожнее была Т.Л. Никольская: «...заинтересовалась социалистическими идеями и сблизилась с народниками» (Никольская Т.Л. Творческий путь Л.Д. Зиновьевой-Аннибал // Ученые записки Тартуского гос. университета. Тарту, 1988. Вып. 813. Блоковский сборник VIII. Ал. Блок и революция 1905 года. С. 123).

¹⁶ РГБ. Ф. 109. Карт. 48. Ед. хр. 8. Л. 1.

¹⁷ Там же. Л. 2об–3.

¹⁸ Там же. Л. 3 и об.

¹⁹ Иванова Лидия. Цит. соч. С. 14.

²⁰ РГБ. Ф. 109. Карт. 41. Ед. хр. 1. Л. 13.

²¹ См. недатированное письмо к Эмилиии (фамилия неизвестна) о формальных моментах, связанных с экзаменами: РГБ. Ф. 109. Карт. 24. Ед. хр. 38.

²² РГБ. Ф. 109. Карт. 41. Ед. хр. 1. Л. 11–12.

²³ Впервые в таком виде приведены в нашей вступительной статье к тому переписки Иванова и Зиновьевой-Аннибал (с. 44).

²⁴ Дата устанавливается на основании телеграммы его отца тестю (уже в те годы постоянно жившему под Женовой) от этого числа (РГБ. Ф. 109. Карт. 38. Ед. хр. 46).

²⁵ РГБ. Ф. 109. Карт. 39. Ед. хр. 1. Л. 55.

²⁶ Он есть не только в письмах К.С. Шварсалона к Д.В. Зиновьеву, но и, скажем, в письме С.И. Алымовой к Л.Д. Шварсалон (РГБ. Ф. 109. Карт. 11. Ед. хр. 25).

²⁷ Письмо С.А. Зиновьевой к Д.В. Зиновьеву от 4 июля 1892 г. (РГБ. Ф. 109. Карт. 21. Ед. хр. 29. Л. 42об).

²⁸ РГБ. Ф. 109. Карт. 38. Ед. хр. 46. Л. 28.

²⁹ Там же. Ед. хр. 47. Л. 13.

³⁰ РГБ. Ф. 109. Карт. 21. Ед. хр. 29. Л. 42.

³¹ См.: РГБ. Ф. 109. Карт. 44. Ед. хр. 40. Завещание – машинописная копия, второй документ – копия рукой М.М. Замятниной.

³² РГБ. Ф. 109. Карт. 21. Ед. хр. 29. Л. 56об. Письмо от 29 января 1894.

³³ РГБ. Ф. 109. Карт. 41. Ед. хр. 2. Л. 1об.

³⁴ РГБ. Ф. 109. Карт. 38. Ед. хр. 47. Л. 12–14.

³⁵ Иванов Вячеслав Иванович. По звездам. Борозды и межи. М., 2007. С. 725–726 (Комментарии В.В. Сапова). Независимо от этой публикации: Вячеслав Иванов и Лидия Шварсалон: первые письма / Вст. ст. Н.А. Богомолова, подг. текста Д.О. Солодковой и Н.А. Богомолова, прим. Н.А. Богомолова, М. Вахтеля и Д.О. Солодковой // Новое литературное обозрение. 2008. № 88. С. 124. Герман Германович Вульфийус (1865–1893), археолог. К сожалению, о его жене мы не обладаем какими бы то ни было сведениями.

³⁶ РГБ. Ф. 109. Карт. 24. Ед. хр. 2. Л. 2 об. Письмо от 6/18 июня.

³⁷ См. письмо В.Э. Гаген-Торна к ней (РГБ. Ф. 109. Карт. 15. Ед. хр. 41. Л. 1).

³⁸ В письме к отцу от 13 июня 1893 г. Л.Д. рассказывала: «За эти дни в городе все хлопотала с покупками и с разными хозяйственными заботами по дому. Была санитарная ревизия. Наш бедный дом стоял 100 лет так, как стоит теперь, и вдруг оказывается, что конюшня не в порядке и дворничка также. Приходится класть второй пол под конюшней и т.д. Хлопоты и расходы. Хорошо еще, что нам попался отличный дворник: тихий, скромный, но умелый и честный» (РГБ. Ф. 109. Карт. 24. Ед. хр. 2. Л. 5об–6).

³⁹ РГБ. Ф. 109. Карт. 38. Ед. хр. 47. Л. 21–22.

⁴⁰ РГБ. Ф. 109. Карт. 24. Ед. хр. 2. Л. 7 и об.

⁴¹ Сохранились копии двух писем к нему Л.Д., но они не касаются дел, а посвящены описанию ее переживаний.

⁴² РГБ. Ф. 109. Карт. 15. Ед. хр. 41. Л. 2об–3об. В первом порыве Л.Д. написала ему довольно решительное по тону письмо, где отвергала его предложения: «Письмо Ваше мне не понравилось. Оно совершенно не удовлетворило моего стремления к правде и даже показалось мне не вполне логичным. Ваша логика – именно какой-то дурман миролюбия и компромисса, который мне не по душе. Если вечно отделить теорию от практики и идеал от жизни, – человечество, наконец, потеряет способность распознавать добро и зло. Вы же, наоборот, представляетесь мне человеком столь строгим к себе, что эта мягкость по отношению к другим – мне непонятна. Простите, если обидела Вас, когда должна бы только благодарить, и обещаю еще раз впредь молчать до личного свидания. При свидании мне хотелось бы перевести наш спор на объект<ивную> почву, ибо всё субъективное для меня теперь ясно, а Ваши объективные убеждения меня интересуют. В П<етербург> думаю переехать в середине Сент<ября>, хотя для себя желала бы и раньше, но дети и огород удерживают. Что же касается “успокоения” в деревне, то это очень фиктивно, раз что в ближайшем будущем предстоит тяжелая борьба» (Там же. Карт. 22. Ед. хр. 26. Л. 1 и об. Копия с отосланного письма).

⁴³ РГБ. Ф. 109. Карт. 24. Ед. хр. 2. Л. 20–21об. Письмо от 26 сентября ст. ст.

⁴⁴ Александр Дмитриевич Зиновьев (1854–1931) впоследствии стал предводителем дворянства Петербургской губернии, а в начале XX века – Петербургским гражданским гу-

бернатором. О своих отношениях к нему Л.Д. писала отцу в том же 1893 г.: «Ты как умный человек вполне понимаешь, что раз я живу в известном круге, я должна сообразоваться с понятиями этого круга и в них же воспитывать своих детей. Мой круг не аристократия, а средний кружок педагогов, чиновников и людей, живущих своим трудом. Такими же людьми будут мои дети, таким человеком среднего круга есть и я сама <так!> и желаю им быть. Поэтому друзья мои все принадлежат этому кругу и между ними лучшие люди, на которых все, кто знает их, смотрят с уважением и с любовью, – эти лучшие люди все отнеслись ко мне дружески и отвернулись от моего мужа. Из всего этого, конечно, ты поймешь, что мне необходимо воспитывать детей в понятиях и принципах того общества, среди которого я живу. Вот почему я не сближаю детей своих с детьми Саши и сама не спрашиваю советов у тех, кто не жил в одном обществе со мною и мужем моим» (РГБ. Ф. 109. Карт. 24. Ед. хр. 2. Л. 12 и об).

⁴⁵ РГБ. Ф. 109. Карт. 21. Ед. хр. 4. Л. 2об – 3об. Письмо от 22/4 октября 1893.

⁴⁶ РГБ. Ф. 109. Карт. 38. Ед. хр. 47. Л. 24. Александр Андреевич Будберг (1853–1914; встречаются и другие даты рождения), барон, статс-секретарь, сенатор, Главноуправляющий Канцелярией прошений на высочайшее имя.

⁴⁷ Там же. Л. 26об – 27об.

⁴⁸ РГБ. Ф. 109. Карт. 24. Ед. хр. 2. Л. 11 и об. Письмо от 12/24 октября.

⁴⁹ Там же. Л. 22 об. Письмо от 2 января 1894 г.

⁵⁰ РГБ. Ф. 109. Карт. 22. Ед. хр. 26. Л. 2–5. Копия с отправленного письма.

⁵¹ РГБ. Ф. 109. Карт. 21. Ед. хр. 29. Л. 51об–53.

⁵² Там же. Л. 55об–56об.

⁵³ РГБ. Ф. 109. Карт. 24. Ед. хр. 2. Л. 33–35. О состоянии Л.Д. весной 1894 года см. также ее письмо к А.Д. Четверухиной от 19 марта (РГБ. Ф. 109. Карт. 24. Ед. хр. 35).

⁵⁴ См.: История и поэзия. М., 2006. С. 316. Ср. также с. 371.

⁵⁵ РГБ. Ф. 109. Карт. 15. Ед. хр. 41. Л. 23.

⁵⁶ Об истории отношения Гревса к этим обстоятельствам подробнее см.: История и поэзия. С. 370–382.

⁵⁷ ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 298. Ед. хр. 281.

⁵⁸ РГБ. Ф. 109. Карт. 24. Ед. хр. 2. Л. 26–27об.

⁵⁹ РГБ. Ф. 109. Карт. 15. Ед. хр. 41. Л. 27 и об.

⁶⁰ ИРЛИ. Ф. 607. Ед. хр. 336. Л. 3 и об. Текст обрывается на полуслове. А.В. Тулинов, как можно понять из разных упоминаний, ее сосед по имени, приятель Шварсалона, которого Л.Д. звала в свидетели со своей стороны.

⁶¹ Там же. Л. 1–2об. Мы не можем с уверенностью сказать, кому адресовано приведенное ниже письмо – возможно, к Головину (так обозначено и на архивной папке). Оно выразительно обрисовывает состояние Зиновьевой-Аннибал во время дела о разводе: «Благодарю Вас за Ваше письмо. Очень сожалею, что напрасно беспокою Вас своею просьбою за Яковлева. Благодарю Вас также за Ваши *благие* советы относительно моего семейного дела и прошу передать благодарность и Ивану Самойловичу за его участие в них <так!>. До сих пор я помнила слишком ясно, что человек, женившийся на девушке с состоянием для того, чтобы на ее средства содержать любовниц, вводить их в ее дом и заставлять ее принимать их как самую дорогую сестру, человек, кот<орый> на деньги жены, но на свое имя купил себе дом и имение и с грубыми угрозами выгонял из дому жену, не давая ей паспорта и отнимая грозясь отнять <последние 2 слова вписаны, но первое не зачеркнуто> ее права на детей, человек, распространявший слухи <о> помешательстве своей жены и в Канц<елярии> Прош<ений> называвший ее социалисткой, человек, писавший на жену и на друга И.М. Гревса фальшивый донос, и не считая еще массу подлостей и низостей, отказывающийся дать развод, когда жена просит себе свободы от уз брака порабощения <последнее слово вписано сверху>, отказывающийся, несмотря на формальное и торжественное письменное обещание, данное мне, своей жене, – да, до сих пор я думала, что подобный человек – подлец и негодяй. Теперь же, благодаря Вам и Ивану Самойловичу, постараюсь переделать свой взгляд на честь и долг и по приезде в Россию попрошу Вас не отказать быть посредниками между мною и моим зак<онным> мужем, с которым надеюсь

зажить новою и уже вполне солидарною с его природою жизнью. Желая всего хорошего.
Лидия Зиновьева.

Если мои дети, выросши, будут, по Вашему предсказанию, считать ложь правдою и подлость – честностью, то я покажу им так же энергично порог своего дома, как показала мужу. Не понимаю даже выражения Вашего: “зависеть от детей”. Я действую так, как нахожу нужным, ничего суда на признавая, и кто меня не одобряет, тот пеняй на себя!» (РГБ. Ф. 109. Карт. 22. Ед. хр. 27. Л. 3 и об).

⁶² Письмо к А.В. Гольштейн от 3/15 июля 1898 // Переписка Вяч. Иванова с А.В. Гольштейн / Публ., вст. ст. и комм. М. Вахтеля и О.А. Кузнецовой // *Studia Slavica Academiae scientiarum Hungaricae*. Budapest, 1996. Vol. 41. С. 343.

⁶³ РГБ. Ф. 109. Карт. 15. Ед. хр. 41. Л. 33–34. Письмо от 5 сентября 1896.

⁶⁴ ИРЛИ. Ф. 607. Ед. хр. 337. Л. 1об–2об. Письмо от 7/19 октября 1897 г.

⁶⁵ РГБ. Ф. 109. Карт. 24. Ед. хр. 3. Л. 15–16об. Письмо от 26/14 октября

⁶⁶ Там же. Л. 22–23об. Частично и с неточностями было опубликовано: Кружков Григорий. *Ностальгияobelisks: Литературные мечтания*. [М., 2001]. С. 236.

⁶⁷ РГБ. Ф. 109. Карт. 35. Ед. хр. 3. Л. 65об.

⁶⁸ РГБ. Ф. 109. Карт. 38. Ед. хр. 49. Уговаривала детей встретиться с отцом и его вторая жена Мария Дмитриевна. Так, 20 апреля 1908 г. она писала С.К. Шварсалону: «В нашей дружной хорошей жизни с ним вопрос о вас – о детях – был с первого момента нашего сближения жгучим вопросом. Когда я выходила замуж за К.С., я знала о привязанности его к Вам, я знала даже то, что если бы кто-нибудь из вас позвал его тогда, он, при всей любви ко мне, бросил бы меня. Он говорил мне, что всего дороже на свете для него его дети. <...> Константин Семенович долго не позволял мне говорить об этом, касаться этого для него тяжелого, большого вопроса. Когда заходила речь о его семье, он, видимо, так страдал, что я решила быть как можно осторожнее и тактичнее с ним по этому вопросу: я убедилась, что имя Лидии Дмитриевны было для него свято как имя матери его детей. Единственным для него утешением было – дожидаться того времени, когда вырастут и созреют дети для того, чтобы сказать им, как он их любил и как никогда он не переставал их любить. <...> Я вся прониклась чувством сострадания и глубокого уважения к нему – чувством сострадания как к несчастному отцу, который годами и годами терзается и мучается, не видя своих детей, и чувством уважения к нему как к человеку, который делает это только ради душевного равновесия своих детей. Я живу в замужестве с К.С. 8 лет. Никто больше, как я, не скажет вам о нем, т.к. никто с ним вместе не пережил и не выстрадал того, что выстрадала я за все те ужасные бедствия, которые выпали по воле судьбы на его несчастную долю. Ваш отец заслуживает не только уважение, но истинное поклонение за его, я бы сказала, нечеловеческий подвиг» (РГБ. Ф. 109. Карт. 38. Ед. хр. 50). Ср. также ее письмо к М.М. Замятинной от 5 октября 1909 (РГБ. Ф. 109. Карт. 38. Ед. хр. 51), на которое очень холодно ответил Иванов (РГБ. Ф. 109. Карт. 10. Ед. хр. 42).

СКРЕЩЕНИЯ

СКРЕЩЕНИЯ

Публикуется впервые. Используются фрагменты из статей: «Никто этих стихов не понимает» // Новое литературное обозрение. 2005. № 73. С. 212–215 (с посвящением М.Л. Гаспарову к его 70-летию); Из заметок о текстах Ходасевича // Озерная школа: Труды пятой Международной летней школы на Карельском перешейке по русской литературе. Поселок Поляны (Уусикирко) Ленинградской области, 2009. С. 51–58. Ряд соображений по поводу этих статей был высказан в частных письмах к нам И. и О. Роненами, что повлияло на написание данного варианта.

¹ Бочаров С.Г. «Памятник» Ходасевича // Ходасевич. Т. 1. С. 34.

² В первую очередь мы имеем в виду публикации сохранившихся фрагментов их переписки, часто снабженные подробным комментарием: Четыре письма В.И. Иванова к В.Ф. Ходасевичу // Новый журнал. 1960. Кн. 60. С. 284–289; Из переписки

В.Ф. Ходасевича (1925–1938) / Публ. Дж. Мальмстада // Минувшее: Исторический альманах. [Paris]: Atheneum, [1987]. [Т.] 3. С. 264–268; Шишкин Андрей. «Россия раскололась пополам»: неизвестное письмо Вл. Ходасевича // *Russica Romana*. Roma, 2002. Vol IX. С. 107–114.

³ Впоследствии Ходасевич печатно практически не отзывался о творчестве Иванова. Последняя оценка его творчества относится к 1936 году (Возрождение. 1936, 25 декабря, № 4058).

⁴ См.: «С В. И. Ивановым Ходасевич познакомился зимой 1914 г., когда Иванов переехал в Москву. 23 февраля 1914 г. Ходасевич писал Б.А. Садовскому: "На прошлой эстетике за ужином Вяч. Иванов произносил речи, в коих возводил меня на высоты головокружительные. Скучно, но лестно. Вообще, кажется, моя книга (*С<частливый> Д<омик>*). – *Коммент.*) имеет "успех"...", а в письме от 9 ноября 1914 г. Вячеслав Иванов поставлен им в центре московской литературной жизни: "Сплетен московских нет, ибо Вячеслав Иванов тих, как луна, а больше в Москве, кроме его и (простите, Бога ради) меня, порядочных писателей сейчас нет" (*Письма Садовскому*. С. 23, 26). Не будучи в сколько-нибудь близких отношениях с В. И. Ивановым, Ходасевич встречался с ним у М. О. Гершензона, некоторое время (1920 г.) они жили в "здравнице для переутомленных работников умственного труда"» ([Комментарий И.П. Андреевой] // Ходасевич. Т. 4. С. 682). Заметим, что Ходасевич несомненно бывал на лекциях Иванова и ранее: воспоминание о скандале с участием Андрея Белого (Ходасевич. Т. 4. С. 52) относится именно к происшествию на лекции Иванова 27 января 1909. Подробнее см.: Богомолов Н.А. Русская литература начала XX века и оккультизм. М., 1999. С. 239–254.

⁵ Из не упоминаемых далее данных об этой приятной отметим участие Иванова в благотворительном вечере в пользу Ходасевича (см.: Переписка Андрея Белого и М.О. Гершензона / Вст. ст., публ. и комм. А.В. Лаврова и Джона Мальмстада // *In memoriam*: Исторический сборник памяти А.И. Добкина. СПб.; Париж, 2000. С. 260–261) и его поддержку стихов младшего поэта на вечере «Встреча поэтов двух поколений» (см. об этом ниже, в разделе «Из истории одного культурного урочища русского Парижа»). Некоторые соображения по этому поводу см. также: Обатнин Г.В. Смерть Вячеслава Иванова в оценке русской зарубежной прессы // Вячеслав Иванов: Исследования и материалы. СПб., 2010. Вып. 1. С. 701.

⁶ «Пушкин-обезьяна» // Логос. 2000. № 2 (23). Вошло также в их книгу «Миры и столкновение Осипа Мандельштама» (М.; СПб., 2000. С. 219–246).

⁷ Две обезьяны, бочка злата... // Звезда. 2001. № 10.

⁸ Зельченко Вс. Ходасевич-14, или "Мнилось: хор" // <http://zelchenko.livejournal.com/32176.html?view=279728#t279728>. Запись сделана 28 марта 2008.

⁹ Омри Ронен. Межтекстовые связи, подтекст и комментирование // Русская филология. 13. Тарту, 2002. С. 27–29 (прим. И. и О. Роненов).

¹⁰ Ронен И., Ронен О. «Память» и «воспоминание» у Вячеслава Иванова и Владислава Ходасевича // Вячеслав Иванов: Исследования и материалы. СПб., 2010. Вып. 1. С. 139–140. Первоначально, под загл. «Палимпсест» и с небольшим предисловием опубликовано: Звезда. 2008. № 11. О «программности» стихотворения Иванова специально см.: Janesek G. Viacheslav Ivanov's «Alpine Horn» as a Manifesto of Russian Symbolism // *The Slavonic and East European Review*. 2001. Vol. 45. № 1. P. 30–44.

¹¹ Проблему «Ходасевич и символизм», о которой пойдет речь далее, не мог обойти ни один из авторов монографического анализа его творчества. Из специальных работ последнего времени отметим: Malmstad John E. Khodasevich on Symbolism // *A Century's Perspective: Essays on Russian Literature in Honor of Olga Raevsky Hughes and Robert Hughes*. Stanford, 2006. P. 160–171; Вайсбанд Эдуард. «Мы» Ходасевича между «декадентами» и «младшими акмеистами» // *Russian Literature and the West: A Tribute for David M. Bethea*. Stanford, 2008. Pt. II. P. 96–128; Ронен Ирена. Ходасевич и символизм // *Пути искусства: Символизм и европейская культура XX века. Материалы конференции*. Иерусалим, 2003. М., 2008. – С. 296–307.

¹² Ср. повторение слова «сфер» в ином значении в финале статьи.

¹³ Исправляем по прижизненным публикациям (Труды и дни. 1912. № 1. С. 5; Иванов Вячеслав. Борозды и межи: Опыт эстетические и критические. М., 1916. С. 151) опечатку данного издания, где читается: «...созвучных хор сфер...».

¹⁴ См.: Богомолов Н.А. Русская литература первой трети XX века: Портреты, проблемы, разыскания. Томск, 1999. С. 112-113.

¹⁵ А оба они означены как явленный миф в статье «Две стихии в современном символизме»: «Тоска ночного ветра <...> голоса разыгравшихся при луне валов...», и далее – «в ночи бестелесный мир, роящийся слышно, но незримо» (II, 557).

¹⁶ Иной анализ «цикла» белых стихов Ходасевича предлагает М. Вахтель. См.: Wachtel Michael. The Development of Russian Verse: Meter and its Meanings. Cambridge University Press, [1998]. – P. 94-103.

¹⁷ В помете на экземпляре «Собрания стихов» читаем об этом стихотворении: «Со мной это случилось в конце <19>17, днем или утром, в кабинете» (Ходасевич. Т. 1. С. 508).

¹⁸ Из письма к Г.И. Чулкову от 16 апреля 1914 (Ходасевич. Т. 4. С. 389).

¹⁹ Это почувствовал, хотя и с другой, чем у нас, точки зрения, А. Макушинский (см.: Макушинский Алексей. «Титаник» и океан // Зарубежные записки. 2008, № 13). Мы пользовались цифровой версией: <http://magazines.russ.ru/zz/2008/13/ma12.html>.

²⁰ Хотя, на наш теперешний взгляд, снижение пышной исторической картины вовсе не картинной позой царя, пьющего из «дорожной лужи», должно было снять ореол «культуры» с этого сравнения. О живописном подтексте соединения Дария и обезьяны, картине П. Веронезе «Семья Дария перед Александром». См.: Hughes Robert P. Khodasevich in Venice // For SK: In Celebration of the Life and Career of Simon Karlinsky. [Oakland], 1994. P. 155-160.

²¹ Не можем не отметить, что «Была жара» – третья строка стихотворения Маяковского «Необычайное приключение...», с его откровенно дачным колоритом (в заглавии и первой строфе слово «дача» в разных падежах повторено трижды) и точной топографической привязкой (Томилино у Ходасевича, Пушкино у Маяковского). Стихотворение Ходасевича Маяковский мог читать и в журнале «Рабочий мир», и в отдельном издании книги.

²² См.: «У Бунина был хорват с обезьяной. Но у Бунина в 1907 году хорват был просто хорват, у Ходасевича серб, конечно, не просто серб, но серб, увиденный в день объявления Первой мировой войны и сквозь призму ее <...> отсылает, разумеется, к ее непосредственному поводу; Сараево, соответственно, начинает просвечивать сквозь дачную идиллическую кулису, Гаврила Принцип снова стреляет в несчастного эрцгерцога, несчастную эрцгерцогиню. <...> серб, “постукивая в бубен”, уходит; еще, в последний раз, возникает образ экзотической древности (“как на слоне индийский магараджа...”), но возникает уже и какая-то апокалипсическая образность, солнце Апокалипсиса уже висит над миром (“огромное малиновое солнце, / лишенное лучей, / в опаловом дыму висело”; как далеко ушли мы от начала нашего текста, от “просто” жары, от петуха на соседней даче...); образность, *разрешающаяся* последней, отделенной пробелом строкой» (Макушинский А. Цит. соч.).

²³ На существование пометы обратил внимание Ф. Гёблер (Göbler Frank. Vladislav F. Chodasevič: Dualität und Distanz als Grundzüge seiner Lyrik. Mn., 1988. S. 216), однако толкования стихотворения мы в книге не находим.

²⁴ Bethae David M. Khodasevich: His Life and Art. Princeton, [1983]. P. 232.

²⁵ Demadre Emmanuel. La quête mystique de Vladislav Xodasevič: Essai d'interprétation de l'oeuvre poétique du dernier symboliste russe. Villeneuve, 2000. P. 371–372.

²⁶ Краткий, но весьма содержательный обзор основных тем, возникающих в связи с данной проблематикой, см.: Безродный Михаил. К истории русской рецепции антиномии аполлинисх/dionysisch // Исследования по истории русской мысли: Ежегодник за 2000 год. М., 2000. С. 224–234.

²⁷ Здесь естественно вспомнить афористическую формулу Ходасевича из стихотворения «Петербург»: «Привил-таки классическую розу / К советскому дичку» (Ходасевич. Т. 1. С. 248).

²⁸ См., напр.: «...внутри нас должна совершиться какая-то глубокая перемена, преображе-

ние все душевного склада <...> перерождение, подобное состоянию, означаемому в евангельском подлиннике словом “метанойя”, оно же – условие прозрения “царства небес” на земле» (Иванов, I, 721).

²⁹ Вероятно, нет нужды специально оговаривать, что в статьях Иванов также требовал от дионисического мирозерцания подлинного трагизма. Но для Ходасевича идеи и их реальное воплощение выглядели далеко не равными.

³⁰ См. его письмо к Ходасевичу от 12 января 1925 г. (Новый журнал. 1960. Кн. 62. С. 286–287).

II. ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ

ЗАГЛАВИЯ В ЛИРИКЕ: ОПЫТ ХОДАСЕВИЧА

Впервые – Художественный текст как динамическая система: Материалы международной научной конференции, посвященной 80-летию В.П. Григорьева. М., 2006. С. 356–362. Печатается со значительными дополнениями.

¹ См.: Веселова Н.А., Орлицкий Б.Б., Скороходов М.В. Поэтика заглавий: Материалы к библиографии // Литературный текст: Проблемы и методы исследования (III). Тверь, 1997; Кожина (Фатеева) Н.А. Заглавие художественного произведения: структура, функции, типология / Автореферат... кандидата филологических наук. М., 1986.

² Фатеева Н.А. О лингвопоэтическом и семиотическом статусе заглавий стихотворных произведений (на материале русской поэзии XX в.) // Поэтика и стилистика 1988–1990. М., 1991. С. 109.

³ Отметим, что подсчеты в данном случае затруднены не слишком понятной жанровой природой многих произведений Бальмонта: «Гимн огню» или «Восхваление Луны» в «Будем как Солнце» могут восприниматься и как циклы, в которых отдельные стихотворения оставлены без заглавий, и как целостные произведения, лишь в специальных целях расчлененные на пронумерованные фрагменты (случай, во многом аналогичный значительно более поздней «Форели...» М. Кузмина).

⁴ Добавим для заинтересованных, что в двух «Собраниях стихов» (1903 и 1910) З. Гиппиус названы практически все стихотворения, в «Символах» Мережковского нет названий всего у двух, а в «Новых стихотворениях» – ни одного случая. В «Тихих песнях» Анненского – 3 стихотворения не озаглавлены, а в «Кипарисовом ларце» нет ни одного такого. Все стихи озаглавлены в «Кормчих звездах» и «Прозрачности» Вяч. Иванова, да и в «Cor ardens» неозаглавленные встречаются только внутри циклов.

⁵ См.: Киссин Самуил (Муни). Легкое бремя. М., 1999. Для чистоты эксперимента мы не учитывали раздела ранних стихов и фрагментов, которые не озаглавлены практически все.

⁶ Напомним, что оно было написано как ответ Ходасевича на вызов, брошенный ему проведением конкурса стихов на тему пушкинских строк: «А Эдмонда не покинет Дженни даже в небесах», т.е. имя было predetermined заданием. Впрочем, модель была вполне востребована символистами («Голос мертвого» у Брюсова, «Голос Дьявола» у Бальмонта или знаменитый «Голос из хора» Блока). Оставляем в стороне гипотетическую возможность пересечения двух стихотворений: раннего «Голоса Дженни» и позднего «Джона Боттома», где не только заглавия переключаются именами, но и сами темы стихотворений являются вариациями одного сюжета.

⁷ Ср. знаменитое пушкинское «К ***» («Я помню чудное мгновенье...») и мн. др.

⁸ Для своего анализа мы просмотрели собрания стихотворений Брюсова (по алфавитному указателю 7-томного собрания сочинений), Блока (по алфавитному указателю новейшего академического издания), З. Гиппиус, Мережковского, Анненского (по алфавитным указателям сборников «Библиотеки поэта» и «Новой библиотеки поэта»), Ф. Сологуба (по кн.: Библиография Федора Сологуба: Стихотворения / Сост. Т.В. Мисникевич; под ред. М.М. Павловой. Томск; М., 2004), Бальмонта, Андрея Белого и Вяч. Иванова – по прижизненным изданиям (от «Под северным небом» до «Только любовь» Бальмонта, «Золото в лазури», «Пепел» и «Урна» – Белого, «Кормчие звезды» и «Прозрачность» Иванова). Помимо

того, мы пользовались двумя вышедшими томами «Словаря языка русской поэзии XX века». Наблюдения над заглавиями других поэтов носят характер чрезвычайно выборочный.

⁹ См.: Богомолов Н.А. Русская литература первой трети XX века. Томск, 1999. С. 106–107.

¹⁰ См.: Лавров А.В. «Сантиментальные стихи» Владислава Ходасевича и Андрея Белого // Новые безделки: Сборник статей к 60-летию В.Э. Вацура. М., 1995–1996. С. 459–469.

¹¹ См.: Белый А. Стихотворения / Hrsg., eingeleitet und kommentiert v. John E. Malmstad. [München], 1982. [Т.] III. С. 215; Белый Андрей. Стихотворения и поэмы / Вст. ст., сост., подг. текста, и примеч. А.В. Лаврова и Джона Мальмстада. СПб.; М., 2006. Т. 1. 592–593.

¹² В точности Ходасевич повторит его в названии одного из неизданных при жизни стихотворений.

¹³ Белый А. Стихотворения. [Т.] III. С. 185, 233; Белый Андрей. Стихотворения и поэмы. С. 580, 600.

¹⁴ См.: Брюсов Валерий. Среди стихов. М., 1990. С. 264.

¹⁵ Ходасевич вспоминал, как благодарен был ему автор за исправление грамматической ошибки в названии, предполагавшемся в виде «Navis niger» (Ходасевич В. Неудачники // Возрождение. 1935. 10 января, № 3508; перепеч.: Ходасевич Владислав. Колеблемый треножник. М., 1991. С. 443).

¹⁶ Безусловно, система номинации в этой книге нуждается в соотношении с заглавиями пушкинской эпохи – но это уже совсем иная задача, которую мы перед собой в данной работе не ставим.

¹⁷ Ср. также стихотворение Блока, написанное в 1901 г., однако опубликованное уже после выхода в свет «Счастливого домика» – в 1916 г.

¹⁸ Напомним также, что в близком соседстве с этим стихотворением Соловьева находится и еще одно, начинающееся: «Милый друг, не верю я нисколько...»

¹⁹ См. в воспоминаниях А.И. Ходасевич (Ново-Басманная, 19. М., 1990. С. 397).

²⁰ Богомолов Н.А. Цит. соч. С. 94–95.

²¹ Хотя название стихов именами месяцев едва ли не более всего характерно для Анненского – в «Тихих песнях» есть следующие друг за другом «Май», «Июль», «Август», «Сентябрь», «Ноябрь», еще один «Август» – в «Кипарисовом ларце». Ср. также близкие друг к другу «Август» и «Сентябрь» в «Нежной тайне» Вяч. Иванова.

²² Подробнее см.: Богомолов Н.А. Цит. соч. С. 367.

²³ Богомолов Н.А. От Пушкина до Кибирова: Статьи о русской литературе, преимущественно о поэзии. М., 2004. С. 119–127.

²⁴ Словарь языка русской поэзии. М., 2003. Т. II. С. 526–531 (до 1920 г. включительно). Единственное более или менее релевантное название – «Белый дом» Ахматовой.

²⁵ Два известных стихотворения (1907 и 1908), а также не опубликованное при жизни юношеское (1892) стихотворение с таким названием есть у М. Волошина.

²⁶ Видимо, слова «газета», «газетчик» и сходные актуализировались в годы войны. Ср., напр., название стихотворения М. Волошина «Газеты» (1915). У самого Ходасевича газетчик возникает в незавершенном стихотворении «Призраки» (март 1918).

²⁷ См.: Мальмстад Джон. По поводу одного «не-некролога»: Ходасевич о Маяковском // Седьмые Гыняновские чтения: Материалы для обсуждения. Рига; М., 1995–1996. С. 189–199. Ср. также далее нашу работу «Из истории одного культурного урочища русского Парижа».

²⁸ «Собрание стихов» вышло в самом конце года, а в сентябре в газете «Возрождение» появилась невероятно резкая статья Ходасевича «Декольтированная лошадь», посвященная абсолютному развенчанию Маяковского.

²⁹ См.: Мальмстад Джон Е. Единство противоположностей: История взаимоотношений Ходасевича и Пастернака // Литературное обозрение. 1990. № 2. С. 51–59; Ел. П[астернак]. Постскрипtum // Там же. С. 59; Богомолов Н.А. Выбор путей // Там же. С. 60–64; Miller Jane Ann. Pasternak and Khodasevich // Норвичские симпозиумы по русской литературе и культуре: Борис Пастернак 1890–1990. Норфилд, Вермонт, 1991. Т. I. С. 147–156. См. также ниже нашу работу «Ходасевич и Пастернак: ранние пересечения». Там же указано

несколько дополнительных работ для библиографии.

³⁰ Существует также цикл стихов Сологуба под этим же заглавием, но он был опубликован лишь в 1993; у Бальмонта есть стихотворение «Из записной книжки».

³¹ Первоисточником здесь, конечно, является одноименное стихотворение Фета. Подробнее см.: Богомолов Н.А. От Пушкина до Кибирова. С. 179–184.

³² Добавим к этому перечню также «В сумерки» Мережковского.

³³ Плюс еще «В марте» из «Кипарисового ларца» Анненского.

³⁴ Нам вообще представляется, что это стихотворение является внутренней полемикой с ивановским дионисизмом, а заглавие переименовано для того, чтобы избежать слишком прямого намека. См. в нашей книге работу «Скрещения».

³⁵ См. подробнее: Чуковский Николай. О том, что видел. М., 2005. С. 109–111. Отметим, впрочем, что имя это для Ходасевича освящено традицией молодого Пушкина, Баратынского и Фета.

³⁶ См.: «Один критик сказал мне недавно: “<...> Блок уже не современен; Блок ездит еще по железной дороге; у Ходасевича автомобили и те крылатые <...>”. Да, это правда. Ходасевич весь принадлежит сегодняшнему дню. Блок – вчерашнему» (Гиппиус Зинаида. Чего не было и что было: Неизвестная проза 1926–1930 годов. СПб., 2002. С. 335; с исправлением по первой публикации: Возрождение. 1927. 15 декабря, № 926).

³⁷ Отметим еще «Слепец» в «Будем как солнце» Бальмонта.

³⁸ Дважды заглавие «Сорренто» встречается у Мережковского.

³⁹ К случаю скажем о никем, кажется, не отмечавшемся внутреннем сходстве «Джона Боттома» и «Голоса Дженни»: и там, и там речь идет о безвременной смерти и об отношениях оставшегося на земле и находящегося «в небесах». В раннем, почти идиллическом стихотворении эта связь естественна и даже не подвергается сомнению, во втором же – принципиально невозможна. И в этом контексте значимо соответствие имен Джон и Дженни (равно как и то, что жену Джона Боттома зовут Мэри: именно Мэри у Пушкина поет песню про Дженни).

⁴⁰ Прибавим сюда также книгу Маяковского.

⁴¹ «Словарь языка русской поэзии XX века» фиксирует его употребления у Цветаевой и Есенина (по одному разу) и трижды у Маяковского.

ХОДАСЕВИЧ, БОБРОВ, ГЕРШЕНЗОН

Впервые – Стих, язык, поэзия: Памяти Михаила Леоновича Гаспарова. М.: Изд. РГГУ, 2006. – С. 150–153 (под заглавием «История одного обвинения»).

¹ Гаспаров М.Л. Воспоминания о С.П. Боброве // Блоковский сборник. Тарту, 1993. [Вып.] XII. С. 179–195; Гаспаров М.Л. Воспоминания о Сергее Боброве // Неизвестная книга Сергея Боброва из собрания библиотеки Стэнфордского университета / Под ред. М.Л. Гаспарова. [Oakland, 1993]. С. 85 (Stanford Slavic Studies. Vol. 6); Гаспаров М.Л. Записи и выписки. М., 2000. С. 390.

² Иванов Георгий. Собр. соч.: В 3 т. М., 1994. Т. 3. С. 168–169.

³ Из литературы последних полутора десятилетий о Боброве назовем, помимо воспоминаний М.Л. Гаспарова, следующие: Борис Пастернак и Сергей Бобров: письма четырех десятилетий / Публ. М.А. Рашковской. Stanford, 1996 (Stanford Slavic Studies. Vol. 10); Письма С.П. Боброва к Андрею Белому 1909–1912 / Вст. ст., публ. и комм. К.Ю. Постоутенко // Лица: Биографический альманах. М.; СПб., 1992. [Вып.] 1. С. 113–169; Постоутенко К. Об одном псевдониме С.П. Боброва (Мар Иолэн) // Themes and Variations: In Honor of Lazar Fleishman. Stanford, 1994. С. 276–282; Безродный Михаил. Между двух антологий: Поэтическая карьера Сергея Боброва // Studia Russica Helsingensia et Tartuensia. V. Модернизм и постмодернизм в русской литературе и культуре. Helsinki, 1996 / Slavica Helsingensia 16. С. 189–202.

⁴ Ходасевич. Т. 4. С. 665 (приведено в комментарии И.П. Андреевой).

⁵ РГАЛИ. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 124. См. также ниже в нашей книге, с. 215.

⁶ См.: Янгиров Рашит. «Пример тавтологии»: Заметки о войне Владимира Набокова с

Георгием Ивановым // Диаспора. Париж; СПб., 2005. [Вып.] VII. С. 595–602.

⁷ Отметим ранее не отмеченную комментаторами (и нами в том числе) внутреннюю цитату из Пушкина: «Чему, чему свидетели мы были?».

⁸ РГБ. Ф. 746. Карг. 26. Ед. хр. 2. Не обозначенный год – явно 1915, когда вышла брошюра Боброва «Новое о стихосложении Пушкина».

⁹ См.: Ходасевич Владислав. Стихотворения. Л., 1989. С. 272. «Поминки поэту» Сухотина Бобров рецензировал в сводном отзыве, не преминув намекнуть на слабость поэта к выпивке: «горький подражатель», конечно, трансформирует устойчивое «горький пьяница» (Печать и революция. 1923. № 1. С. 217–218).

¹⁰ Стихотворение «Кишмиш» см.: Ходасевич Владислав. Стихотворения. С. 258. В комментарии к нему – сведения об отношениях двух поэтов (см. также: Русская литература XX века в зеркале пародии: Антология / Сост. О.Б. Кушлиной. М., 1993. С. 28). Рецензию Боброва на «Туркестанские стихи» см.: Печать и революция. 1922. № 2 (подп. Э.П. Бик). В том же номере и почти теми же словами о «Туркестанских стихах» и «Золотой ладони» Липскерова писал и Брюсов

¹¹ Флейшман Лазарь. Борис Пастернак в двадцатые годы. СПб., 2003. С. 300.

¹² См.: Флейшман Л. Первый год «Центрифуги» (I) // Материалы XXVII научной студенческой конференции / Тартуский гос. университет. Тарту, 1972. С. 71–73.

¹³ ИМЛИ. Ф. 429. Оп. 1. Ед. хр. 13. Ср. также упомянутую выше статью К.Ю. Постоутенко.

ХОДАСЕВИЧ И ПАСТЕРНАК: РАНИЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ

Впервые – The Real Life of Pierre Delalande: Studies in Russian and Comparative Literature. to Honor Alexander Dolinin / Ed. by David M. Bethea, Lazar Fleishman, Alexander Ospovat. Stanford, 2007. Part 1. – P. 237-247 / Stanford Slavic Studies. Vol. 33.

¹ В первую очередь см. три материала, помещенные в пастернаковском номере журнала «Литературное обозрение»: Мальстад Джон Е. Единство противоположностей: история взаимоотношений Ходасевича и Пастернака; Ел. П[астернак]. Постскрипtum; Богомолов Н. Выбор путей (Литературное обозрение. 1990. № 2. С. 51–64; первая статья впервые: Malmstad John E. Binary Oppositions: The Case of Khodasevich and Pasternak // Boris Pasternak and His Times: Selected Papers from the Second International Symposium on Pasternak / Ed. by L. Fleishman. [Oakland], 1989. – P. 91–120; наша статья перепечатана: Богомолов Н.А. Русская литература первой трети XX века. Томск, 1999. С. 392–405; см. также реферат: Равина Г. Б. Пастернак и В. Ходасевич: Сходство и отличие // Реферативный журнал. Серия 7. Общественные науки в СССР. Литературоведение. 1990. № 6. С. 106–117). В этих статьях учтена предшествующая литература. Более поздние статьи, прямо относящиеся к этой теме, – Miller Jane Ann. Pasternak and Khodasevich // Норвичские симпозиумы по русской литературе и культуре: Борис Пастернак 1890–1990 / Под ред. Льва Лосева. Норфилд, Вермонт, 1991. Т. I. С. 147–156; Шатин Ю.В. Мотив квартиры в русской балладе новейшего периода (Ходасевич, Пастернак, Мандельштам) // Интерпретация текста: Сюжет и мотив. Материалы к словарю сюжетов и мотивов русской литературы. Новосибирск, 2000. Вып. 4. С. 189–197; Дюсембаева Г. Пастернак и Ходасевич: о возможной переключке // «В рассеянии сущие...»: Культурологические чтения «Русская эмиграция XX века» (Москва, 15–16 февраля 2005). М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2006. С. 142–146.

² Пастернак Борис. Полн. собр. соч.: В 11 т. М., 2005. Т. VIII. С. 361 (далее тексты Пастернака цитируются по этому изданию).

³ См.: Мысль. 1918. 28 января; Дальневосточное обозрение. 1919. 29 июня; Ходасевич. Т. 1. С. 507–508 (примечание к стихотворению «Эпизод»); Пастернак Борис. Цит. соч. Т. III. С. 228–229; Эренбург Илья. Люди, годы, жизнь: Воспоминания: В 3 т. М., 1991. Т. 1. С. 263; Антокольский П. Две встречи // В. Маяковский в воспоминаниях современников. [М.], 1963. С. 148–150. Сведения об этом вечере (под определенным биографией В. Маяковского углом зрения) собраны: Катанян В. Маяковский: Хроника жизни и деятельности

/ Изд. 5-е, доп. М., 1985. С. 138–139.

⁴ Обратим внимание на совершенную необычность этой перепечатки (Возрождение. 1927. 19 мая, № 716; 14 июля [№ 772] стихотворение «Дом» опубликовано уже без этого заглавия): в нее вошли стихи, уже давно опубликованные не только в периодике, но и в двух изданиях книги «Путем зерна». Это свидетельствует о том, что Ходасевич придавал особое значение перепечатанным стихотворениям – «Эпизод», «Полдень», «Встреча», «Обезьяна», «Дом».

⁵ Отметим существенные анализы М. Вахтеля на фоне других стихотворений подобного же типа (см.: Wachtel Michael. The Development of Russian Verse: Meter and Meanings. [Cambridge, 1998]. P. 94–103).

⁶ Впрочем, его можно трактовать, если считать, что ударение падает на последний слог, что в общем допустимо, как шестистопный ямб без цезуры.

⁷ Характерно, что в дилетантских белых стихах пятистопник и шестистопник выступают как метрически равнозначные (вспомним хотя бы стихи Васисуалия Лоханкина из «Золотого теленка»).

⁸ Цит. по: Блок Александр. Полн. собр. соч.: В 20 т. М., 1997. Т. 2. Одной косой чертой обозначаем начало нового стиха, двумя – графическую разбивку стиха на две части.

⁹ Цит. по: Ходасевич. Т. 1. С. 159–161.

¹⁰ У первого на 123 стиха (не строки!) приходится 15 стихов такого рода, т.е. приблизительно 12,2%, а у второго на 76 – 17 стихов, то есть практически 22,4%.

¹¹ Единственное существенное различие – в «Белых стихах» первый стих лишен «цезуры на второй стопе», обретая ее во втором, а в «Теме» – наоборот: первый стих цезурован, второй – нет. Напомним, что дальнейшие стихи у Пастернака рифмованы (за исключением оставленного холостым, который, таким образом, можно было бы считать примыкающим к первым десяти, если бы не графическая граница и не синтаксическая связанность его со ст. 11–12).

¹² Скажем, строки Пастернака: «Ты видел? Понял? / Ты понял? Да? Не правда ль, это – то? / Та бесконечность? То обетованье», как кажется, непосредственно связаны с финалом «О смерти».

¹³ См.: Фефер В.В. Брюсов в «школе поэтики» // Литературное наследство. М., 1976. Т. 85. С. 802.

¹⁴ Пастернак Е. Борис Пастернак: Биография. М., 1997. С. 174.

¹⁵ Впрочем, в данном стихотворении, как часто бывает у Пастернака, отнюдь не так легко понять, метонимически или метафорически спичечный коробок уподоблен комнатка-каморке. Ср. вводимые И.И. Ковтуновой термины, объединяющие эти два понятия – «сравнения по смежности и сходству», «метонимические сравнения» (Ковтунова И.И. Сравнения и метафоры в поэзии Бориса Пастернака // Ковтунова И.И. Очерки по языку русских поэтов. М., 2003. С. 118–133 и др.).

¹⁶ Напомним, что именно в стихах из «Путем зерна» Ходасевич начинает свои стиховые эксперименты всякого рода, в том числе и неточную рифмовку (ассонансную в «Сладко после дождя теплая пахнет ночь...»).

¹⁷ Как нам представляется, эта группа стихотворений у Ходасевича генетически связана с «На что вы, дни! Юдольный мир явленья...» Е.А. Баратынского (см.: Богомолов Н.А. Русская литература первой трети XX века. С. 367–368).

¹⁸ Незачеркнутый вариант – «толеньей».

¹⁹ РГАЛИ. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 24. Л. 31об–32.

²⁰ Ходасевич Владислав. Стихотворения. Л., 1989. С. 423.

²¹ Этот вариант и расшифровку черновика см.: Ходасевич Владислав. Собрание сочинений. Ann Arbor. 1983. [Т.] 1. С. 236–237, 402–403.

²² Неизвестный Борис Пастернак в собрании Томаса П. Уитни / Публ. Алексиса Раннита // Новый журнал. 1984. № 156. С. 9, 13.

²³ В рукописном варианте было еще более близкое к тексту Ходасевича: «...затертого меж льдов до труб норвежца» (Там же. С. 12).

²⁴ Прибавим к этому списку присутствующие в других строфах пастернаковского стихо-

творения север, полюс, слепых тюленей.

Из черновиков Ходасевича

В данном варианте работы собрано несколько очерков, ранее публиковавшихся отдельно: 1 – *A Century's Perspective: Essays on Russian Literature in Honor of Olga Raevsky Hughes and Robert Hughes* / Ed. by Lazar Fleishman, Hugh McLean. Stanford, 2006. С. 145–159; 2 – Знамя. 2008. № 2. С. 150–159; 3 – Озерная текстология: Труды IV летней школы на Карельском перешейке по текстологии и источниковедению русской литературы. Поселок Поляны (Уусикирко) Ленинградской обл., 2007. С. 7–12; 4 – *Vademecum: К 65-летию Лазаря Флейшмана*. М.: Водолей Publishers, 2010. С. 403–417.

¹ Иваск Юрий. Похвала российской поэзии: Эссе. Таллинн, [2002]. С. 163.

² Цитируем по: Ходасевич Владислав. Тяжелая лира: Четвертая книга стихов. Берлин; Пб.; М., 1923. С. 10–11. К слову отметим, что в номере газеты «Русская мысль», специально посвященном десятилетию смерти Ходасевича, это стихотворение (вместе с «Путем зрна» и «Элегией» [«Деревья Кронверкского сада...»]) было перепечатано (Русская мысль. 1949. 15 июня, № 145). Можно практически не сомневаться, что отобраено оно было Н.Н. Берберовой.

³ Ходасевич Владислав. Собрание сочинений / Под ред. Джона Мальмстада и Роберта Хьюза. [Ann Arbor, 1983]. Т. I. С. 322.

⁴ Берберова Н. Курсив мой: Автобиография. New York, 1983. С. 162.

⁵ Ходасевич Владислав. Собрание сочинений / Под ред. Джона Мальмстада и Роберта Хьюза. [Ann Arbor, 1983]. Т. I. С. 322–323; Ходасевич Владислав. Стихотворения. Л., 1989. С. 384–385.

⁶ Прежде всего: Бочаров С.Г. «Памятник» Ходасевича // Ходасевич. Т. I. С. 7–9.

⁷ РГАЛИ. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 22. Л. 5–6.

⁸ РГАЛИ. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 24. Л. 9об.

⁹ Новое литературное обозрение. 1993, № 2. С. 166.

¹⁰ Ходасевич Владислав. Некрополь. Литература и власть. Письма Б.А. Садовскому. М., 1996. С. 349.

¹¹ Об отношении Ходасевича к поэзии польского романтизма лучшей остается работа: Hughes Robert P. Vladislav Khodasewich /Wladyslaw Chodasiewicz and Polish Romanticism // Language, Literature, Linguistics: In Honor of Francis J. Whitfield on his Seventieth Birthday March 25, 1986 / Ed. by Michael S. Flier, Simon Karlinsky. Berkeley: Berkeley Slavic Specialties, [1987]. P. 89–101. Специально о связях с Мицкевичем подробнее см. в новейших работах: Джулиани Рита. Владислав Ходасевич и его «дзяд» Адам Мицкевич // Солнечное сплетение. 2003, № 24–25; Жолковский А.К. Мотать – таить (Об одном переводном тексте Ходасевича) // Жолковский А.К. Избранные статьи о русской поэзии. М., 2005. С. 280–291. Отметим к случаю, что в черновике остался еще один, не доведенный до конца перевод – «Аккерманские степи» из «Крымских сонетов» (РГАЛИ. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 25. Л. 15 об). Приведем его здесь:

Я выплыл на простор сухого Океана.
Повозка в зелени ныряет, к<а>к ладья;
Среди цветочных волн, в шумящих травах, я
Миную острова багряного бурьяна.

Темнеет; ни дорог не видно, ни кургана;
Звезд, к<а>к моряк, ищу, на небеса смотря...
А там что? Облако? Иль уж взошла заря?
Там блещет Днестр, а там – маяк у Аккермана.

Постой! – какая тишь! –
Которых сокола (какой-то) взор неймет.
21/IV <1>920

Укажем также, что рабочая тетрадь Ходасевича, начатая в январе 1918 года, открывается цитатой из Мицкевича, а к варианту стихотворения «Дом», начатому в 1919 году, стоит эпиграф из него же.

¹² РГАЛИ. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 22. Л. 15.

¹³ Там же. Л. 16.

¹⁴ Полное собрание сочинений князя П.А. Вяземского. СПб., 1896. Т. XII. С. 411.

¹⁵ Мы не уверены, но вполне возможно, что именно на Введенском кладбище были похоронены родители Ходасевича.

¹⁶ Параллельно с Дж. Мальмстадом и Р. Хьюзом отмечено и отчасти истолковано Ю.И. Левиным (Левин Ю.И. Избранные труды: Поэтика, семиотика. М., 1998. С. 228–229). Попутно отметим, что «Года бегут» близко напоминает блоковское: «Миры летят. Годы летят. Пустая...»

¹⁷ Даугава. 1990, № 8.

¹⁸ 1925. 23 сентября, № 808.

¹⁹ *Перевод:*

- Меня беспокоит, что мне немного не хватает трупов...

- Ну, если дело только в этом, я всегда могу быть вам полезен.

- Благодарю вас тысячу раз, только... я и вправду боюсь злоупотребить...

- Полноте, не беспокойтесь. В этом деле я не всемогущ, но всегда в состоянии предложить вам пять или шесть свеженьких трупов.

- Еще раз спасибо. Мне так неловко вам докучать... Если бы не интересы науки, право, я никогда не осмелился бы...

- Нет, прошу вас, все решено. Один звонок и через час у вас будет трупов столько, сколько вам потребно.

- О, господин профессор, как вы любезны! Но несмотря ни на что я не осмеливаюсь... (К барышне). Ваш батюшка осыпает меня благодарениями. Имею ли я право?... Должен ли я принять их?

- Но как же... (Вспыхнула). Поверьте... Будьте уверены, что для вас... Мы всегда готовы служить вам... Положитесь на нас: наши трупы – ваши трупы!

Отметим в скобках, что этот диалог (так же, как и другие факты) опровергает мнение мемуариста: «Ходасевич <...> не знал ни одного языка, кроме русского. <...> Прожив несколько лет в Германии, он даже папиросы не мог купить без помощи милой Н.Н.Б., и мне трудно поверить, что, живя в Париже, он освоил французский» (Черниковский Саул. Трагический поэт (Памяти Владислава Ходасевича) // Ходасевич Владислав. Из еврейских поэтов. М.; Иерусалим, 1998. С. 89).

²⁰ Columbia University Libraries. Bakhmetieff Archive Ms Coll M.M. Karpovich.

²¹ Columbia University Libraries. Bakhmetieff Archive Ms Coll M.M. Karpovich. Miscellaneous notes and drafts. Folder 1, № 26.

²² Ann Arbor, 1983. С. 265.

²³ Columbia University Libraries. Bakhmetieff Archive Ms Coll M.M. Karpovich. Miscellaneous notes and drafts. Folder 1, № 18.

²⁴ Columbia University Libraries. Bakhmetieff Archive. Ms Coll M.M. Karpovich. Folder 2 (27).

²⁵ В связи с тем, что Ходасевич часто пользуется квадратными скобками, на протяжении этого фрагмента мы обозначаем зачеркнутые части текста скобками фигурными, а в ломаных – редакторские дополнения.

²⁶ Знаками кавычек Ходасевич обозначал ту же самую помету, что и в предыдущей записи. В данном случае – опять-таки письмо к матери.

²⁷ Единство разрушают пункты 7 и 11: стишки и проза в альбом, – несомненно, в альбом знакомой, потом невесты.

²⁸ [Морозов П.О.] Введение // Сочинения и письма А.С. Пушкина: В 8 т. / Под ред. П.О. Морозова. СПб., 1903. Т. 3. Поэмы, повести и драматические произведения в стихах (1820-1833). С. 13)

²⁹ С осторожностью можем предположить, что здесь имеются в виду петербургские слухи, искаженные прохождением через различные социальные слои.

³⁰ Все эти произведения см.: Садовской Борис. Лебединые клики. М., 1990.

³¹ Сурат Ирина. Пушкинист Владислав Ходасевич. М. 1994.

³² Ходасевич Владислав. Пушкин и поэты его времени: В 3 т. / Под ред. Роберта Хьюза. Berkeley Slavic Specialties, [1999-2001]. Т. 1-2.

³³ Из переписки В.Ф. Ходасевича / Публ. Е.Ю. Литвин // Памир. 1988. № 8. С. 173-176 (письма к П.Е. Щеголеву); Шур Л. Письма В.Ф. Ходасевича к М.Л. Гофману // Russian Literature and History: In Honour of Professor Ilya Serman. Jerusalem, 1989. С. 154-163; Переписка В.Ф. Ходасевича и М.О. Гершензона / Публ., подг. текста, пред. и прим. Инны Андреевой // De visu. 1993. № 5. С. 12-51 (ср. также: Андреева Инна. К публикации переписки В.Ф. Ходасевича и М.О. Гершензона // De visu. 1993. № 9. С. 97-98); Ходасевич В.Ф. Письма к М.А. Цявловскому / Публ. Роберта Хьюза // Русская литература. 1999. № 2. С. 214-230; Янгиров Рашит. Пушкин и пушкинисты: По материалам из чешских архивов (включены письма к А.Л. Бему) // Новое литературное обозрение. 1999. № 37. С. 181-228; Толстой Иван. Ненужный Пушкин: История одного письма Владислава Ходасевича (включено письмо к Г.Л. Лозинскому) // Русская жизнь. 2007. № 17. 21 декабря. С. 15-19.

³⁴ Сам же замысел относится к более раннему времени. 8 декабря 1934 г. Ходасевич писал В.В. Рудневу: «Вообще, я, кажется, вновь и окончательно сяду за биографию Пушкина. Тут уж будет для Вас очевидная нажива. Однако – терпение, терпение, как говорил Куропаткин, которого я вообще сам себе напоминаю, как только доходит дело до пушкинской биографии. И все-таки – надеюсь кончить ее, если не умру прежде – ибо Пушкин есть не кто иной, как русский Тутанкамон» (University of Illinois Archives, Sophie Pregel and Vadim Rudnev Collection, Box 4; приносим сердечную благодарность А.Б. Устинову, сообщившему нам этот текст). Вероятным толчком для появления (или развития) этой идеи, по всей видимости, была смерть упоминаемого в плане Н.О. Лернера, скончавшегося ровно за два месяца до того – 8 октября. Ходасевич откликнулся на его смерть газетной статьей «Памяти Н.О. Лернера» (Возрождение. 1934, 18 октября, № 3424).

³⁵ См.: Домгер Л.Л. Советское академическое издание Пушкина. N.Y., 1953 (со значительными сокращениями – Новый журнал. 1987. Кн. 167. С. 228-252; Подготовительные материалы см.: Домгер <так!> Л.Л. Из истории советского академического издания полного собрания сочинений Пушкина 1937-1949 гг. (Материалы и комментарии) // Записки Русской Академической группы в США. Нью-Йорк, 1987. Т. 20. С. 295-348; Бонди С.М. Об академическом собрании сочинений Пушкина // Вопросы литературы. 1963. № 2. С. 123-134; Из истории советского академического издания сочинений Пушкина / Публ. А.Л. Гришунина // Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1991. Т. XIV. С. 258-277. Ср. также ценную публикацию, напрямую касающуюся этой темы: Устинов А.Б. Материалы по истории русской науки о литературе: Письма Ю.Г. Оксмана к Л.Л. Домгеру // Themes and Variations: In Honor of Lazar Fleishman / Темы и вариации: Сборник статей и материалов к 50-летию Лазаря Флейшмана / Ed. By Konstantin Polivanov, Irina Shevelenko, Andrey Ustinov. Stanford, 1994. С. 471-544 / Stanford Slavic Studies. Vol. 8.

³⁶ Первый том этого издания вышел в свет с примечаниями в 1899 году; примечания ко II-му тому появились отдельной книгой в 1901 году, к III-му в 1908 году; примечания к IV-му тому В.И. Саитов надеется выпустить года через три. – *Примечание автора.*

³⁷ Остафьевский Архив князей Вяземских / Изд. графа С.Д. Шереметева; под редакцией и с примечаниями П.Н. Шеффера. СПб., 1909. Т. V, вып. 1. С. VIII.

³⁸ О смертях пушкинистов и вообще о положении дел в Пушкинском Доме в первые годы советской власти см.: Модзалевский Б.Л. Из записных книжек 1920-1928 гг. / Публ. Т.И. Краснобородько и Л.К. Хитрово // Пушкинский Дом: Материалы к истории 1905-2005. СПб., 2005. С. 7-191.

³⁹ Цявловский Мстислав, Цявловская Татьяна. Вокруг Пушкина. М., [2000]. С. 212 (комм. С.И. Панова и К.П. Богаевской). Впрочем, кажется, эта характеристика несколько преувеличена.

⁴⁰ Домгер Л.Л. Цит. соч. С. 62.

⁴¹ Письмо к М.О. Гершензону от 24 июля 1921 (Ходасевич. Т. 4. С. 430).

⁴² Письмо к А.И. Ходасевич от 10 апреля 1926 г. см. в нашей книге далее, в разделе «Как

Ходасевич становился эмигрантом».

⁴³ Домгер Л.Л. Цит. соч. С. 20.

⁴⁴ См. фрагмент воспоминаний М.Д. Беляева, опубликованный в комментариях Н.А. Прозоровой (Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1998-1999 год. СПб., 2003. С. 338).

⁴⁵ Сверху карандашом вписано: П.О. Морозов (III). – Имеется в виду, что член-корреспондент Академии Наук Петр Осипович Морозов (1854-1920), один из наиболее известных русских пушкинистов своего времени, театровед, был редактором третьего (и четвертого) томов академического собрания

⁴⁶ Первое академическое издание сочинений Пушкина начало выходить в 1899 г. и завершено не было (вышли т. 1-4, 9, 11, из них т. 9 – уже в 1928 г., через 14 лет после 11-го). Его история подробно и корректно изложена в не раз цитированной книге Л.Л. Домгера (С. 1-10). Рецензируя ее, М.Л. Гофман дополнительно вспомнил: «...хочу сделать добавление о деятельности Комиссии по изданию сочинений Пушкина; в 1922 году, по моему докладу <...>, Комиссия решила прервать академическое издание Пушкина, зашедшее в тупик благодаря разноречивости и текстовой неудовлетворительности вышедших томов, и приступить снова к изданию только после того, как будет проделана громадная предварительная работа – изучение всего рукописного фонда Пушкина» (Гофман М.Л. По поводу истории академического издания сочинений Пушкина // Новый журнал. 1954. № 39. С. 280; перепеч.: Гофман Модест. Драма Пушкина: Из наследия пушкиниста-эмигранта. М., 2007. С. 116-117). Приведем сведения о некоторых ученых, названных Ходасевичем. Академик Леонид Николаевич Майков (1839-1900) был редактором первого тома (подробнее о нем см.: Памяти Леонида Николаевича Майкова. СПб., 1902); академик Иван Николаевич Жданов (1846-1901) возглавлял кафедру русской литературы в Петербургском университете, более всего был известен своими лекциями по истории русской литературы; член-корреспондент Академии Наук Вячеслав Евгеньевич Якушкин (1856-1912) – историк, автор известной книги «О Пушкине» (М., 1899), был редактором второго тома и после смерти Л.Н. Майкова курировал все издание; академик Федор Евгеньевич Корш (1843-1915) – филолог, прославившийся казусным признанием подлинности окончания «Русалки», подделанного Д.П. Зуевым (подробнее о нем см.: Дмитриев Н.К. Федор Евгеньевич Корш. М., 1962; Баскаков Н.А., Баскаков Ник. А. Академик Ф.Е. Корш в письмах современников. М., 1989); академик Александр Николаевич Веселовский умер в 1906; академик Александр Николаевич Пыпин – в 1904; Павел Яковлевич Дашков (1849-1910) – действительный член Академии художеств, выдающийся коллекционер; член-корреспондент Академии Наук Дмитрий Фомич Кобеко (1837-1918) был директором Публичной библиотеки, автор знаменитой книги «Императорский Царскосельский Лицей: Наставники и питомцы» (СПб., 1911); член-корреспондент Академии Наук Илья Александрович Шляпкин (1858-1918) был также профессором Петербургского университета, преподавал и во многих других учебных заведениях, крупный коллекционер, известна его книга «Из неизданных бумаг А.С. Пушкина» (СПб., 1903); академик Алексей Александрович Шахматов умер в 1920 г. (см.: Робинсон М.А. Академик А.А. Шахматов: последние годы жизни (К биографии ученого) // Славянский альманах 1999. М., 2000. С. 189-203).

⁴⁷ Академическое издание переписки Пушкина в трех томах вышло в свет под редакцией В.И. Сантова при участии Б.Л. Модзалевского в 1906-1912 гг. О его замысле редактор Писан Н.О. Лернеру 21 декабря 1902 г.: «По смерти Л.Н. Майкова редакция академического издания сочинений Пушкина разделится между мною и В.Е. Якушкиным. Я взял себе переписку, Якушкин – все остальное» (РГАЛИ. Ф. 300. Оп. 1. Ед. хр. 302. Л. 1) и несколько позже, 26 января 1903 г., уточнял: «Вы спрашиваете о программе моей работы. Прежде всего я должен сказать, что из Майковского наследия взял себе только переписку Пушкина; остальное же находится в руках В.Е. Якушкина. Я задался целью собрать все, по возможности, письма как самого Пушкина, так и его корреспондентов, проверить их по подлинникам и напечатать в хронологическом порядке, снабдив историческими, литературными и библиографическими примечаниями, с указанием местонахождения подлинников. <...> Будут приложены: подробный указатель, портреты и фотографические снимки. Все

биографические примечания сосредоточатся в моих томах, и Якушкин, при встрече с лицами, упоминаемыми и в письмах, будет ссылаться на меня» (Там же. Л. 30б–4). Однако этот величественный план остался реализованным не до конца. Характеризуя трехтомник, Б.Л. Модзалевский писал: «Академическое <...> издание Переписки Пушкина осталось вовсе без обещанного комментария, который предполагалось выпустить дополнительными, отдельными томами» (Пушкин. Письма / Под ред. и с прим. Б.Л. Модзалевского. М.; Л., 1926. Т. 1. С. XLVI). Там же он упоминает, что Сайтов начал комментировать переписку и впоследствии передал ему рукопись начатой работы. Причины прекращения работы Сайтова над комментированием нам достоверно неизвестны. Возможно, это было связано с началом Первой мировой войны. Т.Г. Цявловская записала его рассказ: «У меня была библиотечка своя – библиотечка доволно хорошая – до 10.000 томов. Подбор всех русских мемуаров, и отдельных изданий, и из журналов. Все было переплетено. Пришлось расстаться с ней – все прахом пошло. Бросил заниматься. Была у меня переписанная Пашкина – успел текст ее довести до конца (напечатанное). Тут разыгралась эта трагедия – бросил» (РГАЛИ. Ф. 2558. Оп. 2. Ед. хр. 1813. Л. 20б–3).

⁴⁸ «Остафьевский архив князей Вяземских» (СПб., 1899–1912, т. 1–5) – одно из наиболее информативных изданий конца XIX и начала XX в., сохранивших свою ценность до наших дней. Первые 4 тома выходили под редакцией В.И. Сайтова, однако примечания к т. 4 были составлены П.Н. Шеффером, он же был редактором обоих выпусков тома 5. Причины устранения Сайтова в точности нам неизвестны (см. также выше). Единственные два положительных сведения обнаруживаются в переписке Б.Л. Модзалевского. 20 апреля 1902 он сообщал: «...с Шереметевым <Сайтов> никаких отношений личных не имеет» (Переписка Б.Л. Модзалевского с А.В. Смирновым / Публ. М.Д. Эльзона // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1996 год. Борис Львович Модзалевский. Материалы к научной биографии. СПб., 2001. С. 88), а 28 февраля 1906: «“Остафьевский” Архив» замер на конце 3-го тома: у Владимира Ивановича сын был всю осень тяжело болен (менингит), и бедный отец не мог ни о чем думать; теперь мальчик поправляется, и есть надежда, что к лету Владимир Иванович окончит комментировку 3-го тома...» (Там же. С. 123).

⁴⁹ Речь идет об известном издании Пушкина в серии «Библиотека великих писателей», выходявшем в 1907–1915 гг. в издательстве «Брокгауз-Ефрон». Роскошно изданные книги сопровождалась не только примечаниями, но и многочисленными статьями, в написании которых принимали различные писатели, в том числе символисты и близкие к ним авторы (А.А. Блок, В.Я. Брюсов, В.И. Иванов, Н.М. Минский, С.А. Ауслендер). В шестом томе были напечатаны письма 1825–1837 годов. Семен Афанасьевич Венгеров (1855–1920) – историк литературы и общественной мысли, библиограф, широко известен как пушкинист.

⁵⁰ При жизни Венгерова вышло не два, а три историко-литературных сборника «Пушкинист» (Пг., 1914–1918), в которых часто печатались труды молодых пушкинистов – участников семинария С.А. Венгерова. Возможно, Ходасевич не учитывает третий выпуск издания, так как он был практически полностью (исключение составило предисловие Венгерова) был занят двумя работами М.О. Лопатто. Четвертый сборник носил также специальное название: «Пушкинский сборник памяти профессора С.А. Венгерова» и был издан в 1922 г. Отметим, что незавершенность многих начинаний С.А. Венгерова стала притчей во языцех.

⁵¹ Снизу карандашом приписано к «1-й вып. 1-го тома»: «Мир». – Возможно, Ходасевич предполагал, что Брюсов собирался издать это собрание сочинений Пушкина в дореволюционном издательстве «Мир». Однако никаких упоминаний об этом в научной литературе нам найти не удалось.

⁵² Справа приписано чернилами: «Не стар». – Имеется в виду чрезвычайно спорное издание: Пушкин А.С. Полное собрание сочинений со сводом вариантов / Ред., вст. ст. и прим. Валерия Брюсова. М.: ГИЗ, 1920. Т. I, ч. 1. Вторая часть, видимо, предполагалась к печати в середине 1920-х годов (так, осенью 1925 г. В.В. Руслов спрашивал М.А. Цявловского: «Как с изданием Пушкина в Гизе, и бывшего Брюсовского, и однотомного под редакцией

Верховского?» [РГАЛИ. Ф. 2558. Оп. 1. Ед. хр. 155. С. 5]), но осталась в гранках (ИРЛИ. Ф. 444. № 25). Ходасевич рецензировал его с симпатией (Творчество. 1920. № 3-4. С. 36-37; перепеч.: Пушкин и поэты его времени. Т. I. С. 82-87), профессиональные пушкинисты были несравненно строже. См., напр., рецензию Б.В. Томашевского (Книга и революция. 1921. № 1. С. 57-60), отзыв М.Л. Гофмана (Гофман М.Л. Пушкин. Первая глава науки о Пушкине. Пг., 1922. С. 50-61), а также окончательный вердикт Н.В. Измайлова: «...неудача, постигшая широко задуманный опыт В.Я. Брюсова...» (Пушкин: Итоги и проблемы изучения. М.; Л., 1966. С. 577). Ср. также: Тиханчева Е.П. Брюсов – издатель Пушкина // Тиханчева Е.П. Брюсов о русских поэтах XIX века. Ереван, 1973. С. 89-126.

⁵³ «Мой Пушкин» (М.; Л., 1929) – посмертно изданный сборник пушкиноведческих статей Брюсова. Видимо, Ходасевич имел в виду, что в него вошли лишь сравнительно немногие статьи. О Брюсове как пушкинисте см.: Пушкин: Итоги и проблемы изучения. С. 101-103 (с основной библиографией).

⁵⁴ Князь крови императорской Олег Константинович (1892-1914), сын великого князя Константина Константиновича (поэта К.Р.), погиб на фронте. Инициатор и издатель важного для истории пушкиноведения факсимильного альбома: Рукописи Пушкина. Выпуск первый. Автографы Пушкинского Музея Императорского Царскосельского Лицея. СПб., 1911. Задуманные дальнейшие выпуски не появились. Его памяти были посвящены многочисленные некрологи, в том числе и известных пушкинистов (см., напр.: Щеголев П.Е. Князь Олег Константинович: [Некролог] // Пушкин и его современники: Материалы и исследования. Пг., 1914. Вып. 19/20. С. I-VI). См. также новейшую работу: Краснобородко Т. И. Князь Олег Константинович – издатель рукописей Пушкина // Русское подвижничество. М., 1996. С. 233-244. Ср. в рассказе В.И. Саитова, записанном Т.Г. Цяловской: «Олег – замечательнейший юноша, трудолюбие необыкновенное и чувство долга. Когда он был лицеистом, он необыкновенно старательно занимался, чтобы не подумали, что он пользуется своим высоким положением. (Я подарил ему автограф Пушкина «Труд», подарок был символический, он сам так трудолюбив был. Автограф Пушкина мне вдова Майкова подарила. Предложила выбрать из его собрания. Я отнекивался, считая, что нельзя, чтобы в частных руках такие вещи были; чтобы не обидеть, я взял один – маленький клочок). Он в таком восторге был. Приехал ко мне в квартиру <...>: “Позвольте вас поцеловать”. – “Вы это меня целуете за Пушкина, а я за Вас, в таком привилегированном положении, и так работали, как и обык^овенные люди редко работают”» (РГАЛИ. Ф. 2558. Оп. 2. Ед. хр. 1813. Л. 2 об – 3).

⁵⁵ Александр Сергеевич Поляков (1883-1923) – историк литературы, библиограф. Автор книги: О смерти Пушкина: По новым данным (Пб., 1922).

⁵⁶ Довольно странно, что Ходасевич записал в умершие вполне здравствовавшего человека. Аркадий Семенович Долинин (наст. фамилия Искоз; 1883-1968) оставил несколько пушкиноведческих работ, однако прославился как исследователь Достоевского. См. посмертный сборник его работ: Долинин А.С. Достоевский и другие: Статьи и исследования о русской классической литературе. Л., 1989.

⁵⁷ Сверху карандашом поставлен вопросительный знак. – Сергей Яковлевич Гессен (1903-1937) – один из наиболее активных пушкинистов середины 1930-х гг., секретарь редакции нового академического собрания сочинений Пушкина (1937-1949), секретарь редакции издания «Пушкин. Временник Пушкинской комиссии». 25 января 1937 г. был насмерть сбит автомобилем. См. его некрологи: Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1937. Т. 3. С. 555-556 (Д.П. Якубович); Литературный современник. 1937. № 2. С. 254-255 (коллективный). Ср. также: Гессен С.Я. (биографическая справка) // [Гессен Сергей] Книгоиздатель Александр Пушкин: Приложение к факсимильному изданию / Подг. научного аппарата И.И. Подольской, А.Л. Осповата; вст. ст. В.В. Кунина. М., 1987. С. 25-29.

⁵⁸ Речь идет о знаменитой «пушкинской речи» Ф.М. Достоевского, прочитанной в Москве 8 июня 1880 г. на заседании Общества любителей российской словесности, а также о публичном чтении им стихов Пушкина вечером того же дня. См. комментарии в изд.: Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Л., 1984. Т. 26. С. 441-510.

⁵⁹ Имеется в виду произнесенная февраля 1921 г. речь «О назначении поэта» и незадолго

до того написанное стихотворение «Пушкинскому Дому». Ходасевич подробно вспоминал об этом выступлении Блока (Собрание сочинений. Т. 4. С. 83–85).

⁶⁰ Борис Львович Модзалевский скончался 3 апреля 1928 г. во время работы над третьим томом цитированных выше «Писем» Пушкина. «После него остались: черновой материал к тексту писем в виде сборника текстов из академического издания с дополнениями и указаниями о местонахождении автографов, и почти законченный комментарий к первым 44 письмам 1831 года. <...> Вскоре после смерти Б.Л. Модзалевского Пушкинский Дом принял решение продолжить и закончить комментированное издание писем Пушкина коллективно. Был образован редакционный комитет под председательством П.Е. Щеголева. <...> В конце 1929 года П.Е. Щеголев предложил Л.Б. Модзалевскому, пользуясь материалами его отца и начатым им комментарием, продолжить работу единолично» (Пушкин. Письма / Под ред. и с прим. Л.Б. Модзалевского. М.; Л., 1933. Т. III. С. X–XI). Однако Л.Б. Модзалевский приготовил к печати только данный том. Том «Пушкин. Письма последних лет», подготовленный коллективом авторов, вышел лишь в 1969 году.

⁶¹ Карандашом приписано: (Деш<евое?> ак<академическое> изд<ание>). – Духотомник П.Е. Щеголева «Пушкин. Исследования, статьи, материалы» вышел в 1928 и 1931. гг. Первый том составило третье издание знаменитой книги «Дуэль и смерть Пушкина», второй – книга «Из жизни и творчества Пушкина» (вариант более ранней книги «Пушкин. Очерки»). О планах, оставшихся нереализованными (в том числе пушкинистских), см.: Емельянов Ю.Н. П.Е. Щеголев – историк русского революционного движения. М., 1990. С. 63–69. Отметим, однако, что по большей части к реализации этих планов исследователь даже не сумел приступить.

⁶² Книга Николая Осиповича Лернера (1877–1934) «Труды и дни Пушкина» вышла двумя изданиями: М., 1903; СПб., 1910 (характерно, что первое появилось в символистском издательстве «Скорпион», а второе – в уважаемом издательстве Академии Наук). Третье издание предполагалось к печати с 1926 г. до смерти автора. Подробнее см. в комментарии К.П. Богаевской и С.И. Панова: Цявловский Мстислав, Цявловская Татьяна. Цит. соч. С. 212–213. Ходасевич писал о Лернере дважды в 1934 г.: сперва рецензировал (с пятилетним опозданием!) книгу «Рассказы о Пушкине» (Возрождение. 1934. 9 августа, № 3354), а потом написал некролог, где особенно выделил: «В 1922 г. он сдал Государственному издательству рукопись третьего издания, которое, по его словам, должно было быть вдвое больше предыдущего. Книга, однако же, до сих пор не появилась. Судя по анонсам издательства “Академия”, выход ее ожидался только теперь» (Возрождение. 1934. 18 октября, № 3424; обе статьи перепечатаны: Ходасевич Владислав. Пушкин и поэты его времени. Berkeley, [2001]. Т. 2. С. 408–415, 573–574).

⁶³ М. Горький был назначен председателем Всесоюзного пушкинского комитета на заседании Президиума ЦИК 16 декабря 1935 г. Он скончался 18 августа 1936 г., т.е. даже не за 8 месяцев, а за полгода до пушкинского юбилея.

⁶⁴ Вписано карандашом. – Речь идет о книге: Синявский Н., Цявловский М. Пушкин в печати 1914–1837: Хронологический указатель произведений Пушкина, напечатанных при его жизни. М., 1914. Позднее М.А. Цявловский рассказывал: «Как-то пришел ко мне товарищ мой по государственным экзаменам Николай Александрович Синявский, жалуюсь, что он не знает, чем бы заняться “для души”, так как по окончании Университета он нужен был для заработка поступить в Государственный контроль. В ответ на это я предложил ему заняться библиографией и, например, взять на себя часть работы задуманной мною книги “Пушкин в печати”. Он охотно согласился и с увлечением по данным мною материалам просматривал и библиографически описывал отдельные издания Пушкина, журналы и альманахи, в которых появлялись произведения Пушкина при его жизни» (Цявловский М., Цявловская Т. Цит. соч. С. 34–35). Биографических сведений о Н.А. Синявском собрать не удалось. Второе издание книги появилось в 1938 г. Ее продолжение – книга: Богаевская К.П. Пушкин в печати за сто лет (1837–1937). М., 1938.

⁶⁵ См.: Центральный Пушкинский Комитет в Париже: История. Люди. Тексты / Сост. М.Д. Филин. М., 2000. Т. 1–2.

⁶⁶ Исторический архив Forschungstelle Osteuropa an der Universität Bremen: HA. FSO

Bremen, Ф. 45; бумаги Пушкинского Комитета. Приносим сердечную благодарность Г.Г. Суперфину за помощь в работе.

⁶⁷ См.: Филин М. Русский Париж в 1937 году. Подоплека пушкинского юбилея // Москва. 1998. № 12. С. 161–173.

⁶⁸ Новый мир. 1999. № 5. С. 236.

⁶⁹ Шур Л. Письма В.Ф. Ходасевича М.Л. Гофману. С. 161.

⁷⁰ КФЖ. С. 253. Протокол опубликован в приложении к публикации Р. Янгирова: Новое литературное обозрение. 1999. № 37. С. 224–226.

⁷¹ Имеется в виду стихотворение «Г.Л.! Среду и субботу...» (Ходасевич Владислав. Собрание сочинений. Ann Arbor, 1983. Т. 1. С. 267, где напечатано по машинописи с правкой из Бахметьевского архива Колумбийского университета). Письмо же с окончательным вариантом стихотворением (машинопись) хранится: Исторический архив Forschungstelle Osteuropa an der Universität Bremen: HA. FSO Bremen, Ф. 45; бумаги Пушкинского Комитета.

⁷² Шур Л. Цит. соч. С. 162.

⁷³ Толстой Иван. Ненужный Пушкин. С. 18. Несколько слов исправлено по воспроизведению рукописи, размещенному на с. 18–19. Приносим также благодарность И.Н. Толстому, ознакомившему нас с точным текстом письма.

⁷⁴ Янгиров Рашит. Цит. соч. С. 194–195.

⁷⁵ Там же. С. 207. Письмо от 4 февраля 1937.

⁷⁶ Помимо названного выше двухтомника, см.: Мнухин Л.А., Невзорова И.М. Пушкинский год во Франции // Пушкин и культура русского зарубежья: Международная научная конференция, посвященная 200-летию со дня рождения 1-3 июля 1999 г. М., 2000. С. 306–323. Список основных мероприятий, устроенных в пушкинские дни, см. также: Янгиров Рашит. Цит. соч. С. 200–201.

⁷⁷ Последние новости. 1937. 10 февраля. № 5801.

⁷⁸ Речь идет о различных традициях соотношения старого и нового стиля: в XIX веке разница между ними составляла 12 дней, потому верная дата смерти Пушкина – 29 января (10 февраля). Однако панихида по Пушкине была отслужена 11 февраля (см. следующее примечание).

⁷⁹ В указанный день на с. 2 газеты была помещена хроникальная заметка «Панихида по Пушкине», где говорилось о том, что она будет отслужена 11 февраля. Помета о панихиде 10 февраля, судя по всему, являлась ошибкой Ходасевича: единственная подобная заметка, которую нам удалось обнаружить в газете, – хроникальное известие под заглавием «Церковь Знамения Божией Матери», где говорилось: «10 февраля, в полугодовой день кончины митрополита Антония <...> будет отслужена литургия и после нее панихида по усопшем».

⁸⁰ Ходасевич не вполне точен. Объявление на первой странице названного номера газеты гласило: «Объединение бывших воспитанников Императорского Александровского Лицея объявляет, что в воскресенье, 7-го февраля с.г. в храме Св. Александра Невского, 12, рю Дарю, после литургии, будет отслужена торжественная панихида по лицеисте 1-го курса АЛЕКСАНДРЕ СЕРГЕЕВИЧЕ ПУШКИНЕ по случаю исполнившегося 29-го января (7-го февраля) с.г. столетия со дня кончины величайшего русского поэта. Лицейсты призывают все зарубежные русские общества, организации и союзы и всех русских людей почтить вечную память гения Земли Русской». Помимо неверного перевода старого стиля на новый, в объявлении есть несогласованность времен: 6 февраля оно сообщает: «...исполнившегося... 7 февраля...».

⁸¹ Речь идет о статье: Мережковский Д. Мысли о Пушкине // Возрождение. 1937. 6 февраля. № 4064, приложение: «Пушкин 1837-1937». В ней автор ссылается на «Записки» А.О. Смирновой, которые к тому времени уже давно были признаны фальшивкой.

⁸² Имеется в виду иллюстрация на с. 8 указанного в предыдущей сноске приложения: обложка альманаха «Северные цветы» на 1832 год с пометой: «изд<анные> бар<оном> А.А. Дельвигом». Дельвиг скончался в 1831 году и альманах был издан Пушкиным в пользу его семьи.

⁸³ На с. 3 номера «Последних новостей» от 10 февраля была помещена репродукция с подписью: «Пушкин декламирует стихи Державина. С картины Репина». Картина И.Е. Репина (1911) на деле называется: «Пушкин на лицейском экзамене в Царском Селе 8 января 1815 года». Читал он там, как известно, свои «Воспоминания в Царском Селе».

⁸⁴ Имеются в виду статьи пушкинского приложения «Возрождения»: «Памятник Пушкину» Б.К. Зайцева, «Через сто лет» И.И. Тхоржевского и «Тайна Пушкина» И.С. Шмелева.

⁸⁵ В пушкинском номере «Последних новостей» в начале статьи «Пушкин – вольный каменщик» М.А. Осоргин писал: «Но так как малейшая подробность о жизни Пушкина имеет интерес, то стоит остановиться и на масонском эпизоде его жизни», а в последнем абзаце – «...эпизод с масонством Пушкина много значительнее и интереснее десятков любовных эпизодов, на изучение которых во всех нескромных деталях пушкинисты тратят столько сил».

⁸⁶ Имеется в виду статья Г.В. Адамовича «Пушкин» в номере «Последних новостей», где в начале работы автор писал: «Пробираясь к Пушкину сквозь <...> кропотливые труды и нескончаемые распри пушкинистов...». «Свинья под дубом» – басня И.А. Крылова.

⁸⁷ Статья М.А. Алданова в пушкинском номере «Последних новостей» называлась «Французская карьера Дантеса».

КАК ХОДАСЕВИЧ СТАНОВИЛСЯ ЭМИГРАНТОМ

Впервые – *Russische Emigration im 20. Jahrhundert: Literatur – Sprache – Kultur* / Hrsg. von Frank Göbler unter Mitarbeit von Ulrike Lange. München: Otto Sagner, 2005. – S. 169-187 (под загл. «Вл. Ходасевич: Начало эмиграции»).

¹ РГАЛИ. Ф. 537. Оп.1. Ед. хр. 124.

² Там же. Ед. хр. 126.

³ Дни. 1926. 21 февраля. № 936.

⁴ Иванов Георгий. Собрание сочинений. В 3 т. М., 1994. Т. 3. С. 528.

⁵ Письмо к А.И. Ходасевич от 1 августа 1923 // РГАЛИ. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 50. Л. 18.

⁶ Цит. по: Hughes Robert, Malmstad John. Vladislav Khodasevich to Mikhail Karpovich: 6 Letters (1923-1932) // *Oxford Slavonic Papers: New Series*. 1986. Vol. XIX. P. 142.

⁷ Назовем хотя бы последние по времени и претендующие на исчерпание темы работы: Макаров В.Г., Христофоров В.С. Пассажиры «философского парохода»: Судьбы интеллигенции, репрессированной летом-осенью 1922 г. // *Вопросы философии*. 2003. № 7; Высылка вместо расстрела. Депортация интеллигенции в документах ВЧК - ГПУ. 1921-1923 / Сост. и авт. вст. ст. В.Г. Макаров, В.С. Христофоров. М., 2005. Ср. также: Селезнева И.Н. Интеллигентам в Советской России места нет: Архивные документы о высылке 1922 года // *Вестник РАН*. 2001. № 8.

⁸ Вишняк М.В. Владислав Ходасевич: Из личных воспоминаний и архива б<ывшего> редактора // *Новый журнал*. 1944. Кн. VII. С. 289–290.

⁹ Hughes Robert, Malmstad John. *Op. cit.* P. 142–143.

¹⁰ 15 марта 1925 г. И.И. Фондаминский писал З.Н. Гиппиус, что номер с этой статьей только что вышел (мы опираемся на готовящуюся к изданию редакционную переписку «Современных записок»).

¹¹ Дни. 1925. 22 февраля, № 698; в более известном и позднем варианте под названием «Неудачники» Родов, потерявший к тому времени власть, уже характеризуется как обычный неудачливый литератор.

¹² Hughes Robert, Malmstad John. *Op. cit.* P. 149-150.

¹³ РГАЛИ. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 51. Л. 21об.

¹⁴ Hughes Robert, Malmstad John. *Op. cit.* P. 144.

¹⁵ *Ibid.* P. 147.

¹⁶ *Ibid.* P. 151.

¹⁷ РГАЛИ. Ф. 2182. Оп. 2. Ед. хр. 8. Л. 2.

¹⁸ Судя по всему, речь идет о драматурге Сергее Дмитриевиче Разумовском (настоящая фамилия Махалов, 1864-1942), бывшем одним из руководителей (одна из должностей –

ответственный секретарь) МОДПиКа (Московского общества драматических писателей и композиторов), и тогда деньги, которые Ходасевич хотел, чтобы получила А.И., – гонорар за поставленный театром Вахтангова «Театр Клары Гасуль» П. Мериме. Вопрос о реальном авторстве перевода этих пьес представляет собою небольшую филологическую проблему. При издании и при постановке переводчиком значился Ходасевич, однако А.И. вспоминала: «...еще в Москве я как-то перевела несколько маленьких комедий Мериме под редакцией Влади» (Ходасевич А.И. Воспоминания о В.Ф. Ходасевиче / Публ. Л.В. Горнунга // Ново-Басманная, 19. М., 1990. С. 406). Судя по всему, его фамилия ставилась для более существенного гонорара (как и позднее, в случае с переводами, выполнявшимися разными людьми, а подписывавшимися Ахматовой), и потому деньги за постановку должна была получать А.И., однако, естественно, формальное согласие самого Ходасевича требовалось. За обсуждение проблемы авторства этих переводов и справку о С.Д. Разумовском приносим искреннюю благодарность К.В. Яковлевой.

¹⁹ О своем положении в это время Ходасевич тремя днями ранее писал М.М. Карповичу: «Мы до начала марта жили под Парижем. Там и остались бы (мне жить в городе трудно: шум и безалаберщина) – но на старой квартире дико подняли цену, на 50%, а новой подходящей не нашли. Тут вдруг подвернулась в городе – и *без мебели*, а это предел эмигрантского счастья, ибо выходит много дешевле» (Hughes Robert, Malmstad John. Op. cit. P. 146). В пояснение добавим еще, что «под Парижем» – значит в Chaville, где он прожил с середины ноября до 18 марта (по «камер-фурьерскому журналу»). Соломон Владимирович Познер (1876–1946) – журналист, секретарь Комитета помощи русским писателям и ученым во Франции.

²⁰ Зина и Дима – конечно, З.Н. Гиппиус и Д.С. Мережковский. Первое известное письмо Гиппиус к Ходасевичу (по поводу его рецензии на «Живые лица») написано 11 сентября 1925 г., однако какие именно похвалы имеются в виду здесь – сказать трудно, хотя в письме от 7 апреля он и сообщал Карповичу: «Литературно у меня сейчас “флирт” с Гиппиус: за что-то она меня полюбила» (Hughes Robert, Malmstad John. Op. cit. P. 148). Однако именно в это время, в 1926 году, первое печатное сочувственное упоминание о Ходасевиче содержится в ее рецензии на XXVII книгу «Современные записки» (Последние новости. 6 июня, № 1901), а более развернуто – в статье «Стихи, ум и глупость» (Последние новости. 22 июля, № 1947). Может быть, Ходасевич узнал отголоски каких-то своих бесед с Гиппиус в ее статье «Два разговора с поэтами» (Звено. 14 февраля, № 159). Однако скорее всего он имеет в виду ее письмо от 1 апреля, которое заканчивалось: «Ваш “Есенин” очень хорош. C'est ça!» (ПБХ. С. 42).

²¹ «Довольно длинная вещь» – явно «Соррентинские фотографии», законченные 26 февраля. «Балладу» и «Звезды» Ходасевич прислал Б.А. Диатропову с просьбой сообщить А.И. еще в ноябре, а «Джон Боттом» еще не был закончен. Кто такой «Митька» – неизвестно, хотя мы не можем исключить, что так Ходасевич называл Г.И. Чулкова.

²² За деятельностью поэта, прозаика, стиховеда С.П. Боброва (1889–1971) Ходасевич следил, и вспоминал о ней в некрологической статье «Гершензон»: «Однажды некий Бобров прислал ему свою книжку: “Новое о стихосложении Пушкина”. Книжка, однако ж, была завернута в номер не то “Земщины”, не то “Русской Земли” – с погромной антисемитской статьей того же автора» (Ходасевич. Т. 4. С. 103). См. также в тексте статьи фрагмент из письма к жене. Ср. однако выше в нашей книге работу «Ходасевич, Бобров, Гершензон».

²³ Речь идет о каком-то несостоявшемся проекте, возможно – планировавшемся еще М.О. Гершензоном «Пушкинском Ежегоднике», первый выпуск которого должен был появиться в 1925 году (подробнее см.: Цявловский Мстислав, Цявловская Татьяна. Вокруг Пушкина. М., 2000. С. 70, 238–239).

²⁴ Мстислав Александрович Цявловский (1883–1947) – известный пушкинист. Письма Ходасевича к нему опубликованы Р. Хьюзом (Русская литература. 1999. № 2). Модест Людвигович Гофман (1887–1959) – в прошлом поэт, в 1920-е годы известный пушкинист. Был командирован Академией Наук в Париж для переговоров со знаменитым коллекционером А.Ф. Онегиным о судьбе его пушкинского собрания и в СССР не вернулся. Преступление Баратынского – кража. Об отношении Цявловского к деятельности М.Л. Гофмана

см.: Цявловский Мстислав, Цявловская Татьяна. Цит. соч. С. 217-219).

²⁵ Гаррик – сын А.И. от первого брака Эдгар Евгеньевич Грендион. Год его рождения устанавливается по письму Вяч. Иванова к жене от 11 августа 1906 года, где он описывает свой визит на дачу к Г.И. Чулкову (брату А.И.): «Нюра интересна, п<отому> ч<то> беременна» (РГБ. Ф. 109. Карт. 10. Ед. хр. 3). См. о нем в письме к Карповичу от 3 июня 1925 г.: «Гаррик играет в каком-то п<етер>бургском театре, едва ли не в том же, где действует Игорь Терентьев. Женат!» (Hughes Robert, Malmstad John. Op. cit. P. 143). Впоследствии был киноактером. Скончался в 1954 или 1957 г. (<http://therese=phil.livejournal.com/167695.html>)

²⁶ Судя по всему, А.И. не выполнила просьбы Ходасевича. Переписка Ходасевича с историком, философом, литературоведом Михаилом Осиповичем Гершензоном (1859–1925) в полном объеме опубликована И. Андреевой, которая, однако, пишет: «Письма Гершензона 1915–1920 гг., оставшиеся в московском архиве Ходасевича, не обнаружены, за одним исключением: открытка от 16 июня 1916 г.» (Андреева Инна. К публикации переписки В.Ф. Ходасевича и М.О. Гершензона // De Visu. 1993. № 5. С. 40). Письма ближайшего друга Ходасевича Муни (Самуила Викторовича Киссина, 1885–1916) хранятся в РГАЛИ и также были опубликованы И. Андреевой (Киссин Самуил (Муни). Легкое бремя: Стихи и проза. Переписка с В.Ф. Ходасевичем. М., 1999). Письмо поэтессы Надежды Григорьевны Львовой (1891–1913) к Ходасевичу не сохранилось и самим Ходасевичем использовано не было. В фонде Ходасевича в РГАЛИ хранятся 2 незначительных письма Брюсова к нему, вряд ли имеющие здесь в виду, черновик же письма В.Я. Брюсова к З.Н. Гиппиус, принадлежавший Ходасевичу, не обнаружен. Кто такая Наташа Хр., – мы не знаем.

²⁷ «Одна работа» – совершенно очевидно, замысел книги «Некрополь», в то время не реализовавшийся, хотя Ходасевич и напечатал в газетах и журналах довольно много некрологических статей. 28 октября 1926 г. Ходасевич писал Ю.И. Айхенвальду, говоря об очерке «Муни» (Последние новости. 1926. 20 сентября, № 2007): «...эта статья должна войти в мою книгу “Некрополь”, которая, по-видимому, выйдет нынешней зимой» (Ходасевич. Т. 4. С. 503).

²⁸ Имеются в виду Борис Александрович (1883–1942) и Александра Ионовна (1882–1962) Диатроповы, близкие друзья Ходасевича, с которыми он переписывался до конца 1925 года.

²⁹ Книга стихов Ходасевича вышла только в 1927 году, а с Н.Н. Берберовой он расстался в 1932 году. Однако недостоверные слухи о его жизни в Париже распространялись в Москве и ранее. Так, в декабре 1925 г. он писал Б.А. Диатропову: «Нюра писала мне, что ей кто-то сказал, будто видел мою новую книгу стихов. Интересно мне, кто сказал, потому что я такой книги не видел» (Ходасевич. Т. 4. С. 492), и примерно в это же время предупредил М.А. Фромана: «Пожалуйста, не верьте слухам обо мне, ни словесным, ни письменным, ни печатным: все вздор» (Ходасевич. Т. 4. С. 497), а в апреле 1926 перечисляет ему же стихи, написанные после «Тяжелой лиры» (точнее, за время отъезда из России), устанавливая состав будущей книги, как он ему виделся в те дни. А.И. до самого конца жизни была уверена, что книга «Европейская ночь» появилась отдельным изданием.

³⁰ Писем Виктора Викторовича Гофмана (1884–1911) к Ходасевичу мы не знаем. Вероятно, просьба связана с планом включить статью памяти Гофмана (Последние новости. 14 октября 1925. № 1679) в планируемый «Некрополь».

Из истории одного культурного урочища русского Парижа

Впервые – Новое литературное обозрение. 2006. № 81. – С. 143–163. Отметим, что статья в значительной своей части была написана еще до кончины В.Н. Топорова. За возможность парижских прогулок мы должны принести искреннюю благодарность Э. Анри, а за разыскания в американских архивах – всемерно помогавшей Т. Чеботаревой, хранительнице Бахметевского архива при Колумбийском университете.

¹ См.: Топоров В.Н. К понятию литературного урочища (Locus poesiae). I. Жизнь и поэзия (Девичье поле); II. Аптекарский остров // Литературный процесс и проблемы литератур-

ной культуры: Материалы для обсуждения. Таллин, 1988. С. 61–73; Топоров В.Н. Аптекарский остров как городское урочище // Ноосфера и художественное творчество. М., 1991. С. 200–279.

² Волошин Максимилиан. Собрание сочинений. М., 2006. Т. 7, кн. 1. С. 136. Отметим, что дом 31 по этой улице специально был выстроен для художественных студий и получил название Atelier 17 (см.: France. Paris / Guides Gallimard. P., 1995. P. 285).

³ Попов Вячеслав, Фрезинский Борис. Илья Эренбург: Хроника жизни и творчества. СПб., 1993. Т. I. С. 69.

⁴ Там же. С. 80; Переписка <В.Я. Брюсова> с И.Г. Эренбургом / Публ. Б.Я. Фрезинского // Литературное наследство. М., 1994. Т. 98, кн. 2. С. 528.

⁵ Литературное наследство. Т. 98, кн. 2. С. 532.

⁶ Попов Вячеслав, Фрезинский Борис. Илья Эренбург: Хроника жизни и творчества. СПб., 2000. Т. II. С. 62–63.

⁷ Эренбург Илья. Люди, годы, жизнь: Воспоминания: В 3 т. М., 1990. Т. I. С. 370.

⁸ Попов Вячеслав, Фрезинский Борис. Илья Эренбург: Хроника жизни и творчества. Т. I. С. 212.

⁹ Там же. Т. II. С. 63.

¹⁰ Ныне он более всего знаменит роденовским памятником Бальзаку, однако в интересующее нас время его там не было (установлен в 1939 г.).

¹¹ Маяковский Владимир. Полное собрание сочинений: В 13 т. М., 1957. Т. 6. С. 204 (стихотворение «Верлен и Сезан»).

¹² Триоле Эльза. Заглянуть в прошлое // Имя этой теме: любовь! Современницы о Маяковском. М., 1993. С. 60, 62.

¹³ Янгфельдт Бенгт. Любовь это сердце всего. В.В. Маяковский и Л.Ю. Брик. Переписка 1915–1930. М., 1991. С. 123–124.

¹⁴ Катаян В. Маяковский: Хроника жизни и деятельности / Изд. 5-е, доп. М., 1985. С. 236–459.

¹⁵ Ходасевич. Т. I. С. 522–523. Сверено с оригиналом: Beineke Rare Books and Manuscript Library. Gen Mss 182, box 52, folder 1166. В дальнейшем пометы всюду цитируются по этому изданию, с соответствующей проверкой.

¹⁶ Берберова Нина. Курсив мой: Автобиография: В 2 т. New York, 1983. Т. I. С. 249. В комнату эту Ходасевич и Берберова переехали 18 марта 1924 г. (КФЖ. С. 57). В скобках отметим, что в 1926 году в том же доме жил будущий литературный противник Ходасевича Г.В. Адамович (см.: Письма Г.В. Адамовича к З.Н. Гиппиус: 1925–1931 / Публ. Н.А. Богомолова // Диаспора: Новые материалы. Париж; СПб., 2002. [Т.] III. С. 452).

¹⁷ Янгфельдт Бенгт. Цит. соч. С. 124.

¹⁸ Подробнее см.: Там же. С. 233–234; Имя этой теме: любовь! С. 71–72.

¹⁹ Маяковский Владимир. Цит. соч. С. 223 (стихотворение «Прощание (кафе)»).

²⁰ Там же. С. 211 (стихотворение «Верлен и Сезан»).

²¹ Могиланский Н. «Ротонда» // Последние новости. 1922. 17 июня. № 664.

²² Эренбург Илья. Люди, годы, жизнь. Т. I. С. 371. Описание старой «Ротонды» и перемен в ее внешнем облике см.: Там же. С. 156–161.

²³ КФЖ. С. 70.

²⁴ Фраза Эренбурга, отнесенная к осени 1922 года: «Года два или три спустя поэт Ходасевич <...> никогда не пришел бы в помещение, где находился Маяковский» (Эренбург Илья. Цит. соч. С. 391), – ясно носит характер фигуральный, а не буквальный.

²⁵ Имя этой теме: любовь! С. 78.

²⁶ См.: Ходасевич Валентина. Портреты словами; Очерки. М., 1995. С. 234–242.

²⁷ Перепечат.: Катаян В.А. Цит. соч. С. 386.

²⁸ Наиболее обширная на нынешний день статья: Мальмстад Дж. По поводу одного «некролога»: Ходасевич о Маяковском // Седьмые Тыняновские чтения: Материалы для обсуждения. Рига; М., 1995–1996. С. 189–199; однако она посвящена лишь поздним отношениям (преимущественно 1926–1930 гг.). Ср. также насыщенные, как всегда, статью и комментарии И.П. Андреевой: Ходасевич Владислав. Некрополь: Воспоминания; Литера-

тура и власть; Письма Б.А. Садовскому. М., 1996. С. 387–388, 406–408, 438–442. Ср. также: Radley P. Emotion in a Formalist: The Jakobson-Khodasevich Polemic // *Studies Presented to Professor Roman Jakobson by his Students*. Cambridge, Mass., 1968. P. 248–251; [Ратгауз М.Л.] Комментарий // Ходасевич Владислав. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 2. С. 502–506. По заглавию можно предположить, что работа: Парнис Александр. «Зачем так опрометчиво Я взял твою тетрадь?..»: Блок, Маяковский, Ходасевич и другие в парижском альбоме. Очерк первый // *Опыты*. 1994. № 1. С. 149–176, – также посвящена отношениям двух поэтов. Однако в ней лишь рассказано об автографе Маяковского в альбоме В.С. Познера и воспроизведен автограф до тех пор неизвестного стихотворения Ходасевича. Чрезвычайно любопытные размышления автора над текстом данного стихотворения известны нам из частных бесед.

²⁹ Первая из них перепечатана в московском собрании сочинений (Ходасевич. Т. 2. С. 159–167) и в сборнике Ходасевича, названном в предыдущем примечании; вторая, кажется, с первой публикации (*Возрождение*. 1930. 24 апреля, № 1787) и перепечатки (Ходасевич Владислав. *Литературные статьи и воспоминания*. Нью-Йорк, 1952. С. 219–231) полностью воспроизводилась лишь единожды: Ходасевич Владислав. *Книги и люди: Этюды о русской литературе*. М., 2002. С. 359–366.

³⁰ Дни. 1926. 21 марта. № 960. Подп.: Ф. Маслов; процитировано: Мальмстад Дж. *Цит. соч.* С. 196.

³¹ Перепеч.: Собрание сочинений. Ann Arbor, 1990. Т. 2. С. 406. Ходасевич писал: «Что – как не снижение умственного уровня – талантливая, но вполне базарная поэзия Маяковского, упавшая до провозглашения откровенного агитвздора, в который, разумеется, сам Маяковский не верит в первую очередь?»

³² Судя по контексту, здесь подразумевается О.М. Брик. Однако мы не можем исключить, что Ходасевич имел в виду В.Я. Брюсова.

³³ Бахметевский архив при Колумбийском университете (Нью-Йорк), фонд М.М. Карповича. Папка 26. Листы не нумерованы. Ходасевич воспользовался оборотом листа, чтобы сделать вставку в позднюю статью, чем объясняется оборванность фрагмента. По смыслу он отчетливо переключается с рассуждениями в статье «Литература и власть в сов<етской> России» (*Возрождение*. 1931. 10, 15, 19, 22 декабря. № 2382, 2387, 2389, 2394; перепеч.: *Вопросы литературы*. 1996. Июль-август / Публ. М. Долинского и И. Шайтанова; Ходасевич Владислав. *Некрополь: Литература и власть; Письма Б.А. Садовскому*. М., 1996. С. 227–249), однако используемое автором настоящее время при разговоре о высылке писателей и ученых и пролетарской культуре в начале тридцатых годов было бы уже неуместно.

³⁴ Там же. Папка 27. Сохранился только первый лист черновика. Последняя фраза вошла в основной текст статьи.

³⁵ В примечаниях к данному изданию М.Г. Ратгауз ошибочно отнес известные нам посещения Маяковским «Свободной эстетики» к 1912 году, тогда как в «Хронике» В.А. Катаняна зафиксированы только посещения осени 1913-го. Из заседаний осени 1912 года нам известны по сохранившимся повесткам: 3 ноября новые стихи читали В. Брюсов, А. Булдеев, Андрей Белый, Н. Львова, С. Рубанович, Б. Садовской, С. Соловьев, М. Цветаева, М. Шик, И. Шюзевиц и др.; заседание 24 ноября не состоялось из-за смерти В.А. Серова; 1 декабря заседание было без повестки; 8 декабря прошла однодневная выставка картин М.Ф. Ларионова с обсуждениями; 15 декабря С.В. Лурье читал доклад «Два Гамлета» (повестки – РГАЛИ. Ф. 464. Оп. 2. Ед. хр. 26). кажется логичным предположить, что Маяковский пришел на выставку Ларионова, однако по сведениям, добытым А.Е. Парнисом и введенным в «Хронику» В.А. Катаняна, он вернулся из Петербурга лишь 11 или 12 декабря. Доклад С.В. Лурье вряд ли мог заинтересовать молодого поэта, что оставляет вечер 3 ноября.

³⁶ Ходасевич Владислав. *Некрополь: Литература и власть; Письма Б.А. Садовскому*. С. 338.

³⁷ Там же. С. 339.

³⁸ Пастернак Борис. *Полное собрание сочинений: В 11 т. М., 2004. Т. 3. С. 217. Основания*

для датировки: описываемая сцена произошла «на следующий день» после встречи редакций «Первого журнала русских футуристов» и альманаха «Руконог». Письмо с вызовом на эту встречу было написано 2 мая, и она назначалась в течение ближайших четырех дней, т.е. 4, 5 и 6 мая. В № 109 газеты «Новь» было помещено извинительное письмо от С.П. Боброва. Подробнее см.: Флейшман Лазарь. Борис Пастернак в двадцатые годы. СПб., 2003. С. 391-393; Пастернак Е.Б. Борис Пастернак: Биография. М., 1997. С. 192-194.

³⁹ Ходасевич Владислав. Некрополь; Литература и власть; Письма Б.А. Садовскому. С. 349. Исчерпывающий комментарий И.П. Андреевой – с. 406–408. Ср. также ее описание: Киссин Самуил (Муни). Легкое бремя: Стихи и проза; Переписка с В.Ф. Ходасевичем / Изд. Подготовила Инна Андреева. М., 1999. С. 355–358.

⁴⁰ Ходасевич Владислав. Некрополь; Литература и власть; Письма Б.А. Садовскому. С. 350.

⁴¹ Мысль. 1918. 28 января. Цит. по: Катанян В. Цит. соч. С. 138.

⁴² Катанян В. Цит. соч. С. 138–139.

⁴³ Среди присутствовавших другими мемуаристами назывались также Ю.К. Балтрушайтис, М.В. Сабашникова и индийский поэт Сураварди.

⁴⁴ Антокольский П. Две встречи // В. Маяковский в воспоминаниях современников. [М.], 1963. С. 148–150.

⁴⁵ Цветаева Марина. Собрание сочинений: В 7 т. М., 1995. Т. 7. С. 463–469.

⁴⁶ Белый Андрей. Рембрандтова правда в поэзии наших дней // Записки мечтателей. 1921. № 5. С. 136–139.

⁴⁷ Альтман М.С. Разговоры с Вячеславом Ивановым / Сост. и подг. текстов В.А. Дымщица и К.Ю. Лаппо-Данилевского. СПб., [1995].

⁴⁸ В тексте книги В.А. Катаняна, который также цитирует дневник, фраза звучит несколько по-иному: «А потом началась Ходынка: перла публика на Маяковского» (Цит. соч. С. 191).

⁴⁹ Чуковский Корней. Собрание сочинений: В 15 т. М., 2006. Т. 11. С. 307. Во время того же пребывания в Петрограде Маяковский записывался на фонограф у С.И. Бернштейна, дружившего с Ходасевичем и оставившего выразительное описание процесса его творчества (см.: Бернштейн С.И. Стих и декламация // Русская речь. Новая серия. Л., 1927. Вып. 1. С. 17–18).

⁵⁰ Переписка В.Ф. Ходасевича и М.О. Гершензона / Публ. И. Андреевой // De Visu. 1993. № 5. С. 24.

⁵¹ «Веч.<ером> Pr.<ager> D.<iele> (Эренб.<ург>, Каплун, Белицкий, Вишняки, Познер, Одоевц.<ева>, Пастернак, Белый, Маяк.<овский>, Альтман. В кафэ с Белым)» (КФЖ. С. 33). Среди бумаг Ходасевича, хранящихся в Бахметевском архиве Колумбийского университета, на отдельном листе выписаны из «журнала» даты встреч с Белым в Берлине, причем данная обведена кружком и к ней приписано: «Маяк.». Очевидно, это должно означать какое-то памятное для Ходасевича событие, связанное с обоими поэтами.

⁵² Катанян В. Цит. соч. С. 235. КФЖ. С. 34.

⁵³ Тонкое истолкование этого эпизода см.: Флейшман Л. Цит. соч. С. 392.

⁵⁴ См., напр., в дневнике А.И. Оношкович-Яцыны: «Ходасевич напрасно ждет похвал своей старухе с санками, дровами и горестной кончиной» (Минувшее. М.; СПб., 1993. [Т. 13]. С. 400; имеется в виду стихотворение «Старуха») или у К.И. Чуковского: «Вечер Ходасевича. Народу 42 человека – каких-то замухрышных. Ходасевич убежал на кухню: – Я не буду читать. Не желаю я читать в пустом зале. – Насилу я его уломал» (Цит. соч. С. 340).

⁵⁵ Его появление приветствовали Ю. Айхенвальд, З. Гиппиус (в самых восторженных выражениях), В. Сирин, Г. Адамович, М. Цетлин, Г. Струве, известная статья В. Вейдле «Поэзия Ходасевича» также была связана с выходом «Собрания стихов». Единственный известный нам отрицательный отзыв (статья Г. Иванова «В защиту Ходасевича») был вызван причинами личными, в числе которых оказывалась, несомненно, обидя на то, что «к нему неожиданно пришла “грубая слава”», что к нему стали применяться слова: «Арион эмиграции. Наш поэт после Блока. Наш певец» (Иванов Георгий. Собр. соч.: В 3 т. М.,

1994. С. 512–513).

⁵⁶ «Что Маяковский стареет, постепенно выходит в тираж <...> это прежде всего стал чувствовать не кто иной, как сам Маяковский, и его последняя книга в этом отношении показательна» (Ходасевич. Т. 2. С. 165).

⁵⁷ КФЖ. С. 155.

⁵⁸ В записях «Обо мне» (Бахметевский архив) Ходасевич не расшифровал его подпись «С.Ф.».

⁵⁹ Мальмстад Дж. Цит. соч. С. 189.

⁶⁰ Бахметевский архив. Folder 37.

⁶¹ Скорее уж падение поэтической продуктивности обнаруживается именно в 1924 году: в списке 37 стихотворений датированы 1921 годом, 21 – 1922-м, 20 – 1923-м. На этом фоне 9 – очень большая разница.

⁶² См., напр.: Кукин М.Ю. Зримое и незримое в поэтическом мире: Последнее стихотворение Ходасевича // Начало: Сборник работ молодых ученых. М., 1993. Вып. 2. С. 157–180.

⁶³ Современные записки. 1939. Кн. LXIX. С. 254–255. Повторено в вышедшем под ее редакцией «Собрании стихов» ([Б.м.], 1961), где еще специально подчеркнуто и в комментарии: «Писалось в 1938 году, неокончено, не отделано».

⁶⁴ Имеется в виду статья «Летучие листы: Скучающие поэты» (Возрождение. 1930. 30 января, № 1696).

⁶⁵ То есть статья «Книга о Брюсове» (Возрождение. 1930. 9 января, № 1680).

⁶⁶ В системе обозначений Ходасевича подчеркивание (замененное у нас курсивом) означало завершение работы.

⁶⁷ Возможно даже, что он рассчитывал опубликовать его в «Возрождении» накануне юбилея: 3 апреля в газете было напечатано стихотворения «К Лиле»; «Не ямбом ли четырехстопным...» гораздо более уместно смотрелось бы там.

⁶⁸ В частной беседе И.П. Андреева в нем усомнилась, связав замысел с январскими статьями Ходасевича о Брюсове и молодых поэтах. Даже если это и так, возвращение к стихотворению в последний день, когда можно было бы отправить его в редакцию, чтобы оно успело быть напечатанным 3 апреля, требует истолкования.

⁶⁹ Некоторые аспекты связи этих стихотворений проанализированы М.Ю. Кукиным (Цит. соч. С. 174–175), однако констатируемый нами его внимания не привлек.

⁷⁰ Особенно отметим оценку «Как делать стихи», присутствующую в «Декольтированной лошади», где «“поэтика” Маяковского» определяется как «смесь невежества, наивности, хвастовства и, конечно, грубости» (Ходасевич. Т. 2. С. 166–167). Отметим, впрочем, что сохранившийся в Бахметевском архиве план собственной «поэтики» Ходасевича свидетельствует о немалых трудностях, которые автор, видимо, не был в состоянии преодолеть, почему она так и осталась неосуществленной (подробнее мы пишем об этом далее).

⁷¹ Ее анализ см.: Мальмстад Джон Э. Ходасевич и формализм: несогласие поэта // Русская литература XX века: Исследования американских ученых. СПб., 1993. С. 284–301.

⁷² Дж. Мальмстад писал: «...знаменитый сонет “Похороны” (1928) <...> полемизирует с ними <футуристами> через подражание их приемам, как будто поэт говорит: я тоже могу так писать, но лучше и умнее...» (Седьмые Тыняновские чтения. С. 198); аналогично склонен трактовать А.Е. Парнис и не опубликованный при жизни сонет «Зимняя буря».

⁷³ Собрание сочинений. Ann Arbor, 1983. Т. 1. С. 390. Сверено с автографом (Beineke Rare Books and Manuscripts Library. Gen Mss 182. Box 57. Folder 1324) и на этом основании несколько исправлено: вместо бессмысленного «как пой – могучий, плодливый и хмельной» прочитано «как ной» (тем самым подтверждена догадка М.Ю. Кукина: Цит. соч. С. 179).

⁷⁴ Бем А.Л. Письма о литературе. Praha, 1996. С. 38. Впервые – Рувль. 1931. 6 мая, № 3173.

⁷⁵ Седьмые Тыняновские чтения. С. 193.

⁷⁶ Дом не сохранился; ныне под этим номером значится здание, построенное в 1910 году.

⁷⁷ Собрание сочинений. Т. 1. С. 264. В варианте, переписанном для себя Н.Н. Берберовой, это произведение называется: «Эпиграмма на мой роман “Последние и первые” 1931», имеет некоторые разночтения (восходящие к первоначальным вариантам текста), а к зага-

дочной для сегодняшнего читателя третьей строке сделано примечание: «На землю, заводя ферму и хозяйство на земле» (Beineke Beineke Rare Books and Manuscripts Library. Gen Mss 182. Box 52. Folder 1161).

⁷⁸ Литературное наследство. М., 1994. Т. 98, кн. 2. С. 416 / Публ. Р.Л. Щербакова и Р.Д. Тищенко.

⁷⁹ См.: Там же. С. 419. Поэты знакомятся лишь в начале февраля 1909 г. в Петербурге (см.: Купченко В.П. Труды и дни Максимилиана Волошина: Летопись жизни и творчества 1877–1916. СПб., 2002. С. 217).

⁸⁰ На специальной доске, расположенной на этой улице, ныне значатся следующие театры: Gaité Montparnasse – № 26, Bobino – № 20, Théâtre Rive Gauche – № 6, Théâtre Montparnasse – № 31 (известен, между прочим, тем, что во время гастролей театра Мейерхольта там игрался прославленный «Ревизор»), Le Petit Montparnasse (в том же здании), La Comédie Italienne – № 17, Théâtre Guichet Montparnasse – 15, rue de Maine (фактически на той же улице).

⁸¹ Боровой Алексей. «Париж был и остается значительнейшим фактом моей биографии...» / Публ. С.В. Шумихина // Диаспора: Новые материалы. Париж; СПб., 2004. [Вып.] VI. С. 29.

⁸² РГБ. Ф. 386. Карт. 142. Ед. хр. 13. Л. 7.

⁸³ Воспоминания о Максимилиане Волошине. М., 1990. С. 323 (пер. В.П. Купченко). Многочисленные подробности жизни монпарнасского «урочища» содержатся в переписке героев этого описания и его автора. См.: Эренбург, Савинков, Волошин в годы смуты (1915–1918) / Публ. Б. Фрезинского и Д. Зубарева // Звезда. 1996. № 2. С. 147–178.

⁸⁴ Берберова Н. Цит. соч. С. 250. Отметим, что в тексте стихотворения «комета» не «тонколягая», а «жидколягая».

⁸⁵ КФЖ. С. 59–60 (более вероятна вторая дата, так как именно тогда в качестве спутника назван А.В. Бахрах). Еще однажды Ходасевич был в «театрике» с Н.А. Подгорным. Правда, ни в одном из трех случаев топографических координат нет. Помимо этого дважды зафиксировано посещение с А.В. Бахрахом «театра» (С. 62, 76 – день начала работы над «Звездами»).

⁸⁶ Подробнее см.: Лавров А.В. Брюсов в Париже (осень 1909 года) // Взаимосвязи русской и зарубежной литератур. Л., 1983; Богомолов Н.А. Заметки к тексту переписки // Валерий Брюсов – Нина Петровская. Переписка. М., 2004. С. 51–54.

⁸⁷ Сделанный Ходасевичем перевод «Парижского сплина» был напечатан: Возрождение. 1928. 2, 23, 27 февраля, 10 мая, 25 октября, № 975, 996, 1000, 1073, 1241; перепеч.: Иностранная литература. 1989. № 1. С. 126–140 / Публ. В. Перельмутера.

⁸⁸ Из письма Вяч. Иванова Ходасевичу от 12 января 1925 // Новый журнал. 1960. Кн. 62. С. 287.

⁸⁹ В не раз уже упоминавшихся пометах на книге для Берберовой Ходасевич отметил: «Последние стихи, посланные Гершензону, из Ирландии. Я знал, что ему понравятся, и действительно, Гершензон ответил ему: «Ваши стихи очень хороши, и вы понимаете, как близки мне; стих “Претит от истины и красот” я мог бы взять эпиграфом к своим “письмам из двух углов”» (Современные записки. 1925. Кн. XXIV. С. 233; De Visu. 1993. № 5. С. 35 с неточностью в расшифровке).

⁹⁰ «Пока душа в порыве юном...» – 22 августа 1924, «Дачное» – 31 августа, «Песня турка» – 8 сентября, «Соррентинские заметки» – 18 октября 1924, 16 февраля и март (без указания числа) 1925. Следующее стихотворение, «Баллада», закончено 17 августа.

⁹¹ До сих пор, кажется, не было замечено, что строфы 3 и 4 этого стихотворения дают отсылку к известным словам пушкинского Моцарта: «...виденье гробовое, / Незапный мрак...» с последующей музыкой. Ср. у Ходасевича: «А мне тогда в *тьме гробовой*... лад открылся *музыкайский*... я безумел от *видений*».

Поэзия и наука, или Почему Ходасевич не написал учебника поэтики

Впервые – Пограничные феномены культуры. Таллинн, 2010.

¹ Поэту или читателю? // София. 1914. № 4. С. 87–89; Известия литературно-художественного кружка. 1917. Февраль–октябрь. Вып. 17–18. С. 3–8; Горн. 1919. № 2/3. С. 56–57. Все статьи перепечатаны: Ходасевич Владислав. Собрание сочинений / Под ред. Джона Мальмстада и Роберта Хьюза. Ann Arbor. [1990]. Т. 2. С. 163–165, 261–267, 301–304. В московское собрание сочинений не вошла ни одна из них.

² См.: Ходасевич Владислав. Стихотворения. Л., 1989. С. 188–189, 301–302, 241, 272. В собрание сочинений вошли только два первых. Обсуждение стихотворения «Пэон и цезура» см.: Мазур С. Эротика стиха: Герменевтический этюд // *Quinquagenario Alexandri Pušini oblata*. М., 1990. С. 23–31 (перепеч.: Даугава. 1990. № 10. С. 88–94); Гаспаров М.Л. Русский стих начала XX века в комментариях. М., 2001. С. 105–107.

³ Columbia University Libraries. Bakhmetieff Archive Ms Coll M.M. Karpovich. Folder 26 № 1. Л. <18-21>. В оригинале листы не нумерованы.

⁴ Несколько подробнее см. в нашей книге ранее, на с. 228–229.

⁵ См.: Гумилев Николай. Сочинения: В 3 т. М., 1991. Т. 3. С. 261.

⁶ Шахматовский вестник. 1996. № 6. С. 19 / Публ. И.Е. Усок.

⁷ Гумилев Николай. Цит. соч. С. 26.

⁸ Там же.

⁹ Вписано сверху: «Гнедич, Минский», т.е. явно имеются в виду переводы «Илиады».

¹⁰ Здесь квадратные скобки проставлены самим Ходасевичем, а не обозначают зачеркивание, как в других случаях.

¹¹ О своеобразии цезуры в гексаметре (а далее и самого гексаметра) у В.А. Жуковского см.: Бонди С.М. О Пушкине: Статьи и исследования. М., 1983. С. 329–333. О цезуре в гексаметре у Дельвига см. замечание Б.В. Томашевского: «К такой же строгости соблюдения правил стремился Дельвиг в своих гексаметрах и пентаметрах» (Томашевский Б. А.А. Дельвиг // Дельвиг А.А. Полное собрание стихотворения. [Лт., 1934]. С. 97). Рецензируя это издание (Возрождение. 1934. 15 ноября, № 3452; перепеч.: Ходасевич Владислав. Пушкин и поэты его времени. Berkeley, [2001]. Т. 2. С. 444–448), Ходасевич против такой формулировки не возражал.

¹² Русские ведомости. 1916. 6 января. № 4; Цит. по: Ходасевич Владислав. Собрание сочинений / Под ред. Джона Мальмстада и Роберта Хьюза. Т. 2. С. 220; у Шершеневича читается: «инструментальной» (Шершеневич Вадим. Зеленая улица. М., 1916. С. 31).

¹³ См. предыдущее прим.

¹⁴ Эйхенбаум Б. «Методы и подходы» // Книжный угол. 1922. № 8. С. 19–20.

¹⁵ См.: Malmstad J. Khodasevich and Formalism: Poet's Dissent // *Russian Formalism: A Retrospective Glimpse*. New Haven: Yale Center for International and Area Studies, 1985. P. 68–81 (русский перевод: Мальмстад Дж. Э. Ходасевич и формализм: несогласие поэта // *Русская литература XX века: Исследования американских ученых*. СПб., 1993. С. 284–301); Ронен Ирена. Вкусы и современники: О Ходасевиче и формалистах // *Звезда*. 2004. № 10. С. 202–206; Ронен Омри. Ходасевич в оценке Тынянова и «крестьянская поэзия» в оценке Ходасевича // *Sub Rosa*. Budapest, 2005. С. 520–526.

Из переписки Ходасевича с Мережковскими

Впервые – Новое литературное обозрение. 2008. № 90. С. 115–147.

¹ ПБХ. Мы позволили себе исправлять в необходимых случаях орфографию и пунктуацию этой публикации, а также раскрывать неочевидные сокращения в тексте.

² *Beineke rare books and manuscript library*. Gen MSS 182. Box 52, folder 1160. Для будущих исследователей сохраним этот список.

1926

1, 29 апреля

22, 29 июня

19, 28 июля
 7, 16, 23, 30 августа
 8, 20, 24, 27 сентября
 6, 21, 22, 26 октября
 2, 8, 12, 17 ноября
 1927
 8 июля
 23 сентября
 7, 12, 19, 29, 31 октября
 1928
 17 января
 29 февраля
 14 марта
 13, 17 апреля
 4 июня
 11 декабря
 1929
 25 июня
 30 августа
 6, 19 сентября
 22 октября
 ? 1929
 10 сентября 1930

До настоящего время из него не было опубликовано ни одного письма. Данной публикацией мы закрываем лишь одну позицию (30 августа 1926 г.).

³ Cahiers du monde russe et soviétique. 1981. Vol. XXVI. № 4. P. 439 / Публ. Темиры Пахмусс. «Сексуальный» намек Гиппиус прояснить не удалось. Вместо «много», видимо, следует читать «мною».

⁴ На очень широком материале эта ситуация рассмотрена в кн.: Флейшман Лазарь. В тисках провокации: Операция «Грест» и русская зарубежная печать. М., 2003.

⁵ О «Возрождении» при редакторстве Струве см.: Казнина О.А. Начало газеты «Возрождение»: 1925–1927 // Литература русского зарубежья 1920–1940. М., 2004. Вып. 3. С. 58–96; Яковлева К.В. «...Собрать вокруг избранного нами лица умственную дружину, искусственную в разных политических вопросах и сильно дисциплинированную»: газета «Возрождение» в 1925–1927 гг. // Кафедра критики – своим юбилярам. М., 2008. С. 224–243 (там же библиография предшествующих публикаций); Яковлева Т.А. Пути возрождения: Идеи и судьбы эмигрантской печати П.Б. Струве, П.Н. Милокова и А.Ф. Керенского. Иркутск, 1996. Об отношении Мережковского к газете при редакторстве Струве см.: Начало газеты «Возрождение»: Неизданные письма Д.С. Мережковского, Н.А. Бердяева, М.П. Арцыбашева, В.Л. Бурцева, А.И. Каминки и Г.А. Ландау из архива П.Б. Струве / Публ. Г.П. Струве // Мосты. 1959. Кн. 3. С. 374–392; Казнина О.А. Цит. соч. С. 62–63.

⁶ Новые перемены в «Возрождении» // Дни. 1927. 3 декабря, № 1256.

⁷ Антон Крайний. «Знак»: О Владиславе Ходасевиче // Возрождение. 1927. 15 декабря, № 926. Перепеч.: Гиппиус З.Н. Чего не было и что было: Неизвестная проза 1926–1930 годов. СПб., 2002. С. 330–339. Далее ссылки на эту книгу даются сокращенно: Чего не было... с указанием страницы.

⁸ См. удачные очерки этих разноречий в публикациях еще двух писем Гиппиус к Ходасевичу – в преамбуле к публикации письма от 4 декабря 1928: Из переписки В.Ф. Ходасевича (1925–1938) / Публ. Джона Мальмстада // Минувшее: Исторический альманах. [Paris, 1987]. [Т.] 3. С. 272–277 (сам текст письма перепечатан: Ходасевич. Т. 4. С. 510–511), а также в статье: Ливак Леонид. Критическое хозяйство Владислава Ходасевича // Диаспора: Новые материалы. Париж; СПб., 2002. [Т.] IV. С. 393–399, куда инкорпорировано письмо Ходасевича к Гиппиус от 10 октября 1929 г.

⁹ Ходасевич отвечает одновременно на два письма Гиппиус – от 26 и 27 августа 1926. В

первом из них читаем: «Помните мою статейку о “Благон<амеренном>”? С вашей “информацией” в заключение? Помните, как Мельгунов ее завкасил, но на мой запрос ответил, что это лишь вина техники, что статья ему кажется даже “слишком мягкой”, что удовлетворен он вполне только моим Святополком? И письмо у меня цело. Так вот, вообще: получаю корректуру <...> и письмо, в котором я абсолютно не могу понять разумного толку. Письмо гласит, что Мякотин решительно и целиком восстал против статьи. Но что он, Мельгунов, и Познер – за ее напечатание. Что кончилось тем, что Мякотин вышел из состава редакции. Что корректура уже послана в верстку. И – теперь самое главное и неожиданное: что если я имею какие-нибудь возражения “против исправлений”, то чтобы я их поскорее сделала... для чего? (послано в верстку). А исправления... вот тебе и на! Кто их сделал? Мякотин? Но Мякотин всей статьи не хотел, и даже “ушел”. Значит, сам Мельгунов? Но по какой психологии? Откуда? Ибо эти “исправления” – ряд выпусков, касающихся Осоргина, “Красной Нови” и – главное – самого Святополка! “Папаша” пропустил, а Мельгунов взвился на защиту!» (ПБХ. С. 56). В этом письме речь идет о статье Гиппиус «Мертвый дух» (Голос минувшего на чужой стороне. 1926. № 4. С. 257–266; перепеч. – Чего не было... С. 237–247), где говорится о первом номере журнала «Благон<амеренный» (Брюссель, 1926), ряд материалов которого было обвинен в «сменовеховстве, пробольшевизме», в переложении материалов из советской печати и других грехах. «Информация» Ходасевича, о которой идет речь, – вероятно заключалась в словах: «...доклад ф. Святополка – есть *переложение* (м<ожет> б<ыть>, даже менее удачливый) статья Вардина, руководителя “На Посту”, напечатанной в одной из первых книжек “Красной Нови” за 1925 г.» (Чего не было... С. 246). В отличие от Гиппиус, Ходасевич регулярно следил за советской печатью. Историк Сергей Петрович Мельгунов (1879–1956), историк и публицист Венедикт Александрович Мякотин (1867–1937) входили в редакционный триумvirат журнала «Голос минувшего на чужой стороне». Третьим членом редакции был историк литературы Тихон Иванович Полнер (1864–1935), вместо которого в публикации ошибочно назван юрист, журналист и общественный деятель Соломон Владимирович Познер (1876–1946). Дмитрий Петрович Святополк-Мирский (подписывался также Д. Мирский; 1890–1939) – в молодости поэт, впоследствии литературный критик и историк литературы; вернулся в СССР и погиб в годы сталинского террора. «Папаша» – известное прозвище П.Н. Милокова, руководителя Русского демократического объединения, который находился в очень сложных отношениях с Мережковскими, временами они не без оснований считали его своим врагом. Ответ Ходасевича на это письмо Гиппиус – в постскриптуме.

¹⁰ Впервые, насколько мы знаем, тяжелейший фурункулез (121 фурункул) Ходасевич перенес весной 1920 (см.: Ходасевич. Т. 4. С. 188). Несколько ранее данного письма, 15 июня 1926 г. Ходасевич писал оставленной в СССР жене, Анне Ивановне: «Фурункулез мой кончился, но я пролежал, с небольшими антрактами, полтора месяца. Вылечился в пастеровском институте вакциной. Было нарывов штук за пятьдесят, некоторые с температурой» (См. выше в данной книге, с. 217). В ответном письме от 2 сентября Гиппиус спрашивала: «Ваше здоровье – весьма неприятная вещь. О чем же думает еврейка из Пастеровского Института?» (ПБХ. С. 58). Однако, судя по дневнику Ходасевича, на этот раз заболевание не было столь уж серьезным. См.: КФЖ. С. 91.

¹¹ Речь идет о событиях, связанных с оставшейся при жизни неопубликованной статьей Ходасевича «К истории возвращения» (впервые: Народная правда [Нью-Йорк]. 1951. № 17–18. С. 20–21; перепеч.: Ходасевич Владислав. Собрание сочинений. Ann Arbor, 1990. Т. 2. С. 430–433), написанной не ранее середины августа 1926 г. В ней говорилось: «...Горький однажды сказал мне, что в сентябре этого года (1925) истекает трехлетний срок, на который была условно выслана из России известная группа писателей, ученых и общественных деятелей, – и что в сентябре же некоторые из них станут проситься обратно и поведут агитацию за возвращение. <...> Горький настаивал на достоверности своих сведений и в точности назвал мне четыре имени: Е.Д. Кусковой, С.Н. Прокоповича, А.В. Пешехонова и М.А. Осоргина. <...> Именно в назначенный Горьким срок разразилась кампания, получившая название “возвращенческой” и поднятая именно теми лицами,

которых назвал мне Горький. <...> тут стало для меня ясно, что Кускова, Прокопович, Пешехонов и Осоргин сделали жертвами провокации» (Собрание сочинений. С. 430–431). В организации провокации Ходасевич обвинил Е.П. Пешкову. Как видно из текста публикуемого письма, первый вариант этой статьи был отвергнут редакцией газеты «Дни», где Ходасевич в то время сотрудничал, тогда он рассказал об этом Гиппиус и послал ей текст статьи. 27 августа Гиппиус написала ему: «Позвольте мне сделать выписки из вашего письма, главный конспект и все дело – в варшавской» «Свободе». Без вашего имени и даже, если хотите, без моего, – не ради меня, мне наплевать и ничего со мной не будет, – но чтобы до вас не добрались Миноры или не могли объявить, что добрались. Я пошло это *мимо* Арц<ыбашева>, ибо он тут довольно опасен, ни по чему другому, как только по излишнему *усердию*. <...> у меня есть очень повелительный человеческий инстинкт (который предполагаю и у вас) безотносительной истины, *не позволяющий* в случаях, подобных данному, мелких или крупных, смиряться до полного бездействия. *Даже* если приходится рисковать своими интересами, *даже* если риск больше, чем выйдет действие. <...> Итак, я спрашиваю, позволяете ли вы мне скомбинировать суть дела по вашему письму (от неизвестного к неизвестному), выпустив и даже затушевав имена “парижан”, – но *не* представляя ничего смягченно <...> Я постараюсь сделать это как можно ловчее и как можно меньше слов стирая из вашего текста; если вы мне поможете, прислав прибавление, – тем лучше. <...> У меня был соблазн воспользоваться всем этим и без вашего позволения, т.е. так, как будто вы совсем “невинны” и я даже вас не знаю... Но подобные соблазны я легко преодолеваю, и можете быть уверены, что без вашего разрешения я не двину пальцем» (ПБХ. С. 57).

¹² «Свободой» (т.е. названием, существовавшим до начала ноября 1921 г.) здесь названа варшавская газета «За свободу!», в деятельности которой Гиппиус принимала довольно активное участие.

¹³ Видимо, речь идет о статье М.П. Арцыбашева «С чертом и без оного» из цикла «Записки писателя» (За свободу! 1925. 12 сентября, № 236; перепеч.: Арцыбашев М.П. Записки писателя. Дьявол. Современники о М.П. Арцыбашеве. М., 2006. С. 342–352). Менее вероятно – о статье из того же цикла «Февральская революция, или “Нет в мире виноватых”» (За свободу! 1926. 23 марта, № 67; перепеч.: там же. С. 379–391). Впрочем, П.Н. Милоков был постоянным объектом нападок газеты, и Арцыбашева в частности.

¹⁴ Имеются в виду «Последние новости». Екатерина Дмитриевна Кускова (1869–1958) и Михаил Андреевич Осоргин (Ильин; 1878–1942) были регулярными ее сотрудниками (правда, в 1926 г. Кускова перешла в «Дни» А.Ф. Керенского). Попытку опровержения часто встречающихся нападок Ходасевича на деятельность Осоргина (в том числе и на обвинение в причастности к «возвращенчеству») см.: Осоргина Татьяна. Как это было: По поводу двух книг Нины Берберовой, *Курсив мой* и *Люди и ложь. Русские масоны XX-го века* // *Cahiers du monde russe et soviétique*. 1990. Vol. XXXI. № 1. P. 95–102.

¹⁵ Владимир Михайлович Зензинов (1880–1953) – один из руководителей партии эсеров, журналист.

¹⁶ Николай Васильевич Makeев (1889–1974) – журналист, впоследствии муж Н.Н. Берберовой. См. его статью о «Верстах» со вполне отрицательным отношением к этому журналу и его идеологической позиции: Makeев Н. Эмигрантский снобизм // *Дни*. 1926. 5 августа, № 272.

¹⁷ Татьяна Алексеевна Бакунина-Осоргина (1904–1995), историк и библиограф. М.А. Осоргин женился на ней совсем недавно, в том же 1926 году.

¹⁸ См. в статье «К истории возвращенчества»: «В конце 1924 года, в Сорренто у Горького около двух недель гостила его первая жена, Екатерина Павловна Пешкова. Я в то время жил там же» (Собрание сочинений. С. 430).

¹⁹ Точная цитата из письма Гиппиус от 27 августа.

²⁰ Вероятно, неточная цитата из революционной песни «Смело, товарищи, в ногу!...»: «Духом крепнем в борьбе» (слова и мелодия Л. Радина).

²¹ См. в статье «К истории возвращенчества»: «Как на толкающую силу я <...> прямо указывал на Дзержинского. Но когда я говорил, что Екатерина Павловна отзывается о нем с

уважением, с любовью, с нежностью, что он – ее близкий личный друг, что она и в разлуке проявляет о нем трогательную, даже сентиментальную заботливость, – тут уж мне просто не верили» (Собрание сочинений. С. 432). В более позднем мемуарном очерке «Горький» Ходасевич более подробно рассказал о том, как Е.П. Пешкова попросила его выбрать мундштук, оказавшийся предназначенным в подарок Дзержинскому, а также о том, что ее и Горького сыну М.А. Пешкову готовилось место в числе сотрудников ВЧК (Ходасевич. Т. 4. С. 367–371).

²² Осип (Иосиф) Соломонович Минор (1861–1934) – видный народоволец, впоследствии один из лидеров эсеров, член ЦК партии; принимал активное участие в издании газеты «Дни».

²³ Е.П. Пешкова была председателем Политического Красного Креста, а после его закрытия взяла на себя функцию единолично помогающей политзаключенным в СССР. Подробнее об этой стороне ее деятельности см.: Горчева А.Ю. Списки Е.П. Пешковой. М., 1997.

²⁴ См. примеч. 1 к данному письму. «Слова «о, люди» – видимо, отсылка к стихотворению А.С. Пушкина «Полководец»: «О люди, жалкий род, достойный слез и смеха».

²⁵ Вероятно, речь идет о письме Гиппиус к Берберовой и Ходасевичу (открывается обращением во множественном числе: «Amis») от 26 октября 1928 (ПБХ. С. 92–93).

²⁶ 25 сентября 1928 г. в Белграде открылся Первый зарубежный съезд русских писателей и журналистов, где Мережковские были среди наиболее почетных гостей, а в последний день съезда были награждены орденом св. Саввы – Мережковский первой степени, Гиппиус – второй. Подробнее см.: Литературная энциклопедия Русского Зарубежья 1918–1940: Периодика и литературные центры. М., 2000. С. 308–310 (статья Л.Г. Голубевой). Впечатления Гиппиус от Белградских передач в ее статье «О Югославии» (За свободу! 1928. 7 и 8 декабря, № 282–283; перепеч.: Чего не было... С. 448–457). Ср. также в письмах ее к Ходасевичу 26 октября («...Париж и Белград на двух разных планетах, без сообщения, притом»: ПБХ. С. 92) и 9 декабря 1928: «Ну, Югославия это такое “тридцатое царство”, что отсюда вам ничего не видно, да и мне уж почти: здесь сразу память отшибает, тутошним заваливает» (ПБХ. С. 94).

²⁷ Запись: «Переехали в Voulogne» датирована 16 октября 1928 (КФЖ. С. 131). Поиски квартиры шли с конца сентября.

²⁸ Речь идет о днях 3–6 и 12 ноября (КФЖ. С. 132).

²⁹ Удостоверения личности (фр.). Проблемы обмена этих удостоверений волновали эмигрантов постоянно. См., напр.: Карт д’идантите // Дни. 1927. 9 октября, № 1201.

³⁰ Сборник биографических очерков М.А. Алданова «Современники» вышел в 1928 в берлинском издательстве «Слово» (его появление отмечено в «Литературной хронике» «Возрождения» 1 ноября 1928, № 1248). Ходасевич рецензировал его 29 ноября (Пастыри человечества // Возрождение. № 1276). Он писал: «Мое положение затруднительно тем, что прекрасно, а то и совсем мастерски написанные очерки Алданова неизбежно приводят к неутешительным выводам. <...> ее <книги> полезность именно в том, что она мешает закрывать глаза на некие невеселые черты современности». Свое общее отношение к творчеству Алданова Ходасевич сформулировал в письме к той же Гиппиус так: «Алданов – не гений, но все же писатель чистый» (Ливак Леонид. Критическое хозяйство Владислава Ходасевича // Диаспора: Новые материалы. Париж; СПб., 2002. [Т.] IV. С. 398).

³¹ Дон-Аминадо. Накинув плащ: Сборник лирической сатиры. Париж: Нескучный сад, 1928. До того стихотворения печатались в газете «Последние новости».

³² Одоевцева Ирина. Ангел смерти. Париж: Монпарнас, 1928. Ю.И. Айхенвальд писал об этом произведении: «Ангел скромности еще менее присутствует в романе, чем ангел смерти. Внешне пристойность соблюдена, но по существу физиология и патология играют здесь роль большую и для эстетики опасную» (Литературные заметки // Руль. 1928. 14 ноября. № 2424). «Возрождение» вообще отказалось от рецензии на роман, написанный одним из наиболее активных авторов конкурирующей газеты «Последние новости» и печатавшийся (частично) на ее страницах. Годом позже Ходасевич писал Гиппиус: «Культурный уровень эмиграции ниже культурного уровня довоенной интеллигенции. Делать

вид, что Фохты и Одоевцевы – *тоже* русская литература, – значит соблазнять младенцев, значит еще более этот уровень понижать. Дело, конечно, не в толстогузых адвокатах: пусть упиваются Одоевцевой. Дело в молодежи, которая соблазняется и снижается. В московские годы) настороженно после полемики о «возвращенчестве» (см. письмo 1).

³³ Имеется в виду сборник рассказов: Осоргин М. Там, где был счастлив. Париж: Изд. книжного магазина «Москва», 1928. В «Возрождении» книгу рецензировал Г. Раевский (1928. 1 ноября. № 1248). Ходасевич относился к творчеству Осоргина (с которым дружил в московские годы) настороженно после полемики о «возвращенчестве» (см. письмo 1).

³⁴ Судя по всему, через какое-то время Ходасевич все-таки получил задержавшееся письмo Гиппиус (см. примеч. 1) и ответил на него, почему Гиппиус говорила в письме от 9 декабря: «Я уж не помню, что писала вам в “древнем” письме» (ПБХ. С. 93).

³⁵ Ответ на письмo Гиппиус от 1 декабря 1929 г. (ПБХ. С. 103–104). См. в нем: «Что касается меня, то, хотя обстоятельства все против моего здоровья, есть одно, которое *за*, и оно борется с остальными: я научилась есть! Конечно, прикладывала и волю <...> но работало и внешнее обстоятельство: у нас появилась новая “красавица” (старая вышла замуж) du rous, но нового фасона: <...> готовит так, что Володя иногда за столом теряет сознание от чревоугодия, а Д.С. откровенно объедается. Ну, и я не могу устоять перед ее тортами, которых не ела ни у одного парижского конфизера. <...> Позовем, Бог даст, вас обедать в Париже <...> и вы поймете, что я должна была подучиться есть» (ПБХ. С. 103).

³⁶ Реакция на следующее место письма Гиппиус: «...два слова о вашем “данном” и “должном”. Разве мы спорили о “данном”? Данисколько. А насчет “должного”... конечно, и я не знаю, что нужно, чтоб оно было, и даже какое оно – знаю не очень определено. Это вроде спора о большевиках. Они – данное; а что с этим данным делать... мельгуновцы говорят: бороться (хоть глупо), а милюковцы – ничего не делать, пождать, “П<оследние> Н<овости>” издавать. Мельгуновцы – это я, милюковцы – это вы» (ПБХ. С. 103). Слова о «скотном дворе» относятся к предыдущему письму Гиппиус от 26 сентября: «Если (пусть даже по своей ошибке) завернула поганая наша дорога и уперлись мы в дверь скотного двора, то на что решаться? Вы предлагаете – бежать назад или, поодионочке, завалиться в ближние кусты; ну, а если рискнуть все же и *через* неблагоуханный двор?.. Можно платок к носу прижать, случаем подол запачкаешь – ничего, зато все-таки идешь; а среди нечистых пар – вдруг да еще случится там пара более чистых? Ведь бывает же! (редко, положим)» (ПБХ. С. 102).

³⁷ Эта проблема обсуждалась в предшествующих письмах Гиппиус: похвалив в письме от 28 августа Ходасевича за статью «О поэзии Бунина» (Возрождение. 1928. 12 августа, № 1535), она завела разговор о месте и роли символизма в истории русской поэзии и связи Бунина с этим направлением (письмо от 1 сентября), на что Ходасевич отвечал неизвестным нам письмом, содержание которого отчасти восстанавливается по письму Гиппиус от 17 сентября: «Относительно Степуна в смысле “аристократии” вы, конечно, правы; но для уверенного несбывания с пути-вех “аристократии” как будто мало. Надо еще что-то. Ибо уже в вашем письме есть некоторая а-логичность, я усмотрела ее как “прокрашивуюсь” опечатку. Вы указываете, что символисты, между прочим, и есть настоящие, единственные аристократы (“белая кость”). Степун – кость черная, да он и не символист, в лучшем случае – запоздало декадентствующий. Верно. Но... и Бунин, из-за которого весь наш разговор затеялся, но вашей статье, из-за которой тот же разговор пошел, – не символист, а даже “совсем напротив”. Между тем опять и затеялся весь разговор из-за его, бунинской аристократии. Вывод, конечно, простой: если символисты – аристократы, еще не значит, все аристократы – символисты. С этим не буду спорить; только подчеркиваю вышеуказанное мое смущение: этот признак не годится или не всегда годится; как же ее, “аристократию”, распознать? Кто для современного Пушкина (toute proportion gardée), – Дмитриев, кто нет? По каким причинам, разным или одинаковым, *нельзя* сказать печатно, что бунинские стихи лишены поэтической магичности – и *нельзя* обозвать Даманскую “старой курицей” (хотя она старая курица)? Знаю, что нельзя, но почему – не объясняю себе» (ПБХ. С. 100–101). В этом письме, отталкиваясь от впечатлений, связанных с неудачным романом Ф. Степуна «Николай Переслегин», Гиппиус (вслед за Ходасевичем) ссылается

на полемику о «литературной аристократии», активно шедшую в начале 1830-х годов при участии Пушкина и Вяземского. Говоря о том, что Бунин «вскинулся на символистов», Ходасевич имеет в виду его «Заметки» (Последние новости. 1929. 19 сентября, № 3102; 9 ноября, № 3153; перепечатано: Бунин И.А. Публицистика 1918–1953 годов. М., 1998. С. 300–319).

³⁸ Вопросы о личности Леонида Федоровича Зурова (1902–1971) в письмах Гиппиус мы не обнаружили. Повесть «Кадет» вышла в Риге в 1928 г., по приглашению И.А. Бунина Зуров приехал к нему в Грасс 23 ноября 1929 г., т.е. совсем незадолго до письма. Галина – поэтесса и прозаик Галина Николаевна Кузнецова (1900–1976). О Зурове см. последнюю по времени статью: Белобровцева Ирина. «Видно, моя судьба, что меня оценят после смерти» // Звезда. 2005. № 8.

³⁹ Речь идет о стихотворении «Опустошение» (Возрождение. 1929. 5 декабря, № 1647).

⁴⁰ В письме, на которое Ходасевич отвечает, Гиппиус писала: «...оголтелое черносотенство “Возрождения” меня не трогает. <...> До чего, например, могла довести редакционная злора такого умного и честного человека, как бедный Муратов, до какого ослепления, до каких предположений и слов о “худшем позоре”, чем большевики (sic), от которого “спас Россию” Керенский, разгромив тех, кто против б<ольшев>ков хотел бороться. Что Мур<атов> мог сказать обо мне – вы знаете, как я к этому равнодушна лично, да еще в книге, где я “авторства” своего почти не чувствую; но смотреть вот на такое “превращение” человека под винными парами чистой “реакции” – невольно почувствуешь сострадание» (ПБХ. С. 103–104). Речь идет об обширной рецензии на «Синюю книгу» Гиппиус (Белград, 1929): Муратов П. Петербургский дневник // Возрождение. 1929. 26 ноября, № 1638. После получения этого письма Гиппиус объяснялась с Ходасевичем в письме от 11 декабря: «История такова: когда у нас жил Маковский, я, сокращаясь о себе и горя завистью к Тэффи, одновременно и одно и то же печатающей в двух газетах, сказала как-то: да почему и я не могу? Или почему не могу хоть старое, как Бунин, печатать? <...> Мак<овский> за это схватился <...> А потом я все забыла, и даже забыла, что какое-то стихотворение еще остается и *может* быть напечатано после статьи Муратова. Мне давно уже “неприлично” сотрудничать в “Возрождении”, и я фактически там не участвую, и не хочу, и не буду участвовать» (ПБХ. С. 105).

⁴¹ Говоря о «Синей книге» Гиппиус писала Ходасевичу 1 декабря: «Я настоятельно просила Маковского постараться, чтобы в “Возр<ождении>” *ничего* не было о ней. А он и постарался! Впрочем, он, кажется, ничего там не может» (ПБХ. С. 104). Поэт и искусствовед Сергей Константинович Маковский (1877–1962) был секретарем газеты «Возрождение».

⁴² Юлий Федорович Семенов (1873–1947) – редактор «Возрождения» после ухода отсюда П.Б. Струве.

⁴³ Ответ на замечание Гиппиус: «На ваши статьи я всегда бросаюсь с надеждами (обыкновенно редко читаю “Возр<ождение>”), но – не сердитесь – вашей “игры” там почти не нахожу. Ушла ли она в “Державина”? Но всей ей там не уместиться...» (ПБХ. С. 104). В октябре-ноябре 1929 г. Ходасевич напечатал в газете следующие статьи: Летучие листы: Пушкин в изд. «Петрополис» // 24 октября, № 1605; Бред // 31 октября, № 1612; О студенческом клубе // 3 ноября, № 1615; В поисках критики // 14 ноября, № 1626; Архивная провокация: Поэтическая беседа // 28 ноября, № 1640. Над книгой «Державин» Ходасевич работал с января 1928 года.

⁴⁴ Отсылка к первой строке стихотворения В.Я. Брюсова «На нежном ложе»: «Ты песен ждешь? – Царица, нет их» (Брюсов Валерий. Полное собрание сочинений и переводов. СПб., 1914. Т. IV. С. 253–254). Ходасевич перефразировал начало этого стихотворения в письме к Б.А. Садовскому от 3 июня 1914 (см.: Ходасевич Владислав. Некрополь. Литература и власть. Письма Б.А. Садовскому. М., 1996. С. 346).

⁴⁵ Мережковскому и Злобину.

⁴⁶ Приписка Н.Н. Берберовой. Гиппиус откликнулась на нее в письме от 11 декабря: «Нину поцелуйте и скажите, что она мне поставила вопрос: как говорится: “сказать на 10-ти строчках” или “в 10 строчках”?» (ПБХ. С. 105).

⁴⁷ Помета Н.Н. Берберовой красным карандашом: «См. письмо 72 З.Н.Г.». Черновик отве-

та на письмо Гиппиус от 11 сентября 1931 (ПБХ. С. 107). Ходасевич реагирует на пассаж Гиппиус: «В двух же пунктах вы и совсем неправы; зная вас, думаю – не будете спорить. Первый: в печати *не было* указано, что А. Крайний и я – одно лицо (с некоторых пор, ибо ранее это был сборный псевдоним). Все, конечно, знают, но у меня имелись причины желать, чтобы печатно об этом не говорилось, и так, до вас, это было» (ПБХ. С. 107). Речь идет о том, что в статье «О писательской свободе» (Возрождение. 1931. 10 сентября, № 2291). Ходасевич писал: «Еще весною, в одном кружке, З.Н. Гиппиус прочитала свою статью, смысл которой сводился к заявлению о том, что парижские писатели находятся “в рабстве” и под “цензурой” у редакторов трех наиболее видных органов здешней печати. Эти органы не были названы, но, конечно, все поняли, что речь идет о “Возрождении”, “Последних Новостях” и “Современных Записках”. <...> З.Н. Гиппиус им противопоставила редакцию молодого журнала “Числа” <...> Но вдруг, недели всего через две или три в той же газете “За Свободу” появилось письмо сотрудника “Чисел” Антона Крайнего. Оказывается, “Числа” не напечатали одну заметку Антона Крайнего. Поэтому он прямо назвал оценку “Чисел”, данную З.Н. Гиппиус, опрометчивой <...> Эту вторую часть инцидента я выше назвал забытой, что вполне станет ясно читателю, если он припомнит, что З.Н. Гиппиус и Антон Крайний – одно лицо. (Делая такое напоминание, я не совершаю нескромности: псевдоним был неоднократно раскрыт самой З.Н. Гиппиус)». Насчет открытости псевдонима Гиппиус прав был, несомненно, Ходасевич: действительно, на титульном листе книги «Литературный дневник» (СПб., 1908) было обозначено: «Антон Крайний (З.Н. Гиппиус)». Вводя читателя в курс дела, Ходасевич имел в виду статьи: Гиппиус З.Н. У кого мы в рабстве? Слово, произнесенное на собрании кружка «Зеленая Лампа» // За свободу! 1931. 21 июня, № 161; Антон Крайний. «У кого мы в рабстве». Четвертая цензурная дверь (О «Числах»). Письмо в редакцию // Там же. 8 июля, № 177. Перепеч.: Гиппиус З.Н. Арифметика любви: Неизвестная проза 1931–1939 годов. СПб., 2003. С. 351–358.

⁴⁸ Речь идет о книге: Евгеньев-Максимов В., Максимов Д. Из прошлого русской журналистики: Статьи и материалы. Л., [1930], где в статье «Новый Путь» Д.Е. Максимов (а не его старший брат, В.Е. Евгеньев-Максимов, как пишет Ходасевич) в значительной степени опирался на письма Гиппиус к П.П. Перцову, предоставленные ему адресатом, о чем специально говорил: «Автор этой статьи считает своим долгом выразить глубокую признательность П.П. Перцову за предоставленные им весьма ценные архивные материалы, без которых вряд ли удалось осветить литературно-бытовую сторону “Нового Пути”» (Назв. изд. С. 131). Полностью эти письма опубликованы: Русская литература. 1991. № 4. С. 124–159 (публ. М.М. Павловой). Историю перепечатки части этих писем в парижских газетах Ходасевич излагает далее. Сам он в названной в прим. 1 статье писал: «Право редактора на просеивание материала несомненно. Оно таким и останется, пока существует в человечестве различие мнений. Сама З.Н. Гиппиус в свое время широко пользовалась этим правом, когда состояла редактором «Нового пути». В «Последних Новостях» (25 сентября 1930 г. и 30 июня 1931) помещены отрывки из ее писем к покойному П.П. Перцову, ее соредактору», и далее сделано примечание: «Позволяю себе привести эти отрывки только потому, что они уже были напечатаны без возражений со стороны З.Н. Гиппиус». Отметим, что П.П. Перцов в 1931 г. был жив (он скончался в 1947). В письме, на которое он отвечает, Гиппиус по этому поводу говорила: «Второй пункт – относительно моих частных писем, выкрадываемых большевиками из архивов живых и умерших лиц. Большевикам свойственно, конечно, их печатать, но я доселе не могу понять, как может пользоваться этим печать эмиграции, перепечатывать краденные чужие письма живых людей» (ПБХ. С. 107).

⁴⁹ Постоянный криптоним журналиста Николая Николаевича Кнорринга (1880–1967).

⁵⁰ То есть З.Н. Гиппиус и П.П. Перцова. Петр Петрович Перцов (1868–1947) – поэт, критик, искусствовед, мемуарист, издатель журнала «Новый путь» (до лета 1903 года). В 1920–1930-е гг. печатал в различных изданиях материалы из своего архива и воспоминания о раннем символизме.

⁵¹ Речь идет о пассаже Гиппиус в письме к Ходасевичу: «“Возражения” тут были бы не у

места, тут может быть с моей стороны лишь протест. Против самого факта... но *вы прекрасно знаете*, что такого протеста я нигде не могу напечатать, не могу даже заявить, что не печатаю его по “независящим обстоятельствам”» (ПБХ. С. 107). Сетования Гиппиус на невозможность печататься, как и говорит далее Ходасевич, были несколько преувеличены: в том же 1931 году она печаталась в «Иллюстрированной России», «Сегодня», «Последних новостях», «Числах», «За свободу!», «Современных записках». Существенные трудности она испытывала лишь при публикации сугубо политических статей.

⁵² Д.В. Философов упоминается тут как редактор газеты «За свободу!»

⁵³ При просмотре газеты «Возрождение» за сентябрь–октябрь 1931 г. такого письма обнаружить не удалось. Не вошло оно и в собрание прозы Гиппиус этого времени (см. примеч. 1), не учтено и в библиографии (Гехтман М.В. Библиография прижизненных изданий и публикаций З.Н. Гиппиус. М., 2007. С. 100), так что, видимо, предложение Ходасевича не было принято.

⁵⁴ Речь идет о статье: Парижанин. О важном (Письмо) // За свободу! 1931. 13 сентября, 243, посвященную резкой критике многих материалов, напечатанных во втором номере парижского журнала «Утверждения», органа евразийцев. Кто скрывался под этим псевдонимом, нам неизвестно. В начале статьи автор писал: «Благодаря несовпадению некоторых моих взглядов со взглядами здешней, да и почти всей вообще эмигрантской печати, я лишен, к сожалению, возможности высказать мое отношение к журналу, о котором идет речь»

⁵⁵ Имеется в виду статья: Цетлин Мих. «Версты» // Дни. 1926. 22 августа, № 1087. Он, между прочим, писал: «О “С-овременных” Записках” пишет Кн. Святополк Мирский. Воистину, этот журнал, оказывавший Кн. Д.С. Мирскому широкое гостеприимство, не внушает ему ничего, кроме слов осуждения или ядовитой хвалы. <...> Иные характеристики прямо анекдотичны. Слова о том, что Мережковский существовал только как “железоб” и перестал существовать 22 года тому назад, напоминают известный анекдотический диалог: “Считайте, что вы получили пощечину”. – “А вы считайте, что вызваны мной на дуэль и убиты”. – Что ж, пусть критик считает Мережковского убитым им и не существующим, это не помешает Мережковскому считаться на Западе, и не только в широкой публике, полномочным представителем русской культуры». Святополком Окаянным (по имени князя Туровского и великого князя Киевского; 975–1019) Мережковский называет кн. Дмитрия Петровича Святополк-Мирского (писал также под именем Д. Мирский; 1890–1939), литературного критика, видного евразийца, приехавшего из эмиграции в СССР в 1932 и погибшего в катынских концлагерях.

⁵⁶ Эта глава была опубликована лишь сравнительно долгое время спустя. См.: Мережковский Дм. Мир лучше войны // Дни. 1926. 10 октября, № 1129.

⁵⁷ В опубликованном отзыве говорилось: «О неоконченных романах (их два в этой книге: «Мессия» Д. Мережковского и «Заговор» М. Алданова) писать вообще трудно. Особенно трудно писать о грандиозно задуманном романе Мережковского. Он весь построен в большом плане – не только в смысле проблем и идей, размеров исторической картины – воплощения, но в смысле литературных приемов. Вероятно, поэтому еще трудно понять и оценить его значение. Говорить же о мастерстве Мережковского, об мастерстве его взыскующего прозрения, сейчас обращенного далеко, далеко назад, – не значит ли повторять известное?» (Макеев Н. «Современные записки». Книга 29-ая // Дни. 1926. 21 октября, № 1138).

⁵⁸ В московских комплектах газеты «За свободу!» эта заметка не найдена (по всей вероятности, она была напечатана в литературном приложении к № 198 от 22 августа 1926, которое в комплектах отсутствует). Заметка «Русская литература и искусство на Западе. Мережковский в иностранных переводах» (За свободу! 1926. 4 июля, № 150) не может быть имеющейся здесь в виду, т.к. в ней хотя и идет речь о «Тайне трех», но она означена как переложение информации из газеты «Дни» (куда Мережковский просит ее передать), и речи о беседе с Т. Манном нет.

⁵⁹ Речь идет о публикации «Томас Манн о Шмелеве и Мережковском» (Возрождение. 1926. 12 августа, № 436; публикация дана со ссылкой на то, что она перепечатана из газе-

ты «Руль»). Большая часть этой публикации посвящена И.С. Шмелеву. О «Тайне трех» в этом варианте изложения высказываний Т. Манна не упоминается.

⁶⁰ Ходасевич выполнил эту просьбу Мережковского. См.: Русская культура на Западе // Дни. 1926. 11 сентября, № 1105. Ни слова о Шмелеве в этом материале не было.

⁶¹ «Новый дом» – парижский журнал под редакцией Довида Кнута, Нины Берберовой, Юрия Терапиано и Всеволода Фохта, три номера которого вышли в 1926–1927 гг. 24 июля 1926 В.А. Злобин писал Н.Н. Берберовой:

«Дорогая Нина Николаевна,

известие о «Новом доме» было встречено в нашем доме (не новом, но вечно молодом) с большим сочувствием. На этих днях я как раз говорил Мережковским о необходимости будущей зимою издавать листок хотя бы на гектографе, где бы можно было отводить душу и не стесняясь высказываться о Святополках и прочей дряни, с таким упоением разлагающейся у всех на глазах. И вот сегодня – Ваше письмо с известием о журнале. Конечно, я с удовольствием буду в нем участвовать и благодарю сердечно за приглашение. Мережковские тоже будут участвовать. З.Н., впрочем, сама Вам сегодня напишет. <...>» (Hoover Institute on War, Revolution and Peace. Boris I. Nicolaevsky Collection. Series 233. N.N. Berberova papers. Box 402. Folder 49). Мережковский напечатал в первом номере «Нового Дома» статью «О свободе и России».

⁶² Сколько мы знаем, перевода этой эклоги Вергилия Мережковский не публиковал.

⁶³ Речь идет о том, что после завершения романа «Мессия» Мережковский начал работу над книгой «Наполеон».

⁶⁴ В первом номере «Нового дома» были напечатаны протоколы первых собраний кружка «Зеленая лампа», в том числе и с текстами выступлений Мережковского.

⁶⁵ См.: Ходасевич Владислав. О «Верстах» // Современные записки. 1926. Кн. XXIX. С. 433–441. Перепеч.: Ходасевич Владислав. Собрание сочинений. Ann Arbor, 1990. Т. 2. С. 408–421. О полемике, которую вызвала эта действительно очень резкая статья, см.: Там же. С. 544–545. Отметим, что в цитированном выше (см. прим. 3) отзыве Н. Макеева явно была сделана цензурная купюра. После слов: «Невозможно (да и не следует) обойти молчанием статью В. Ходасевича о “Верстах”», – следовали три строки точек.

⁶⁶ Речь идет о лекции, прочитанной Мережковским в Salle de Géographie 17 декабря 1927. Под заглавием «Наш путь в Россию: непримиримость или соглашательство?» была напечатана в газете «Возрождение» (1927. 18–22 декабря. № 929–933), предварительно газета опубликовала интервью с Мережковским по поводу его лекции (Беседа с Д.С. Мережковским. Непримиримость или соглашательство // Возрождение. 1927. 14 декабря, № 925). Перепеч.: Мережковский Д.С. Царство Антихриста: Статьи периода эмиграции. СПб., 2001. С. 270–311, без воспроизведения пометы в начале публикации: «Лекция, прочитанная 17 декабря, с незначительными прибавлениями во второй части – о Церкви. Д.М.». Для публикуемых писем представляют интерес отчеты о лекции, помещенные в «Днях»: Корин. Наш путь в Россию. Лекция Д.С. Мережковского // Дни. 1927. 19 декабря, № 1272; Скобцова. На лекции Мережковского // Дни. 1927. 20 декабря, № 1273. Первый отчет был посвящен «политической» части лекции, второй (принадлежащий будущей матери Марии) – «религиозной». 3 октября З.Н. Гиппиус писала Ходасевичу: «Д<митрий> С<ергеевич> рвется в Париж, увлечен мыслью о “цикле” публичных лекций, от фирмы З<еленая> Л<ампа>, причем вторая, после его, должна быть ваша. Я говорю: да ведь он начнет прежде всего так отнекиваться, что седьмой пот прошибет. Но Д<митрий> С<ергеевич> все готов выдержать, так что готовьтесь к атаке» (ПБХ. С.80). Отметим также хроникальное известие: «В ноябре текущего года Д.С. Мережковский предполагает прочесть в Париже публичную лекцию о большевизме “Эволюция или Революция?”» (Дни. 1927. 9 августа, № 1201).

⁶⁷ См.: Мережковский Д.С. Наполеон-человек // Современные записки. 1928. № 34–35. Отметим также еще одну публикацию: Судья Наполеона. Из книги «Наполеон человек» // Новый корабль. 1927. № 2. О судьбе публикации в «Современных записках» И.И. Фондаминский сообщил Мережковскому в письме от 16 августа 1927, которое будет опубликовано в составе редакционной переписки журнала, готовящейся в настоящее время к пуб-

ликации.

⁶⁸ В газете «За свободу!» фрагменты из книги «Наполеон» не печатались.

⁶⁹ См. ниже, прим. 91.

⁷⁰ Злобина.

⁷¹ Имеется в виду обширная публикация: Деревянная нога. Роман В. Вилльямса (перевод с английского) // Последние новости. 1926, 1 марта – 22 апреля, № 1817–1856.

⁷² Речь идет о ряде статей, посвященных обсуждению вопроса о судьбах России как империи: Муратов П. Ночные мысли. V. Запретные слова // Возрождение. 1927. 18 сентября, № 838; Салтыков Александр Народ и нация // Там же. 20 сентября, № 840; Он же. Скифские пути (Современные Записки, 32-я книга) // Там же. 22 сентября, № 842; Он же. Русь и Россия // Там же. 26 сентября, № 846; Муратов П. Ночные мысли. VI. Империализм и национализм // Там же. 30 сентября, № 850. И после написания данного письма такие статьи продолжали появляться. См., напр.: Салтыков Александр. Эллинские мысли // Там же. 6 октября, № 856; Он же. Тайна нации // Там же. 12 октября, № 862; Муратов П. Ночные мысли. VII. Русские противоречия // Там же. 21 октября, № 871. Первая статья была снабжена редакционным примечанием: «Настоящая статья является первой из ряда статей, которые редакция предполагает посвятить вопросам российской национальной культуры. В ближайшие дни будут напечатаны статьи А. Салтыкова». В ней Муратов писал: «Интеллигенция русская создала целые списки запретных слов – запретных, ибо заранее и навсегда осужденных. Быть заподозренным в сочувствии тому, что обозначалось этими словами, считалось тяжким интеллигентским грехом. Вам говорили, например, «вы империалист». Все кончено, попробуйте-ка «оправдаться!» <...> Большевики унаследовали от русской интеллигенции эту склонность поражать врагов проклятыми словами. «Мистика», «буржуазия», «империализм» – любимейшие выкрики их сектантского анафематствования». И далее обсуждались проблемы судьбы России как империи.

⁷³ Лекция Мережковского действительно была напечатана в «Возрождении» (см. прим. 66). З.Н. Гиппиус начала печататься в «Возрождении» со статьи «Третий путь» (1927. 4 декабря, № 915). Комментарий по этому поводу см.: Вишняк М.В. Пути и перепутья З.Н. Гиппиус // Дни. 1927. 14 декабря, № 1267.

⁷⁴ Видимо, речь идет о возможности печатания книги отдельным изданием в издательстве «Возрождения» (она и была опубликована там в 1928 году). Отметим, что 28 сентября Мережковскому писал И.И. Фондаминский, прямо говоривший, что единственным возможным местом книжной публикации этой книги является «Возрождение».

⁷⁵ Илья Данилович Гальперин-Каминский (1858–1936), переводчик русских писателей на французский язык, журналист (работал преимущественно во французской печати). С газетой (или журналом) «L'avenir» нам ознакомиться не удалось, однако более или менее можно понять, о чем идет речь: в августе 1927 г. Гальперин-Каминский обратился к ряду русских писателей с просьбой написать об их реакции на письмо группы русских писателей, живших в СССР, выступивших с письмом «К писателям мира». Ему ответил ряд лиц, в том числе Мережковский (Возрождение. 1927. 17 октября, № 867), к тексту которого было сделано редакционное примечание: «Настоящее письмо печатается сегодня на французском языке в газете “Авенир”. Оно представляет собою один из ответов на анкету, предпринятую господином Гальпериным-Каминским. Русский текст его был прислан в “Возрождение” С.Д. <так!> Мережковским». Предполагалось, что среди отвечающих будет и Ходасевич (подробнее см.: Берберова Нина. Курсив мой. Нью-Йорк, 1983. Т. 1. С. 326–327), однако от этого намерения он отказался, и 5 апреля 1928 писал Н.Н. Берберовой: «Именно его <Гальперин-Каминского> письмо окончательно убедило меня не печатать ответ на его анкету. <...> Г[альпери]н пишет Роллану, чтобы тот прислал ему письмо Горького. Это горьковское письмо Г-н печатает не в L'Avenir, у которого нет ни читателей, ни редактора, ни простора, – а в Candide, и тут же, рядом – мою большую обстоятельную статью, которую я напишу специально. Candide не L'Avenir, статья – не ответ на анкету, раздавить Горького по поручению французской редакции – не то, что в ряду других лепетать, отвечая на устарелую анкету» (Минувшее: Исторический альманах. [Paris, 1988]. [Т.] 5. С. 245 / Публ. Д. Бетеа). Изю всех этих планов ничего не вышло. См. также Прило-

жение.

⁷⁶ Речь идет о статье: Ходасевич Владислав. Письмо // Возрождение. 1927. 29 сентября, № 849.

⁷⁷ Кафе в Ле Канне, о котором Гиппиус писала Адамовичу: «Если вы хотите повидать и Ходасевичей, есть два средства: вам приехать раньше и около 6 быть в Café des Allées, где мы с ними обыкновенно сходимся» (Intellect and Ideas in Action: Selected Correspondence of Zinaida Hippus. München, 1972. С. 369). И в дальнейшем это кафе часто бывало местом встреч Мережковских и их гостей.

⁷⁸ О «пародиях» Н.Н. Берберовой сведений у нас нет. Не знаем мы ничего достоверного и о «Зелинском с фунтиками», однако не исключено, что это тот самый человек, о котором 3 октября Гиппиус писала Ходасевичу: «Тут, в Café des Allées, неожиданно появился безработный, допотопный старец, помнящий не только мое первое прибытие в СПб и мои “сенсационные” выступления, но даже... Д. С-ча на студенческой скамье! Он же, старец, оказался тайным другом и помощником Терапианы...» (ПБХ. С. 81). И далее, в письме от 11 сентября: «...старец в делах “Нов<ого> Дома” играл некоторую роль <...> оный старец оккультист и теософ. Сам же он реален, ибо я и Д.С. его помним, как на ладонке. Несомненно он, тот самый. Одна его дочь замужем в Праге, другая – собирается в монастырь и живет в Серг<невском> подворье <...> старец “пробует” дело комиссионерское, по предложению отелям разных вин (знаток). Не составьте по всему этому ложного представления: старец – человек испытанный, порядочный, весьма известный, служивший в свое время царю и отечеству, а затем Деникину. Очень “уютный” (хотя бездарный). Видимся в café. Знает всех и все языки» (ПБХ. С. 82–83). Отметим также письмо Гиппиус к Ходасевичу от 28 августа 1929 из того же Le Cannel: «И таинственный “Зелинский” с фунтиком, трубкой и биноклем ежедневно наслаждается на том же месте» (ПБХ. С. 98).

⁷⁹ В 1927 выяснилось, что журнал «Новый дом» существовать не сможет. Н.Н. Берберова вспоминала: «...уже после первого номера (1926) “Новый дом” оказался нам не под силу: Мережковские, которых мы позвали туда (был позван, конечно, и Бунин), сейчас же задавили нас сведениями литературных и политических счетов с Ремизовым и Цветаевой, и журнал очень скоро перешел в их руки под новым названием (“Новый корабль”») (Берберова Н. Курсив мой. Т.1. С.317). 24 июля Гиппиус писала Г.В. Адамовичу: «“Новый Дом”, в ожидании великих преобразований и богатых милостей, пока что высвобождается от несчастного факта (слово неверно прочитано публикатором и следует читать “Фохта”. – Н.Б.), превращается в Наш Дом и выходит в приблизительно прежнем виде. Грандиозные его проекции не исчезают, но откладываются до осени. Наш Дом – однако, нитка, которую нужно тянуть» (Intellect and Ideas in Action. С.351). Этот журнал должен был выходить ежемесячно, начиная с 20 августа, каждого 20-го числа следующего месяца (см. письмо З.Н. Гиппиус к Г.В. Адамовичу от 8 августа 1927 // Intellect and Ideas in Action. С. 360). Первый номер вышел в самом конце августа или самом начале сентября (объявление о выходе – Последние новости. 1927. 1 сентября, № 2353). Следующий появился в самом конце 1927 года (объявление о выходе – Дни. 26 декабря. № 1279).

⁸⁰ Букв: Повергните меня к ногам Мадам (фр.).

⁸¹ Марк Вениаминович Вишняк (1882–1975) – политический деятель (эсер), журналист, литературный критик, один из редакторов журнала «Современные записки».

⁸² Приписывание этого афоризма Наполеону ошибочно, он встречается многократно в различных источниках, лишь слегка варьируясь по форме и обрастая различными дополнениями (см., напр., 73-е из «Нравственных писем к Луцилию» Сенеки).

⁸³ Речь идет о напряженной полемике вокруг т.н. «декларации митрополита Сергия», впоследствии Патриарха Московского и всея Руси, называвшейся «Об отношении православной Российской церкви к существующей гражданской власти» (Известия. 1927. 19 августа; см. также: Обращение Временного Патриаршего Синода // Возрождение. 1927. 23 августа, № 812), в которой признавалось, что верующие одновременно являются «верными гражданами Советского Союза, лояльными к советской власти <...> не только из страха, но и по совести» (подробнее см.: Полищук Е.С. Патриарх Сергий и его Декларация: капитуляция или компромисс? // Вестник русского христианского движения. 1991. № 161.

С. 233–250). Митрополит Евлогий (Василий Семенович Георгиевский; 1868–1946), глава русских православных приходов в Западной Европе, был чрезвычайно осторожен в выборе линии поведения относительно данного послания; в интервью «Митрополит Евлогий о положении церкви в СССР» (Возрождение. 1927. 24 августа, № 813) он говорил: «Этот вопрос настолько серьезен, что оценивать его по существу и во всей полноте я не берусь сразу. Все, что я могу пока вам заявить, это то, что, как и прежде, так и теперь, я считаю, что Церковь должна неуклонно следовать по своему пути, пути чисто церковному, пребывая всегда вне политики, независимо, левой или правой». Некоторое время обсуждение шло без прямого участия митрополита Евлогия (см., напр.: Никаноров И. Послание митрополита Сергия и Синода при нем // Возрождение. 1927. 27 августа, № 816; 30 августа, № 819, 31 августа, № 820; Церковник. В церковных кругах // Возрождение. 1927. 27 августа, № 816). По сообщению той же газеты, у него в начале сентября должно было состояться совещание, посвященное посланию митрополита Сергия (Возрождение. 1927. 28 августа, № 817), однако о результатах его не сообщалось. Первая определенная реакция Евлогия, о которой нам известно, была высказана им на проповеди (Слово Митрополита Евлогия // Возрождение. 1927. 6 сентября, № 826), а окончательно сформирована в документе, опубликованном под заглавием «Ответ Митр. Евлогия Митрополиту Сергию» (Возрождение. 1927. 16 сентября, № 836), где говорилось: «...наша принадлежность к Русской Православной Церкви не может служить основанием для предьявления к нам, эмигрантам, требования "лояльности", т.е. законопослушности по отношению к советской власти, как это требование естественно предьявляется к советским гражданам или к лицам, живущим на территории советского государства. <...> я обязуюсь твердо стоять на установившемся уже у нас <...> положении о невмешательстве Церкви в политическую жизнь и не допускать, чтобы в подведомственных мне храмах церковный амвон обращался в политическую трибуну. <...> если, паче чаяния, Вы не признаете этого моего заявления достаточным и будете вынуждены исключить меня и вверенное мне духовенство их состава клира Русской Церкви, то, что же делать, мы с покорностью примем это новое, тяжчайшее испытание, и тогда благословите нас, согласно уже ранее выраженному Вами указанию, на временное самостоятельное (автономное) существование в странах инославных и на подчинение Поместным Православным церквам в странах православных». Вероятно, Мережковский реагировал также и на статьи И. Никанорова «Разъяснение Митрополита Сергия» (Возрождение, 13 октября 1927, 863), смысл которой был изложен в неподписанной передовой «Митрополит Сергей и Зарубежная церковь» той же газеты на следующий день: «...если митрополит Сергей, противопоставляя Церковь власти государственной как таковой, готов идти на многие жертвы, дабы соборности в пределах приложения этой власти (даже Богоборческой) каноническую организацию церкви, – на нем осуждать его, хотя бы мы были уверены, что попытка его обречена на неуспех», а также «По поводу ответа митрополита Евлогия митрополиту Сергию» (Возрождение. 1927. 16 сентября, № 866), Никаноров И. Пастыри и паства (Возрождение. 1927. 28 сентября, № 848). На вторую статью Никанорова сочувственно ссылался Мережковский в своей лекции, (Царство Антихриста. С. 299). Вообще смысл полемики в различных газетах русской эмиграции хорошо определяет заголовок неподписанного материала: «Церковные события громадного значения» (За свободу! 1927. 21 сентября, № 216). Мережковский и Гиппиус 29 августа обратились к митр. Евлогию с письмом:

«Владыка,

умоляем Вас не подписывать присланного Вам митрополитом Сергием обязательства подчиняться Советской власти. Дело тут, конечно, вовсе не в "политике", а в чем-то неизмеримо более важном.

Мы твердо уверены, что так же думают и чувствуют множество верующих во Христа и любящих Православную Церковь. Статья в "П.Н." о необходимости подчинения Советской власти нас всех глубоко возмутила. Еще раз умоляем и закликаем – не подписывайте. С глубоким уважением и преданностью.

Д. Мережковский, З. Гиппиус» (опубл. по автографу ГАРФ: Декларация митрополита Сергия (Страгородского): документы и свидетельства современников / Вступительная

статья, комментарии и публикация документов М. Одинцова // Диспут. 1992. № 2. С. 183–184). Отметим, что 26 октября Ходасевичу писала Гиппиус: «Пошло какое-то огульное, сплошное “согласательство” по всей линии <...> Евлогий под сурдинку варит кашу с духовенством, многих уже обработал, а насчет паствы... считает, что ее дело помалкивать в тряпочку. Да, кажется, большинство так за ним и пойдет...» (ПБХ. С. 86).

⁸⁴ Речь идет о Ю.Ф. Семенове (см. прим. 42) как о редакторе газеты.

⁸⁵ Непосредственным образом имеется в виду передовая статья: Семенов Ю. Две ответственности // Возрождение. 1927. 19 октября, № 869), где автор писал: «В газете Керенского “Дни” г-жа Кускова обвиняет нас в том, что якобы мы отказываемся от моральной ответственности за боевую антибольшевицкую работу, совершаемую как в России, так и за ее пределами. Обвинение это построено на той нашей статье, в которой мы перечисляли ряд действий, по нашему мнению изолированных, и говорили по поводу них, что ни одна из политических эмигрантских организаций не посылала ни Конради, ни Коверду, ни кн. Долгорукова на то, что они сделали. <...> Ни от какой ответственности, ни моральной, ни политической, мы не отказываемся. Наоборот, мы вполне солидаризуемся со всеми авторами перечисленных дел <...> Мы утверждаем, что в эмиграции, да и внутри России, уже создалась такая атмосфера, благодаря которой действия рождаются сам собой. <...> Г-жа Кускова не любит крови. Какой крови она не любит? Той крови, которая проливается в борьбе с большевиками, во имя возрождения России, или той крови, которая проливается без всякой надежды на то что бы то ни было, проливается большевиками в процессе убийства России?». Однако полемика такого рода шла и ранее, как в статьях, подписанных Ю. Семеновым (Еще о процессе пяти // Возрождение. 1927. 9 октября, № 859), так и в неподписанных передовых: Разлагатели // Возрождение. 1927. 6 октября, № 856; Борьба или возвращенство // Возрождение. 1927. 15 октября, № 865). В последней говорилось: «...противникам активной борьбы с большевизмом, указывающим на цифры якобы бесполезных жертв, мы противопоставим другие цифры, уже действительно никому не нужных жертв, – цифры погибающих возвращенцев. <...> мы знаем, что 60 процентов возвращенцев, попадающих в Россию, исчезают бесследно, а остальные, за ничтожным исключением, влечат жалкое существование поднадзорных парней в своем собственном отечестве. Вот про этих несчастных людей действительно можно сказать, что они находятся в сетях ГПУ, без всякой надежды каким бы то ни было способом вырваться из этих сетей».

⁸⁶ П.Б. Струве был редактором «Возрождения» до 17 августа 1927. «Вождем» здесь назван, вероятно, издатель газеты Абрам Осипович Гукасов (1872–1969), крупный нефтепромышленник, который активно вмешивался в редакционную политику газеты.

⁸⁷ Илья Исидорович Фондаминский (Фундаминский; 1880–1942), политической деятель (эсер), публицист, один из редакторов журнала «Современные записки», близкий друг Мережковских. Вероятно, к нему также восходят сведения, сообщаемые Гиппиус Ходасевичу 9 ноября: «По слухам – жизнь “Возрожд<ения>” в опасности. За что купила – за то продаю: говорят, что Г<укасов> пришел в злобное настроение разрушителя, ибо “все его покинули”; говорят еще, что и внутри завелись Сталин-Троцкий в виде Семенова-Маковского...» (ПБХ. С. 87). В неплохо сохранившихся письмах Фондаминского к Мережковским такого сообщения не обнаруживается, однако очевидно, что он решительно отговаривал их от сотрудничества в газете. 15 октября он писал о падающем статусе (не тираже!) «Возрождения».

⁸⁸ См.: Мережковский Д.С. Commediante // Дни. 1927. 9 октября, № 1201; с редакторским примечанием: «Мы печатаем главу из новой (еще не изданной) книги Д.С. Мережковского “Наполеон”». Гаффа (от фр. gaffe) – досадная оплошность. Имеется в виду, что выступление Мережковского в «левой» газете могло послужить препятствием к сотрудничеству с правым «Возрождением». В качестве оправдания он предлагает считать эту публикацию завуалированным высмеиванием главного редактора «Дней» А.Ф. Керенского – «комедианта».

⁸⁹ После этой фразы Ходасевич приписал на полях карандашом: «Я – в “Дн<е>я<х>”. Я – в “С<овременных> З<аписках>”. Я – в “Возр<ождении>”». Имеется в виду, что (как, впро-

чем, и довольно многие писатели) Ходасевич так или иначе имел дело с разнонаправленными изданиями. Будучи постоянным сотрудником «Возрождения», он не переставал печататься и в «Современных записках», а в «Днях» был опубликован его ответ на литературную анкету: 1927. 30 октября, № 1222. В этом, конечно, было некоторое лукавство: ответ на анкету в дореволюционной и эмигрантской журналистике всегда считался делом «внепартийным». Так, на ту же анкету «Дней» ответили Бунин, Шмелев, Куприн, Гиппиус.

⁹⁰ В одном номере с «Commediante» (см. прим. 8) были напечатаны статья Е.Д. Кусковой «Дым отечества» и рассказ М.А. Осоргина «Поэт» с редакционным примечанием: «Печатаемая сегодня рассказ М.А. Осоргина, редакция “Дней” считает уместным сообщить, что недоразумение, в свое время происшедшее между нею и автором, исчерпано в форме, вполне удовлетворяющей давнего и почтенного сотрудника “Дней”».

⁹¹ Речь идет о практике публикации в подвале на последней полосе газеты какого-либо обширного беллетристического произведения. В «Возрождении» во второй половине 1927 г. так печатались: Эдгар Уоллес. Зловещий человек; Дом Смерти. Роман А.Э.В. Мэсона. Отдельные фрагменты книги Мережковского печатались в газете (не как «переводной роман», а как один из обыкновенных материалов) с декабря 1927 г. С 14 мая по 5 ноября 1928 г. по понедельникам печаталась «Жизнь Наполеона».

⁹² «Новый корабль» просуществовал недолго: последний (четвертый) его номер вышел в 1928 году.

⁹³ Речь идет о письме Мережковского в газету «L’Avenir» (см. прим. 75), озаглавленном «De profundis clamavi», т.е. «Из бездны воззвал», опубликованном в «Возрождении» 17 октября (это была его первая публикация в газете).

⁹⁴ Вероятно, речь идет о публикации: Обращение Митрополита Евлогия к пастве // Возрождение. 1927. 3 ноября, № 884; в том же номере была передовица под заглавием «Обращение Митрополита». Появление этого обращения было связано с ответом митрополита Сергия митрополиту Евловию (Возрождение. 1927. 19 октября, № 869; ср. также передовую статью: По поводу ответа Митрополита Сергия // Там же. 20 октября, № 870). Ср. фразу Гиппиус в письме к Ходасевичу от 9 ноября: «Бердяев как вам нравится с Евлогием, “насилуемым паствой”?» (ПБХ. С. 87). О позиции Н.А. Бердяева в это время говорил Мережковский в своей лекции.

⁹⁵ Речь идет о неподписанной передовой статье «Атеисты в церкви» (Возрождение. 1927. 30 октября, № 880), где по поводу публикаций в газете «Последние новости» и журнале «Социалистический вестник» относительно церковных вопросов говорилось: «Хотелось бы, чтобы в эту ответственную минуту печатные органы, руководимые атеистами (безразлично каких политических взглядов) воздержались от вмешательства в дела православной Христовой Церкви, от всяких советов, преподаваемых ей, а также от попытки оказать влияние на ее решения». Автором этой передовицы был Ходасевич (указано в списке его работ: Columbia University Libraries. Bakhmetieff Archive Ms Coll M.M. Karpovich. Folder 25).

⁹⁶ О чем идет речь, точно установить не удалось. Единственный текст этого времени, который нам удалось обнаружить, хотя бы отчасти отвечающий характеристике Мережковского, – примечание Ходасевича к своей статье «Нравственность г. Талина» (Возрождение. 1927. 27 октября, № 877; подп.: М.). О заинтересованности Мережковских полемикой Ходасевича с В.И. Талиным (Семен Иосифович [Осипович] Португейс; 1880 или 1881–1944) см. в письме Гиппиус от 26 октября 1927 (ПБХ. С. 85; расшифровка криптонима «М.» как «возможно, Мережковский», сделанная на с. 111, неверна).

⁹⁷ «Пусть я бездарен, но тема моя гениальна» – неточная цитата. См.: «Я – бездарен, да тема-то моя талантливая» (Розанов В.В. Заметки на полях непрочитанной книги [в оглавлении: На полях непрочитанной книги] // Северные цветы на 1901 год, собранные книгоиздательством «Скорпион». М., 1901. С. 176). «Апокалипсис нашего времени» – книга В.В. Розанова, выходявшая отдельными выпусками (всего 10 выпусков) в 1918 г.

⁹⁸ Из рассказа Н.С. Лескова «Зимний день» (1894).

⁹⁹ Надеюсь вопреки ожиданиям (лат.).

¹⁰⁰ См. прим. 92.

¹⁰¹ Имеется в виду наличие собственного печатного органа, где можно было бы высказываться без оглядки. Для Мережковских таким органом сперва был журнал «Новый дом», потом «Новый корабль».

¹⁰² Юрий Константинович Терапиано (1892–1980), поэт, литературный критик. Был редактором журнала «Новый дом», близко стоял к редакции «Нового корабля».

¹⁰³ Имеется в виду, что Мережковский в своих произведениях часто обсуждал проблему дьявола. См. наиболее известную книгу: Гоголь и черт: Исследование. М., 1906. Ср. также названия статей о Мережковском: Брюсов Валерий. Вехи. III. Черт и Хам // Весы. 1906. № 3-4. С. 75–78 (подп.: Аврелий); Горнфельд А.Г. Г-н Мережковский и черт // Горнфельд А.Г. Книги и люди. СПб., 1908. Кн. 1. С. 273–282; Эллис. О современном символизме, о «черте» и о «действе» // Весы. 1909, № 1. С. 75–82.

¹⁰⁴ Лк.: 11, 9.

¹⁰⁵ Название повести И.С. Тургенева (1865).

¹⁰⁶ См.: Н.В. Гоголь. Ревизор. Действие первое, явление IV.

¹⁰⁷ Из стихотворения М.Ю. Лермонтова «Парус» (1832).

¹⁰⁸ Первые две строки неозаглавленного стихотворения Н.Н. Берберовой (1927). См.: Берберова Н. Стихи 1921-1983. New York, 1984. С. 34.

¹⁰⁹ Михаил Осипович Цетлин (1882–1945) – поэт, литературный критик, активный сотрудник газет «Последние новости» и «Дни». Содержание лекции Мережковского, в которой он резко полемизировал с позицией «Последних новостей» и конкретно П.Н. Милюкова, должно было вызвать настороженное внимание Цетлина.

¹¹⁰ О кружке «Зеленая лампа» см. справку Т. Пахмусс и Н.В. Королевой (Литературная Энциклопедия Русского Зарубежья 1918–1940. Периодика и литературные центры. М., 2000. С. 167–174).

¹¹¹ После собрания Г.В. Адамович написал письмо Гиппиус, где говорил:

Дорогая Зинаида Николаевна

У меня, очевидно, «l'esprit de l'escalier». Обращаюсь к Вам как к члену «Зеленой» Лампы». Вот что для меня вчера вечером стало ясно.

Лекция Д<митрия> С<ергеевича> несомненно повлечет за собой уход из «Зеленой» Л<ампы>» Цетлина. Если он уйдет – с письмом в газетах, – я буду *вынужден* тотчас же сделать то же самое. Теперь вопрос: будете ли Вы продолжать «Зеленую» Л<ампу>», оставшись официально вдвоем с Ходасевичем? (который, как Вы сами мне говорили, анти-ламповец). Если да – все благополучно и я со всем согласен. Если нет – мне жаль «Зеленой» Лампы» и я сомневаюсь, стоит ли Дмитрию Сергеевичу сознательно и намеренно идти на ее убийство. В конце концов, «вывеска» ведь ему правда не нужна и ничего не даст, – еще меньше, чем Анатолю Франсу прибавка «de l'academie française». Вчера вопрос ни разу не был поставлен так ясно и просто, как он мне сейчас представляется. Повторяю, если «Лампа» выйдет живой из всего этого, – я вполне удовлетворяюсь этим, и, поверьте, Вы и Дмитрий Сергеевич, что у меня никаких других соображений или интересов в этом деле нет.

Ваш Г.Адамович (Письма Г.В. Адамовича к З.Н. Гиппиус 1925-1931 / Публ. Н.А. Богомолова // Диаспора: Новые материалы. Париж: СПб., 2003. [Т.] III. С. 498–499).

ГУДЛИВЕР И ВАЗИР-МУХТАР

Впервые – Natale grate numeras? Сборник статей к 60-летию Георгия Ахилловича Левинтона / Редакторы: А. К. Байбурин и А. Л. Осповат. При участии С. В. Николаевой, А. М. Пиир, Н. А. Славгородской. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2008. С. 144–152.

¹ Берберова Н. Курсив мой: Автобиография / Изд. 2-е, испр. и доп.: В 2 т. New York, 1983. Т. I. С. 371.

² Имеется в виду колонка записей.

³ Beineke rare books and manuscript library. Gen MSS 182. Nuna Berberova Papers. Folder

1164. В воспоминаниях значится «отдала» (Берберова Н. Курсив мой. Т. II. С. 688).

⁴ Hoover Unstitution on War, Revolution and Peace. В. Nicolaevsky Papers. Box 395. Folder 2.

⁵ См.: Яковлева К. Владислав Ходасевич и «Гулливер»: К проблеме авторства // День научного творчества студентов: Материалы конференции факультета журналистики. Москва, 3 апреля 2004. М., 2004. Ч. I. С. 142–144; Она же. Литературная критика В.Ф. Ходасевича в газете «Возрождение»: к проблеме канонического текста и атрибуции // Лесная текстология: Труды III летней школы на Карельском перешейке по текстологии и историко-литературоведению русской литературы. Пос. Серово, Ленинградская обл., 2007. С. 142–148.

⁶ Не претендуя на абсолютную полноту, назовем следующие: Radley P. Emotion in a Formalist: The Jakobson-Khodasevich Polemic // Studies Presented to Professor Roman Jakobson by his Students. Cambridge, Mass., 1968. P. 248–251; Мальмстад Дж. Э. Ходасевич и формализм: несогласие поэта // Русская литература XX века: Исследования американских ученых. СПб., 1993. С. 284–301 (первоначально: Malmstad J. Khodasevich and Formalism: Poet's Dissent // Russian Formalism: A Retrospective Glance. New Haven, 1985. P. 66–81); Ронен Ирина. Вкусы и современники: О Ходасевиче и формалистах // Звезда. 2004. № 10. С. 201–210; Ронен Омри. Ходасевич в оценке Тынянова и «крестьянская поэзия» в оценке Ходасевича // Sub Rosa: Kószöntő könyv Léna Szilárd tiszteletére. Budapest, 2005. С. 520–526.

⁷ Ронен Ирина. Указ. соч. С.204. Здесь и далее мы не цитируем приводимые автором библиографические указания.

⁸ Там же.

⁹ См.: Ходасевич. Т. 4. С. 519. Справедливости ради отметим, что в число особо выделенных «хороших» и «очень хороших вещей» произведения Тынянова все же не попали. Статья о «Восковой персоне» – Возрождение. 1931. 14 мая, № 2172 (перепеч.: Ходасевич. Т. 2. С. 202–205). Отметим также фрагмент «Литературной летописи: «Представителям формализма не везет в последнее время. Их попытка связать свой метод с марксизмом кончилась неудачей и не вызвала благосклонной улыбки верхов. Некоторые пустились в беллетристику и полу-беллетристику. Лучше других с этой задачей справились Тынянов в романе «Кюхля». Его же “Смерть Вазир-Мухтара” оказалась уже значительно слабее. Ныне другой столп формализма, Эйхенбаум, выступает с полуроманом-полуавтобиографией. Формалисты с легкостью разбираются в приемах других писателей, и чрезвычайно требовательны по части новизны. Сами они в высшей степени подражательны и банальны. Что касается Эйхенбаума, то, судя по его статьям, все же можно было предполагать, что он человек не глупый. Но в своей автобиографии он сравнивает себя с Николаем Ростовым... И этот “Николай Ростов” пишет на весьма сомнительном русском языке» (Возрождение. 1929. 7 ноября, № 1619; за предоставление выписки приносим благодарность К.В. Яковлевой).

¹⁰ Здесь и далее цитируем по оригинальным текстам, опубликованным в газете «Возрождение», с указанием даты, но без указания номеров.

¹¹ Начало этого отклика с характеристикой очередной части тыняновского романа см. выше.

¹² Так, 6 февраля 1929 г. «Литературную беседу» с подзаголовком «Смерть Грибоедова» поместил в «Последних новостях» Г. Адамович, а тремя днями позже, 9 февраля, на берлинское издание «Смерти Вазир-Мухтара» в «России и славянстве» отозвался Г.П. Струве.

¹³ Нет сомнения, что Гулливер недооценивал основательность знаний и проницательность художественного мышления Тынянова, но для нас это сейчас также несущественно.

¹⁴ Columbia University Libraries. Bakhmetieff Archive, Ms Coll, M.M. Karpovich Papers. Folder 37.

¹⁵ 11 апреля 1927 г. Ходасевич писал Берберовой: «...хроника сегодня веч[ером] или завтра утром должна быть написана (кое-что наскребу). Завтра утром надо ехать в ред[акци]ю» (Письма В. Ходасевича к Н. Берберовой / Публ. Дэвида Бетеа // Минувшее: Исторический альманах. [Paris, 1988]. [Т.] 5. С. 240). Здесь идет речь о хронике, появившейся 14 апреля, за неделю до одной из тех, что нас интересуют. А в конце этого же года

он писал М.В. Вишняку о регулярном «составлении изводящей меня хроники» (Письмо от 8 декабря 1927 // Ходасевич. Т. 4. С. 505).

¹⁶ Косвенно свидетельствует об этом фраза из ее мемуаров: «...люди, ждавшие, как события, книг Олеси, Багрицкого, Тынянова...» (Курсив мой. Т. II. С. 616).